Цена свободная

23/-14

ИНДЕКС 7327

Наш современник, 1992, № 11, 1–192

НАШ СОВРЕМЕННИК
№11 1992

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№11 1992

Анатолий Передреев,
Анатолий Заболоцкий,
Валерий Гаврилин,
Игорь Шафаревич,
Владимир Солоухин

ТЫСЯЧА И ОДНА ФОТОГРАФИЯ

По залам выставки Анатолия Пантелеева в Санкт-Петербургском университете

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№11 1992

ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ

МОСКВА

Содержание

Зав. секретариатом З. С. Гуляевская.
Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры С. А. Артамонова, М. В. Масленникова.

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 22.10.91 № 1222

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главная редакция); 200-23-88 (отдел прозы); 200-23-07 (отдел поэзии); 200-24-28 (отдел очерка и публицистики); 200-24-70 (отдел критики); 921-43-59 (секретариат); 200-23-05 (факс).

Сдано в набор 29.09.92. Подписано к печати 02.11.92.
Формат 70 х 108 1/16. Бумага газетная. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 24,38. Тираж 163 680 экз. Зак. 2476.

ИПО писателей, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»:
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

ПОЭЗИЯ

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

ЕСТЬ В МИРЕ ДВЕ НЕРАВНЫХ ЧАСТИ

Забор

Покосился забор и упал,
Все заборы в России упали.
Голос свыше по пьянке сказал,
Что границы прозрачными стали.

Это верно: я вижу простор,
Где гуляет волна за волною,
Потому что упал мой забор
Прямо в море — и вместе со мною.

Оглянуться назад не успел
На поля и могилы родные.
На два голоса с ветром запел:
— Ой вы, кони мои вороные!

Позабыл я про радость труда,
Но свободно дышу на просторе.
И уносит меня в никуда
На родном деревянном заборе.

* * *

Душа у пьяного горит,
Она хватила через край,
Во сне кому-то говорит:
— Не возникай! Не возникай!

Господь, спаси мою страну,
Она хватила через край
И заклинает сатану:
— Не возникай! Не возникай!

* * *

Жена! А ты предашь меня мгновенно
По легкости иль бренности своей.
Уж столько лет ты лжешь самозабвенно,
И натрясешь с три короба чертей.

Когда за мной придут ночные люди,
Не лги душой, уход мой торопя,
И не царапай в кровь лицо и груди:
Они еще прекрасны у тебя.

КУЗНЕЦОВ Юрий Поликарпович родился в 1941 году на Кубани. Окончил Литературный институт. Автор почти двадцати поэтических книг, в том числе «Во мне и рядом — даль», «Край света — за первым углом», «Выходя на дорогу, душа оглянулась», «Русский узел», «Ни рано ни поздно». В 1990 году издательство «Современник» выпустило книгу его избранных переводов «Пересаженные цветы». Лауреат Государственной премии России. Живет в Москве.

Сирень и береза

Рос когда-то сиреневый куст
Под окном у забытой сторожки.
Был рассеян, и пышен, и густ,
Но все время он знал о березке.

Он скрывал свою боль много лет
Под окном у забытой сторожки.
Из него пробивалась на свет
Криноватая струйка березки.

Он глушил свою старую боль,
Он сжимал ее в сердце косматом,
Свою ненависть или любовь
Обвевал по весне ароматом.

Но пробилась на свет, но взошла
И над ним распустила сережки,
Иссушила его, извела
Кривоватая воля березки.

Время-птица летит и летит,
А устанет — на ветку садится,
На березу, что криво стоит
И не может никак распрямиться.

Воры-разбойники

На дальнем бреге вор скучал,
И в глубь морскую
Он свою руку запускал,
Но шарил всуе.

Прохожий мимо проходил,
Разбойник, право!
На ближних трепет наводил,
А звать Варавва.

Из глаза ближнего сучок
Он крал, играя.
— Чего ты шаришь, дурачок?
— Ключи от рая.

— Напрасно ты скучаешь здесь
С дурной рукою.
Но у меня отмычки есть,
Пойдем со мною...

Разбойник вора убедил.
Но путь далекий
Через Голгофу проходил
И крест высокий.

Ловля русалки

Свет-русалка, ты слушала песни Садко
И на лунное солнце глядела легко.

Испокон с тобой дружат вода и земля,
Мирно дышат зубчатые жабры Кремля.

Твое царство живет крепким задним умом.
Управляется прошлым, как рыба хвостом.

Бьет со дна его чистый прохладный родник...
Но великий ловец ниоткуда возник.

Он явился, как тень из грядущего дня,
И сказал: «Эта тварь не уйдет от меня!»

Ты дремала, не зная о близкой беде.
Он словечко «свобода» подкинул тебе.

Чтобы в тину зазря не забилось оно,
Ты поймала словечко — с крючком заодно.

Острый воздух хватаешь разинутым ртом,
Возмущая все царства могучим хвостом.

Счет одиночества

Есть в мире две неравных части,
Два царства: мертвых и живых.
Мир жив и мертв, двоятся страсти,
Один страдает за двоих.

Ума и сердца не хватает
Поверить мертвых и живых.
Во мне отчизна вымирает,
Одна страдая за других.

Уж я один останусь скоро,
И мой огарочек во тьме
Учтет небесная контора,
Один запишет, два в уме.

Но я всегда жил нелюдимым
И перед Господом во тьме
Я написал себя единым,
А остальных держал в уме.

ПРОЗА

ЮРИЙ ЛОЩИЦ

УНИОН

РОМАН

РАЗЫСКАНИЕ ОБ ОТЦЕУБИЙСТВЕ

1. Интрига Родофиникина

Иногда похоже, что верховному сербскому вождю Георгию Петровичу Черному (Карагеоргию) проще было воевать против турок, чем держать в узде своих недисциплинированных и тщеславных воинов-комендантов. Возможные затруднения с последними он предвидел и оговорил еще в своем выступлении на знаменитой народной сходке в Оращце 2(14) февраля 1804 года, когда и был избран предводителем восставших. Он сказал тогда о себе, что отказывается от старейшинства, потому что нрав у него суровый, тяжелый, и если кто его ослушается, предаст или затеет старую вражду между своими, то такому не будет от него пощады, убьет, и все тут, — а за это люди могут его возненавидеть, разбегутся во все стороны... Но собравшиеся в один голос ответили Карагеоргию: «Мы тебя хотим, нам такой и нужен строгий глава, будем помогать тебе во всем».

В том, что их вождь слов не ветер бросать не намерен, восставшие вскоре убедились. Весной того же 1804 года Карагеоргий получил сведения, что его побратим, кнез Теодосий из Оращца, вошел в сговор с турками — с намерением вернуться к старым порядкам. При первой же встрече Георгий Петрович призвал Теодосия к ответу. Разговор быстро перерос в словесную перепалку, Теодосий потянулся за ружьем, но вождь был проворней и выстрелил первым.

Винить воина за проявление жестокости в обстановке войны — то же самое, что, лакомясь курятиной в городской квартире, осуждать крестьянина за то, что он там у себя в деревне безжалостно режет кур, телят, свиней, овечек и прочих домашних животных и птиц.

Современники сохранили немало свидетельств того, с какой суровостью, невзирая на лица, Карагеоргий наказывал провинившихся соратников. Пожалуй, к самым впечатляющим можно отнести мнение на сей счет, исходящее из уст Милоша Обреновича. Высказал это свое мнение Обренович тридцать с лишним лет спустя, после того как стал «новым хозяином» Сербии и распорядился обезглавить «старого хозяина», Карагеоргия, в 1817 году тайно вернувшегося из России на родину. Тогда, в конце 50-х, Милошу Обреновичу была доставлена из Вены рукопись Вука Караджича «Правительствующий совет», посвященная временам первого Сербского восстания. Чтение обещало быть захватывающим. Личный секретарь Обреновича, по заведенному обычаю, читал хозяину вслух, а старик расхаживал по кабинету. Когда чтец дошел до места, где Караджич пишет, что многие воеводы не признавали Карагеоргия за вождя и совсем его не боялись, Обренович возмутился:

— Лжешь, Вуче! Лжешь, Вуче!.. Лжешь, лжешь, лжешь! Пошел вон — к такой-то матери!

Окончание. Начало в №10 за 1992 год.

Секретарь выскочил из кабинета. Но скоро Милош успокоился и велел ему вернуться.

— Куда ты делся?

— Ушел, чтоб вы не гневались.

— Это я на Вука злюсь, что он так пишет. Или он не знает, как было дело, или намеренно врет. Как это воеводы не боялись Карагеоргия? Да не было ни единого, на ком бы не тряслись одежды, когда он входил к Георгию. Ого, боялись, да еще как!

Удивительно, что и несколько десятилетий спустя после событий Милош Обренович отлично помнил этот общий (и свой собственный) страх перед самым суровым сербом девятнадцатого века. И не только помнил, но как бы и лелеял в себе: лишь такого рода страх мог служить оправданием его расправы со «старым хозяином».

Но свидетельство Обреновича все же не опровергает взгляд автора «Правительствующего совета». Взаимоотношения между Карагеоргием и воеводами Караджич, как исторический писатель, видел в более драматическом свете. С помощью внушаемого животного страха никому не удавалось долго властвовать над людьми. В окружении Карагеоргия преобладали сильные характеры, с особым мнением о собственной роли в восстании и антитурецкой войне. Вождю в такой среде требовалось умение не только казнить, но и миловать. Как, например, в случае с тем же Милошем Обреновичем, тогда еще воеводой, который, будучи уличен в заговоре против верховного правителя Сербии, на суде не отпирался, признал авторство своего подстрекательского письма, за что и был великодушно прощен Карагеоргием.

Это и ему подобные события прочно отпечатывались в народной памяти, а она постепенно образ вождя возводила к древнему устойчивому архетипу правителя, жестокого лишь в силу необходимости, а не из страсти к бессмысленному насилию. В таком восприятии его поступков почти любая из скорых расправ повелителя оценивалась не только как наиболее суровое, но и как наиболее справедливое решение.

Именно так был осмыслен в народной молве вынесенный однажды Георгием, без суда и следствия, смертный приговор родному брату.

Этого своего младшего брата по имени Маринко Карагеоргий на время собственных воинских отлучек оставил хозяйствовать в Тополе, поручив ему лавку с солью и другими необходимыми в крестьянском хозяйстве товарами. А когда вернулся, то застал лавку пустой, а брата без денег. Тут же выяснилось, что Маринко не только промотал доверенное ему добро, но и ославил семью своим непотребством; в лавку зашла женщина с жалобой: младший из Петровичей обесчестил ее дочь.

— Что же ты, Георгий, — заплакала женщина, — гонишь некрещеных турок, а в Тополе оставил брата, и этот лютует пуще самого лютого турка...

Предание гласит: разгневанный вождь, ни слова не говоря, схватил веревку, что валялась посреди пустой лавки, сделал из нее петлю, накинул брату на шею и повел его к въездным воротам своей усадьбы. Заставил одного из стражников вскарабкаться наверх и привязать концы веревки к деревянной балке... Когда страшный приказ был исполнен и брат его на глазах у толпы задохнулся в петле, Карагеоргий зашел в дом и заперся. Два дня никого не впускал к себе, ни с кем не разговаривал, ничего не ел и не пил.

Весть об ужасной расправе быстро разнеслась по всей Сербии. И, конечно, многим сразу вспомнился при этом рассказ еще об одном страшном самосуде, учиненном когда-то Карагеоргием, — рассказ об отцеубийстве.

То была история, можно сказать, уже старая, глухая, и потому каждый, кто ее пересказывал, делал это на свой начин, то поминая другое место происшествия, то других участников, а то доказывая даже, что речь шла не о родном отце Георгия, а об отчиме.

Вук Караджич в своем историческом очерке «Карагеоргий Петрович» следующим лаконичным способом оспорил последнюю версию: «Рассказывалось, что то был его отчим. Мы знаем истину от одного из наиболее близких к Карагеоргию людей. Кроме того, это измышление и не годится быть смягчающим обстоятельством. Меньшая любовь делала бы все дело еще более страшным».

Из старых сербских историков Караджич больше других занимался разысканиями об убийстве молодым гайдуком Георгием родного отца. Самое раннее изложение событий он сообщил немецкому автору Леопольду Ранке, который воспроизвел его в своей книге «Сербская революция». «Карагеоргий, — читаем здесь, — участвовал уже в первом восстании сербов в 1787 году, когда они, не дождавшись прихода австрийцев, поднялись против турок, и это ставилось ему в вину в течение всей жизни. Принужденный бежать, он не пожелал оставить отца, взял его с собой и со всем движимым имуществом и скотом отправился к реке Саве. Но чем ближе подходили к реке, тем отец чаще беспокоился и уговаривал сына вернуться. А когда увидел Саву перед собой, прямо в раж вошел. «Покоримся, — говорит, — и они простят нас. Не ходи в Австрию, хватит нам и тут хлеба, не ходи!» Георгий оставался неумолим, но и отец ожесточился до предела. «Раз так, отправляйся сам за Саву, я остаюсь в Сербии». «Как это, — ответил Карагеоргий, — чтобы я дожил, когда тебя турки медленными муками замучают? Так лучше я тебя сам убью, сразу!» Схватил пистолет, выстрелил, и, когда раненый отец упал, повелел одному из слуг, чтоб добил его. А в ближайшем селе сказал людям: «Схороните моего отца и выпейте вот за помин его души». Оставил им все, что принес с собою, раздарил весь скот и ушел за Саву».

Позже, в полемике с автором другой версии отцеубийства Светичем, Караджич свой ранний рассказ изложил совсем кратко, но ничего не изменил по сути. Психологические мотивировки поведения отца и сына остаются прежними: отец упорствует, потому что ему жаль покидать родные места, страшней уходить в неизвестную Австрию, чем остаться дома; но и во вспышке сыновнего гнева, приводящей к непоправимому исходу, тоже просвечивает щемящая жалость: из-за него турки подвергнут старика мукам. Эта непонятная современному сентиментально-пацифистскому сознанию жалость — свойство последних людей эпических времен. Жестокая жалость великой мужественной любви. Караджич прав: «Меньшая любовь делала бы все дело еще более страшным».

Стоит обратить внимание и на версию отцеубийства, которую предложил Светич и которую оспаривает Караджич. По легенде Светича получается как раз сентиментальная раскраска события: сын трижды поднимает ружье, но не решается выстрелить в отца, который уходит, чтобы выдать его туркам, и только по настоянию матери наконец стреляет. Едкий Вук Караджич адресует автору легенды русскую пословицу: «Услужливый дурак опаснее врага». И поделом. Желая представить сына в наилучшем виде, тот превращает отца в предателя, мать — в подстрекательницу, а сына изображает безвольным и колеблющимся исполнителем приказа.

Дальше Вук говорит, что слышал в народе много преданий на ту же тему, расходящихся в подробностях. Поиски наиболее достоверных свидетельств поневоле превращались в настоящее разыскание. Чутье историка подсказывало ему, что эта история не уйдет в небытие, что ее, пожалуй, будут обсуждать на сто ладов, споря и ожесточаясь друг против друга, в зависимости от того, каким именно хотят видеть в ней Карагеоргия. Или его родителей.

Так сохранился рассказ участника Первого восстания Гайи Пантелича, в котором наиболее активным лицом представлена мать, а не отец и не сын. В ее поведении проступает эпическая мощь праязыческих времен женовластия. Именно она начинает спор с упрямым мужем из-за того, покидать или нет Сербию. Когда доводы ее иссякают и муж уходит, она кидается за поддержкой к сыну, который до сих пор сидел безучастно. «Ну и пусть идет, если идет», — говорит он. Тогда возмущенная мать извлекла из-под рубахи груди и заклялa сына: «Сгниет в тебе молоко мое, если не убьешь его!»

Тогда народ еще жил эпической жизнью и такое было в порядке вещей, хотя случалось, может, раз в жизни человеческой. Эти события, благодаря народному эпическому осмыслению, уже при жизни Георгия как бы не принадлежали ему, но стали неотделимой частью всей старой истории Сербии.

...А, Петрович? Это, кажется, я не так уж и плохо сказал! Давай-ка выпьем, — а то давно уже ничего мы не пьем, — давай выпьем за груди твоей матери, за щедрые ее дойки, за ее поблекшие сосцы, которыми она выкормила столько народу — на горе себе и на радость!.. И всё. Поехали дальше.

Даже двух этих историй — с родным братом и отцом — было вполне достаточно, чтобы при желании представить народного вождя варваром и душегубом. И сделать это быстро, еще при его жизни, не откладывая для потомков. Человек, который захотел воспользоваться такой соблазнительной

возможностью, причем в масштабах, выходящих далеко за пределы собственно маленькой Сербии, однажды нашелся.

Это был чиновник министерства иностранных дел России Константин Родофиникин. В августе 1807 года он прибыл в Белград, недавно освобожденный войсками Карагеоргия от турок. Хотя радушные белградцы вышли на улицы, чтобы приветствовать важного гостя, наделенного особыми полномочиями от русского двора, и хотя в воздухе гремел салют из ружей и пушек, сам Карагеоргий не захотел соблюдать правила дипломатического протокола и на встречу не явился. Во-первых, он от своих приближенных уже знал, что этот действительный статский советник и кавалер, еще будучи в Яссах, при ставке главнокомандующего русской Молдавской армией, буквально из кожи вон лез, чтобы именно его направили в Сербию министром, — значит, ожидал этот агент какой-то важной здесь для себя выгоды. Во-вторых, Родофиникин, или, как его сербы сразу прозвали, Родофиник, вовсе и не русский родом, а самый настоящий грек. От грека же сербу ожидать для себя добра не приходится. Увы, таков уж опыт, и не одного ныне живущего поколения. Этот грек, заранее можно сказать, не для России здесь будет стараться и не для Сербии, а для одной лишь своей личной корысти. Когда грек волей случая попадает в Сербию на какую-нибудь мирскую или духовную должность, он ведет себя высокомерно и наставительно, как будто из самой Византии прислан к невеждам-язычникам.

Георгий Петрович хотел бы в Белграде иметь дело с настоящим русским посланником, а не с инородцем на царской службе. Но мелькают больше инородцы. До того, как прибыл Родофиникин, гостил тут еще один агент, снабженный инструкцией от министра иностранных дел России Будберга, — некий полковник маркиз Павлучи. Поначалу в Белграде этого Павлучи сочли даже за французского шпиона и едва не убили сгоряча. При личной встрече маркиз не расположил к себе и Карагеоргия. Текст «конвенции», которую Павлучи предложил ему одобрить, вождь не стал скреплять своей печатью, сославшись на то, что он-де ее, печать, где-то забыл. «Конвенция» эта смущала в первом же пункте, где говорилось, что «народ сербский всенижайше просит», чтобы русский царь поскорее прислал способного «землеустроителя», который бы привел в приличный порядок землю сербскую «и по нравам народа конституцию устроил». Конечно, помощь в устроении освобожденной земли сербам нужна, они и сами о ней постоянно просят, но не получится ли по этому пункту, что помощь будет подменена жесткой опекой и Сербия быстро превратится в обычную русскую губернию? Да еще под началом какого-нибудь «землеустроителя» — инородца, поспевшего на готовенькое.

Поэтому, едва прослышав о новом агенте, Карагеоргий поспешил предупредить письмом своих чиновников в Яссах и строго им наказал: «...Министра грека не смейте мне приводить, ибо много они нам пакостей и предательств учинили...»

Письмо, однако, не успело к сроку, да и, успев, вряд ли бы что переиначило: русский главнокомандующий генерал Михельсон скорее всего расценил бы просьбу вождя как неуместную капризную выходку.

В Белграде Родофиникин был поселен, как ему, пожалуй, и не снилось, — в пустующем дворце турецкого паши. По всем правилам в этих покоях надлежало бы разместиться самому освободителю города, но Карагеоргий оказался равнодушен к такой чести и предпочитал жить в сельском имении в Тополе. Туда и отправил Родофиникин учтивое известие о своем прибытии.

Он, похоже, еще в Яссах или по дороге сюда выведал, как относится сербский предводитель к его назначению, и заранее составил план действий. Война так война, но совсем не похожая на те, в которых топольский гайдук неизменно одерживает успех. Отсутствие Карагеоргия в Белграде было теперь для него настоящим подарком. Первые же встречи с живущими в городе важными персонами из Правительствующего совета осчастливили министра множеством просто замечательных сведений. Тут у них, оказывается, никаким единством и не пахнет. Тут есть и свои русофилы, и свои австрофилы. Но и у тех, и у других предостаточно претензий к предводителю. Есть воеводы, даже не нуждающиеся в подсказках, настолько сами

созрели для того, чтобы сменить вождя на более цивилизованного и покладистого. О своем недавнем идоле они наболтали внимательному собеседнику с три короба, ему теперь остается лишь из этого громадного компромата отобрать самые сильнодействующие средства.

В феврале 1808 года Родофиникин отправляет новому главнокомандующему Молдавской армией генерал-фельдмаршалу Александру Прозоровскому письмо, которое в мировой практике клеветы можно считать своего рода маленьким шедевром. Каждая строка здесь дышит уверенностью, что удар наносится окончательный: «...Что касается Черного Георгия, о котором вашей светлости уже сказано, что он был только солдатом в добровольческом отряде, который австрийцы вербовали среди сербов во время последней войны с Портой, и потому совсем не удивительно, что этот человек ничего не разумеет в политическом положении своего народа. Если он и наименован верховным сербским вождем, то это не ради достоинства его или военного опыта, но единственно в силу его жестокости, которая вселила страх в сердца народа. Ибо здесь больше погибло сербов от его руки, чем от турок. Известно всем, да и сам он того не скрывает, что своего отца убил своей рукой и собственноручно же повесил своего родного брата на глазах у матери. Два или три его успеха, благодаря помощи других старейшин, против турок, решившие столкновения в пользу сербов, выставили его в глазах народа как великого героя...»

В чем всегдашняя сила лжи? Чем она наглей, тем обходится меньшим числом слов и доказательств. Но зато для опровержения их возникает необходимость в очень серьезных словесных затратах. И это неравновесие затрат со стороны может выглядеть совсем не в пользу оболганного. Вот почему ложь и клевета так часто в истории оказываются непобедимыми.

Особенно эффектно действует это оружие, когда ложь и клевета запускаются в дело не в объеме полной и абсолютной неправды, но в смешанном мутновато-коктейльном составе, то есть с искусным добавлением моментов достоверности.

Вот тогда уже для оправдания требуется поистине громадная выдержка и словесное искусство, многократно превосходящее ничтожные затраты наветчика.

Представим себе только, что по факту процитированного письма оправдываться пришлось бы самому Георгию Черному, допустим, в штаб-квартире того же главнокомандующего Прозоровского. Трудно вообразить себе картину более унизительную для оклеветанного... Ему, в частности, пришлось бы сказать, что да, он был завербован австрийцами для войны против турок и служил солдатом, но закончил войну в чине подофицера и был награжден золотой медалью за храбрость, что он не только учился у австрийцев искусству «правильной» войны, но и сам обучал их опыту партизанской борьбы внутри порабощенной Сербии, когда малочисленные гайдуцкие засады в горной местности одолевали вдесятеро превосходящего противника, и что, таким образом, он воевал не столько за интересы цесаря, сколько за своих униженных игом соотечественников. И вообще, как всем известно, австрийцы не отличаются особой щедростью на чины и награды для завербованных иноземцев...

Но, скорее всего, он и не стал бы этого говорить, сочтя подобные доводы мелочными, даже ничтожными, а просто махнул бы рукой, чтобы обвинительный документ читали дальше.

Если, как явствует из письма, народ избрал бы его своим верховным предводителем из страха, «единственно в силу его жестокости», то разве не разумнее такому народу было бы оставаться при старом турецком страхе и старой турецкой жестокости. Но, похоже, он не стал бы и тут прерывать молчание, а только повел плечами.

Если, далее, автор письма объявляет, что от его, Карагеоргия, руки больше погибло сербов, чем от турок, то тогда выходит, что он у турок самый старательный воин, и удивительно, что при нем еще остались на свете кое-какие сербы при своих головах на плечах. Но вряд ли бы он и тут стал оспаривать увлекшегося доносителя.

И если доноситель столь щедр, что насчитал ему, Карагеоргию, целых три воинских успеха с 4-го по 8-й годы, то спасибо ему и на такой арифметике, хотя турецкий счет, слыхать, много щедрей греческого. В письме, правда,

добавлено, что этими своими воинскими успехами он обязан «помощи других старейшин», но тогда снова глупым выглядит запуганный им народ, почему-то углядевший в нем, несмотря на мнимость его воинских успехов, «великого героя».

Но нет, не стал бы, не стал бы Карагеоргий и тут ввязываться в словопрения...

Ну, а то, что там сказано про его отца и брата, сказано верно: одного сам «своей рукой» убил, другого «собственноручно» повесил, а чтобы все присутствующие при разборе воочию убедились, что он, изверг, на такое способен, он, до того безмолвный и недвижный, как камень, вдруг вскочил бы во весь свой страшный рост, единым шагом-прыжком настиг то место, где торчит его тихонький обвинитель, впился ему намертво ручищами в овечью глотку и вытряс, вытряс, вытряс бы из него тут же на ковер его грязную, лживую, зловонную душонку...

К счастью для того и другого, Георгию Черному не понадобилось оправдываться в присутствии Родофиникина, да еще таким вот неюридическим способом, который, конечно, лишь бы подтвердил его репутацию, созданную заезжим министром.

В чем всегдашняя слабость лжи? Если справедливость не восстанавливается в залах судебных управ, то рано или поздно это происходит в пространстве-времени самой истории, с помощью ее неюридических ходов.

В старом сербском источнике XIX века сохранилось замечательное высказывание о Карагеоргии как военачальнике, принадлежащее Наполеону: «Рассказывают, что после битвы при Асперне (21 и 22 мая 1809) Наполеон спросил у своих маршалов, кто им представляется самым великим из ныне живущих полководцев. Те ответили, что, без всякого сомнения, это он сам. На что Наполеон сказал: «Легко мне быть великим с нашим искусным войском и огромными средствами, но далеко на юге, на Балканах, есть один полководец, вышедший из простого сельского рода, и он, собрав вокруг себя пастухов, успел без оружия, с одними лишь пушками из черешневых стволов, потрясти основания всемогущего Османского царства и таким образом освободил свой подневольный народ от чужого ярма. Это Георгий Черный — ему и принадлежит слава величайшего полководца».

Хотя французский оригинал высказывания Наполеона историкам, кажется, неизвестен, сам стиль великодушно-рыцарской и парадоксальной императорской похвалы заставляет предположить, что нечто в этом роде Бонапарт вполне мог сказать. На его романтический интерес к личности сербского вождя указывают и восхищенные отзывы о Карагеоргии во время бесед с фельдмаршалом Луи Бертье: «...Он, соразмерно положению и средству, сделал больше, чем я с моими французами!»

Но теперь пора процитировать мнение о Карагеории и другого полководца, русского. Это тот самый генерал-фельдмаршал А. Прозоровский, которому Родофиникин адресовал свой донос. Нужно только заметить, что в досыл к первому навету расторопный министр-агент бомбардировал штаб-квартиру главнокомандующего еще двумя письмами: в одном, от своего имени, живописал страшный разлад, царящий между вождем и Советом, притом, вдобавок к названным раньше грехам, приписал Карагеоргию «легковерность, наклонность к пьянству и злобе». Ни много ни мало «жизнь всех находится в постоянной опасности от него»; другое письмо посылалось от имени самого Правительствующего совета, но надиктовано было им же, Родофиникиным: министерские уши торчали в тексте там и сям. Суровые мужи тут буквально плакали, как иудеи на рецех Вавилонских, о своей ужасной и страшной участи, до того их-де угнетает верховный вождь. «Никто не может жить спокойно в своем доме, но непрестанно живет в страхе неожиданного нападения, убийства или отнятия своего имения». Вождь в такой гиперболической трактовке выглядел, право же, свирепей любого янычара. Ну, и не упускался, конечно, случай лишний раз напомнить о самом главном: «Нет ничего святого для человека, который посягнул на отца и брата».

Прозоровский отвечал на все это с невозмутимостью туговатого на ухо старца:

«...Верховный вождь, которого избрал народ, за все время своего руководства оберегал своим геройством и мудростью народ и землю от погибели и тем заслужил право на почитание, уважение и благодарность своих соотечественников...»

«Что касается просьбы сербского народного Совета этого вождя сменить, то уверьте его, что его заслуги в пользу отечества, опыт, приобретенный в командовании войском, а сверх того, все еще нерешенное положение Сербии ставят передо мной неодолимые препятствия в том, чтобы принять в будущем их пожелания... Когда будет заключен мир между Россией и Портой, тогда решится и положение Сербии, тогда дойдет время и до установления порядка и закона, до введения общего благоустройства. До того времени всякая перемена в управлении страной, а особенно знаменитого коменданта, была бы неминуемо для нее погибельна».

Самой неколебимостью формулировок этого ответа, отправленного Родофиникину, а через него и членам сербского правительства, Прозоровский как бы подчеркивал, что не желает опускаться до разбора личных свойств и частных поступков вождя. Однако механизм оговора, запущенный в Белграде, уже действовал и в других направлениях. Весной 1808 года сюда к Родофиникину прибыл с курьерским поручением из Молдавии Дмитрий Бантыш-Каменский, двадцатилетний сын известного историка, в будущем и сам историк. В 1810 году в Москве увидела свет его книжка «Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию», помеченная инициалами Д. Б. К. Сочинение свидетельствовало о неопытности начинающего автора, о беглости его путевых впечатлений и о том, что, находясь несколько дней в Белграде, он полностью внимал мнениям Родофиникина. В том числе и когда речь заходила о Карагеоргии, которого сам Каменский не видел, но написать о столь экзотической, в его воображении, фигуре очень хотел. На страницах своей книжки, посвященных Карагеоргию, он почти дословно использует, будто списывает под диктовку, многие рассуждения Родофиникина и не раз ссылается на последнего. Говорит о неограниченной власти вождя, о его чересчур суровом сердце, о пристрастии к ракии, о бессудном повешении родного брата. Но начинает рассказ, конечно, с истории отцеубийства. Причем событие это, по неведению, из 80-х годов XVIII века перемещает ко времени начала восстания. Тут снова используется уже частично нам известная (по Светичу) версия об отце, который возмущен насилиями, творимыми сыном, и потому решается выдать его туркам.

«Тщетно Черный Георг, — пишет Каменский, — умоляет его; он не внемлет его представлениям — отправляется в Белград. Черный Георг следует за ним — в последний раз просит его воротиться; старик упорствует в отказе — и наконец сын находит себя принужденным застрелить отца своего!» Но в других подробностях Каменский расходится со Светичем. Русский автор не изображает мать Георгия подстрекающей к убийству. Наоборот, она упрекает сына за содеянное.

«...Настоящее имя его Георгий Петрович; зовут же его Черным не по смуглоатому лицу его, а потому, что в то время, как он убил отца своего, мать его дала ему сие название».

Так, на шестом году Сербского народного восстания против турок появилась в России первая «биография» Карагеоргия, содержанием которой Родофиникин мог быть вполне доволен. Его интрига против сербского вождя становилась теперь достоянием не только дипломатических кабинетов и военных штабов, но и русского читающего общества

2. Карагеоргий в России

Если бы русское читающее общество получило в те годы в свое пользование не поверхностную брошюру Д. Бантыш-Каменского, а, допустим, большой том военно-дипломатической переписки Карагеоргия с главнокомандующими Молдавской (Дунайской) армии И. Михельсоном, А. Прозоровским, П. Багратионом, Н. Каменским, М. Кутузовым, П. Чичаговым, с русскими генералами, действовавшими в составе этой армии, И. Исаевым, М. Милорадовичем, Е. Цукато, А. Засом, О. Орурком, А. Войновым, Е. Марковым, М. Булатовым, а также его обильнейшую переписку с сербскими воеводами и старейшинами, дипломатами и торговцами, священнослужителями и сельскими управителями, наконец, его письма, обращенные к Александру I, Наполеону, Францу I, Петру Негошу I, — русский читатель увидел бы совершенно иного Карагеоргия. Увидел государственного мужа, наделенного даром стратега и дипломата, неиссяка-

ющей волей и поразительной энергией. Увидел воина, молниеносно переносящегося с одного театра военных действий на другой, отважно кидающегося в гущу боя. Увидел его завидную осведомленность, отличное знание нужд своей земли, ее географии, ее людских ресурсов и природных богатств. Увидел его умение вдохновлять людей, поддерживать растерянных, выискивать в народной среде одаренных военачальников и давать им простор для роста и возмужания. Увидел его умение не только командовать, но и исполнять команды, когда речь шла о совместных с русскими отрядами операциях...

Увы! История никогда не спешит с обнародованием военно-дипломатических архивов. В случае с Карагеоргием эта медленность сослужила ему совсем худую службу. Если не считать стихотворения Пушкина «Георгий Черный», русское общество не прочитало в XIX веке об «отце Сербии» ничего путного. Еще реже вспоминала Россия это имя в XX столетии. К стыду своему, мы прошли и продолжаем проходить мимо этого имени. О великом сыне славянства, о национальном герое православной Сербии мы знаем меньше, чем о какой-нибудь Марине Мнишек. Мы все еще не спешим удостоить своим вниманием человека, который любил Россию, помогал ей неустанно в борьбе с общим врагом, почти до последних дней надеялся, что и она ему поможет от своих великих щедрот. Но так и не дождался. Хотя и с запозданием, но надо все же попытаться выяснить, почему так произошло.

... Ну, и так далее... Я же предупреждал, Петрович, это чтение хотя и про тебя, но не для тебя. Узнаешь ли ты тут себя, не знаю. Написано, как погляжу, в основном деревянным каким-то и казенным языком. Об такой язык, пожалуй, и черт ногу сломит... Тьфу! Зря это я помянул лукавого. У нас говорят: кто лукавого поминает, к тому он и заявляется. Особенно к ночи. А теперь как раз самая ночная глухомань... Тут у вас, у сербов, есть хороший народный обычай: когда пьют что-нибудь крепкое, то обязательно сначала перекрестят стаканчик, а потом уж к губам подносят. Крестят, чтобы нечистая сила в стаканчик не засела. А я все забывал стаканчики свой знаменовать, дай хоть этот перекрещу. И выпью за то, чтобы Антонов научился писать получше. Хотя бы так, как Стручняк пишет. А не так, как этот родофиникинский мальчик Бантыш-Каменский... Вперед!

...в самую ночную глухомань

Ты, наверное, думаешь теперь, Петрович: а отчего это их всех заклинило на убийстве отца?

А оттого, скажу тебе, что и ты, как я догадываюсь, всю жизнь носил в себе эту непереносимую муку. И, ловя на себе настороженные, укоризненные или сочувствующие взгляды людей, знакомых и незнакомых, напрягался сразу: в этот миг они думают как раз о твоем посягательстве на жизнь отца.

Я там не стал приводить еще один рассказ, и наверно зря. Он именно о том, как ты пытался освободиться от пожизненной своей муки. Рассказывает очевидец, и ты, надеюсь, подтвердишь, что все так и было. Или почти так. Он говорит, что в 1796 году, когда ты из Австрии вернулся в Сербию и пришел в свою Тополу, то на Благовещение отправился в Рудник, в тамошний монастырь, где был как раз большой престольный праздник, потому что и монастырь звался Благовещенским. И ты привез архимандриту 200 ок хлеба, 200 ок ракии и 200 ок вина (в вашей оке будет побольше, чем в килограмме, не помню точно, но кажется, сверх килограмма еще почти целый фунт). И это все, сказал ты ему, отдаешь за помин души своего отца.

И тогда же, во время церковной службы, архимандрит сказал всему народу:

— Братья! Здесь между нами стоит один человек, который в великом несчастье своем приказал своему другу, чтобы убил его родного отца. А сейчас хочет по своему отцу справить панихиду и молится народу своему, чтобы простили ему тот грех и помолились бы Богу, чтобы и Бог ему простил!

— Мы ему прощаем и молим Бога, да и Он ему простит, — отвечал народ.

И тогда же, после панихиды, возле церкви, с благословения архимандрита, люди поели и попили привезенное Георгием за помин отцовой души.

Теперь такое, Петрович, у нас мало кто понимает. В циничные наши времена такой рассказ у многих еще, пожалуй, и ухмылку вызовет: ишь, мол, как все просто и грубо — накормил всех, напоил, вот ему сразу и грех долой...

Но мне сквозь ту простоту и грубость общего прощения и заупокойной трапезы видится даль времен, когда народ был одна большая Душа и когда эта Душа, чтобы облегчить муку грешного человека, делила этот его грех, как хлеб делят на ломти, и все вкушали и запивали вином, чтобы ему стало легче.

А потому, Петрович, не перечь и мне теперь выпить за помин твоего отца... за души праотец, отец и братий наших и пусть они себе мирно почивают там, идеже несть болезнь ни печаль ни воздыхания, но жизнь бесконечная.

Народ тогда тебя простил и принял вместе с хлебом и вином ношу твою на себя, но я-то, спрашивается, кто таков, чтобы поступать так же? Потому не стану-ка я брать на себя неположенное, а просто помяну, Петрович, твоего Петра или Петронию, — ведь и ракия из твоего родового подвала, и хлеб на столе сербский.

Народ-то тебя простил и твою боль отпустил, и никогда тебя из-за отца не попрекал, как и теперь, кого ни спросишь, никто не хочет особо на эту тему распространяться: коли прощено, то как бы и не бывало. Но то среди своих, а среди чужих — совсем не так. Чужие постоянно на тебя глядели с особым вниманием и ожиданием еще чего-нибудь в прежнем роде: ага, вот он, тот самый, который... ну-ка, ну-ка...

Интересно, какой у тебя был самый счастливый, самый удачливый год в жизни? Тебе видней, конечно, но мне почему-то кажется, что это время наступило после того, как Родофиникин, испугавшись приближения турок, позорно бежал из Белграда августовской ночью 1809 года. На следующее утро ты прискакал в полупустую столицу в страшном удручении. Как же так! До последних дней министр клялся и божился, от своего имени и от имени Прозоровского, что вот-вот придут из-за Дуная на подмогу русские отряды. А теперь министр шлет ему с австрийского берега Савы письма с нахальными оправданиями и еще более нахальными требованиями переправить кинутое им в Белграде добро. А вскоре поступает весть из штаба русского главнокомандующего: Прозоровский скоропостижно скончался. И нет бы своей смертью помереть, говорят, отравился.

Положение Сербии с каждым часом все отчаянней. Турки ободрились бездействием русских и подпирают сразу с трех сторон: с запада, из-за Дуная и с юга... Но такая обстановка, странное дело, как раз по тебе. Тут ты начинаешь жить в полную силу, дышать спокойно и глубоко, поглядывать на незримого супостата с презрительной веселостью. Ты усаживаешь всех наличных писарей за столы и слышишь, как электричество трещит из-под их перьев. Так! Родофиникину... Что бы это значило?.. если получили приказ о своем прибытии, прошу, и мне его представьте... а если не имеете от Вашего двора приказа, то прошу вернуться... Ожидая почтеннейшего ответа, остаюсь и проч.

Что? Не добавить ли Родофиникину чего-нибудь для этикету? Ну, добавьте, что, мол, народ почитал его как отца своего, а он... и так далее.

Так! Теперь воеводе Петру Добриньцу... я думал, вы собирались совокуплять войско и выступать против неприятеля, а нынче, дошед в Белград, узнаю, что убежали в Панчево... Не могу уразуметь, что все это значит и что с вами учинилось... кое-куда, по душу твою... ну, это не пишите... Мы намерены во имя Божие бороться с неприятелем до тех пор, пока и малейшая есть возможность, а вы коли захотите вернуться, то следуйте в Смередево, собирайте войско и выступайте берегом к устью Моравы. Остаюсь и так далее.

Так, кое-куда... Его превосходительству генерал-майору Исаеву... Родофиникин внезапно нас оставил... Я при моем приезде сие утро в Белград весьма ужаснулся, тое услышав... За то прошу, Ваше Пр-во, наставите нас, что нам в таковом случае делать...

Так! А теперь — барону Симбшену... Пусть и австрийцы помогают, если

не хотят, чтобы турки снова из белградского Калемегдана выставили против них свои пушки... мы от начала нашей войны более верного и милостивого не имели, кроме Вашего светлого австрийского двора... и потому снова Вашему двору себя препоручаем и молимся, чтобы вы наших сирот не позабыли... ожидая день и ночь милостивый ответ, и проч.

Так! Кое-куда... Шарлю Леду, французскому консулу в Бухаресте... Милостивый господин! Доставитель этого письма к Вашему господству от народа сербского Радо Вученич намерен устно Вам объяснить, имейте ему полную веру и благоволите усердствовать его предложению. С истинным почитанием пребываю и проч...

Ну, кое-куда... а теперь то, о передаче чего по назначению наш Раде попросит устно консула Леду... Ваше Императорское Величество! Слава оружия и подвигов Вашего Величества разнеслась по всему свету. Народы находят в августейшей особе Вашей избавителя и законодателя своего... Монарх! Обрати взор свой и на Славено-Сербов, в которых найдешь мужество и верность благодетелю... В надежде, что Ваше Императорское Величество всевысочайшим ответом осчастливите, и проч.

Вот именно, Наполеону! Почему бы и не ему? Он теперь союзник русского царя Александра, после того как подрались при Аустерлице и помирились в Тильзите... Не мальчишество ли это, не наивность ли — писать Бонапарту и просить у него покровительства? Причем на третий день после того, как писали в Петербург Александру, прося скорейшей помощи живой силой, потому что турки сделали сильнейшие бреши на границах...

Пусть мальчишество, пусть наивность. Но, может, это последний сербский вопль перед погибелью — на глазах у великих монархов Европы... *Великие* и *малые*. В великие уши крики малых слабо долетают. Великие привыкли слышать в первую очередь великих же. Ты познал уже, какова эта доля — родиться среди малых и ничтожных мира сего. Таковых не привыкли замечать, а если и замечают, то велеречивыми письменными похвалами в адрес пламенного и доблестного единоплеменного и единоверного народа; или перстеньком одарят, или сабелькой, или денежной милостыней, звон которой почти и не слышен, когда долетает она на дно пустой народной казны. И всякий раз, поблагодарив раболепно, приходится тут же униженно выцыганивать новой, большей помощи — оружием, боеприпасами, опытными литейщиками пушек, деньгами опять же.

Слов нет, с 1806 года, когда Россия вступила на Балканах, на Кавказе и на морях в новую войну против Порты, сербское воинство, до того бившееся в одиночку, приободрилось и обнадежилось. И ты не уставал показывать своим людям на восток: Россия идет на подмогу... фельдмаршал Михельсон пишет о новых победах... главнокомандующий Прозоровский шлет порох, олово, ружья и деньги... И уже однажды русские присылали подмогу живой силой и совместно ударили на турок у Малайницы, русскими командовал генерал-майор Исаев, и из его отряда погибло 130 человек, а сербов насчитали двести, но турок в итоге изрешетили и посекли полторы тысячи.

И дальше бы так, плечом к плечу драться, но после той баталии, сколько ты ни просил, все хитрил Прозоровский, уходил от ответа: то ссылался на государя, от которого нет позволения, то на высокую воду на Дунае, мешающую переправить войска, то вдруг раздраженно заявлял, что вообще никаких обещаний о подмоге живой силой от него не исходило, а если что когда пообещал сербам генерал Исаев, то никто ему полномочий не давал.

И вот ты в своих письмах к Родофиникину и Прозоровскому перестал тогда стесняться в выражениях. Когда после тридцатишестидневной осады пал от турок Делиград, ты в гневе написал министру: «Я Вам непрестанно столько раз писал и устно просил, чтобы сообщили господину генерал-фельдмаршалу, да смилуется над этим народом и нам к Делиграду в помощь хоть сколько-нибудь войска подошлет. А Вы не знаю что учинили, и теперь Бог знает, на чью душу грех... на Вашу душу грех за этот народ, что немилосердно пропадает... А сколько имели мы крепостей, все поотнимали турки, и теперь весь грех на Вашу душу. У этого народа только Ваши обещанья: сегодня войско идет к нам в помощь, завтра придет, и там пришли, и тут пришли, и нигде еще с турками не схватились... Еще и теперь, если захотите, можете нам помочь, только бы скорей подоспели войска на помощь».

Эх, Петрович, тоска зеленая! И в голове звенит, как в пустой посуде, перестарался я, кажись, с этим мягким табачком... Но скажи, ты знаешь ли, отчего Прозоровский отравился? Молчишь! Да знаешь ты, знаешь. Ты еще об этом написал тогда черногорскому митрополиту Петру I Негошу, и выразился в том смысле, что отравился он от великого позора, потому что и в России уже узнали, что они тут с сербами натворили, как продали их за семь миллионов дукатов и как те деньги на четырех сообщников поделили... В том-то и дело, что ты мне ничего не ответишь, но задачу задаешь головоломную. Ну, да разведка на то и разведка, чтобы докапываться и до таких мелочей, как эти семь миллионов дукатов и четверо мошенников...

В пустующий штаб русской армии вскоре прибыл князь Петр Багратион. Понятно, это не был еще герой Бородина, но это был участник событий при Аустерлице. Вот от этого срока и начался для тебя самый счастливый год, ну, не год даже, а целых два.

Тут ты, пожалуй, запротестуешь: полно, уж какое там счастье! Ведь хлопот-то не убавлялось, а прибывало. И новому начальству нужно адресовать все те же старые просьбы. И начинать с самой главной: помогите войсками!

Багратион быстро известил тебя: отправлены в Сербию важные денежные суммы, крупные партии оружия, порох, свинец. А в феврале отписал, что готов отрядить на правый берег Дуная корпус генерала Исаева. И точно, в марте последнее сообщение подтвердилось, но за ним пришло вдогон еще одно: сам князь Багратион заменен по болезни новым главнокомандующим.

И теперь уже вместо Багратиона обещал тебе помощь людьми граф Николай Каменский. Правда, уточнил, что не генерала Исаева пришлет, а генерала Цукато.

Этот Егор Цукато, итальянский выходец на русской службе, вскоре засыпал тебя энергичными письмами. Тем временем прошел и обещанный май. Но наконец-то в начале июня русские войска соединились с сербскими, и начались совместные их действия на дунайском пограничье, между Кладовом и Неготином.

Не прошло и двух недель, Цукато донес тебе о решительной победе, одержанной у Прахова. В том сражении отличились и твои молодцы. А в начале июля еще весть от Цукато: взята Брза Паланка. И опять замечательно действовал сербский отряд. Особенно генерал нахваливал «отважного и храброго» Велька Петровича. Ты знал, кого посылать к русским. Из молодых гайдук Велько — лучший твой воевода. Для него воевать что воздухом дышать. Его любимое присловье: лишь бы война не кончилась, пока я жив. Русских Велько просто боготворит. Он из кожи будет лезть вон, чтобы лишний раз отличиться у них на виду.

Так ведь было? Сам знаешь, так... Генералу Цукато ты отвечал, что обеспокоен положением на южном и боснийском порубежьях. И потому вечно ты в разъездах: то к Делиграду скачешь, то на Дрину поспешаешь. Носишься по всей Шумадии, в пыли и в грязи, в жару и в дождь. Кожа на лице полыхает от ветра и зноя. По привычке своей часами молчишь в дороге, никому никаких приказов. Ребята твои назубок знают походную науку: где стать на привал, накормить лошадей, развести костер, разложить на траве узлы с домашней снедью — с хлебом и луком, с каймаком и холодной ягнятиной. Когда спешиваешься, бедный твой позвоночник трещит, как сухая жердина в заборе, ноги непослушны, будто костыли... И все же ты счастливее тех, что спят на пышных перинах и ездят в мягких каретах. У тебя дело делается.

Вон, не успели привезти на поправку раненого Велька, а уже Цукато пишет: как только воевода выздоровеет, ждут его обратно. Недавно снова одержана совместная победа — возле того же Прахова. И на Тимоку выслан русский отряд под командой графа Орурка.

Дело делается — общим дружным напором! Сколько мечталось о таком славном времени! Русские и сербы, как дети малые, рьяно соревнуются в отваге, расторопности, в сметке. В славе, наконец. Это ли не счастье?.. Ну и что, что у русских лучшая в Европе регулярная армия, прекрасно вооруженная, а у тебя — только необученные крестьяне? Они тоже пули

свои не в небо целят. Не зря несколько лет дрались с турком один на один. А чаще так: один против троих или пятерых.

Хорошо пошло дело и на следующее лето, несмотря на то, что опять у русских новый главнокомандующий: жестоко разболевшегося Каменского сменил Михайло Кутузов. К твоим обычным просьбам Кутузов отнесся с пониманием: помог и людьми, и деньгами, и боеприпасами.

На тяжелых весах войны славянская чаша наконец явно стала перевешивать. В июне одиннадцатого года русский главнокомандующий сообщил тебе о своей решительной победе под Рущуком. В Сербии успешно взаимодействовал с твоими воеводами отряд генерала Орурка. В августе ты поздравил его с победой у Видина. Осенью сербы и русские разбили турок под Нишем. И границу на Дрине твои старейшины от зимы до зимы удерживали крепко. Здесь, на боснийском рубеже, особо ощутили вторую, октябрьскую победу Кутузова под Рущуком. После нее Стамбул вынужден был срочно отправлять часть своих сил из Боснии на Дунай — для противостояния русским. В декабре Кутузов написал тебе, что доволен итогами летней кампании и что переводит войска на зимние квартиры.

Никуда не деться, Петрович, ни тебе, ни мне — подходим к году двенадцатому. Тебе-то верилось: он станет последним годом Порты на Балканах. Стамбульская луна бледнела, быстро шла на ущерб. Глядишь, еще один дружный натиск, и Петербург огнями иллюминаций встретит победителей. И твои сербы по заслугам насладятся мирными трудами.

В феврале Кутузов попросил у тебя в личное свое распоряжение сотню сербских конников, обещая поставить их на полное армейское довольство. Что это было: лишнее доказательство того, как высоко русские ценят удаль и бравый вид твоих молодцов? Или причуда старика? Но коли и причуда, отчего не позволить ее себе под конец войны?.. А в мартовском письме главнокомандующий порадовал обещанием выслать очередную партию оружия и зарядов.

А дальше — дальше последовало то, чего ты никак не мог ни понять, ни принять. Вдруг получаешь из Стамбула наглый ультиматум: тебе велят срочно очистить от своих войск пограничные фортификации и впустить турецкие гарнизоны во все главные сербские города. При этом Стамбул ссылается на восьмой пункт мирного соглашения, которое, оказывается, подписано между Россией и Портой в Бухаресте в мае сего года.

Кто помешался рассудком — турки, ты или русские? Что это за дикий мир в самый канун желанной победы? И почему русские ни словом не оповестили тебя о переговорах? Ай да Кутузов! Почему не позвал в Бухарест сербских депутатов? Как это — решить судьбу твоей земли у тебя за спиной? С турок нет спроса — они нехристи. Но Кутузов-то как мог обмануть?

Оказывается, и у Кутузова уже не допросишься. Говорят, срочно отозван в Россию. Новый главнокомандующий, Чичагов, пишет тебе, что мир заключали в страшной спешке, так что и сербов не успели предупредить и позвать. А причина в том, что вдруг гром грянул с нежданной стороны: Наполеон собрал неисчислимую армаду и, поправ тильзитские документы, движет ее к рубежам России. В этой обстановке Государь счел необходимым срочно замириться с турками... И тут же Чичагов храбрится, бойко обещает дальнейшую поддержку, советует послать в Стамбул дипломатов, чтобы на месте выяснить, откуда, мол, столь чрезмерные притязания. А вдобавок еще развивает план дерзкой совместной военной экспедиции через Боснию — к побережью Адриатики. Это после бухарестского скрытного соглашения?! Ну и любитель же помечтать этот новый главнокомандующий!..

Вот и наступил час, когда тебя оставили те, на кого больше всего уповал. Конечно, задним числом ты все мог для себя объяснить. У России своя судьба, свои испытания. Даже если Наполеона не брать в счет, русские сами от турка в разные времена претерпели. Не первую ведут против Порты войну и, может, не последнюю. В конце концов, русские и расписку такую не давали, что на все пойдут, лишь бы сербов из неволи вызволить... И все же напоследок скверно с тобой, Петрович, поступили. Больше скажу: не по-русски поступили. Потому что обязаны были, не имели права не предупредить тебя: так, мол, и так, дела совсем худые, начаты срочные переговоры со Стамбулом о мире, и условия для Сербии могут оказаться в нынешних стесненных обстоятельствах самые огорчительные. Наполеон, может, потому и прет на Россию, что всему Западу слишком неприятны славянские успехи на Балканах... И ты бы все правильно понял, не так ли? Но они промолчали, разыграли все между собой, как мы говорим, втихаря. Когда между большими дела решаются, малые только раздражают их тем, что путаются под ногами, — вот как получилось.

И могла ли тебя после всего этого порадовать весть из Петербурга: по рескрипту императора Александра ты награждаешься орденом Анны I степени? И тот рескрипт вышел, помнишь ли, когда? Десять дней спустя после подписания мира в Бухаресте! Но ты, будь добр, порасторопнее отвечай благодарностью, не дуйся, делай бравый вид, словно всем доволен.

И ты отвечал — а куда деваться-то! — благодарностью. И послов отправил в Стамбул за разъяснениями, наказал им, чтоб тянули время изо всех сил. А сам начал готовить Сербию к новой мобилизации: расписал всем воеводам, кому сколько выставить войск по границам, велел призывать не только землепашцев, но и купцов, и священников, и монахов, а зерно закапывать в землю, скотину прятать в лесах.

А когда в следующем году турки все же ударили — с юга, запада и с востока, — ты и тут не пал духом. И воеводам своим не позволял отчаиваться. Подбадривал их тем, что русский царь уже прогнал Наполеона из земли своей, гонит его, теперь уже вместе с немцами, и дальше, и вот-вот придут сербам на подмогу русские полки.

Была ли та подмога уже отправлена или только затевалась (или только тебе привиделась?), — не успела та подмога.

Не успел и ты, — после того как турки проломили с юга оборону, — с последним своим отчаянным намерением не успел: вывести всех живых сербов, не только воинов на великий исход в Россию (царь однажды пообещал, в случае катастрофы, дать убежище и землю целому твоему народу).

Лишь с малой горсткой воевод, намыкавшись по австрийским отсидкам, где тебя уламывали присягнуть на верность венскому двору, ты пересек наконец русскую границу. Вас всех расквартировали в Хотине — на правах эмигрантского правительства.

...Не хмурься, Петрович, я ведь предупреждал: эта история не для тебя, тут все тебе слишком известно, от корки до корки. Но все же напоследок постараюсь сказать то, чего ты о себе, кажется, так и не знаешь.

Итак, в середине апреля ты прибыл из Хотина в Петербург — с надеждой получить аудиенцию у императора. Ты предполагал: ну, неделя, ну, другая, даже третья, и встреча вскорости состоится. Александр подтвердит твои права верховного коменданта Сербии, определит размеры военной и прочей помощи, напутствует на возвращение домой, где твой воевода Милош Обренович уже поднял прошлым летом новое восстание.

И ты был принят императором. Но не через неделю, даже не через месяц. Как попрошайка на паперти, ты прождал в Петербурге половину весны, целое лето, почти всю осень. Ты был принят только 12 ноября!

Ну, что тут сказать? Одно лишь слово скажу: стыдно! Мне стыдно, Петрович, что с тобой так поступили. В ожидании встречи ты составлял царю пространнейшие отчеты с изложением событий в Сербии после Бухарестского мира. Ты и разным придворным лицам написал десятки писем, умоляя похлопотать за тебя перед Его Императорским Величеством или просто вымаливая деньги в долг, — не побираться же тебе, право, возле петербургских храмов.

Да, тебе подбрасывали денежные пайки. Тебя обнадеживали, объясняя разные важные причины, по которым царь пока не может тебя принять. Тебя даже пристроили на сеансы к придворному портретисту Боровиковскому, и он постарался так, что каждая парчовая ниточка на твоем генеральском мундире сияла, а лицом ты помолодел лет на десять, из седого усталого полустарика превратился в жгучего брюнета-орденоносца. Одно лишь не удалось портретисту — скрыть обиду в твоих глазах.

Тебе портили кровь всяким благими пожеланиями: например, поселить тебя и всю твою хотинскую команду на постоянное жительство в богатой Новороссии, и ты, чтобы перехитрить придворных хитрецов, давал письменное согласие и на это, хотя знал, что умрешь только в Сербии.

Ты, наверное, перебрал тогда в голове сто причин, из-за которых импе-

ратор не спешит тебя принять. И ты, думаю, больше сосредотачивался на том, что раз ты теперь не у власти, а в Сербии объявился новый вожак народный, то ты для Петербурга — отрезанный ломоть. Согласен, соображение немаловажное.

Но у Александра было и другое на уме — не знаю, догадывался ли ты о том. Я нутром чувствую: ему было малоприятно думать о предстоящей аудиенции. Может, он и сам себе в этом не признавался, но ему было как-то не с руки тебя принимать. И по самой простой причине: для него за именем твоим стояла тенью дурная слава отцеубийцы. Прямо сказать, ему очень не хотелось, чтобы ты лишний раз напомнил ему, что он сам — отцеубийца. Да-да, ему очень не хотелось принимать человека, который бы поневоле разворошил в его душе угрызения совести, память об убиенном родителе — императоре Павле. Ведь Александр-то, в отличие от тебя, не каялся перед народом своим, а грех его был стократ тяжелей твоего: вместе с жизнью он отнял у отца еще и великую власть. Как знать, не за этот ли нераскаянный грех Господь и покарал Россию Наполеоном?

А то, что Александр всю твою семейную подноготную держал в уме, — уж в этом-то будь уверен. В его окружении предостаточно водилось шептунов разного калибра.

Да что говорить! Сейчас вот еще немного приму для бодрости, и мы с тобой вспомним всего-навсего одну персону. Хотя и неприятно ее вспоминать на сон грядущий. Но никуда не денешься, нужно. Потому что он, опасаюсь, очень даже для тебя постарался своим шепотком.

Скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь о Нессельроде? Вот именно, о Карле Нессельроде? Ты помнишь его. Ты с ним переписывался в разные годы, а под конец даже и виделся. Что ты думаешь об этом карлике с тоненькой улыбочкой на жабьих губах, об этих его подслеповатых выпученных глазках? Он всегда был так почтительно, так безукоризненно ласков в своих письмах к тебе, не так ли? Он изо всех силенок для тебя старался... Так вот, Петрович, этот самый Нессельроде — одна из самых гадких персон за всю историю России. Он трудился у нас при трех императорах и поднимался все выше и выше, медленно, но неуклонно. Его опасались, его тихо ненавидели, его проклинали в приватных беседах все лучшие люди тогдашней России, но ничего не могли поделать, потому что при дворе он почему-то пользовался неизменным расположением и все лез и лез в гору. Государственный секретарь, министр иностранных дел, вице-канцлер, канцлер наконец! Шутка ли? И он так умел прятать концы своих темных делишек в воду, что теперь очень даже непросто совокупить все улики, хотя их — сотни. Кто-то из его русских современников сказал даже с тоской, глядя на таких, как Нессельроде: а знаете, господа, в России после Петра русская партия никогда не была у власти!.. И, увы, этот терпеливец почти прав. Он почти прав и по нынешний день. Казалось бы, невероятно, немыслимо, но так оно и есть: в России русская партия в последние века почти никогда не бывает у власти. Ты не поверишь, конечно: да как возможно такое в России, в великой русской России? Но в том-то и дело, что, оказывается, возможно. И не зря другой русский умный и грустный человек, писатель, заметил: «Для России нет невозможности». Понимай, как хочешь.

А я так понимаю и так постараюсь объяснить: какая-то роковая щелка есть на самой поверхности русской власти, и в эту щелку постоянно пытается какой-нибудь чужачок запрыгнуть. И уж как зацепится за краешек, долго его потом из той щелки не выковыряешь. Он там угреется, распарится, пустит корешки. Глядишь, уже не щелка — целая дырица. И такие в той дырище гуляют миазмы, что хоть нос затыкай. И вроде страна на вид все та же — сильная, бодрая, подвижная, здоровая, и народ — не простофиля, но та дырища уже до самой преисподней продырявилась, напрямую сообщаются. Очень опасаюсь, что мы с этой щелкой-дырищей так до конца света и пребудем. У больших и болячки большие.

Это я не отвлекаюсь, Петрович, это я все о наших нессельродах. И о наших мягкоухих властителях, которые страсть как любят послушать шепоток из щелки. И даже нос при этом не затыкают. Помнишь, как Нессельроде клялся тебе письменно в любви к сербам? Но знай: между своими он вас именовал не иначе, как бандитами. Не веришь? Могу сослаться на архивные

источники. И еще он ненавидел всяких там панславистов. Тоже могу сослаться на документ. Этот холодный, как рыба, подагрический коротышка, гурман и обожатель виста, был пламенным англофилом, нежным франкофилом, верным австрофилом, а русофобия перла из него настолько, что он так и не научился сносно говорить и писать по-русски. Этот серый канцлер, тихонький, улыбчивый, аккуратный и злой, как шершень, умел доводить русаков до бессильной и богохульной ярости, как в случае с поэтом Вяземским, который писал поэту Жуковскому: «Конечно, Русский Бог велик; но ведь я же сказал, что Русский Бог — Бог в особенности немцев и прибавлю: Бог подляшек, Бог играющих в вист с Нессельродшею...»

Заметь, у русских писателей с этим Карлом особые были отношения. Они называли семью Нессельроде «петербургским ареопагом космополитизма», а самого канцлера кликали так: Кисель-вроде. Он замешан в убийстве Пушкина и в гибели Грибоедова. Он повинен в неудачах русской политики в Персии, в Средней Азии, на Дальнем Востоке и в Крыму. Суд над ним еще не состоялся. Но уверяю тебя, высветится и эта щелка-дыра. Будто опасаясь суда прижизненного, он всю свою семейку загодя вывез в Европу. И он, как и положено таким, очень почитал золотишко и играл по крупной: вместе с Бенкендорфом вкладывал деньги в торговые и транспортные кампании, заключал торговые сделки с домом Ротшильдов. Тоже есть документы.

А вот твое петербургское дело настолько прозрачно, что и документы никакие не нужны. Уж к твоим-то мытарствам в столице этот карлик ручку свою приложил, будь уверен. Ведь аудиенция твоя проходила как раз по его ведомству — через министерство иностранных дел. А в этом ведомстве трудилось, ой, как много всяких домашних иностранцев. В том числе и твой великий «друг» Родофиникин отсиживался здесь после своего фиаско в Белграде. И ведал как раз сербскими делами! Хорошая парочка, правда? Нессельроде, Родофиникин... Даже фамилии чем-то родственные, не улавливаешь? Собрать их вместе, и получается *Нессельродофиникин*. Последний, конечно, был птица помельче, и карлик совал его по таким делам, где сам не хотел засвечиваться.

Вот и твой сюжет они, догадываюсь, вдвоем разыграли. Ты помнишь, конечно, кто именно пришел к тебе 11 ноября 1816 года, чтобы сообщить радостную весть, что завтра тебя принимает русский государь? Да, к тебе пришел Родофиникин. Ты тогда, наверное, просто оторопел от такой наглости. Ведь во все эти восемь с половиной месяцев твоего петербургского томления он и носу к тебе ни разу не совал, будто и нет его в городе. А тут заходит и объявляет, что на аудиенцию к Александру тебя уполномочен сопровождать именно он. Тебя эта весть будто в холодную невскую воду швырнула. Уж я не знаю, сомкнул ли ты в ту ночь глаза? Так небось и не сомкнул.

Не оттого ли и мне теперь все никак не спится... Впрочем, погоди-ка, один занятный документ в моем «Разыскании» все же есть.

...будь время, я бы прочитал всего Стручняка; кое-что о непобедимости русской народной разведки

Странно, очень даже странно! Тут у меня было еще страниц пять или шесть, куда это они испарились?.. Все остальное, можно сказать, коровья жвачка рядом с этими страницами и с этими документиками... Стручняк, это его разгильдяйство! Точно, вспомнил: я недавно тут давал их почитать Стручняку, а он, растяпа, не удосужился мне вернуть... Придется еще раз лезть в его синюю папку, рыться без спросу в святая святых друга-разведчика. А что, шпионить, так уж на полную катушку. Он сам виноват, что не отдал чужое... Ахтунг! Внимание! Нужно сосредоточиться, чтобы ничего не перевернуть вверх дном в его «Генерале Гамлете». Ну и пижонское же названьице! Я бы на его месте просто назвал: «Генерал Михайлович». Этот генерал вовсе не нуждается, чтобы пристегивать его к чьей-то славе.

Так, эту главу я уже читал. Далее — разложим все по порядку: «Английские разведчики в гостях у Михайловича и Тито». Это интересно, но нету времени...

«Список Z». Не знаю, не знаю, что за список такой.
«Немцы назначают цену за голову Михайловича».
«Четнические воеводы».
«Михайлович в Черногории».
«Михайлович в Боснии».
«Как Тито манипулировал эпическими цифрами». Интересно, как? И что это за «эпические цифры»? Будь время, пробежал бы и эту главку, тем более, тут, вижу, появляются Сталин и Димитров. Вот оно что: Сталин даже упрекает югославских товарищей в том, что они сильно преувеличивают относительно численности своих партизанских бригад. Занятно, откуда Стручняк добыл такие подробности? А-а, теперь понятно: это он цитирует воспоминания Джиласа... Мои партизаны, говорит Сталин Джиласу, тоже сперва называли очень большие цифры, — пока не наладилась воздушная связь с центром... Поехали дальше:
«Быть или не быть Югославии».
«Сын маршала Конева у четников». Даже так?
«Четник на Лубянке». И такое бывало?
«Черчилль обманывает югославского короля». Послушай, Стручняк, перестань интриговать своими названиями!
«Большие предают малых». Этого — сколько угодно!
«Облава на Михайловича».
«Никола Калабич как подсадная утка».
«Судилище»... Ну, кажется, последняя глава. Думаю, все вместе потянет на двадцать печатных листов. Но кто и где станет это печатать? Сколько же он, бедняга, затратил времени на своего генерала?.. Один московский художник пожаловался мне: вы разглядываете мою картину на выставке, в среднем, одну минуту, а я над ней бьюсь, в среднем, год, — именно поэтому мы никогда не поймем друг друга... Так вот и я — еще не знаю своего Стручняка.
А это что за приписка? Да еще и стихотворная. О, тут он упоминает и мою личность. Ну-ка, ну-ка!

Отель «Унион»

Команда шпионов —
Стручняк и Антонов —
Внедрилась в отель «Унион».
Антонов у нас
Чемпион средь шпионов.
Стручняк — тоже крупный шпион.

Разведки всех стран,
Вы теперь не при деле.
Такой вам не снился урон.
Стручняк и Антонов
Гуляют в отеле.
От русских дрожит «Унион».

Разведки всех стран,
Вы зазря суетились.
По вас уже слышится звон.
Стручняк и Антонов
Надолго внедрились
В шикарный отель «Унион».

Джеймс Бонд и другие,
Славайтесь заране!
Уж близок ваш полный капут.
Из стен «Униона»
Два русских шпиона —
Стручняк и Антонов грядут!

Да, ничего не скажешь, ловко он меня разыграл. Этот хитрованец сообразил, что рано или поздно я не справлюсь с зудом любопытства и зароюсь в его рукопись. И, конечно, попадусь в этот маленький стихотворный капкан. Кстати, вот сбоку еще одна строфа. Впрочем, нет, это самостоятельная вещица, так сказать, простая констатация всем очевидного факта:

Конфуз на конфузе.
Шпион на шпионе.
Мы жили в Союзе.
Теперь — в «Унионе».

То, что Стручняк у нас шутник, это давно известно, но я не догадывался, что он еще и ловкий рифмоплет. Вполне приличные куплеты, их даже можно положить на музыку и вместе с нотами вручать каждому жильцу «Униона» как рекламу гостиницы. Если бы Стручняк был более деловой.
Однако шутки в сторону, где мои-то странички?.. Ну, тут идут сплошные белградские телефоны. Еще телефоны. И еще телефоны. У него тут, как я посмотрю, обширнейшие связи. Вон — даже домашний номер самого Драгоша Калаича... Спокойно, Стручняк, я не настолько опустился, чтобы рыться в твоих телефонных тайниках. По одному телефону я уже по твоей просьбе позвонил, а остальные мне без надобности...
А это что еще за филькина грамота?.. О, это нечто! Ведь это тот самый знаменитый список товаров первой необходимости, которые Стручняку поручалось купить в Белграде на его громадный гонорар, оказавшийся мыльным пузырем. Документ, что и говорить, деликатный, интимный. Поэтому я его тоже откладываю в сторону. Хотя в будущем он мог бы представить немалую ценность для историков русской народной разведки. Пусть бы они поглядели, в какой мы жили нищете. Что, наверное, сразу бросится им в глаза, как и мне сейчас бросилось, — это большие стручняковские надписи красным фломастером напротив наименований несостоявшихся покупок, из чего видно, что бедолага загодя готовился к нелицеприятному разговору с тещей и женой и придумывал хитрые, как ему казалось, отговорки, например: «нет в продаже», «в продажу не поступало», «вышло из моды», «распродано». И только два или три раза напротив каких-то мелочей — мелькает торжествующее «купил». М-да, на опасных тропах интеллектуальной разведки Стручняк — сущий лев, но боюсь, что перед тещей своей он всего лишь жалкий ягненок. Так она ему и поверит, что тут, в Европе, все «распродано» или «не поступило в продажу».
Но зачем же он здесь-то оставил этот свой липовый документ? А ну как перепутал спьяну страницы и вместо оправдательного списка прихватил мое добро? Вот пусть только потеряет, голову ему сверну!
Так-так, тут еще что-то имеется. Но, увы, и это вижу, не мое. Хотя, как сказать, — отчасти и мое. Об этих материях мы тут с ним не раз говорили. Что он и подтверждает, ссылаясь на мою персону. Мелочь, а приятно...
«**Героизм в старой и новой Сербии.** Ант. сказал вчера, что в записи Гильфердинга имеется живописнейший отрывок об участии Милоша Обилича в Косовской битве. Копье у Обилича было такое длинное, что он его при необходимости использовал как шест, перепрыгивая через целые толпы турок.
Серб новых времен, как и старых, на вопрос о его национальности с полным правом может ответить: «Герой»».
«**Обилич — разведчик.** Чтобы убить султана, Милош Обилич проникает в турецкий стан, в ставку Мурата, по внешности как перебежчик, изменник, а по сути, как лазутчик, разведчик. Говорили с Ант., что это, может быть, первый разведчик в славянском героическом эпосе».
«**Мать Обилича.** Вук Караджич в прошлом веке записал рассказ, объясняющий прозвище Косовского героя (поскольку в эпических текстах встречается еще и другое имя — Кобилич). Царь Стефан и его свита, удивленные необыкновенной силой мальчика-пастуха, встреченного во время охоты, идут за ним и попадают в хижину, где мать Обилича месит тесто. Мальчик просит у нее пососать из груди, и она, чтобы не отрываться от работы, перекидывает правую грудь (дойку — по-сербски) через левое плечо, а левую грудь через правое, и сын сзади сосет. Пораженный этим телесным обилием его матери, царь и дает ребенку имя Обилич».
«**Смысл героизма** — в стоянии за Отечество, за идею Отца. Служение героя, если он даже не догадывается об этом, есть молитва Отцу Небесному. (Подумать о Др. Михайловиче: в XX веке офицер, читающий «Отче наш» — какая редкость и какая красота!)»

«Герой — это подвижник. Кого мы называем героем? Того, кто подвиг совершает. Но подвиг, в понимании церкви, это проявление святости. Святость понимается как подвижничество, и святой именуется **подвижником**. Подвижники — герои церкви. А герои — подвижники мира. Героизм по сути своей религиозен. Вот почему напрасны усилия иных наших псевдоинтеллигентов, богословствующих в том смысле, что героизм — что-то второсортное рядом с подвижничеством и мученичеством за веру».

«Драгиша Васич о героизме. В своей первой книге «Характер и менталитет одного поколения» (1919) Васич, будущий соратник ген. Михайловича, спрашивает: являются ли сербы народом-воином? В чем проявляется героизм вообще и в чем состоит героизм сербов? В отличие от иных европейских поверхностно-романтических серболюбов он, имея за спиной достаточный военный опыт, вовсе не считает сербов народом ратников. Добыв себе в XIX в. свободу и оценив ее блага, сербы возлюбили труд. Тут у Васича игра сербских слов, их противопоставление: **рат** — война и **рад** — труд. Но история сербов складывается так, что они то и дело принуждены воевать, чтобы защитить свой **рад**, возможность возделывать землю. В любви к земледельческому труду видит он исток и главную подпитку сербского героизма. Вот в какой последовательности Васич представляет героические качества своего народа:

«Героизм это прежде всего здоровье... Легендарные герои — люди геркулесовской силы... А иметь геркулесовскую силу значит иметь веру в свою мышцу, в телесную мощь, в себя самого».

«Героизм это скромность...» Тут под скромностью Васич разумеет неприхотливость, выдержку, умение приспособиться к любым, самым невыносимым условиям военного быта, способность выстрадать и претепеть все.

«Еще одна важная особенность серба-героя в том, что он не склонен много размышлять о смерти и потому мало ее боится». «Он не был героем, чтобы погибнуть, но героем, чтобы выжить; он герой оптимист».

А под конец так говорит: «Он весь в крови — героизм сербов; их героизм это героизм христианский. Целый народ поступил так, как почти две тысячи лет тому назад поступил один человек».

Васич был сыном своего народа».

«Говорили вчера, что XX век откроет, наверное, только два пути: или путь Героизма в богочеловеческом спасении мира, или путь «бессмертной пошлости людской», когда окончательно оформится популяция клыкастого двуногого потребителя, «экономического животного», как называет его умница Драгош Калаич».

Да, Петрович, говорили мы со Стручняком и об этом, и не раз говорили. Видишь ли, все эти американские, английские, немецкие и еврейские соглядатаи думают, что если два русских разведчика сидят за бутылкой, то разговор у нас только о бабах, — и потому практичные эти ребятки из экономии отключают на это время свои записывающие устройства. Но мы, когда выпиваем, беседуем о героизме. И им этого никак не понять. Все эти хваленые Джеймсы Бонды, когда подопьют, болтают только о бабах и бабках. То есть прикидывают, кто им больше заплатит. Им даже невдомек, что в войне разведок выигрывают бессребреники, бескорыстные идиоты наподобие моего Стручняка. Они не возят с собой чемоданы долларов и потому легки на подъем и появляются в самых неожиданных местах, там, где их совсем не ждут. Мы не ищем от своего дела никакого экономического барыша, никаких процентов, никакого денежного навара. В этом и состоит один из главных секретов нашей непобедимости... Ты спросишь: а как же этот Стручняков гонорар, которого он тут так домогался? А что гонорар? Это его обычная зарплата: напечатался — получи. Только печатать его, как ты знаешь, никто не собирается, и, значит, свою кровную зарплату он вряд ли скоро получит.

Но если мы представим себе, что кто-то ласковый подкатывает к Стручняку и говорит ему на ушко: «Послушайте, братец, мы через месяц напечатаем эту вашу многострадальную гениальную рукопись и заплатим за нее в три раза больше, чем принято в других издательствах, только вычеркните там у себя два-три моментика». — «Например?» — настораживается Стручняк. «Ну, например, зачем вам сосредотачивать внимание на том, что Тито, оказывается, был еврей, а не хорват? Оставьте его хорватом. А лучше всего вообще не упоминайте его национальности. А то читатели еще подумают, что вы намекаете на какой-то жидо-масонский заговор против Сербии...» — «А может быть, они еще подумают, что я — антисемит?» — «И это не исключено». — «Но я не пишу для таких глупых читателей, и не стоят они ваших дополнительных расходов...»

Есть и еще один секрет нашей неуловимости, а значит, непобедимости. Ты, наверное, думаешь, что русская народная разведка — это какая-то группа, банда, шайка, тайная организация, подпольная фаланга, партия, наконец. Но в том-то и дело, что это никакая не организация, никакого устава, никакого начальства, никакого членства, никакой структуры, полная самостоятельность и самодеятельность, полная свобода в выборе дела, которому себя посвящаешь. Каждый отвечает только за себя, за свое, но все вместе — за Отчизну. Я и сам, Петрович, внутреннс морщусь, когда приходится употреблять слишком патетические выражения, но все же мы надеемся, что не зря коптим русское небо и что нас не отнесешь к разряду этих самых «экономических животных»... Итак, мы достаточно неуловимы, нас невозможно «накрыть» всех сразу, потому что мы и сами-то не знаем, сколько нас всего. Можно, конечно, уничтожить одного, другого, третьего, но тут начинает действовать правило евангельского зерна. Ты его отлично знаешь, это правило: зерно погибает, чтобы дать плод сторицей. На место одного встает сто новых. Это не хвастовство мое, не бахвальство, я просто видел, что так бывает.

Откуда берем новых людей? Каждый русский человек, осознавший однажды, что он не «экономическое животное», — этот человек по собственному хотению уже вступил в РНР... Но еще раз уточняю, Петрович: такой организации нет. Разведка есть, а организации никакой, дух дышит, где хочет. Но вовсе не там, где золотишко, привилегии, ордена, звания, восторги толпы, жвачный интерес. Мы есть, но нам не нужна никакая конспирация, потому что нас нет.

Прости, Петрович, я, наверное, сбивчиво объясняю. Это потому, что сам предмет не простой, а кроме того, я страшно устал... Я-то думал, что улягусь спать, как только согреюсь, но этот твой напиток — ужасно возбуждающая штука, и вот только теперь усталость вдруг меня шибанула, будто кувалдой по голове, и я уже не помню, где я и что тут тебе молол, и куда валит меня то ли бортовая, то ли кормовая качка...

...уже часы читают: о, одиночество! о, нищета!..

Все-таки я не удержался, Петрович, и вот снова шляюсь по ночному «Униону». Сам не разберу, что тянет меня в эти узкие слабоосвещенные коридоры, — то ли зуд любопытства, то ли постылое чувство своей ненужности и оставленности. А может, хмель? А может, темный безадресный жар похоти?

Дверь соседнего номера чуть приоткрыта, но внутри темно, и это зрелище, согласись, неприличное. Мне бы лучше поскорей пройти мимо, но рука сама тянется постучать: эй, кто там? неужели не понимаете, что это дурной тон — оставлять номер незатворенным после полуночи? Но никакого ответа не слышно из темноты.

А следующая дверь? Та вообще распахнута настежь, и внутри опять-таки темень и мрак, что совсем уж нехорошо. При виде такого зрелища, даже если у тебя железная воля, тебя будто магнитом втягивает в пустой куб комнаты с ее мертвенно-бледным потолком и расшвырянными одеялами на пустой двуспальной кровати. Эй, господа, есть ли у вас пролетарская совесть или нет?.. Молчат. Куда сорвались? На комсомольское собрание, что ли?

Только дождевые струи безжизненно плещут об оконный карниз.

Посидеть разве на диване в холле? Когда эти гуляки вернутся, я заявлю им: между прочим, я не нанимался сторожить ваши номера! Из-за вас я тут совсем усох от жажды. За мою службу вы обязаны принести мне стакан минеральной воды. А еще лучше — целую бутылку. Я не откажусь теперь даже от «Князя Милоша».

Но все нет и нет никого. Да и в самом холле из четырех номеров два —

с приоткрытыми дверями. Они как раз за моей спиной, так что не сразу разглядел. Малоприятное ощущение: будто кто-то за тобой из этих номеров наблюдает. Но, успокаиваю себя, это только кажется, и в них теперь тоже пусто. Может, и в тех, что напротив меня, никого? Но они, похоже, закрыли свои номера на ключ.

Это легко проверить: закрыли или нет. Нужно постучаться и спросить: вы не знаете, куда все разбежались?.. «Ничего я не знаю, — ответит тебе какой-нибудь заспанный туряк. — А вы, Антонов, перестаньте хулиганить. Тем более что о вашем поведении уже доложено в советское посольство, и завтра с утра вы будете отозваны домой. Так что выспитесь на дорожку».

Да, что-то такое я смутно припоминаю: они еще с вечера готовились к прощальной вечеринке. И теперь гуляют где-нибудь на другом этаже. Нет, Антонов все же неисправим. Страсть следопыта так и прет из него во все стороны, и мне опять, в который раз становится стыдно, что Антонов — это я сам. Пусть он лучше едет на лифте на третий этаж отдельно от меня, я стесняюсь составлять единое целое с подобным проныркой, упрямым, как хохол. Или как осел. Какой тупой, типично шпионский затылок, так и саданул бы по нему чем-нибудь увесистым. Уймись ты, наконец, Антонов, и отправляйся-ка спать, не то опять нарвешься на скандал.

Тьфу, ну просто противно, слов нет! Не успел вылезти из лифта, как уже просунул нос в первую подвернувшуюся дверную щель. Пьянь ты московская, неужели не ясно, что и тут никого? Да огляделся бы сначала: весь этаж пуст, понимаешь, совершенно пуст, хоть шаром покати. Как это ты сразу не сообразил, дупло ходячее, что и тут никого не будет? Неужели не ясно до сих пор, что они все смылись? Пока ты насасывался сливовицей и оглушительно храпел на своей гауптвахте, они все — тю-тю! Как? Да очень просто: вся эта молодежная команда отчалила ночью на вокзал. Ты можешь зайти в любую комнату, включить свет и убедиться, что так оно и есть. Посмотри на эти расшвырянные коробки из-под обуви, на эти клочки веревок и газет. Еще не ясно?.. Тогда вот тебе самая верная примета: когда уезжает советский турист, в ванной комнате не остается ни кусочка мыла, ни пакетика шампуня... Мы всё мало-мальски похожее на сувениры забираем подчистую. Протри свои глазенки и глянь на эти пустые бутылки, — понял теперь, что они все укатили домой, даже забыв с тобой попрощаться? А с утра прибудут другие, такие же очумелые от зрелища недоступных товаров, пережаренные на солнце, унылые. Ворвутся сюда и забудут с тобой поздороваться.

А зачем тебе катить вниз, к администратору? Тут тоже, как видишь, пусто: ресторан закрыт, буфет закрыт, входная дверь закрыта, закрыта и дверь в комнату дежурного, а на стойке рецепции торчит картонка с надписью «затворено».

И вот тут чувство обиды и нешуточной тревоги заставляет меня снова соединиться с тупицей Антоновым. Что значит «затворено»? По какому праву? Если хотя бы один русский проживает в «Унионе», то это заведение не может быть «затворено»!

Вот что, надо подняться на четвертый, осмотреть и там на всякий случай, в том числе и те апартаменты, где в лучшие времена жила эта славная команда шпионов, Стручняк и Антонов, причем Стручняк даже держал в личном холодильнике московские консервы с килькой в томате — волшебный продукт эпохи активизации человеческого фактора.

Но и на четвертом — ни души. В бывшем номере Стручняка — разор, который способен после себя оставить только какой-нибудь комсомольский султанчик. После таких надо пересчитывать количество полотенец в ванной комнате. Полотенца, кажется, все на месте, хотя и валяются на полу сырой неопрятной грудой. Этот унылый бодрячок, инструктор обкома по женскому футболу и йоге, на столике возле кровати оставил два потрепанных номера «Московского комсомольца» — лучшей на свете газетенки для комсомольцев, желающих перевоплотиться в диск-жокеев или почитателей голубой любви. А вот, конечно, и номер непотопляемой «Юности»! Обложка журнальчика до того залапана, будто ее перепутали с перебравшей пивка пионервожатой.

Да, во всей вселенной, уверяю, нет более унылого места, чем номер, только что покинутый нашими милыми экономическими зверюшками.

Выходя из таких помещений, посторонний человек обязан отрясать прах со своих ног.

Теперь уже точно можно сказать: этот этаж мертв, как и все остальные. Причем отъехали совсем недавно, — по коридору еще сквозит запах дешевой советской сигареты, может быть дукатской «Явы».

Но что там? Или это от страху померещилось, что за углом коридора, то есть как раз там, где жил прежде я, скрипнула дверь и послышался женский всхлип?.. Пустое, нужно одолеть тошнотворную оторопь, пройти твердой походкой за угол и убедиться, что это всего лишь ночная галлюцинация или плеск ливня в окне, которое забыли закрыть перед отъездом.

Но за углом я замираю и мгновенно, от щиколоток до макушки, покрываюсь гусиной кожей: в дверях моей бывшей двери, прислонясь спиной к косяку, стоит молодая женщина. Она неумело пускает дым изо рта и шмыгает носом. Веки ее глаз докрасна разъедены слезами. Она смотрит куда-то сквозь меня и она нисколько не удивлена моим появлением. Да, я знаю ее, но только не соображу сразу, при каких обстоятельствах я ее однажды видел. Она чем-то похожа на одну из тех двух, что искали у меня своего Славика. Но халатик на ней другой, белый, как у медсестры или у горничной из русской провинциальной гостиницы. И на коже у нее нет этого неприятного желтушного загара, которым так гордится советская дама, прибывшая с югов.

Вообще-то у меня просто звериная зрительная память. Такая память была бы чрезмерна, пожалуй, даже для следопыта высшей категории. Я могу в переполненном вагоне столичного метро глянуть на человека и сказать себе: стоп! я видел его, я узнал его, сейчас... сейчас... ну, да! это было шесть лет назад, мы сидели в одной комнате, вернее, в одном коридоре, в очереди к терапевту и обменялись с соседом всего парою слов, это было в марте, в понедельник второй недели Великого поста, и когда он пошел к врачу, было четверть одиннадцатого, но просидел он в кабинете чуть не полчаса и потому, когда выходил, буркнул мне что-то сконфуженно-неразборчивое...

Так и теперь — я ее очень быстро вспомнил. И потому опешил.

— Здравствуйте, — пробормотал я. — Но что вы здесь делаете? Никак не ожидал вас тут встретить.

— Я жду вас, — ответила она своим памятным негромким распевно-обволакивающим голосом, который когда-то на минуту так взволновал меня. — И Сергей вас очень ждал. Даже просил в бреду, чтобы вы отправили его родителям письмо... Но он уже... нет, я просто не могу произнести это слово. Сколько можно!.. Ранение в висок.

И тут Антонов напрягся, протрезвел и снова вышел из меня, оставив во мне только ровный глухой гул хмеля.

Да, теперь он окончательно ее вспомнил. Он лежал на койке в пустом офицерском модуле Кандагарской бригады, страдая от вечерней духоты и желудочного несварения, когда она без стука открыла дверь и, прислонясь к косяку, стала выговаривать ему своим южно-русским певуче-обволакивающим голосом:

— Ой, ну смотрю я на вас, с кем вы тут встречаетесь? С теми, на кого укажут вам в штабе, да? Та разве ж это герои, на кого они вам указывают? Та это ж просто их кореша, их собутыльники. А тут есть настоящие герои. Слушайте, тут есть такие ребята, что я им недостойна носочки стирать. Вот такие тут есть мужчины. Но они скромные, не лезут грудью вперед, не клянчат себе ордена. Вот один есть. Петя, вертолетчик, сейчас он в воздухе висит, аэродром охраняет. У него жара в кабине — кофе кипятить можно. Он в такие черные дыры летает, на такие задания, что туда и черт не сунется. Но когда у Пети расспрашиваешь, он только отмахивается, как от комара, да улыбается: «Э, что там, ерунда! Подняли пыль до третьего неба, вот и все дела...» Такие ребята первыми тут и погибают. Уж поверьте мне, вы ничего про них не знаете, а без них вы ничего в этой дурдомской войне не поймете.

Он слушал ее, верил ей, всю ее уже держал вниманием, как на ладони. И понимал, что она права: она их может понять, этих своих ребят, а ему вряд ли дано. Таких, как она, в Афганистане Антонов уже видел, да и слышал про них кое-что. Это был тип любведоступной девушки, как кто-то из штабных сострил, «с маленьким сексуальным ветерком». Она приехала сюда не по призыву комсомола и не для того, чтобы исполнять интернациональ-

ный долг. Впрочем, и не для того, чтобы накопить денег и накупить побольше шмотья для выгодной перепродажи у себя на родине. То есть она, естественно, не забывала про деньги и про шмотье. Но все деньги свои она, в порыве восторга, могла отдать возлюбленному лейтенанту, чтобы он купил себе японский двухкассетник, да и женские шмоточки отдать ему же, чтобы отправил своей невезучей жене. Когда лейтенанта переводили в другой гарнизон или заканчивался его афганский срок, она, без всяких заграничных комплексов, быстро влюблялась в кого-нибудь из его приятелей, причем умела все обставить так, что не ее выручают в беде, а она вытягивает за розовые ушки из афганского смрада чью-то нежную храбрую душу, чахнущую тут без ее ночного жаркого шепота-ветерка.

Но если ее несчастный избранник попадал в госпиталь, подорвавшись на мине или после неудачного катапультирования, она все свободные от дежурств часы проводила у него, а когда наспех залатанного парня переводили в Ташкент, ее гибкая, как лоза, душа влажно оплеталась вокруг какого-нибудь еще более беззащитного стебля, который тут, без ее пригляда, быстро бы завял под нацеленным на всех нас в упор беспощадным солнцем Афгана.

Свою не выдающуюся ничем внешность она не оснащала яркими тенями и жгучей парфюмерией и сошла бы за золушку в толпе кабульских соотечественниц, жирных и размалеванных потаскух, которые десантировались в армейские штабные канцелярии, пищеблоки и военторги будто бы прямо с полотен Тулуз-Лотрека.

Она, не задумываясь, съездила бы по харе любому здешнему земляку, если бы услышала от него в свой адрес фривольный намек. Она любила тут, искала и лелеяла юных героев прежде всего потому, что и себя ощущала существом жертвенно-героическим, самоотверженным. Она поставила себе за правило никогда не страдать, если ее кто обманет в чувстве и окажется недостойным ее возвышенных о нем представлений. По крайней мере, она очень даже умела делать вид, что все свои невезения не ставит ни во что перед возможностью новой, первой и единственной в своем роде любви.

...И вот она теперь стоит перед Антоновым, пускает ему в лицо клубы дыма и распевно-плачущим голосом, сразу же переходя на «ты», как будто уже решила для себя, что надо же кому-то пожалеть и этого одинокого, неухоженного, обделенного бескорыстным женским вниманием на чужбине Антонова, рассказывает ему:

— Ой, ты видел бы, как его, миленького, ранило! Никто не может поверить, что такое бывает. Просто мистика какая-то. Когда упала мина, он стоял у стены своего блиндажа. Штук тридцать осколков попали в стену вокруг него, и только один — в Сережу. Но — прямо в висок... Зайди к нему, он уже не дышит, а я больше не могу.

Антонов входит в свою бывшую комнату и не узнает ее. На месте кровати, но ближе к окну, возвышается операционный стол. Верхний свет отключен. Горит только бра, но очень ярко, и тени трех мужчин, одетых в униформу, которую наши афганцы называют «эксперименталкой», неловко переламываются на полу и голой стене, где раньше висел югославский горный пейзаж.

Смятенная хмельная кровь хлынула в голову Антонова, он чуть качнулся, и мы с ним снова стали одно.

Один из офицеров обернулся при моем появлении. Я легко узнал младшего лейтенанта по имени Саша, у которого тогда на заставе как раз нарывал зуб, и он, бедняга, отмалчивался.

— Это какая-то невероятная смерть, — бормотал теперь Саша, и я вспомнил: наши афганцы всем рассказам о войне предпочитают рассказы о случаях необычайной смерти на войне. — Когда Сергею позвонили из батальона, — ты помнишь, штаб батальона располагается у моста, не доезжая Кандагара, — и приказали ему прибыть за инструкцией, духи уже затеяли свой обычный вечерний обстрел заставы. Ты знаешь, какой у них ритм: выпускают мину, за ней, минут через пятнадцать — следующую. Сергей передал по рации, чтобы ребята заводили БМП, оделся и, когда взорвалась очередная мина, тут же вышел на двор. И, понимаешь, почти тут же падает еще одна. Когда мы подбежали к нему, на нем обнаружили всего одну рану, но на стене вокруг места, где он стоял, было три десятка осколочных отверстий... Мы тут же перенесли его в БМП и помчали. Чтобы

выиграть время, поехали самой короткой дорогой, про которую не знали наверняка, заминирована она духами или нет... Но все равно оказалось поздно. Врачи даже не стали вытаскивать осколок из виска. Посмотри...

Они расступились и пропустили меня к столу. Очищенная от крови спиртом или перекисью водорода, рана на виске Сергея бугрилась темно-коричневым желваком. Как будто кто просунул в неглубокий порез под кожу косточку чернослива. От этого бугорка расплывалась по всему лицу голубая тень, в которой исчезали блеклые следы загара.

Ну, как же ты, Сережа, не дождался сумерек?.. Зачем это они вызвали тебя в батальон до наступления темноты, для какой еще инструкции? Что за блажь такая — выдергивать людей с застав во время вечернего обстрела?.. Проскочить с одной заставы на другую под минометным огнем — это ведь не прогулка в кабульский тыл, где упитанный лауреат в кружевных манжетах поет бодрые комсомольские песни для снабженцев, официанток и операторов московского телевидения.

...В тот вечер застава походила на тихий мужской монастырь, и я заметил, что здесь люди любят разговаривать негромко и не спеша, чтобы одновременно с этим наслаждаться тишиной. Она загустевала и медленно разливалась по неровностям долины. Первой умолкла и враз обезлюдела бетонированная дорога, которая теперь смотрелась необитаемым марсианским сооружением. Будто по команде затихли и птицы в кустах над арыками. Только из кишлака, что сразу за дорогой, еще доносился собачий перебрех и слабый шум людского улья.

Обитатели заставы зачарованно глядели на горы, а те на глазах мягчели в очертаниях, погружаясь в сизый сухой пар. Это камни дышат всеми трещинами и порами, отдыхая от жары. Боевые расчеты танкистов, минометчиков и артиллеристов не подавали ни звука со своих насиженных гнезд.

— Ну вот, кажется, они сегодня не собрались нас обстреливать, — вздохнул Сергей и поднялся с лавочки, на которой мы сидели в укрытии.

— А что, обстреливают именно по вечерам?

— Да. Но только до наступления сумерек. А теперь уже темно, и нам отлично будут видны их огневые точки в горах.

Вот оно что: зачарованная тишина вечерней заставы, созерцательная умиротворенность ее обитателей оказались хорошо замаскированным томлением, гефсиманской неслышимой просьбой о том, да мимо идет чаша сия, чаша смерти, проливаемая над заставой всякий вечер.

Мы еще долго тогда не ложились спать, а все сумерничали, различая друг друга лишь по голосам.

— Теперь уже поздно судачить, почему мы здесь оказались, — глухим недовольным голосом говорил кто-то из офицеров. — Проще всего оправдаться: это не мы лезли, это нас они попросили, чтобы мы пришли и помогли им отстоять их пыльный социализм, и мы пришли... Но тут ведь сразу выяснилось, что ни о чем таком их большинство нас не просило. Большинству, как тут сразу выяснилось, хотелось бы остаться при своем родимом феодализме... Но я так себе объясняю: какая-то война все равно должна была начаться. Это у классика про нас сказано: если калашников висит в первом акте пьесы на стенке, значит, когда-нибудь он обязан дристануть. Война терпеть не может, как и роженица. Этого не понять пацифистам, которые вовсю заливаются о вечном мире. Вы заметьте, когда пацифисты начинают особенно умиленно петь о вечном мире, это верный признак, что война уже на сносях. И что уже приискивается очередной полигончик для боевой разминки двух систем. Ну, и конечно для примерки новых поколений оружия. А пацифисты при этом вовсю кудахчут: лишь бы не было войны... Только дурак поверит, что после Гитлера и самураев у нас сорок лет не было войны. Что, разве мы не воевали — в Корее, в Китае, во Вьетнаме или в Африке?

— Мы всюду лезли, нам больше всех надо...

— А разве они не всюду лезли? Еще как! И дело тут не в социализме или капитализме, мать их обоих за ногу.

— А в чем, по-твоему?

— А в том, что война — это такая же естественная и неизбежная вещь, как все остальное на свете. Кто без войны Суворов? — Деревенский скоморох. А маршал Жуков? — Вешалка для своего мундира, не более того.

Армия в мирное время — это ржавое корыто, трусливая раба власти, свиноматка жирных генералов. А на войне и лейтенант — полководец! Армия становится свободной и вдохновенной лишь на пороге жизни и смерти. Кто не погибал, тот еще не народился... Тут все свои, так вот я скажу: армия, у которой генералы ни разу в жизни не нюхали пороху, это не армия, а гангрена задницы!

— Ты прав, певец российского империализма, — вмешался с улыбкой еще чей-то голос. — Но в том-то и дело, что мы тут все свои, и твоя бравая правота дальше этой халупы никуда не выйдет... И ты же сам с утра будешь талдычить своим новобранцам об исполнении интернационального долга и об афганском социализме.

— Ну, ты ведь не знаешь, о чем я им талдычу. Я им говорю: ребята, запомните, мы тут с вами никому ничего не должны, ни копеечки. И ничего ни перед кем исполнять не надо, здесь не сцена Большого театра. Вы здесь для того, чтобы вам научиться воевать, а не поливать из лейки плантации мака. И раз уж вы сюда под мое крылышко попали, у вас только один долг: вы у меня обязаны остаться живыми. Каждый следи за собой и за другим, чтобы и тот остался жив. И чтобы у меня все вернулись домой со своими настоящими яйцами, а не с искусственными. Меня мало беспокоят ваши успехи в строительстве афганского социализма, но если кто из вас не вернется домой и не пригласит меня на свадьбу, он мне лютый классовый враг, ясно?.. Вот это я им и талдычу, причем круглые сутки, — назовите меня хоть трижды империалистом.

— Значит, погибать, чтоб заново народились, ты их не приглашаешь? — спросил с подковыркой прежний голос.

— А разве ты тут, разве все мы ни разу тут не погибали?

По сочувственному шевелению во тьме я догадался, что слушатели остались довольны таким ответом.

В продолжение всего разговора Сергей молчал. Но мне почему-то казалось, что в тех местах, где остальные улыбались, улыбался и он. И мне казалось также, что Сергей улыбается не как остальные. Вообще, в его поведении, как я заметил, было больше скованности. И объяснил это для себя тем, что его совсем недавно назначили командиром заставы, и он еще не очень уверенно чувствует себя в этой должности, требующей подчинять своей воле людей, с которыми он привык быть на равных.

— Удивительно, что его вызвали в батальон, — зашевелился сбоку Саша, — как раз для того, чтобы дать ему инструкцию о выводе из Афгана: в какой день и в каком порядке его застава будет покидать позиции... И еще удивительно: за эти месяцы, что он командовал заставой, у нас никто не был убит. Только двое получили легкие ранения, а один немного обгорел. И когда мы шли к нашей границе, за весь этот путь от Кандагара тоже все обошлось благополучно... Но мы шли уже без него.

— Тогда почему вы оказались здесь? И с ним?

— Во-первых, он просил, чтобы ты с ним простился. А кроме того, разве ты не знаешь, — тут он как-то неприятно усмехнулся, — разве тебе неизвестно, что теперь не хватает госпиталей и моргов? И есть приказ: размещать госпитали и морги в гостиницах.

— Ничего такого мне не известно... А почему не вынули этот осколок?

— Хирург сказал: бесполезно.

Не знаю, что им сказал хирург, но в продолжение всего времени, что мы стояли над Сережей, я еле сдерживал в себе желание без всяких инструментов, одними только руками извлечь из-под кожи этот металлический желвак. Всего-то нужно чуть надавить пальцами, и осколок сам появится в сочащемся порезе, и тут я подцеплю его ногтями и освобожу Сережин висок, как освобождают кожу ребенка от занозы.

— Ни о каком приказе насчет госпиталей и моргов я не слышал, — посмотрел я прямо в глаза лейтенанту. — И усмешечка твоя мне не понравилась. И вообще, может быть, хватит целовать мертвых? А?! Чего вы от меня домогаетесь? Сергея здесь нет. Он уже лежит в земле — у себя под Черниговом. Если только он вообще погиб... Так, как вы рассказываете, погибнуть невозможно. И прощаться я с ним не буду, потому что его здесь нет.

— Как хотите, — с обидой сказал лейтенант, переходя на «вы».

И тут они все трое стали плотно друг к другу, чтобы загородить от меня пустой стол.

— Что-то зябко мне с вами, ребята. Пойду-ка я лучше к себе.

Когда я выходил, этой женщины в дверях тоже не было.

Но зато навстречу мне по коридору медленно двинулась другая женщина, дородная, в сияющем парчовом платье до пят, облегающем на ходу то одно, то другое полное бедро, будто отлитое из латуни, — и как только я узнал ее, тут же мне полностью открылось, что все предыдущее — мое неприкаянное шатание по пустым этажам, стол с телом Сергея, разговоры с кандагарской официанткой и лейтенантом Сашей, — все это не более как тщедушные и зыбкие наваждения и, прежде всего, потому, что она, наша Прекрасная Елена здесь и в такой час появиться никак не могла. Я думаю, ее поселили в каком-нибудь хитром особняке при посольстве и никого к ней, да и ее никуда не пускают... И все же я пошел ей навстречу, чтобы убедиться, что это именно она. Задумчиво-усталая, с чуть наклоненной вперед головой, она поравнялась со мною. Затаив дыхание, я приник к стене, чтобы дать ей дорогу, но и она остановилась и подняла на меня свои светло-карие затуманенные глаза.

— Ну, что же ты, Антоша? — спросила она чуть охрипшим слабым голосом, и это было еще одно подтверждение, что она мне сейчас является, потому что таким именем называет меня только одна женщина на свете. Но я был безумно рад, что она мне является, кажется, гораздо больше рад, чем если бы она заговорила со мной наяву, где-нибудь за сценой.

— Антоша, что же ты? — повторила она с укоризной. — Ведь монахи уже часы читают, а ты?.. Ну пойди, пойди, милый, к себе, положи бедную свою головку на подушечку, а то я, право, сейчас из-за тебя разревусь. Разве это будет хорошо? Ведь тебе же стыдно сделается... Только ты молчи, ничего мне не отвечай... Господи, я так устала, так утомлена всем, — этими бесконечными поездками, вашей непрочной любовью, тем, что ты никак не угомонишься... Ну, на, целуй мне быстро руку и иди спать.

Сердце во мне колотилось на весь этаж. Я стремительно наклонился, вдохнул запах крепкого и свежего осеннего яблока, исходящий от ее руки, и быстро пошел, нет, понесся по коридору, как прощеный мальчишка.

Я видел ее вчера. Алеша дал мне билет на концерт, где, по случаю какого-то юбилея, была целиком русская программа. Я пришел с дождя в мокрых ботинках, в сыром костюме, долго не мог согреться и чувствовал себя прескверно. Съеживался и замирал, боясь, что дрожь и испарения просыхающей ткани и обуви идут от меня по рядам.

Когда она вышла в царственном сиянии, слабой улыбкой благодаря за любовь к ее державе, по залу прокатились волны тепла. Ее приветствовали стоя, минут пять...

По тому, как она одета, предположил я, она споет что-нибудь солнечное, воздушное, классическое или даже бравурное, чего и ждет славянская Европа от нашей русской Кармен, от Прекрасной Елены. Но она строго замерла, принахмурилась и спела три неизвестные мне романса, ошеломила зал тремя судорожно-короткими вскриками одинокой, отчаявшейся души. Зал ответил ей слезами и воплями, как на черногорском кладбище...

Я слаб в поэзии и не смог сообразить, на чьи слова она пела. Только помню, что в одной пьесе монастырские часы били полночь, и тоскующая душа инока из глубины ночи исторгала крик: «О, одиночество!.. О, нищета!» И потом, разговаривая с тобой, Петрович, глядя в окно на недвижно сидящую за столом женщину, я то и дело вспоминал этот вскрик, этот вопль о помощи — «о, одиночество!.. о, нищета!» Вспоминал и старался упрятать его в себя как можно глубже. Но ты видишь, она достала меня и во сне!.. И надо же, я просто счастлив. Она все осветила в этом моем сне, прибралась, расставила по местам, и я примиряюсь теперь с тем, что, да, Сережу действительно убило под Кандагаром... И видишь, я послушно уложил, как это она сказала? — «головку на подушечку» и буду теперь, без всяких снов, без всяких видений, худых или добрых, просто спать, да-да, просто спать, под бормотание дождя, который когда-то все же кончится...

....

я сделал коллеги феноменальное открытие дело в том что скелеты этих недоучек воображающих себя агентами русской национальной разведки

бывают двух видов скелеты стояче-ходячие и скелеты лежаче-доходячие так вот этот что лежит перед нами уже доходячий
хи-хи лежаче-доходячие просто прелесть как остроумно но обратите внимание он еще скрипит зубами
ну и что же если у скелета сохранились кое-какие зубы то почему бы ими иногда не поскрипеть так сказать постскриптум
и-хи-хи поскрипеть зубами постскриптум коллега вы удивительно умеете обыгрывать словечки
не скрою словечки это мое хобби тут я недавно обнаружил что даже у сербов имеется один национальный герой милош хоббилич но вернемся к нашему лежаче-доходячему типичное алкогольное отравление вот так всегда эти русские патриоты напьются как свиньи а потом обвиняют что их кто-то отравил
действительно коллеги этот спиритус вини самая настоящая отрава
они хлещут этот спиритус вини и воображают что тем самым стяжают спиритус санкти то есть духа святого извиняюсь коллеги что приходится произносить это неприятное нашему слуху имя но в итоге своих пьяных вознесений на небо они сверзаются в какую-нибудь лужу и лакают из нее как свиньи почему мы и имеем право определить их как спиритус свиньи
очаровательно коллега именно проспиртованные свиньи
но что он тут пил
разве не видите местная самогонка
а почему называется препеченица
значит дважды побывала в котле но сколько ее ни гоняй взад-вперед дрянь есть дрянь и цена мизерная хотя на эти же самые деньги он мог бы купить своей несчастной жене пар двадцать самого дешевого капрона а то она там бедняжка ходит в заштопанных чулках пока он тут пьянствует и заглядывается на загорелые колешки странствующих комсомолок
поглядите его аж скривило от ваших слов
это у них называется муки совести они всю жизнь ими мучаются но все без проку
тут еще написано плюм-бренди
как всякие дикари они очень любят иностранные слова выпить чего-нибудь иностранного у них почитается за высшее блаженство но перед нами обычное сербское пойло все здешние пойла совершенно одинаковые только этикетки разные на этой как видите красуется бандитская физиономия карагеоргия каков народ таков и герой нашли себе героя торговал свиньями по ночам пьянствовал и слушал как слепые гусляры гнусаво поют ему хвалебные песни а когда страдал от лютого похмелья запирался один и грыз от тоски ногти тоже занятьице вполне достойное безграмотного народного предводителя
о тут как раз какая-то писанина валяется на столе и под столом разыскание об отцеубийстве
да уж какое там разыскание просто наш лежаче-доходячий из побуждений дурацкого славянского патриотизма решил обелить карагеоргия и доказать что тот прикончил своего родимого папашу при смягчающих обстоятельствах но тут заметьте есть один весьма пикантный момент дело в том что угорелый и почти уже бездыханный антонофф сам сильно того
маэстро в каком смысле он того
а в том смысле что антонофф и сам изрядный отцеубийца
да ну
вот вам и да ну и знаете кто его папаша
кто же кто
его папаша сам отец народов
неужто сталин
он самый иосиф виссарионович
вот это пассаж
хорош гусь самого сталина кокнул
гляньте он аж взвыл во сне
даже не верится родной сынок самого сталина
именно родной они там все родные у своего отца народов
и как же он его кокнул чего-нибудь подсыпал что ли
зачем подсыпал он его кокнул уже так сказать посмертно настрочил про

покойника памфлетик и до сих пор страшно стеснялся этой своей ядовитой отроческой шалости можно сказать посикал на папашину могилку в этом смысле да будет вам ведомо русские все сплошь отпетые отцеубийцы и кстати уже не в первом поколении
как это маэстро объясните популярнее пожалуйста
уж куда популярнее сначала они убили своего царя-батюшку впрочем и на его отца покушались и его деда царя-освободителя тоже убили но последнего убили совсем уж классически со всем семейством и со всеми почти многочисленными ответвлениями оного семейства за исключением двух или трех хилых лоз и мы кстати в этой обширной акции оказали некоторую деликатную техническую помощь потому что сами они ни за что бы не управились потом они поубивали несколько своих революционных батек а батька это тоже разновидность отца родного и мы тут тоже помогли как могли чисто и аккуратно ну а потом разогнавшись как следует и войдя во вкус они посягнули и на самого бессмертного то бишь на отца мировой революции
неужели и его тоже
и еще как очень деликатно сработано при большом всенародном рыдании а уж после этого в разные годы и под разными предлогами прикончили они еще дюжины две своих вполне почтенных и выдающихся папаш которые кстати у нас были не на последнем счету учитывая их дьявольское остроумие и адскую работоспособность ну и наконец настала очередь самого отца народов родителя всех пионеров и комсомольцев всех этих босоногих и бесстыжих павликов морозовых которые отдали на растерзание отцу народов думаю не одну тысячу своих кровных родителей материя как видите зело пакостная и монотонная стоит ли продолжать
давайте лучше вернемся к нашему субъекту тем более что персона попалась образцово-показательная и своего рода символическая
и что же он анафема накропал в своем пасквиле
в том-то и штука что сам по себе пасквиль бездарен и соплив но эти деятели особенно любят мучиться по самым ничтожным мизерным поводам для таких какой-нибудь мелкий юношеский грешок-с делается путеводной звездой на целую жизнь
коллеги поглядите он хочет встать
хочет да не может как говорится грехи не пускают ведь за ним числится по крайней мере еще одно отцеубийство
кого же это он лиходей неужто бессмертного
лаврентия лаврентия
не поминайте всуе лаврентия ну-ка напрягите память кого он тут поносил пуще всех когда мы катались по белграду
пуще всех он поносил философов и туристов
но презрительнее всех высказывался об обезьяне
вот-вот вы очень наблюдательны коллега презрительнее всех об обезьяне потому что у них поголовный обезьяний комплекс с молоком матери они всосали коммунистическую заповедь чти отца своего орангутанга
и неужели до сих пор чтут
самые простофили еще чтут но многие угрюмо сосредоточились на мысли об убийстве тятьки-орангутанга этот вот совсем закомплексовался
точно он доходит нос уже посинел как слива
это от воздействия сливовицы вообще замечу вам коллеги все эти славяне большие сливяне
восторг маэстро просто прелесть как вы их по существу определили я просто ухихикиваюсь от ваших словечек
нет судите сами ведь славяне по существу мечтают лишь об одном как бы сделать так чтобы никогда не вылезать из своего винного погреба любимое их занятие сидеть в погребе и мечтать о братстве всех славян и так-то у них красиво получается но только заметьте до последней бутылки а как последнюю разопьют тут сразу всяким мечтаниям и всякому братству конец и мгновенно затевают между собой кровавые мордобои
вы как всегда превосходно это сформулировали маэстро они сущие дикари и в самом центре просвещенной европы
и еще запомните коллеги все славяне скелеты второго сорта но самые

настырные из них это русские они всегда больше всех пекутся о славянском единстве но разумеется обязательно под эгидой русской империи

вот и надо бы русских за их настырность и имперские амбиции запустить по третьему сорту

похвально коллега что вы самостоятельно дошли до мысли которая уже отработана нашими профилактическими и гигиеническими подразделениями

а второсортных надо бы натравить на третий сорт

и ваша идея мой юный коллега уже успешно применяется на практике

но не кажется ли вам что этот симулянт нас подслушивает

типичная повадка русского лапотника-лазутчика прикинуться мертвым и навострить ухо но будьте уверены все что войдет в это ухо в голове не задержится там сейчас свирепствует этиловый спирт выжигая последние островки соображения

у них там теперь усиленно борются с алкоголизмом и он пристрастился ездить к югославам чтобы наверстывать здесь упущенное

будьте уверены они там не смогут долго бороться с пьянством и скоро загуляют еще круче чем гуляли до борьбы

и мы им опять поможем деликатно и аккуратно

маэстро а вот еще одно сочинение про гамлета но разве у шекспира гамлет был генералом

о это такая же претенциозная и кокетливая графомания как и в случае с трактатом об отцеубийстве оба автора мыслят совершенно примитивно но так уж устроены их мозги сначала они поют осанну одним своим кумирам и клеймят их оппонентов как предателей и преступников потом начинают взахлеб воспевать вторых и хаять первых то превозносили сталина и изничтожали троцкого теперь поливают елеем троцкого и мочатся на сталина этот вот стручняк когда был пионерчиком сочинял для школьной стенгазетки вирши про героя тито а теперь тито у него подлец зато михайлович герой и страдалец или возьмите нашего лежаче-доходячего любуется безграмотным варваром карагеоргием и втаптывает в землю милоша обреновича я уж не говорю про его выходки в адрес блистательного нессельроде и славного малого родофиникина а ведь в действительности все совершенно не так или во многом не так потому что действительность э-э-э

неоднозначна не так ли маэстро

вот именно мои юные коллеги я рад вашим успехам и дружному ответу ибо действительность именно не-од-но-знач-на а если что-то вдруг становится или намеревается стать однозначным то как мы с вами поступаем

тогда мы к этому однозначному подмешиваем побольше неоднозначного и все хорошенько взбалтываем

и делаем это

тонко и аккуратно чтобы комар носа не подточил

молодцы и я вижу что совсем не напрасно устроил вам экскурсию в этот третьесортный отель благоухающий на весь белград русским духом

гляньте он сжимает кулаки не собрался ли подраться

ишь какой аника-воин

у меня блестящая идея сейчас мы с вами сыграем в игру под названием угадай-ка каждый из вас попытается угадать по какому именно поводу он принял столь воинственную позу

я знаю маэстро это он пытается побить шофера автобуса карагеоргий который чуть не угробил его когда мы вечером катались по белграду

неплохо замечено кто еще

он злится на советскую власть что не дала ему денег на зонтик и новые ботинки

остроумно следующий

он хочет отбить у славика комсомолку в ситцевом халатике

вы сердцевед коллега и также близки к истине кто еще

эврика я знаю он поднимается по лестнице на самый верх к бессмертному и вдруг лестница зашаталась гипсовые болваны падают а с верхотуры на него по ступеням прыгает громадная голова бессмертного

....

неудержимый как спазма рвоты нутряной гул прокатился снизу вверх по хребту лестницы из ее трещин и пор вырвались клубы праха я тут же потерял тебя из виду бедный мой петрович но все еще судорожно хватал воздух руками пытаясь зацепить край твоей одежды я испытывал безмерную вину за то что затащил тебя на это позорище пляшущих вприсядку болванов совершенно безразличных к судьбе твоей и твоего народа первыми не устояли на ногах нигилисты кажется это был писарев но может быть и зайцев падая он ударил лбом поддых добролюбова попович мгновенно переломился пополам и на излете с жестокостью каратиста хватил ребром ладони по шее гордому герцену тот от неожиданности выронил из рук гипсовый колокол с шестиконечной звездой на боку подарок ротшильда и этот предмет больше похожий на вазу для настурций в парке культуры алупки при падении вместо звона издал какой-то невнятный дамский пук невразумительные обломки русских народных демократов покатились вниз давя и круша своих европейских учителей и предтеч от крупной плоти фейербаха остался каркас почему-то из алюминиевых лыжных палок на месте где стоял гегель ходила ходуном и повизгивала металлическая спираль гольбах гельвеций и прочие французские энциклопедисты напоминали теперь небрежные завитки белого крема в середине авангардистского торта дальше персоны уже с трудом просматривались единственный кого я узнал был дарвин с растерянной улыбкой он несся к реке уцепившись за спинные плавники гигантского динозавра ого восхитился я такого не мог бы придумать и сам федерико феллини

но тут меня что-то больно ударило в лопатку напротив сердца я пополз вдоль ступени пешеходной лестницы и уцепился руками за гипсовую соцреалистическую шнуровку чьего-то ботинка несмотря на саднящую боль в груди метафизическое любопытство распирало меня и я глянул вверх чтобы определить хозяина обуви нога над ботинком росла только до колена выше ничего не было не было рядом и другой ноги и как раз тут к коленке со скрежетом приткнулась чья-то круглая башка ее свирепо вытаращенные бельма напоминали что-то бакунинское и самодурственное так-так если не устояла и эта когорта то сверху могут повалиться еще более массивные и безукоризненные особы подумал я и будто подтверждая мои опасения белоснежным чертушкой пропрыгал вниз сам яков свердлов я узнал его по пенсне припорошенному гипсовой пудрой и по любовно прижатой к бедру папке в которую он неутомимо собирал списки расстрелянных повешенных и пристукнутых врагов самой гуманной революции за ним вприпрыжку несся родитель матери и клима самгина он в отличие от остальных человеческих персон был почему-то говорящим даже орущим и с заметным волжским оканьем выкрикивал на ходу что у этого якова отец в нижнем новгороде очень даже выгодно торговал золотишком но весь этот грохот гомон и гром вдруг ослабли наступило зловещее оцепенение я глянул наверх и увидел что из-за края горы на обезображенный скелет лестницы стремительно надвигается круглое грозовое облако потрескивающее электрическими разрядами из него посыпались крупные белые градины шипящие как искусственный лед но я ошибся это не туча падала это заваливался круглой неудобоносимой головой сам бессмертный его ваятель все же до конца остался верен заветам соцреализма что вмиг обнаружилось когда голый череп треснул по шву как орех и под ним затряслась творожной грудой поверхность одного мозгового полушария а на месте второго торчал срамной скукоженный огрызочек недоеденный до конца прогрессивным параличом при падении бессмертный увлек за собой всех еще частично уцелевших столпов и пионеров разрушения старого мира перед ними неслись клубы пыли гора исторгла из своего нутра вулканический гул от которого отслаивался и яростно нарастал непереносимый нечеловеческий вопль я не выдержал и потерял сознание

....

пожалуй коллега вы глубже всего заглянули в нутро этого ничтожного существа хотя какая уж в нем глубина все на поверхности будут ли еще у участников игры какие-нибудь предложения или остановимся на этом

маэстро а я так считаю что если он напрягается и сжимает кулаки во сне то значит он все еще сдает экзамен по философии и он всю жизнь его будет сдавать до самой смерти и глядишь так и умрет во сне от страха что завалил философию

а знаете очень остроумный ход мысли потому как этот тупой вечный студент действительно все никак не выяснит ни наяву ни во сне кто же был на самом деле борух спиноза материалист или идеалист и вообще у этой породы очень негибкие мозги и шикарный набор всевозможных комплексов кстати насчет комплексов мы им тоже регулярно так сказать помогаем используя безупречный комплексный подход разработанный для болванов разных стран блистательным венским доктором

а давайте коллеги махнем всей компанией в вену там куда веселей

вы как хотите но мне тут весело вон как он плюется и бормочет турики турики

это как раз один из его комплексов как напьется начинает страшно поносить туристов будто от них исходит все зло

но где же логика ругает туристов а сам собрался в тополу

она хоть и рядом но тополы ему не видать как своих собственных ушей мы на этот счет тоже позаботились

что-то он никак не испустит дух не придушить ли его слегка

не шалите коллега он спит и во сне мечтает чтобы умереть героически и бесплатно попасть в национальные святцы зачем же доставлять ему такое удовольствие пусть еще помучается

нет право давайте смотаемся в вену в нашу милую вену и как следует покутим этот белград довольно тусклое местечко а в вене целая улица заведений украшенных красными фонариками вот уж насмотримся

предлагаю более экзотическую поездку в стамбул по ночам в караван-сарае стамбульского хилтона жирненькие турчанки исполняют танец живота милое дело сократишься до размера блошки прилипнешь к ее пупку и качаешься себе качаешься

а помните как в прошлый раз в стамбуле мы проникли среди ночи в пустующий султанский гарем и напикали всей командой в тот самый знаменитый бассейн в котором жены купались в парном молоке

если хотите можно еще закатиться во дворец и пощупать золотую бороду пророка магомета

ну уж это удовольствие вы оставьте для салмана рушди

наш салманчик говорят сильно обкакался когда правоверные поклялись прирезать его за оскорбление исламских святынь

не кощунствуйте коллега неужели вам симпатична травля бедного салмана рушди

а я зато знаю в стамбуле один подвальчик где до сих пор валяется в пыли голова этого самого карагеоргия набитая ватой

глупости его череп лежит в тополе при своем скелете

не спорьте коллеги при скелете лежит голый череп а скальп до сих пор в стамбуле

и все-таки в вене лучше там нет этого азиатского варварства и в барах подают замечательные коктейли

зато в стамбульском порту сегодня ночью должен пришвартоваться круизный теплоход константин симонов переполненный загорелыми комсомолочками

о теперь я понял в честь кого стамбул назывался константинополем в честь этого симонова

недурно я думаю ваша хохма понравилась бы самому симонову

да но я слышал что он велел сжечь себя а прах развеять над россией

значит у него были более глобальные притязания чем стамбул

и у меня тоже дался вам этот стамбул со своими комсомолками разве можно их сравнить с венскими красотками там есть даже одна милашка гаитяночка

коллеги резвиться хорошо когда дело сделано а у этого лежачего-доходячего я только что обнаружил несколько пакостных страниц где он чернит самого карла нессельроде причем вовсю цитирует документы одного венского малодоступного архивного фонда ума не приложу как эта бестия туда пролезла

маэстро у меня идея когда мы прибудем в вену нужно тут же проникнуть в этот архив и перешифровать исходные данные пострадавшего фонда

а потом все-таки махнуть в стамбул и сжечь эти пакостные странички лежачего в топке симонова думаю все со мной согласятся есть особая прелесть покутить именно в стамбуле на руинах византийского колосса тут даже есть важный ритуальный смысл своего рода кладбищенские сатурналии над прахом царьграда где уже никогда не будет вонять приторным афонским ладаном

а заодно и просунем пальчик в одну забавную дырочку помните в этой громадной мрачной айя-софии

коллега у вас разве есть пальчики

уж один-то хи-хи найдется

глядите как он негодующе дрыгнул ногой

вот и еще один признак жизни посмотрите что это у него там торчит под простыней между ногами

это у него открылся зонтик

хи-хи это единственный сувенир который он привезет своей жене

думаете довезет я не очень в этом уверен скорее всего он подарит его какой-нибудь здешней даме например той что живет в доме напротив

ну порезвились и хватит вы явно переоцениваете его возможности и вообще пора наконец на чем-то остановиться или на вене или на стамбуле я как вы прекрасно знаете природный демократ и потому если большинство высказалось за вену то и я за вену

виват маэстро виват вена веселая шикарная сексапильная вена пропадай пропадом унион мы пробиваемся сквозь грозовые тучи над скучным белградом и вон она я уже вижу на горизонте ее пульсирующее ароматное зарево о милая вена о прозрачные как стрекозиные крылья зонтики под которыми венские девушки в высоких замшевых сапогах поджидают состоятельных весельчаков

минутку коллеги всего одну минутку поглядите он совершенно белый ткни в него и он превратится в зубной порошок вы видели когда-нибудь такую идеальную белизну кожи губ и даже пяток это классическая белая смерть которая длится всего один миг после чего наступит позеленение или посинение в зависимости от темперамента вот и все что требовалось доказать на этом урок в белградском анатомическом театре заканчивается итак куда мы решили в вену

в вену

в вену так в вену

...миг белой смерти

я очнулся среди бескрайней белизны но это не была белизна света или снега или чистой бумаги или розоватая белизна берестяной коры или голубоватая белизна молока это была равнодушная гипсовая белизна смерти в ужасе я попытался разомкнуть рот для крика но язык цепко схваченный известковым раствором даже не пошевелился нос был забит пылью все тело в гипсовом панцире вот оно что вот как они наказали меня за глумление над их святыней над лестницей эволюции я почему-то еще со времен службы на подводной лодке больше всего страшился смерти от удушья когда в затонувшей атомной субмарине не хватает воздуха и мы начинаем рвать на себе тельняшки расцарапывать кожу на груди сверху давит многокилометровый холодный мрак а у нас свирепо в полный накал горят электрические лампочки да белая смерть наступает именно так при электрическом свете проклятое свойство разведчика выведывать все до конца поверхность гипсового саркофага освещена изнутри наглыми щупальцами большой телевизионной лампы электричество солнце мертвых тогда в последний миг перед тем как потерял сознание я разглядел что из груды обломков прямо на меня летит громадная пола гипсовой шинели стража революции еще раз пытаюсь пошевелить языком его корень надломленно хрустит в гортани меловая крошка впивается в поры вот оно что эту самую дикую боль они надумали причинить именно моему языку с помощью которого я кое-как худо-бедно еще пытался произносить вслух русские слова воздуха и воды хоть немного воздуха и воды когда пола гипсовой шинели наползла на меня я в последнюю щель своего саркофага еще успел разглядеть что творится внизу на реке оползень лестницы с шипением низвергался в нее казалось вода закипала столбы пара закрыли вид лужников и москвы плотный туман белой смерти мчал наверх туман этот был все-таки не абсолютно белым а чуть желтоватым с никотиновым электрическим оттенком и в этом тумане не было ни воды ни воздуха

Так и есть, я заснул, не выключив свет... Но теперь уже все равно, горит он или не горит... Теперь уже ничего не поправить, ничего не исправить... Считай, меня уже нет, со мной, идиотом, все закончено, сам испакостил в себе, в нутре своем все, что мог... Мне уже не встать, напрасно и пытаться, время мое закончилось, кого тут винить, сам во всем виноват... Что натворил, какая мерзость кругом... На столе какие-то огрызки, в бутылке, смотреть противно, что-то вроде мочи... Валяюсь на бумагах, бумаги валяются на полу и на мне тоже...

Все это дела мертвых, Петрович давно мертв, и этот генерал тоже, никого мы не воскресили, пьяные старатели... Зачем притворяться, что Петрович жив, когда я сам шевельнуться не могу. Даже нету сил, чтобы встать и выпить воды... от воды, боюсь, будет еще хуже... Мерзок я сам себе, мерзость запустения — про таких сказано. Какой позор, упиться и сдохнуть в чужом городе, в ворохе бумаг, в графоманской писанине, как в хлеву, и еще при электрическом свете... Кто-то тут уже топтался и хихикал надо мной, издевался изо всех сил, или мне померещилось спьяну?.. Запаяют в цинковый ящик, погрузят в самолет, пошлют домой телеграмму, чтобы встречали, а хоронить не на что... Ну, друзья наскребут что-нибудь, выпьют, как следует, Стручко будет сидеть в углу, моргать красными веками, шумно дышать, я его знаю... Девочки мои, простите меня, родные... Мама, родненькая, прости... Отец, за все смертные раны, что я тебе нанес, прости, я давно не щадил тебя словами, сделал тебя мишенью для своей политической скулящей злости, как будто ты и сотворил все эти десятилетия кровавой коминтерновской круговой поруки и всесоюзной бессовестной лжи... Бедные мои, только бы вы не узнали подробностей моего позора... шлялся ночью по гостинице, приставал к людям, куражился, на ком-то разорвал рубашку или он на мне, изболтался до дна души, поднял оттуда всю грязь и муть...

Нет, мне уже не встать... Вот только до унитаза нужно добраться, ух ты, как меня качнуло, лучше снова прилягу... нет, больше невмоготу, надо держаться за стенку, тьфу ты, идиотская лошадка, чуть не угробился из-за нее, таких чудищ и в сказках не бывает... Кому-то я наобещал подарить Шараца, но кому, убей меня, не вспомню, а-а, теперь все равно... Зверски мочегонное питье, выгнало из меня всю воду... если бы еще и дурь вместе с водой выходила. А теперь я все-таки попью... стакана нет, ну, прямо из-под крана, жалко, что она недостаточно холодная... Ой-ой-ой, как же я себя расквасил! И еще какая-то шишка над бровью. Образина законченного дурака. Таких в Белграде было всего два, считая и Стручняка. Теперь один. То-то повеселятся ребята в морге, когда станут меня анатомировать... Кто это тут съязвил ночью, что я, мол, прибыл в Югославию лишь с одним намерением — как следует напиться?.. Вот и доехал! Дальше некуда... Воду пьешь, будто спирт в себе разбавляешь, все снова начинает полыхать внутри... И сердце вон как заходило ходуном. На чем только оно, несчастное, держится? На каких-то последних лоскутках... Не сердце, а мокрая половая тряпка...

Нет, до утра мне уже не дотянуть. Ой, как голова гудит. Что-то не выдержит во мне до утра — сердце или голова... Дай хоть немного приберусь, сгребу все в кучу... Надо же, скотина, заснул прямо на рукописях. Я сейчас и букв не различу, мое это или Стручняка?.. Он тоже хорош гусь, это он меня завел.

Да что там, я сам завелся, сам кругом виноват. Ну, хоть бы вырвало меня... нет, пока не мутит. Лучше лежать в темноте, без электричества. Умирать легче в темноте... Сколько сейчас? Э-э, пустое, не все ли равно, сколько сейчас времени. Уж точно, самая пропасть ночи. У каждой ночи есть своя пропасть, кто проваливался в эти щели, знает. У ночи есть такая пропасть, откуда и до Господа не докричишься...

Есть среди ночи такое время, такое лютое времечко, когда и Господь мертв... Эй! Ты где?.. Молчишь? Пустота... Значит, мертв, как Петрович, как я... Или только я мертв и потому не слышу ответа. Лучше, если бы было именно так. Пусть я уже мертв, но ты живи, пожалуйста, останься живым для моих родных, чтобы они всегда могли до тебя домолиться, дозваться тебя и чтобы мой неверующий отец дожил до дня, когда и он скажет: «Господи, Ты еси».

Но мое маловерие хуже всякого безверия. Прости же мне, Господи, маловерие мое, я весь грязь и пакость пред Тобой, ворох гнилых листьев, тлеющих изнутри... Жаждал я чистоты, а оказался в самом непотребном помоище, и мне совестно крикнуть отсюда и попросить: «Омыеши мя и паче снега убелюся...» Нет, меня уже не омыть, слишком все запущено во мне, я перед Тобой как трухлявая изнутри смоковница или куча соломы, которую мечут в огонь... Все горит во мне, ни одного сырого места. Если бы Ты из милосердия оросил своей слюной мою печень, она бы зашипела... Вся кожа шелушится и лопается на мне, все трещины мои сочатся горячей соленой сукровицей. Я не знаю, как лучше лечь, любое место болит и полыхает, жилы ноют, во рту опять сухо и шершаво... Ты пришел в мир спасти погибающих, но таким, как я, лучше исчезнуть и не путаться у Тебя под ногами. Я опоздал к Тебе, Господи, прости меня. Нет во мне воли исправиться пред Тобой... Пред Тобой. Сколько раз я стоял пред Тобой и делал вид, что молюсь, а в душе были только суета, блудословие, грязь, похоть, ропот, зловонный дым вместо огня... Я стоял посреди церкви, как гроб разукрашенный, смердящий изнутри. Я лицемерно клал поклоны и, значит, всякий раз предавал Тебя. Господи, Иисусе Христе, Ты исцелял прокаженных и слепых, немых и расслабленных, кровоточивых и бесноватых, если хочешь, вытащи за руку напоследок и русского пропойцу, вдохни в меня меру и волю, дай мне силы встать и исправиться пред Тобой... И пред Тобой, Богородице Дево, и пред вами, вси святии... Святый отче Николае, моли Бога о мне... святый великомучениче Георгие, яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, моли Христа Бога спастися душам нашим... И ты, святый целителю Пантелеимоне, и ты, архистратиже Михаиле... и вы, преподобные чудотворцы земли Русской, свя[illegible]е наши отцы Сергие и Серафиме, молите Бога о нас... из этой темной ямины, из душного склепа, залитого отовсюду водой, выведите на волю, а если не меня, то спасите хотя бы ближних моих, живых и почивших, вы все их имена знаете, потому что ангелы, хранящие их, окружают вас и тоже просят о них...

О, Господи, неужели мне полегчало чуть-чуть? Неужели я смогу сейчас заснуть и, пробудившись, встать на ноги?.. Если Ты хочешь, сделай так. Пусть Евангелие Твое продлится и на мне, грешном. Или мне так кажется, или это за стеной утихает ливень, и тяжелое небо расслаивается, матово подрагивает и чудится, будто где-то на сырой земле затрубил спросонья деревенский хрипун, разгоняющий бесов.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

...бой кремлевских курантов или школа молчания

(Из рассказов Стручняка в восприятии Антонова)

Коля Стручко, честолюбивый и впечатлительный московский пионер конца сороковых — начала пятидесятых, уже несколько лет находился под сильнейшим впечатлением от кинофильма «Подвиг разведчика». В клубе Курчатовского заведения, где раза три-четыре в году крутили ненадоедающего Разведчика, Коля был завсегдатаем и не пропустил, кажется, ни одного сеанса замечательной картины. Лишь спустя лет тридцать Стручняк, — по определению Антонова, что по-сербски означает «знаток», «специалист», — он же Николай Стручко узнал, что в те самые годы, когда он и его сверстники с открытыми ртами ерзали на сидениях кинозала, следя за подвигами актера Кадочникова, вокруг Курчатовского каменного забора плели свои агентурные сети разведчики настоящие, но не наши, а заокеан-

ские, и, вполне возможно, какой-то из агентов, завербованных ими, тоже заходил иногда в открытый для всех советских граждан клуб, чтобы полюбопытствовать, как родная публика реагирует на благоглупости гитлеровских армейских прощелыг, безуспешно пытающихся схватить блестящего красного офицера. Публика же, по преимуществу пионерская и комсомольская, реагировала хохотом, грохотом ботинок об пол, криками «ура!» и молодецким свистом.

Коля верил фильмам, как если бы верил самому Богу (которого, как он твердо знал от отца, нет да и не бывало, поскольку во вселенной безраздельно торжествует материя, не имеющая ни начала, ни конца, ни в пространстве, ни во времени, вот как!) Фильмы действовали на Колю как волшебный эликсир, как могучее наваждение, и часто ему казалось, что жизнь, которую он видит в кино, это и есть настоящая, подлинная действительность, и ради нее стоит терпеть маленько скучноватую остальную жизнь, являющуюся только необогащенной рудой, заготовкой для отечественного кино.

Благодаря воздействию лирических и комических лент в Коле рано развилась влюбчивость. Первые в жизни сердечные раны нанесли ему не какие-нибудь пионерки из соседних подъездов и домов, но жестокие красавицы Марецкая, Смирнова, Серова и Целиковская. Особенно сильное любовное потрясение он испытал от встречи с Любовью Орловой, танцующей в «Цирке» на пушке чечетку. Ее светлые локоны, лукавые глаза и ослепительные бедра проникали в его сновидения без спроса, и бедный Коля после этих платонических встреч вставал как пришибленный ящиком зефира и мямлил что-то на уроках невпопад. Он бредил то одной, то другой красавицей и начинал упорно думать о роковой невозможности, но все-таки и о неизбежности встречи с какою-нибудь из них наяву. Еще только не определился, с кем именно.

От опасной болезни спас его все тот же Кадочников. В этом состоял еще один подвиг славного киноразведчика. Однажды, после очередного просмотра единственного на ту пору советского детектива Коля понял, что добьется расположения к себе Любови Орловой или Лидии Смирновой он лишь в том случае, если сам станет таким же неотразимым разведчиком, каким стал артист Кадочников. К чести Колиной, он критически относился к своей наружности и догадывался, что даже лет через десять-пятнадцать неуклюжий медвежонок вряд ли превратится в стройного, гибкого, худощавого красавца. Влюбленный Стручко рассчитал, что покорить сердце своей избранницы он сможет только доступными ему средствами, каковыми являются сила и острота ума, несокрушимость воли, выдающиеся познания, пламенная любовь к Родине, холодная ненависть к ее врагам.

Коля завел толстую тетрадь, в которую изо дня в день заносил сведения из отцовых газет, касающиеся приумножения и без того уже несметных богатств отечества: где-то заработала новая доменная печь, где-то бурильщики нашли гигантские залежи нефти; началось великое преображение природы, зеленое и голубое наступление на среднеазиатские пустыни, в песках засверкали прямые, как рельсы, каналы, обрамленные по берегам густыми заслонами лесопосадок; любимая команда ЦДКА, что значит Центральный Дом Красной Армии, разгромила в международном футбольном матче австрийцев, и даже милицейское «Динамо» отличилось, нанеся поражение дружественным венграм; успешно продолжается борьба с космополитами, которые коленопреклоняются перед всем заграничным, «но сало русское едят»; в центре Смоленска на месте разрушенных во время войны кварталов поднялись новые великолепные дома; колхозница Н. родила сразу четверых мальчишек, и все пребывают в добром здравии, а вообще в стране уже столько-то тысяч матерей-Героинь; стремительно растет и число Героев Социалистического Труда, а что касается Героев Советского Союза, то Коля знал наизусть имена десятков дважды-героев и продолжал пополнять их тетрадочный список; здесь же у него были наклеены газетные портреты трижды-героев — маршала Жукова и знаменитых асов Покрышкина и Кожедуба; в этой единственной в своем роде амбарной книге побед и свершений, в этой калейдоскопической пионерской летописи строящегося светлого будущего даже взрослый читатель нашел бы пищу для ума (впрочем, пища для взрослых и для детей была примерно одна и та же): он увидел бы рядом с информацией о небывало крупном улове осетровых в дельте Волги план заполярного города с искусственным климатом, обеспеченным великанской прозрачно-купольной крышей, а рядом с неумолимо ползущей вверх кривой линией, обозначающей рекордные рывки советских штангистов, фамилию пионера, который вытащил из реки тонущую женщину вместе с ее бельевой корзиной; тут же был контур ленинской руки с монумента, который вскоре увенчает самое высокое здание в мире — Дворец Советов, — той самой указующей на светлое будущее руки, в полом нутре которой, по дерзкому замыслу архитектора-скульптора, будет размещена целая библиотека, тоже самая большая в мире; ну и, конечно, тут был постоянно пополняемый список выдающихся достижений родного кинематографа, — в него старательный автор, не мудрствуя лукаво, включал все, что видел, потому что каждую картину находил по-своему безупречной, выдающейся и новаторской (словцо это, вычитанное где-то недавно, ему особенно глянулось).

В тетради был особый раздел, посвященный кризису империалистической системы, куда Коля записывал сообщения о забастовках английских докеров и шахтеров, о росте численности французской компартии и безработных негров в Америке, о крушении танкеров, поездов и последних надежд обездоленного западного мира.

Свое произведение Коля держал в тайне от сверстников, учителей и родителей. Он скромно полагал, что эти записи — всего лишь инструмент для его внутреннего совершенствования, и они станут не нужны, когда все записанное он будет знать наизусть, чтобы молниеносно использовать в споре с предполагаемым противником советского строя.

Чаще всего ему мерещился такой сюжет будущего спора: он заканчивает с отличием школу разведчиков (он пока не знал, где размещается эта школа и как в нее поступить), ему присваивают очередное офицерское звание и засылают за рубеж; он выполняет несколько сложнейших и ответственнейших операций, наносящих громадный урон капитализму, но всего на три секунды теряет бдительность и, сбитый фэбээровским роллс-ройсом на пешеходном переходе через Уолл-Стрит, попадает в застенки их контрразведки. Начинаются изнурительные допросы, во время которых он, во всеоружии своих сведений о превосходстве социалистического пути, не только опровергает доводы следователя, умного, но внутренне разочарованного во всем офицера, но и поселяет в душе собеседника мучительные раздумья и нравственные колебания. В итоге изнурительной борьбы умов Николай побеждает, и однажды Гарри (или Майкл, или Курт) шепотом признается ему, что может устроить побег, если Коля возьмет его с собой в Россию. Они успешно совершают этот побег, заодно Майкл прихватывает с собой фотопленки документов, касающихся сверхсекретного заокеанского оружия... Торжественная встреча в Москве. Прием в Кремле по случаю награждения Стручко (фамилия у него, правда, будет уже другая) Золотою Звездой Героя (Курту — медаль «За отвагу»); тут же кстати состоится показ новой мосфильмовской кинокомедии, в которой главную роль исполняет вечно юная Любовь Орлова. Присутствующая на премьере актриса хочет познакомиться с бесстрашным, но застенчивым асом советской разведки. Колю подводят к ней, и она при всех, под аплодисменты и радостные возгласы, расцеловывает героя. Им подносят шампанское в больших хрустальных бокалах, звучит пленительный, кружащий голову вальс, Коля промямливает приглашение, она искристо хохочет, нежно кладет ему руку на погон, на котором только что прибавилась еще одна звездочка (теперь он подполковник), они кружатся, и она говорит, запыхавшись: «А вам, Николай, удивительно идет застенчивость... кстати, где ваша супруга, познакомьте меня с ней». Коля напряженно молчит, но потом, набрав побольше воздуха в грудь, признается: «Когда я увидел вас впервые в «Цирке» и в комедии «Волга-Волга», я дал себе зарок, что никогда в жизни не женюсь». «Правда? — широко распахивает она свои пленительные глаза. — И вы до сих пор держите свое слово?.. Бедный мой!.. Что мне делать с вами?» Коля сдержанно и загадочно улыбается: «Вам остается только одно — стать моей женой. Я прошу вашей руки...» «О, что вы говорите, сумасшедший... У меня закружилась голова... Прошу вас, Коленька, проводите меня на балкон». Перед их возбужденными лицами струится, наполняясь

свежим ночным ветром, тюль, они выходят на громадный балкон, внизу сияют огни столицы и, может быть, звучат куранты, отбивая полночь... «Да, мой милый, мой долгожданный, да...»

В этой увлекательной сценарной заготовке, которую будущий разведчик и муж знаменитой актрисы неоднократно воспроизводил в уме и расцвечивал новыми яркими мазками, было два момента необъяснимого свойства. Во-первых, мальчик почему-то был убежден, что актриса — особа, по самой природе своей незамужняя (может быть, тоже дала какой-нибудь зарок?) и в таком качестве пребудет до его бегства из застенка и триумфа. Во-вторых, что еще более любопытно для психологов, занимающихся феноменом воздействия кино на сознание маленького зрителя, Коля почему-то пребывал в уверенности, что прекрасные киноактрисы вообще не старятся и что возраст юной почтальонши из «Волги-Волги» и возраст женщины, которая будет танцевать с гением послевоенной разведки, суть почти один и тот же возраст, в то время как он за те же годы из круглощекого косолапенького школяра превратится в мускулистого, коренастого, с прядью седины (от заграничных переживаний), жениха.

Будем снисходительны к этим явным просчетам в киномечтаниях московского пионера, четырех-пятиклассника, для которого клуб Курчатовского заведения был главной школой мечтаний, волшебным оазисом в пространствах скудного послевоенного быта.

Его родители в ту пору жили в комнатенке двухэтажного деревянного барака на окраине Москвы, без водопровода, без канализации, без газа и парового отопления, и отец, слушатель артиллерийской академии в звании майора, содержал их на свою стипендию да на сумму, получаемую за выслугу лет, чего хватало лишь на самое необходимое в еде и одежке, так что участник Великой Отечественной, в 41-м отступавший от румынской границы, бравший в плен под Сталинградом трусливых хорватов и итальянцев, освобождавший в 44-м Югославию, даже не имел в своем гардеробе гражданского костюма. Впрочем, Коля не считал последнее обстоятельство знаком их вопиющей бедности. Увидь отца в гражданской одежде, он наверняка бы огорчился и, может быть, даже до слез.

Он чтил отца своего именно как офицера. Колю покоряли строгость, важность в разговоре, несуетливость, сдержанная доброта, безукоризненность отцовской выправки, даже когда тот возвращался домой вечером чуть навеселе (значит, обмывали после лекций чью-то звездочку, то есть, как отец ему однажды с улыбкой разъяснил, звездочка за вновь присвоенный военный чин сокурсники окунали в стопку с водкой и она пребывала там, пока за столом допивался весь оставшийся продукт).

Иногда отец после занятий выпивал прямо у трамвайной остановки, где встречал его Коля. Если уж сын не поленился встретить его, то отец на радостях покупал ему мороженое, молочное, в круглых вафлях; они заходили в голубой павильончик закусочной, где завсегдатаи встречали офицера с таким искренним радушием, будто служили в его полку.

— Товарищ майор, просим за наш столик!

— Ершика не хотите?

— Нет, я предпочитаю чистый продукт, — весело говорил отец, опрокидывал в рот стопку водки, хмыкал, делал небольшую паузу и лишь после этого пригублял пенистую кружку пива. После двух-трех больших глотков он доставал из портсигара неизменную «Беломорину», угощал кого-нибудь из соседей, если были желающие. Отец обычно не допивал пиво до дна. И никогда не заказывал закуску. Домой, через небольшой парк, отец шел не спеша, спокойной, уверенной походкой победителя, чуть придерживая шаг, чтобы сын не слишком частил ногами. Отдыхающие на скамейках, в том числе и молодые женщины, поглядывали на них.

Сам еще не умея себе этого объяснить, Коля обожал в отце именно единство воинского содержания его характера и военной формы, которая каждой своей складочкой, сиянием каждой пуговицы, щегольским блеском козырька и сапожных голенищ, благоуханным запахом погон и белизной постоянно сменяемого, отпарываемого и пришиваемого подворотничка, казалось, подчеркивала цельность и определенность натуры этого человека, прошедшего воинский путь от солдата до заместителя командира артиллерийского полка.

Однажды, увидев, как отец в выходной день начищает слегка потускневшие желтые пуговицы своего кителя с помощью какого-то раствора, купленного в военторге, Коля упросил доверить ему это занятие и пообещал быть предельно аккуратным, чтобы ни одна капелька раствора не попала на зеленую ткань. Заодно отец разрешил ему наводить блеск, с помощью ваксы, щетки и суконки, на своих высоких хромовых сапогах. Коля старался изо всех сил, высунув язык, и отполировал поверхность кожи до такой степени, что в таких сапожках теперь хоть в кино снимайся, например, в фильме «В шесть часов вечера после войны».

В восторге от таких занятий он стал поглядывать на отца взглядом взыскательно-оценивающим, как на свое собственное в некотором роде произведение, и тот, заметив забавную перемену в сыне, наградил его усмешкой и легким щелчком по лбу. И спросил:

— Понятно?

— Понятно, — пробурчал в ответ Коля. А про себя подумал: «Разведчик Кадочников так бы не обошелся со своим сыном». Во всем остальном отец, по его понятиям, почти не уступал любимому кинофицеру.

К достоинству Коли можно отнести, что он умел сдерживать свое сыновнее честолюбие и никогда не позволял себе хвастать отцом перед одноклассниками или приятелями по двору, тем более, что те и так понимали преимущества офицерского сынка. Наверное, увлекательнейшим уроком, на котором он присутствовал за всю свою жизнь, был тот образцовый урок новейшей военной истории, который в день Красной Армии по просьбе учительницы провел в их классе Стручко-старший. Мальчики слушали, как завороженные, Коля пылал от смущения, как красна девушка, и то и дело поглядывал на классную руководительницу, на ее зардевшиеся щеки.

Класс заполняли звонкие чеканные слова о непобедимой и легендарной армии, осененной стягами Александра Невского и Суворова, князя Пожарского и адмирала Нахимова, героев Шипки и «Варяга», об армии, которая в недавних битвах познала радость побед, одолела немыслимо трудный путь от Москвы-реки, от Невы и Волги до Эльбы, Дуная и Шпрее, и на такой путь была способна лишь единственная в мире армия, наша рабоче-крестьянская армия Жукова и Матросова, Рокоссовского и Гастелло, армия ворошиловских стрелков и панфиловцев, ведомая под знаменами Ленина, вдохновленная мудростью и гением величайшего стратега всех времен генералиссимуса Сталина...

Когда прозвучали два последних имени, Коля испытал особый трепет и невольно снова глянул на учительницу. Ему показалось, что и она в этот миг взглянула на него растроганно и таинственно, будто хотела этим взглядом успокоить его и ободрить: «Все хорошо, Коля, я никому не сказала и никогда не скажу о том, что ты, глупенький, натворил под Новый Год...»

А натворил он тогда вот что.

Однажды в конце декабря, перед каникулами, учительница принесла в класс рулон ватманской бумаги и после уроков сказала на совете пионерского отряда, что нужно подготовить праздничную стенгазету, причем заголовок художник уже сделал, а также нарисовал елку и снежинки, остается только наклеить портреты товарищей Ленина и Сталина и переписать красивым каллиграфическим почерком передовую статью, текст которой тоже имеется. Поскольку в совете отряда за стенную печать отвечал именно Коля, то он и вызвался исполнить до следующего утра нужные работы, чтобы газета успела на школьный конкурс стенной печати. Тем более, что портреты вождей у него дома есть.

Вернувшись после уроков домой он наскоро поел прямо из сковородки, не разогревая, жареной судачьей икры с черным хлебом (кетовой или зернистой икры в их доме не водилось, а судачья, по дешевизне своей, часто заменяла рыбу и мясо), попил жидкого чаю на сахарине, тоже холодного, и с волнением развернул рулон тяжелой благородной бумаги. Заголовок «Юный ленинец 1» был написан замечательно, красной и синей красками, да еще с маленькими сугробиками снега на верхних боках и перекладинах букв.

Коля порылся в стопке старых газет и без труда нашел портреты. Печатные произведения с изображениями вождей, как он твердо знал, никто в стране

не имеет права использовать для хозяйственных нужд, поэтому в их доме такие газеты просто сохранялись — как своего рода маленький архив.

Вдохновению Колиному никто не мешал: отец в академии и никогда не возвращается рано, а мама оставила Коле записку, что стоит в очереди за мукой и яйцами, а это значит, что и она придет еще не скоро.

Мамиными ножницами он вырезал из газет два изображения, одно побольше, а второе поменьше, но зато оба в профиль, и приложил их к ватману, Ленина слева от заголовка, а Сталина, соответственно, справа. Гляделось как будто неплохо, хотя и немножко бледно рядом с цветастым заголовком и ослепительной елкой, да еще на такой алебастрово-белой бумаге. Он решил, что лучше будет, если отрезать лишнюю газетную бумагу и оставить одни профили.

Стал искать клей. Вот те раз, клея в доме не было. Он постучал к соседям по квартире — у них тоже нет клея, для чего им держать в хозяйстве клей. Поднялся на второй этаж к приятелю, но и у них клея не водилось. Что делать? Коля вспомнил, что на крайний случай вместо клея можно использовать хорошо разжеванный мякиш черного хлеба. Но как только он налепил на тыльную сторону профилей полоски жидкого хлеба, изображения потемнели снаружи. «Ничего, высохнут, — решил Коля, хотя и почувствовал некоторое беспокойство, — пока я буду переписывать передовую статью, они высохнут, как миленькие. А если что, нагрею утюг».

Но он уже переписал статью на разлинованный ватман, а профили никак не просыхали. Когда Коля принес с кухонной плиты утюг (соседка разогревала обед) и приложил его к газетным вырезкам, бумага чуть зашипела, темные пятна сошли на нет. Зато вместо них сразу появились какие-то рыжие, в добавок к этому профили тут же отклеились от ватмана, а на его поверхности осталось несколько грубых ржавых наростов. «Ничего, это я сейчас отдеру ножом и сотру ластиком», — не унывал Коля. Он вороватo отнес в печку на кухню скомканные профили и стал искать в газетах другие изображения. Их было немало, но попадались как-то разнокалиберные, то очень уж большие, то чересчур маленькие, а если близкие по размерам, то один фотографический, а другой рисованный.

И тут при взгляде на какой-то небрежный рисунок, Альтмана, что ли, Колю осенило: «Да зачем же наклеивать, да еще мякишем, можно нарисовать. И не хуже вот этого, где художник даже поленился наложить тени».

С этой самой секунды у него не было сомнений в том, получится или нет. Как это не получится! Разве он никогда не рисовал людей? Недавно вот нарисовал больную маму, с головой на подушке, ей понравилось, даже отцу показывала. К тому же, с профилей срисовывать легче, чем рисовать живых людей, которые шевелятся и все время меняются.

Его уже давно занимало какое-то загадочное свойство этих профилей, состоящее, наверное, в стремительности линий, очерчивающих брови, лбы, усы, ленинскую бородку и его как бы придавленный заводским прессом затылок, сталинский волевой подбородок и гордый грузинский нос.

Теперь или никогда! Что значит, не получится? Отец на его месте сказал бы: «Нет такого слова «не получится»!». Ведь он будет стараться изо всех сил. Он вложит в свои рисунки бесконечную благодарность вождям — за счастье, которое они несут всему человечеству и ему, Коле, рожденному, чтобы дожить до коммунизма.

Вот — уже получается! А вы говорили: да ты что, не смей! Он, Коля Стручко, простой пионер, один из миллионов таких же, как он, даже не отличник, рисует портреты кого? — Ленина и Сталина — и у него, смотрите, по-лу-ча-ет-ся!! Как будто сами они с заинтересованным вниманием глядят на старания юного портретиста, подбадривают его: молодец, Николай, у тебя, действительно, неплохо выходит, совсем даже неплохо для первого раза, и потому мы хотим помочь тебе, дерзай же, мальчик, мы внимательно следим, чтобы рука у тебя не дрожала, когда ты накладываешь все более смелые штрихи на наши усы и скулы, когда выводишь добрые лучики улыбки, отходящие к вискам от наших чуть прищуренных глаз...

Он уже давно работал высуня язык, он не заметил, как наступили ранние сумерки, как вошла мама. Она так утомилась от стояния в очереди, что даже

не заметила, как он шуршит старой газетой, старательно что-то в нее заворачивая... Он долго не мог заснуть в ту долгую ночь и пробудился часа, кажется, за три до школы.

Коля уже видел в подробностях, как все произойдет: классная руководительница, развернув рулон, восхищенно ахнет, тут же прибегут из учительской другие педагоги, директор, завуч, ребята из соседних классов, потом «Юного ленинца» вывесят в актовом зале школы, рядом с другими газетами, но всем уже будет ясно, кто именно завоевал первое место на конкурсе. Лучшая работа будет отвезена на районный, а потом на городской конкурс школьной стенной печати, и однажды директор вызовет его к себе в кабинет и, в присутствии рдеющей классной руководительницы, важным голосом, наподобие левитановского, скажет: «Николай, выслушай меня внимательно, стараясь не пропускать ни слова! Только что мне позвонили товарищи из городского отдела народного образования: наша газета, в которой и ты принимал посильное участие, победила на городском конкурсе и отправлена в Музей Подарков товарищу Сталину. Ты, разумеется, понимаешь, какая это великая честь для нашей школы и для тебя, простого советского пионера. В том числе, было отмечено твое новаторское решение разместить профили вождей так, чтобы товарищ Сталин не глядел в затылок Ильичу, но чтобы оба вождя смотрели друг на друга, чуть улыбаясь... Я уверен, Николай, что ты, разумеется, не зазнаешься, но, наоборот, приложишь все усилия, чтобы в ближайшие же недели выйти в круглые пятерочники, и тогда мы с чистой совестью сможем рекомендовать тебя в группу пионеров, которым 1 Мая после парада будет доверена величайшая честь вручить цветы на Мавзолее Ленина лично товарищу Сталину и его соратникам по партии...» Воображение стремительно раздвигало перед Колей мрак сырой декабрьской ночи. Ведь если директор скажет ему так, значит, именно так уже решено там, в ГОРОНО, и он, конечно же, поднатужится и снова вернется в число отличников. Нужно только поднажать на физкультуру и на немецкий язык,к которому он, признаться, охладел после того, как решил стать разведчиком, поскольку посчитал, что в будущем противостоянии двух обществ ему гораздо важнее знать английский,а не немецкий.

Кстати, Коля и в это знаменательное утро вспомнил о своем призвании разведчика, и вот на каком важном повороте устремленной вперед мечты: когда мальчики и девочки подбегут к ступеням Мавзолея, они, конечно, догадаются, что именно ему, художнику «Юного ленинца» нужно предоставить право вручать букет самому Иосифу Виссарионовичу. Дедушка Сталин — Коля уже неоднократно видел подобные подношения цветов в кинохронике — возьмет его под мышки, поставит рядом с собой, спросит, наверное, как дела в школе, кем он хочет стать, когда вырастет... «Думаю, художником будешь, если уж нарисовал Владимира Ильича и меня?» «Я еще не уверен, получится ли из меня настоящий художник, — ответит Коля, — но очень бы хотел стать военным разведчиком и сражаться за родину в тылу врага, на невидимом фронте».

Каким-то краешком сознания мечтатель понимал, что, пожалуй, его воображение очень уж расстаралось: вряд ли все так сбудется, как ему рисовалось; ведь он до сих пор даже краешком глаза не видел живого Сталина. Мертвого Ленина он один раз видел и, при большом желании, мог бы увидеть еще и еще, а вот живого Сталина они несколько раз с отцом и мамой пытались увидеть, а все не получалось.

К Ленину ходили тоже с отцом и мамой. Он не помнил уже, сколько простояли в очереди, час или два. Очередь была торжественная, время ожидания летело незаметно, совсем не так, как в очередях за хлебом или мукой, в которых ему тоже приходилось стаивать. В этих очередях всегда было тоскливо и неприятно оттого, что нико́гда не знал, хватит ему или нет. А когда стояли к Ленину, то всех приободряла надежда: раз уж присоединились они к очереди, и милиция при этом не возражала, значит, обязательно побывают в Мавзолее, несмотря на паузы, необходимые для смены караула, и каждому достанется увидеть дорогого бессмертного человека, к которому и через тысячу и через миллион лет все так же будут ходить люди труда и передовая советская интеллигенция. Только тогда очередь станет куда длинней. Тогда, по подсчетам Коли, она будет опоясывать, может быть,

половину экватора (это свое предположение он также записал в толстую тетрадь и проиллюстрировал запись кривой возрастания очереди к Первому человеку мира).

А вот со Сталиным ему не везло. И маме тоже. Только отец дважды, как участник военных парадов, маршируя в колонне своей академии мимо Мавзолея, видел вождя. А когда они втроем ходили — от той же академии — на демонстрации, не везло.

Невезение сильно расстраивало Колю, и если бы кто-нибудь вдруг сказал ему: «Ты чего больше хочешь: еще три раза увидеть в саркофаге Ильича или один раз живого Сталина?», он бы не задумываясь ответил: «Сталина». Честно говоря, (хотя не совсем честно, потому что он бы никому вслух в этом не признался), ему больше не хотелось видеть мертвого Ленина. Посещение мавзолейного подвала произвело на него какое-то смутное впечатление, в котором его озадачивали неполнота и поспешность.

Хотя еще несколько минут назад, медленно продвигаясь по площади, он готовил себя к тому, что, наверное, заплачет при виде родного Ильича, здесь, в подземелье, скорость их шествия настолько убыстрилась, что они едва ли не пробежали мимо стеклянного ящика, в котором, при неприятно ярком электрическом подсвете, лежала большая, какого-то никотиново-воскового оттенка, с острым и жидковатым волосяным покровом голова, которая, казалось, морщится оттого, что ее так много народу с торопливым любопытством разглядывает. Да, да, именно с торопливым цепким любопытством, как мог бы поклясться Коля, если бы посмел хоть кому-то доверить эти свои странные переживания.

Там, наверху, на серой брусчатке Красной площади, он постеснялся спросить у отца или мамы, каков будет обряд встречи (или прощания?) с Ильичом. Нужно ли будет поклониться ему до земли? Или встать перед ним на колени? Или поцеловать поверхность саркофага? Или отсалютовать по-пионерски и сказать отчетливо и внятно: «Всегда готов!» Или: «Служу Советскому Союзу!» Или: «Клянусь учиться только на пятерки!»

А оказывается, ничего такого ему и не понадобилось делать или произносить, а нужно было лишь следить за тем, чтобы идти быстро в направлении, которое ему негромко подсказывали, не мешая идущим сзади и не наступая никому на пятки, и при этом успеть цепким, как бы исподтишка, взглядом рассмотреть подробности лежащего за стеклом существа, которое когда-то, больше двадцати лет назад, было Лениным.

Помнится, он с родителями после посещения мавзолейского подземелья не обменялся ни единым словом об увиденном. И ни разу потом ни отец, ни мать не сказали ему: «Коля, давно мы не были у Ильича».

Зато поглядеть на живого Сталина они ходили уже трижды, и все напрасно. Их колонна собиралась на демонстрацию в одном из переулков центра Москвы. То пробегали быстрым шагом метров тридцать, то по полчаса топтались на месте, пропуская другие колонны, то медленно шли в каком-то, казалось, совершенно противоположном от Кремля направлении. Так истекал час, другой. Коле покупали мороженое, причем, по случаю праздника, эскимо в шоколаде, потом какой-нибудь флажок или значок, потом, где-нибудь через час-полтора, еще мороженое или стакан газированной воды с сиропом, потому что он уже заметно сдавал и то и дело спрашивал: «Скоро Красная площадь, а?»

Да и все вокруг, замечал он, веселятся уже с нетерпением и после первого куплета вяло бросают начатые песни.

Наконец из переулка их колонну выпускали на улицу Горького. Тут дома были громадные, с гранитной облицовкой понизу, с колоннами и красивыми балконами, а вплотную к тротуарам стояли танки, на броне которых сидели дремотно улыбающиеся на приветствия граждан танкисты.

Первая демонстрация, в которой участвовал Коля, была майская. Солнце грело по-летнему щедро. Белые бумажные цветы яблоневых и вишневых ветвей шумели на просторной, продуваемой ветерком улице, как настоящие южные сады где-нибудь в фильме режиссера Довженко. Порывы ветра пузырили знамена республик, важно хлопотали в кумаче транспарантов. Трубы духовых оркестров бросали в окна домов целые пригоршни света. В

каком-то из этих окон, щурился Коля от солнца, живет Кадочников. Или Любовь Орлова.

Но воспоминание о них совсем не долго бодрило мальчика. Страшно ныли ноги, в глазах рябило от несметного множества лиц, знамен и флажков, портретов, шаров и лент. Уже давно пролетели в сторону Кремля эскадрильи самолетов, во главе которых могучей тенью низко над домами пробасила четырехмоторная летающая крепость, и в ней за штурвалом, как с гордостью объясняли взрослые, сидел сам сын вождя Василий Сталин, пока еще генерал-лейтенант. Коля хотел сказать отцу, что хорошо бы, если бы после смерти товарища Сталина вождем народа стал его сын Василий, но решил отложить эту важную политическую тему на дом.

В колонне подсчитывали: уже и демонстрация длится больше двух часов. Когда же, когда же?!... Коля теперь едва сдерживался, чтобы не присесть на край тротуара, хотя бы на две-три минутки. Мама предлагала ему бутерброд с котлеткой, но он отказывался — уже и есть-то не было сил, а ведь котлеты он считал самой вкусной на свете едой и дома мог бы проглотить за раз штук пять-шесть, хотя больше двух никогда не полагалось.

Отец тормошил ему вихры, брал под мышки, поднимал над головами людей:

— Смотри, вон уже видны башни Кремля и Исторический музей.

Да, до Красной площади было рукой подать, каких-нибудь полкилометра. Но тут движение, как назло, в очередной раз замирало. И надолго, потому что, как терпеливо объясняли в толпе, мы пропускаем колонну, кажется, Свердловского района.

Но вот выступали, наконец, на Манежную площадь. Отсюда уже слышны были первомайские призывы и волны ответного «ура!», плескавшиеся где-то совсем близко, за темнокрасным замком Исторического музея.

Колонна преображалась. Повсюду слышались звонкие, расторопные команды, все как-то встряхивались, прибавляли шаг, дышали глубже, оглядывали друг друга молодо и приветливо. Отец и мама брали Колю за руки, чтобы поспевал за взрослыми. Но он, как ни старался напоследок, больше плелся, чем бежал. А тут еще начался подъем в горку по брусчатке, у Коли от ходьбы по неровной поверхности разболелись щиколотки, он совсем выдохся.

— Ну-ка, подержи фуражку, — сказал отец маме, и не успел Коля глазом моргнуть, как уже сидел на плечах отца, а фуражка снова была на отцовой голове. Мальчик был теперь выше всех взрослых и испытывал от этого больше смущение, чем восторг. Как будто он вдруг незаслуженно сделался в центре внимания не только своей и соседних колонн, но и тех, и Того, кого увидит сейчас на Мавзолее.

Площадь колыхалась перед ним, как громадное поле человечества, созревшего для счастья и ликования. Гирлянды шаров величаво всплывали мимо и выше башенных звезд. Эхо призывов, гремящих из динамиков, от здания ГУМа возвращалось к крепостным стенам и еще раз прыгало поверх голов и полотнищ. Отец держал Колины руки в своих, и мальчик втягивал живот, чтобы фуражка не нахлобучилась отцу на брови.

Все внимание Коли было теперь приковано к приземистой темнокрасной пирамиде Мавзолея, где, как ему еще издали показалось, народу стоит гораздо меньше, чем он видел раньше на газетных фотографиях. Их колонна текла всего вторым или третьим руслом от Мавзолея, значит, будет отлично видно, и когда они, наконец-то, почти поравнялись с трибуной вождей, Коля набрал в грудь побольше воздуху, чтобы крикнуть «ура!».

— Его, кажется, нет... Вы не видите?

— Смотрите, Сталина нет.

— Да вон же он!

— Нет, это Буденный, вы что, не узнали?

— Да, товарищ Сталин ушел...

Коля растерянно озирал трибуну, смущенный ропотом людей. Кто-то уже утешал рассудительно:

— Товарищи, ну в чем дело?.. Товарищ Сталин, видимо, ушел отдохнуть. И товарищ Молотов тоже. А глядите, вон в шляпе и в пенсне — это товарищ Берия! А вон — маршал Василевский и маршал Малиновский... и Хрущев,

и маршал Булганин! Ура, товарищи, славным соратникам товарища Сталина — ур-р-ра!

Люди вокруг вразнобой, вполсилы, как бы спросонья, выкликнули унылое «ура». Но Коля промолчал. Он сделал резкое движение, чтобы спуститься с отцовых плеч и оцарапал ногу то ли о звездочку, то ли о край погона. Торчать наверху, когда Сталина нет, было просто позорно. Мама помогла ему слезть вниз.

Колонна еще механически махала руками, цветами, флажками, но как-то вяло, не дружно, и улыбались растерянно, будто подсмеиваясь над собой: вот, мол, как мы разбежались и запыхались, а главного, к чему так все стремились, и не произошло.

Миновав Мавзолей, толпа стремительно прошла в прежнем темпе еще шагов двадцать, не больше, и вдруг ритм как-то сразу нарушился, люди стали самовольно разбиваться на группки, сворачивать флаги, накренили вразнобой портреты, отчего на некоторых портретах, как отметил Коля, появилось выражение обиды и удивления. Праздничный заряд на глазах иссякал, его стремительно заменяла усталость от многолюдства, от криков и призывов, от грома оркестров, от многокилометрового пешего хода с томительными задержками и резкими бросками вперед.

Мама обиженно молчала и прихрамывала на натертую ногу. Коля уже знал, что когда мама замолкает таким образом, то отец теряет привычное самообладание.

— А он, думаешь, не устает, — обратился отец больше к Коле, чем к маме, — столько часов стоять и приветствовать всю Москву? Ничего! Зато в следующий раз мы его обязательно увидим.

Мама хмыкнула насчет следующего раза, а Коля на виновато-озорную улыбку отца ответил своей — в знак солидарности. Ведь отец говорил так, будто передавал ему ободрение от самого Сталина. «Это еще заслужить нужно, чтобы увидеть его, — важно рассуждал про себя Коля. — А то ишь, разбежались, подавай им сразу, как на блюдечке...»

В следующий раз они пошли на демонстрацию 7 ноября. День опять выдался погожий, теплый. И опять отец напротив Исторического музея поднял Колю на загривок, и снова мальчик испытал приступ стыда (вон какой он уже дылда, подрос за полгода), но и благодарности, потому что устал пуще прежнего.

Ну, конечно, Сталина опять не было. Но зато опять был этот приплюснутый Берия в шляпе и пенсне, и Коля отчетливо различил его холодную лягушиную улыбку.

«Берия никогда не уставал приветствовать трудящихся, и я за это невзлюбил его раньше всех вас», — шучивал Николай Стручко во время дружеских застолий лет через тридцать после событий. Кстати, к этому позднему сроку он уже знал из самиздатской книги Светланы Аллилуевой, что ее отец вообще в последние свои годы не баловал вниманием ноябрьские торжества, предпочитая проводить это время в одиночестве на юге.

И опять майор подбодрил сына, как умел:

— Ничего! Не вешать нос. Ты ведь прекрасно знаешь, даже ЦДКА не каждый раз выигрывает.

Они с отцом были фанатиками армейской футбольной команды, и потому неожиданный довод пришелся Коле по душе.

Но после третьего неудачного прохождения мимо Мавзолея (мама отказалась, потому что ее накануне несколько раз тошнило) и после того, как отец признал дома, что их колонна, к сожалению, попадает на Красную площадь не в самое удачное время, Коля громко шмыгнул носом и пробурчал, что никогда в жизни больше не пойдет на эти дурацкие демонстрации, за что незамедлительно получил от отца щелчок по лбу, весьма звонкий и крепкий, сопровожденный словами:

— Это мозги у тебя, парень, дурацкие. Чтобы я больше не слышал ничего подобного.

«...Может, мозги у меня не такие уж и дурацкие», — улыбался теперь про себя Коля, с нетерпением ожидая за окном первые признаки шевеления позднего декабрьского рассвета и минуты, когда мама, как всегда, наклонится над его подушкой и скажет с сожалением: «Вставай, Колюнчик, а то в школу опоздаешь».

Как это он мог опоздать сегодня! Он чуть ли не первым вошел в класс и, усевшись за парту, положил ватман на колени, чтобы никто не упрашивал показать газету до прихода учительницы.

— Эй, Стручок, ну чего, сделал? — пристал к нему сосед по парте. — Дай позырить.

— Позыришь со всеми, — строго ответил Коля.

Когда вошла классная руководительница, и все поднялись, чтобы ее приветствовать, она взглядом сразу разыскала Стручкова:

— Принес?

Прижимая к груди рулон, Коля пошел между рядами парт навстречу своей славе.

Учительница развернула ватман так, чтобы было видно только ей. На всю жизнь запомнил Коля, как газета вдруг задрожала в ее руках и молодая женщина издала странный звук, будто поперхнулась.

— Это кто сделал? — сдавленным шепотом спросила она у Коли, показывая глазами на рисунки вождей.

— Я, — застенчиво и тихо ответил Коля и добавил: — Сам.

— Ты — сам? То есть, один?

— Да. Один, — подтвердил Коля.

Молодая женщина торопливо свернула лист, причем так, чтобы класс, шелестевший в ожидании, опять же ничего не увидел.

— Дети! — сказала она строго, но как-то неуверенно. — Побудьте несколько минут одни и повторите домашнее задание по чтению. Стручко, иди со мной.

В пустом коридоре она на миг прижалась спиной и затылком к стене и прошептала почти гневно:

— Господи! Как ты посмел?.. Ты представляешь, что мне будет за это твое самовольство?

Только теперь до Коли дошло, что они покинули класс вовсе не для того, чтобы подниматься отсюда по ступеням триумфа.

— Марш быстро!

Они почти бежали по коридору в направлении учительского кабинета. За столом у окна сидела единственная на всю комнату женщина, как знал Коля, подружка его классной руководительницы.

— Вера, миленькая, слава Богу, ты здесь!.. Что мне делать? Посмотри, что натворил этот художник-самоучка.

— А что? — удивилась та, внимательно оглядев развернутый лист. — Заголовок красивый. И елка как елка. Вот текста у вас маловато — всего одна статья.

— Да при чем здесь елка? При чем текст? Ты что, смеешься надо мной? Ты посмотри, он сам, понимаешь, са-ам нарисовал... вождей.

— Ну и что? В общем-то почти похоже.

Это ее «почти» больно царапнуло Колю.

— Нет, ты издеваешься! Разве ты не знаешь, что это запрещено, что это нельзя? Что это просто нель-зя!.. Нельзя, вы понимаете? — она почти выпевала, почти выплакивала это свое «нельзя». — Что это категорически нельзя, потому что портреты вождей имеют право рисовать только настоящие художники, члены художественного союза. И то далеко не каждый. Да меня же из школы вышвырнут за такое святотатство!

— Что же теперь делать? — нахмурилась подружка Колиной учительницы.

Все трое стояли молча. У Коли в ушах все еще звенело: святотатство! святотатство! святотатство! Это казнящее малопонятное слово хлестало его наотмашь по щекам. Или как будто совсем маленького наказывали его шлепками по голой попе: а-та-та! а-та-та! а-та-та!

— А вот что делать! — встряхнулась подружка и принялась с лихорадочной небрежностью заворачивать газету. — Я отнесу ее домой и сожгу в печке.

— Верка, но ведь конкурс же, конкурс, — всплеснула руками Колина учительница. И вдруг накинулась на Стручко. — А где портреты? Ты же обещал мне наклеить портреты. Как я могла поверить тебе, обманщик!

— Я их наклеил, — Колин голос набряк слезами, — но дома не оказалось клея, и я их приклеил хлебным мякишем. Тогда они потемнели и сморщились и пришлось их содрать...

— Содрать... мякишем, — передразнила подружка и слегка стукнула Стручко газетным рулоном по голове, от чего на всю комнату раздался довольно громкий звук.

Коля не знал: или заплакать, или рассмеяться. Подружка тем временем запрятала газету за шкаф.

— Вера, только умоляю, никому ни слова... И ты, Стручко, молчи, как гроб.

Коля не понял, как именно требуется молчать. Он просто молчал.

— И вообще возвращайся в класс. Скажи детям, что я сейчас буду. А про газету никому ни-ни. Ты ничего не знаешь, и все, понял?

— Угу, — мотнул головой Коля. Он пока понял только то, что становится вместе с двумя молодыми учительницами соучастником какого-то обмана, но наверное не самого плохого на свете, если вместе с ним в этом обмане участвуют сразу две хорошие учительницы, в одну из которых он даже немного влюблен, правда, не так мучительно, как в Целиковскую или особенно в Любовь Орлову. Направляясь к двери, он еще слышал обрывок их разговора:

— Но конкурс, как же быть с конкурсом?

— Да никак. Мало ли что могло случиться. Например, мальчик утром нес газету, а сейчас гололед, он поскользнулся...

— Стручко, стой! — услышал он. — Вернись.

«Вчера, когда вручала газету, она не называла меня по фамилии, а по имени».

Он вернулся.

— Тебе ясно? Ты слышал?.. Если кто спросит — директор или завуч, — ты по дороге поскользнулся и упал в сугроб, и портреты попортились. Но больше — ничего и никому. Иди.

В коридоре, к счастью, никого не было — ни директора, ни завуча. Сознание юного разведчика стремительно отрабатывало версию: «Ага, а если они спросят: куда ты дел попорченную газету? Надо, чтобы у учительниц и у меня был одинаковый ответ».

Он заглянул без стука в учительскую:

— А куда я дел попорченную газету?

— То есть, как это куда? Ты ведь мне ее вручил. А дальше уже не твое дело. Портреты отклеились, и ты ее отдал мне. Иди наконец!

Когда в классе сосед по парте прилип к нему с расспросами, Коля, как человек, только что перенесший труднейшее жизненное испытание, сказал ему хмуро:

— Отцепись. Много будешь знать, быстро состаришься.

И хотя тот, злобно шипя, незаметно для всех щипал его то за руку, то за ногу, обзывая при этом то «Стручком», то «Бобом», то «Горохом», то «Фасолиной», Стручко непоколебимо молчал.

Неколебимое молчание — начальная школа советской разведки.

...время дегустации, подвалы Карагеоргиевичей

Зной тут у них совсем как в Афганистане. Такой тяжелый и плотный зной, что, кажется, его можно нарезать на куски и продавать как рахат-лукум. Вот почему со вздохом облегчения вхожу я в эту темную прохладную комнату, где после солнца топчусь поначалу, как слепой.

— Эй, приятель, ты ведь сюда хотел? — появляется из мглы высокий, почти под два метра серб в форме капитана-пограничника. — Имеш пасош?

— Паспорт? Пожалуйста.

Его внимание задерживается на страницах, где наляпаны печати, небрежные отметины моих предыдущих выездов-вылетов.

Чем больше человек путешествует, тем больше он ценится в кругу пограничников. Но, с другой стороны, чем больше человек путешествует, тем он подозрительнее тем же самым пограничникам.

— Говоришь, третий раз в Сербии, а у нас еще не был?

— Да, мне и теперь не верится, что я наконец в Тополе.

— Не беспокойся, приятель, ты именно в Тополе. Но только с противоположной стороны горы Опленац.

— Но мне нужно в подвал Карагеоргия.

— А это и есть винные подвалы Карагеоргиевичей. Сейчас вызову дежурного дегустатора, и гуляйте на здоровье.

Ну вот, приехали!

— Да зачем же дегустатора? Зачем его беспокоить?.. Я могу и сам походить... И вовсе не хочу дегустировать. И не умею... Пойми, у меня самое простое желание — посидеть минут двадцать в подвале Георгия Черного, знаешь ли, на какой-нибудь старой дубовой бочке, одному... Поразмышлять...

— Зачем? — строго говорит он, возвращая паспорт с брезгливой небрежностью, — Что ты — наседка, чтобы торчать на месте? У нас не сидят, а ездят. А что касается дубовых бочек, может они тут когда и были... Бывают и ореховые бочки, из шелковицы бывают, но тут я не видел... Не переживай, приятель, ты будешь доволен. Попробуете одного, другого, третьего. Размышлять тебе, хо-хо, будет некогда. Чао.

И отступает во мрак. Лучше не возражать. Да и кому теперь возразишь? Лишь бы пустили внутрь, а там пробьемся.

Появляется дегустатор в синем сатиновом халате. Он учтиво кланяется и показывает на скучную металлическую дверь в глубине приемного бокса.

Мы оказываемся в довольно мрачном подземелье, напоминающем железнодорожный или автомобильный тоннель в горах. Высоко вверху под сводами убегает вдаль вогнутая цепочка лампочек. Вот те раз! Это какая-то циклопическая индустрия, а не подпол крестьянского дома. Но не будем торопить события. По крайней мере, приятно, что здесь еще холодней, чем в боксе.

— Наши знаменитые винные подвалы — самые большие не только в Шумадии и Сербии, не только в Югославии, но и на всех Балканах, — начинает мой спутник нудным голосом скучающего гида. — Поэтому мы, экономя время гостей и свое собственное, не ходим здесь, а ездим. Прошу!

Он указывает на сиденье в открытом двухместном автомобиле, который появляется из темноты за нашими спинами:

— Я буду останавливаться везде, где ты пожелаешь.

Может, сразу и сказать ему, чего я не желаю и чего желаю? Ладно, сначала прощупаем, что он за птица.

Машина мягко трогает с места. Прохладные руки ветра забираются мне под рубашку, за воротник. Что может быть лучше, чем дегустировать воздух тысячелетнего пещерного безмолвия — жадными, полными глотками... Следуют два или три плавных поворота тоннеля, и нас выносит как бы на городской проспект, освещенный уже не лампочками, а юпитерами, будто какой-нибудь Спилберг затеял здесь съемки очередного супербоевика — компьютерной сказки.

Справа и слева от трассы мелькают боковые овалы тяжких цистерн, покоящихся на бетонных опорах. Десять, тридцать, семьдесят, сто... Я сбиваюсь со счета. Если бы цистерны были выкрашены серебрянкой, это напоминало бы какое-то чудовищное по вместимости хранилище нефтепродуктов, — но поверхность посудин обработана охрой.

— Немного похоже на ГСМ — на склад горюче-смазочных материалов, — кричу я зачем-то дегустатору. — Первая наша застава на выезде из Кандагара, после Черной площади, так и называлась — ГСМ.

Но что ему Кандагар, что ему Черная площадь?

— Может быть, — невозмутимо отзывается он, притормаживая, чтобы объехать длинный сигарообразный грузовик-наливник, из которого через толстый шланг что-то перекачивают в цистерну. Нас обдает легкой и теплой, как солнечный ветерок в горах, волной бодрящих ароматов. — Привезли с завода «Золотую осу». Ты, конечно, уже пробовал в Белграде «Золотую осу»?

— Нет. И даже не знаю, что это такое.

— «Золотую осу» пока мало кто знает. Одна из самых дорогостоящих сливовиц. Но когда мы победим, она станет такой же общедоступной, как воздух, как вода.

Он останавливается, и мы подходим к брюхатой цистерне, к боку которой припаян металлический сундучок. Он открывает дверцу, я вижу внутри маленький бар: несколько разнокалиберных стаканчиков и рюмок; отраженные в зеркальной стенке, они хороводятся вокруг толстой непочатой бутыли, на этикетке которой, действительно, значится: «Золотая оса».

— Будешь пить, как все русы, полный стакан? — спрашивает он. — Вы, русы, лучше всех умеете напиваться. А мы, сербы, лучше всех умеем пить.

И хвастать эти сербы умеют, как я погляжу, не хуже нас. Что он тут заявлял про какую-то победу? Вид у него вовсе не победителя: так, стареющий ершистый мальчишка.
— Зачем же из стакана, — стараюсь я скрыть в голосе звон обиды. — Мы предпочитаем прямо из горлышка.
Он ловко сворачивает горлышко, трещат металлические скрепы.
Не открывая рта, я медленно подношу горлышко к ноздрям. Брезгливо морщусь и возвращаю ему бутылку.
— Такой товар можно и не пробовать. Слишком много осиной желчи. Когда вы, сербы, готовите что-то в экспортном исполнении, вы изо всей мочи стараетесь потрафить декадентским вкусам западного потребителя. Мы, русские, конечно, за милую душу употребляли бы и такое питье, но согласись, приятель, эта ваша оса слишком напичкана какими-то парфюмерными добавками, и они почти уничтожили первородный запах и вкус самой сливы. Ведь в сливовице, если я не полный дурак, главное — вкус и аромат самой сливы. Кстати, как тебя зовут, приятель?
— Александр. Но здесь меня зовут просто Ацо. Просто Гений Ацо.
— Отлично, Гений Ацо. А как зовут меня, ты, надеюсь, уже знаешь, не так ли?
Он молчит. Он ниже меня ростом, этот подземный гений, но, думаю, лет на десять старше меня. Седовласый, с коротко подстриженной седой бородкой. К воротнику халата пришпилена двойная серебряная цепочка. Она струится вниз, матово посверкивает звеньями на изгибе и шустрой змейкой ныряет в нагрудный карман.
— Мне понравилось почти все, что ты сказал о «Золотой осе», — со скорбной твердостью признает Ацо.
— Но раз тебе, Гений Ацо, что-то в моем суждении не понравилось, давай я все же ее попробую.
На миг притискиваю горлышко бутылки к почти сомкнутым, как у трубача, губам. В мякоть губ тут же впиваются десятки крошечных ласковых жал.
— Таков, да будет тебе, Ацо, известно, старинный русский способ дегустации. То есть, ты не пьешь, а как бы только целуешь поверхность напитка. Как будто ты первый раз в жизни решился поцеловать девушку. Даже не в губы, а в щечку. И тут же отпрянул в испуге.
— Поцэлуй названья ньэ имьээт, — запевает вдруг Ацо, закатив глаза. — Поцэлуй ньэ натпис на гробах. Алой розой поцэлуи вьэют, льэпьэстками тают на губах.
— Ацо, дорогой, ты, оказывается, любишь Есенина?
— Я люблю все настоящее русское, — твердо говорит Ацо и отводит глаза в сторону.
— А ты знаешь, эта «Золотая оса» не так уж плоха, как мне показалось на нюх. И все-таки запах и вкус сливы в ней невнятен. Поэтому пусть лучше ее пьют американские туристы, которые все равно ничего не понимают в сливовой. Может, поедем дальше?
Теперь мы свернули на другую подземную магистраль, такую же ярко освещенную и еще больше шумную. Наливники попадались то и дело. Ацо притормаживал, вовсю вертел рулем, опять подбавлял газу.
— Я, кажется, понял, что напоминает это твое подземное царство! — кричал я ему в ухо. — Слышишь, Ацо, оно напоминает гигантский улей. Эти наливники, как пчелы, приносят сюда собранный на воле нектар и заполняют соты... Впрочем, вру: это не улей, это подземное гнездо диких пчел. Ты видел когда-нибудь подземное гнездо диких пчел?..
Ацо, подрулив вплотную к цистерне, резко тормозит и прямо со своего сиденья открывает бар.
— Ты, кажется, хотел попробовать чистую сливовицу, без всяких там приправ. Вот тебе «Ранка». Ее варят из сливы-скороспелки. Ранняя слива, ранка, хотя и не успевает взять от земли и от солнца все нужные соки и энергии, зато обладает своими преимуществами — мягкостью, свежестью аромата, особой прозрачностью гаммы и, я сказал бы, какой-то девической застенчивостью... И в то же время в ней есть древняя языческая сила, которая действует своей магией даже на стариков.
— Тогда мы и ее поцелуем в щечку. Тем более, что мы с тобой еще вроде

бы не старики и, значит, нам по возрасту соответствуют более зрелые дамы... Ну-ка?.. Да, Ацо, ты прекрасно описал ее свойства... Эх, «Ранка», «Ранка», где ты была раньше!
— Я понял тебя, — ухмыляется Ацо, включает зажигание, и вскоре мы выруливаем на просторную площадь, видимо, центральную в этом пещерном мегаполисе. Цистерны тут стоят в два, в три этажа, к верхним ведут легкие пандусы. Крепкий спиртовой дух мешается с бензинными испарениями и голубыми облаками выхлопных газов.
— Как бы нам тут не нанюхаться! — ору ему в ухо. — Может, ты прихватишь бутылочку, да отъедем в какое-нибудь более тихое место?
Через три минуты мы крадучись, с зажженным ближним светом, вползаем в полутемный тесный переулок с низко нависающими сводами. Тут уже не видно цистерн, вдоль проезжей части тянутся трехярусные деревянные стеллажи. Таинственно проступают посеребренные пылью донышки бутылок.
Но как только Ацо извлекает из-под сиденья флягу с твоим, Петрович, аляповатым изображением, я протестующе отстраняюсь рукой.
— Извини, приятель, но именно такую я недавно, как раз перед отъездом сюда, пробовал в Белграде.
— Такую ты не мог пробовать ни в каком своем Белграде, — твердо возражает Ацо. — Туда такие не доезжают.
— Сбываете в Америку?
— Нет, не сбываем, — морщится он. — То, чем я тебя угощаю — из наших неприкосновенных запасов.
Он наливает мне на дно отвинченной металлической крышечки. Но бедный мой, измученный, распухший, будто ошпаренный кипятком язык уже не в состоянии определить, чем же это отличается от того, что мне уже слишком хорошо известно. И я вру наугад:
— Да, вполне зрелый напиток. Или слегка перезрелый?
Он морщится еще болезненней:
— Это базовый материал нашего собрания, основной капитал всего хранилища. Такие вещи не перезревают, так что твоя шутка не годится. Не вороши гнездо диких пчел. — Помолчал и добавил:
— Между прочим, мне понравилось, когда ты назвал это наше хозяйство гнездом диких пчел.
И тут он весь как-то встряхнулся, заговорил почти торжественно:
— Америке мы не по зубам. И не по карману... Американские туристы — это так, баловство, всего-навсего шелуха, ветхая чешуя громадной, злой и гибкой змеи. Эта змея окольцовывает сегодня восемьдесят процентов мировых запасов золота, то есть, трезво рассуждая, весь мир у нее вот где, — тут он шлепнул себя по тощей заднице. — За вычетом Китая и твоей России, которая, к великому сожалению, уже загипнотизирована гремучим взглядом гада. Вы для него все еще лакомый кусок. Я не говорю про банальные вещи, про алмазы, золото, леса, про вашу бездарную нефть. Но спирт.. у вас еше есть кое-какой спирт.
— Ацо, да при чем здесь спирт? Я не люблю бряцать оружием, но соласись, мы кое-кому еще можем вмазать в ухо.
— У кого золото, у того будет и оружие... А спирт здесь вот при чем. Посмотри на эту полку. Убогий вид, не правда ли? Но тут — по годам и десятилетиям — размещаются старые сливовицы и виноградные водки, которые подавались к столу еще короля Александра, убитого в Марселе в 1934 году. Уверяю тебя, каждая такая бутыль будет потяжелей современного танка... Но мы тут не скупые рыцари. Я дам тебе на пробу и этого зелья... А вон на тех стеллажах, что напротив, — там напитки, которые вкушал родитель Александра, король Петр, внук Карагеоргия Петровича, достойнейший наследник славы своего деда. И на тех бутылках, как и на этих, ты не увидишь ни одной неприличной этикетки. Мы не собираемся их никому продавать, хотя те, Петровы ракии идут уже по курсу: 1 литр за реактивный сверхзвуковой истребитель-перехватчик. Я дам тебе попробовать и из тех бутылей. Но сперва дослушай то, ради чего тебя и проверяли так долго.
Маленький Ацо был величав, старателен и светел, как вновь назначенный викарный епископ, вышедший на амвон с праздничной проповедью.
— Итак, в чем мы видим смысл противостояния мировому змию? Мате-

риальное невозможно одолеть материальным же, — вижу, ты согласен. Большую или даже равную по количеству массу золота нельзя вытеснить с помощью только золота. Золотом мы их не победим, для этого мы недостаточно златолюбивы. Мы победим их не золотом. Считай, золото уже проиграно. Как и это вот серебро, — тут он небрежно задел пальцами свою двойную цепочку. — Как и алмазные запасы мира и вся ювелирная индустрия. И уж, конечно, не наркотиками мы их победим, это и ребенку ясно. Все эти материальные обеспечения главенствующей денежной системы, как ты не хуже меня знаешь, условны и случайны. Почему, спрашивается, золото драгоценнее нержавеющей стали? Или кислорода? Или простого, извиняюсь, кобыльего дерьма? Сколько ни посыпай золотым песком землю, помидоры от этого не вырастут крупнее или сахаристее. Так что это еще не известно, что ценнее — кобылья куча или золотой самородок... Не смотри на меня, как на умалишенного!.. Ты тут как-то недавно высказался в том смысле, что из глинки, как ни пыжься, невозможно вылепить золотишко. (Извини, что наши ребята-пещерники записали некоторые твои изреченьица, когда ты проходил у нас проверку. Служба есть служба.) Так вот, насчет глинки ты хотя и прав, да не вполне. К примеру, для археолога какой-нибудь глиняный черепок, выкопанный с трехметровой глубины, куда драгоценней того же по весу золота, если из этого черепка едал кашу сам Гомер. В периодической системе веществ Менделеева, как ты знаешь и без меня, нет иерархического противопоставления одних вещей другим. О подлинной иерархии ценностей имеет смысл говорить лишь на границе духовного и материального миров, на границе земного и небесного царства, по определению святомученика князя Лазаря, которого ты тоже недавно помянул, справедливо обругав при этом наших безмозглых дизайнеров... А хочешь, мы немного передохнем?

— Пожалуй, передохнем.

Он осторожно снял с полки бутылку, тщательно отер ее от пыли белоснежным платком и вдруг молодецким движением хлопнул ладонью в дно. Пробка наполовину высунулась из горлышка. Ацо протянул бутылку мне, а сам дернул цепочку вверх и извлек из нагрудного кармана латунную охотничью гильзу. А я-то думал, там у него часы.

— Вот, — он показал ногтем на нижнюю цифровую отметку. — Налей грамм пять и помяни убиенного Александра.

Я без привычки — ведь насквозь не видно — налил больше.

— Царствие ему небесное.

Мой израненный язык бережно обволокла мягкая и холодная, как из святого колодца, влага.

— Даже не знаю, что и сказать тебе, Ацо. Тут что-то почти уже неземное.

— Вот именно. Как раз к этому и клонится наш разговор. Мы с тобой согласились: материальной силой нельзя одолеть силу материальную, земное невозможно одолеть земным. Только небесное копье способно проткнуть пасть мирового змия... А теперь подумай: есть ли на земле какое-нибудь вместилище Божественного Духа?

— Конечно, есть! Твоя и моя душа. Душа всякого человека.

— Истинно так. С той лишь поправкой, что она не всегда, к сожалению, служит ему вместилищем. Но всегда может им стать...

— Послушай-ка Ацо, — не утерпел я, — не хочу придираться к словам, но ты как будто водишь меня какими-то кругами: то золото, то навоз, то змий, то — теперь — душа. Ты ведь не Сократ, а я не ловкий софист, чтобы разгадывать твои притчи и басни. Скажи прямо, что ты хочешь, потому что у меня к тебе есть одна просьба, ради которой...

— Знаю, знаю, ради какой. Но мы и движемся туда совершенно прямо, никуда не сворачивая. А поэтому давай-ка перейдем на ту сторону, чтобы ты отведал кое-что и из запасов Карагеоргиева внука.

На ходу он выпрастал из брючного кармана новый чистый платок...

Я пригубил из холодной гильзы. И слегка поперхнулся. По-моему, это была уже не жидкость, а какое-то стремительное облачко испарения.

— Не понимаю, Ацо. Сливовая кислинка еще чуть угадывается. Но, кажется, дело приблизилось к чистому спирту.

— Молодец! Вот именно приблизилось. Как там у нас будет Дух Святый по латыни?

— Spiritus Sancti. Ну, и что же?

— А то, что мы с тобой пришли к тому, к чему двигались. Я не стану угощать тебя нашим абсолютным спиртом, потому что ты и так уже с секунды на секунду можешь самовозгореться... Мы пришли к тому, что здесь, в чреве горы Опленац, вершину которой увенчивает белокаменный собоор святого великомученика и змееборца Георгия, — здесь у нас под каменной толщей создан и сохраняется новый абсолютный эквивалент всех материальных и метафизических ценностей земли, Божий пламень, Господне огненное копье, пригвождающее нечисть... Вижу, ты уже открыл рот, чтобы обвинить меня в кощунственной ереси. Но успокойся. Божий огонь, о котором я говорю, — это не Дух Святый, потому что и этот огонь, как видишь, имеет вес, форму и плоть. Он материален. Но в том-то и дело, что изо всех земных веществ спирт — наиболее бестелесная сущность. И наименее материальная...

— Знаешь что, Гений Ацо, я ведь не разбираюсь ни в химии, ни в алхимии, ни в астрологии, ни в плутологии. И в богословии я не силен... Ты, я вижу, мудр, как змий, а я всего-навсего прост, как голубь. Поэтому мне от твоих субстанций хочется подремать...

И я задремал, прямо с открытыми глазами, как бывало когда-то на лекциях, когда голова не выдерживала больше высокого напряжения диалектических или политэкономических формул. Не знаю, сколько длилось забытье, мне было неловко перед новым моим приятелем, тратящим жар впустую, но улавливал я только клочки его вещих речений.

...Здесь, под каменными сводами простирается причастная Чаша, которой хватит на окормление всем верным на века и века... содержимое Чаши не окисляется, не истощается под землей, но с каждым летом прибывает... мы будем здесь терпеливо ждать, пока те, кто ныне поклоняется золотому змею, не придут к нам, не постучатся, как постучался ты... не бойся! то, что я открыл тебе — не ересь, не тайная доктрина гностиков, не масонская прелесть... я сказал лишь то, о чем стесняются или робеют говорить открыто там, наверху, в больших городах... на глазах у стеснительных и робких причастное Вино превращают в болезнетворную отраву, яд для несчастных и безвольных народов, отученных от таинства Причастия... был у вас, русов, в прошлом веке такой поэт — Аполлон Григорьев, почти гений, но несчастный пропойца...

При звуке родного имени я пришел в себя и виновато захлопал глазами.

— Григорьеву постоянно не хватало чувства меры, — Ацо заметил перемену во мне, и в его голосе прибавилось уверенности. — Он страшно переживал из-за этого, и именно его страдающая душа однажды, в порыве прозрения, исторгла из себя поразительные слова: «Христос — это Мера». Такой мысли о Христе я прежде ни у кого не встречал, — ни у отцов церкви, ни в посланиях апостолов. Но ведь именно так оно и есть: Христос — мера всех вещей, всего тварного мира, всех наших чувств и желаний. Почему из причастной чаши священник подает нам только малую ложечку вина с крохотной долькой хлеба? Ведь, казалось бы, у Христа всегда хватает запасов, чтобы каждому из нас досталось по целому стакану, по целому ведру вина и по целой краюхе хлеба. Ты ведь помнишь, как всего пятью хлебами накормил Он тысячи оголодавших людей. И как в Кане Галилейской, когда за свадебным столом не хватило вина, Он сотворил из воды вино в сосудах каменных, в каждом из которых было по две или по три меры. Но Христос — сам мера, Он знает, что когда и кому отмерить. Одна мера — для свадьбы, другая — для причастия, одна — для веселья житейского, другая — для радости духовной... А они там, наверху, издевательски смешали все меры. Превратили Вино в алкогольную похлебку. Мировой змий все чистые напитки слил в одно корыто, впрыснул в это мешево своей желчи и взбаламутил все своим хвостом. И что вышло?

— Бормотуха. Солнцедар, — вспомнил я неприличные слова, и стенки моего желудка слабо затрепетали, возмущенные рвотными названиями.

— Производство винных смесей — то же самое, что грех кровосмесительства, — сказал Ацо. — И они сознательно пошли на этот грех. На Страшном Суде Христос из каждой десятки виноделов девятерых отвергнет.

— Но Ацо, дорогой, что же делать теперь, когда преступление совершено? Что могут исправить такие, как ты, — одинокие подпольные мыслители,

про которых обыватель думает, что дегустаторы, это какие-то алкоголики-дистрофики, выгодно пристроившиеся возле больших посудин?

— Как что делать? Дело уже делается, и очень скоро, может, даже на нашем с тобой веку золото будет окончательно развенчано как мерило всех человеческих ценностей. Мировому змию, который еще нежится на солнышке, придется срочно уползать в свою глубокую вонючую дыру — у пичку сатанинской матери. Тогда свое слово скажут народы, которые сохранили верность небесному Пламени...

— Погоди-ка, Ацо, ты случайно не огнепоклонник?

Ацо осенил себя крестным знамением и невозмутимо продолжил:

— ...народы, верные причастным Вину и Хлебу. И тогда эти чистейшие и благороднейшие дары земли — хлеба, винограда, слив, яблок, шелковицы и терна — станут подлинным мерилом земных и небесных ценностей. И это вот все, — он обвел руками вокруг, решительно очерчивая громадный круг пещерной своей сокровищницы, — выйдет на волю из катакомб, станет даровым, бесплатным, как воздух и вода, как все дары жизни и любви. Но — как только это станет бесплатным, рухнет и закон, принуждающий людей к алкоголизму, к ежедневной потере чувства меры. Потому что притягателен и соблазнителен лишь запретный плод. Когда же в твоем доме полны закрома чистых и благородных напитков, тебе совершенно нет нужды напиваться. Стакан не будет жадно трястись у тебя в руке. Человек ведь почему напивается? Потому что знает: завтра уже не дадут, завтра не будет, все свое нужно взять сегодня да поскорей напиться до смерти, потому что никакого завтра не будет...

При этих словах я обнял его и поцеловал в лоб. Ацо, будто не заметив, продолжил:

— Только идиоты и негодяи считают, что алкоголизм можно победить системой запретов и наказаний. Никакие сухие законы, никакие принудительные лечения и трудовые лагеря не сделают того, что сделает полная свобода бесплатного пользования дарами очистительного Божественного огня... Мне совершенно все равно, кто вы там в России, коммунисты или тайные монархисты. Кое-что вы умеете делать неплохо или даже лучше всех. Но что касается питьевой политики, то ваши правители полные болваны или полные мерзавцы, что одно и то же. Они бьют тебя по голове то непочатой бутылкой, то, для разнообразия, пустой бутылкой. То спаивают тебя, то велят, чтоб ты из алкаша превратился в грудного младенца, причем, желательно, в течение суток... Я знаю только одного русского, который в XX веке пытался противостоять вашей бездарной алкополитике.

— Это кто же?

— Менделеев. И не говори, что ничего не понимаешь в химии. Это будет понятно даже тебе.

Ацо отмахнул полу халата и, крякнув, совсем как русский мужичок, выхватил из-за пояса тонкогорлую поллитровочку с популярной некогда зеленой наклейкой, от которой глаза мои давно отвыкли.

— Знаешь, что это за водка? — строго вопросил Ацо. —

— Как не знать! «Московская особая».

— Нет, это Менделеевская. Это лучшая водка в мире. И рецепт ее изготовления разработал лучший химик мира Дмитрий Менделеев, который хотел, чтобы русские пили чистый продукт, а не сучок. Кстати, я пользуюсь ею постоянно. И всем дегустаторам советовал бы. Она после работы прекрасно очищает язык от назойливых вкусовых ощущений, подцепленных за день.

Я не смог удержать тяжелого вздоха.

— Послушай, Ацо, ты — подлинный Гений, и я не знаю, как отблагодарить тебя за все, что ты мне здесь показал и рассказал, но все же мы как-то сбились с дороги. Я ведь, ты знаешь, хотел побывать только в домовом подвале Карагеоргия, ты же возишь меня по подземным хоромам, вырытым уже при его потомках — при внуке и правнуке. И, догадываюсь, даже при маршале Тито, который наложил недрогнувшую руку на все королевское имущество, в том числе, и на эти напитки. Ну, не томи же меня больше, прошу тебя. Ты ведь видишь, я с тяжелого похмелья, я тут накануне сильно превзошел свою меру, все внутри меня полыхает, я еле шевелю языком, сердце вот-вот остановится. Скажи, пожалей меня, одно только слово скажи: «да» или «нет».

— Нет, — тут же сказал Ацо и упрямо уставился мне в глаза своими черными, как угли, какими-то индийско-цыганистыми.

— Ацо, ты серб или нет?

— Я серб. Я черногорец из рода Негошей, если тебе это о чем-то говорит.

— Будь ты даже из рода Неманичей, сербских царей, но если ты не хочешь показать мне подвал, откуда Карагеоргий вышел на восстание против турок, то ты, Ацо, плохой человек.

В его взгляде мелькнуло сострадание. Но не в словах, которые я услышал:

— Что ты ищешь следы ветра на воде? Не дури. Та вода давно утекла. Тот подвал давным-давно засыпали землей и камнями, а остатки бревнары растащили на дрова, и теперь на том месте стоит памятник, так себе памятник... Не ищи! — скажу я тебе. Не рыскай понапрасну. Ты уже ничего не найдешь. Опроси хоть всех сербов, живых и мертвых, ты уже никогда не дознаешься в точности, убил ли Карагеоргий своего родного отца или он убил отчима, или же вообще не убивал ни отца, ни отчима. События, уходящие от нас в прошлое, становятся — чем дальше, тем больше, — такими же многовариантными, как и события, еще не состоявшиеся...

— Ну, знаешь что, Ацо, мне вовсе не по душе этот твой исторический цинизм. Так можно доказать, что и Нерон никого не убивал, и Сократа никто не осуждал на смерть, и Христа никто не распинал.

— Нет, я говорю тебе только о Карагеоргии. У сербов ты никогда не допросишься, был он отцеубийцей или нет. Они всегда будут отвечать тебе уклончиво. Потому что в душе им не хочется, чтобы он был отцеубийцей. Только один Тито, — да и то потому, что не был сербом и не любил сербов, — во время войны пытался извлечь пользу из мифа о Карагеоргии-отцеубийце. «Если партия прикажет ради нашей победы убить и отца родного, — говорил он перед строем партизан, — убьем ли мы и отца родного?» — «Убьем!» — отвечали партизаны... Кстати, твой приятель Стручняк, хоть ты его и называешь специалистом, пишет о Тито с наскоку и местами поверхностно. В нашу историю с наскоку не войдешь. Как и в вашу тоже. Но попадаются и у Стручняка отдельные озадачивающие формулировки и остроумные наблюдения. Свежий взгляд всегда...

— Погоди, Ацо, не заметай следы. Я ведь тоже, как и ты, народный разведчик. Значит, говоришь, нет подвала?

— Нет. Дался тебе тот подвал. Если ты занимаешься поиском, то не ползай в прахе, не взбивай пыль. Потому что тогда уже вообще ничего не различишь в клубах пыли.

— Э-э! — махнул я на все рукой. — Тогда давай напьемся. Где твоя «Московская особая»?

— Напьемся — не напьемся, а грамм по сто пятьдесят выпить нам теперь никто не помешает, — сказал Ацо, и тут лицо его озарила улыбка, мягкая и какая-то совсем детская. Он улыбнулся в первый раз за весь наш разговор. Он снова извлек было из кармана свою гильзу, но сразу же утопил ее обратно. — Из горлышка, что ли?

— Почему бы и нет. Но не в щечку, а по-мужски. Мой глоток — грамм семьдесят. Живели!

— Живели! За победу!

Потом выпил он, потом мы еще раз прошлись по малому кругу.

— Ацо, ты у меня ничего не закусываешь.

— Закусывают только слабонервные.

Я ощущал, как язвы срастаются на моем языке. Сердце застучало ясно и твердо.

— Ты говоришь, что перебрал накануне? — Ацо был снова испытующе строг. — А мне кажется, что так тебе и нужно было поступить.

— Что, перебрать?

— Нет, выжечь у себя в нутре все лишнее, что тебя сковывало и угнетало. Душа — хорошее вместилище для Духа Святого, но только когда она чиста внутри.

— Ацо, дорогой, я и сам, когда подопью, так и рвусь вперед, чтобы доказать всем и каждому, что Бог существует и что он есть Любовь. Но нам-то с тобой доказывать друг другу нечего. Я правильно говорю?

— Правильно. Ты рвешься вперед, потому что Дух Святой тебя ведет.
— Дай Бог. И ты на меня ни за что не обижаешься?
— А за что?
— Я ведь говорю тебе искренне. Что нам рассыпаться друг перед другом в реверансах. Мы ведь славяне? Или какие-нибудь мальтийцы? Или турки? Говори!
— Нет, мы не турки. Но мы можем и турок позвать. Пусть выпьют с нами. У нас хватит выпивки.
— Нет, Ацо, ты не прав. Туркам с нами пить нельзя — по закону. Им можно только гиду... дигу... ге-ду-сти-ровать...
— Можно, — согласился Ацо.
— Ацо, но я больше не могу.
— Чего не можешь? Пить?
— Нет, пить-то я могу. Но я не могу больше не петь.
— Как это?
— Когда я выпью, Ацо, мне обязательно хочется что-нибудь хорошее спеть. Мы ведь славяне, или нет? Мы пьем не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы что-нибудь хорошее спеть. А в Белграде, в «Унионе», сам знаешь, там петь неловко. Там нас не поймут. Ты хочешь что-нибудь хорошее спеть?
— А что споем? «Подмосковные вечера»?
— Отстань, Ацо! Давай споем «Тамо далеко».
— Давай.
Я обнял его за худые плечи, и он держал меня, как мог, за спину, и мы подались, размахивая свободными руками, в какие-то извилистые полутемные переулки, где миролюбиво молчало до времени пламя, готовое очистить опаскуженную землю.

Тамо далеко,
Далеко од мора,
Тамо е срце мое,
Там моя Србия...

Когда мы немного утомились от ходьбы и пения, Ацо предложил:
— Хочешь еще по глотку?
Мы выпили, и я показал на его цепочку.
— Я думал, это от часов. Потому что у меня самого часы карманные с цепочкой. Правда, она не серебряная, а, как выяснилось со временем, медная. Видишь, покраснела.
— Она покраснела, потому что мы, славяне, красные.
— Точно! Это и мое наблюдение.
— Это общеславянское наблюдение. Красный цвет — это цвет нашего мученичества, а не потому, что мы, видишь ли, кровожадные или пьянее других.
— Правильно, Ацо, мы не пьянее иных. Кто пьян да умен — два угодья в нем. Но скажи мне, Ацо, почему славян все так не любят? Чем мы им не угодили?
— А потому что они нас боятся. Потому что мы их все равно победим — в духе. Не здесь, на земле, но на небе. Вот им и завидно. И еще им очень обидно, что мы накласть хотели на их золотишко.
— Где оно? Пусть принесут на подносе. Мы им покажем, как это делается... Что, несут?
— Нет, не несут. Тут им темновато...
Так мы беседовали мирно, и снова шли, и запевали песни, и останавливались, чтобы подкрепиться...
Пока вдали не замаячила на выходе двухметровая фигура сторожа в форме пограничника.
— Как ты думаешь, Ацо, он не упрекнет нас, что мы нализались?
— Ты что! Мы вовсе не нализались. Мы просто нанюхались. Но ты с ним много не разговаривай. Он тут, по-моему, слегка подрабатывает — или на Штаты, или на Израиль, что одно и то же.
Когда мы подошли, наконец, к пограничнику, — он свысока рассмеялся:
— Молодец, рус! Ты настоящий рус! Ацо, а где твоя тачка?
— Тачка? — ответил я за Ацо. — Тачку мы продали. А деньги пропили.

— Молодец, рус! Ты уже пропил всю матушку Русию и теперь приехал пропивать Сербию.
— Да где там! Мне одному не справиться. Вот если с тобой вдвоем. Смотри, какая в тебе вместимость.
Он ухмыльнулся и потребовал:
— Пасош!
Я отдал ему паспорт, и мы с Ацо стали прощаться. Он вдруг предложил:
— Давай меняться?
И высвободил круглый зажим цепочки из воротника своего халата.
— Ацо, как можно? Это же твой рабочий инструмент... И какие-то часишки с медной цепочкой.
— Эта гильза — времен Карагеоргия... Давай часы! А то под землей не поймешь, то ли день, то ли ночь.
Тут меня окликнул пограничник. Ему, видите ли, еще раз нужно было сверить мою внешность с фотографией в паспорте. А я-то думал, что только у нас в Союзе еще водятся такие ханыги.
— Ну, как? Похож?
Он грохнул печатью по паспорту и хмыкнул:
— Ты потолстел, рус.
«А у тебя один глаз голубой, а другой зеленый, — хотел я ему заметить. — Это потому, что одним глазом ты работаешь на ЦРУ, а другим на Моссад». Но вместо этого я отвернулся, чтобы попрощаться с Ацо.
Его не было.
— Ацо? — позвал я.
— Ты чего орешь, приятель? — окликнул пограничник.
— Где Ацо?
— Какого тебе Ацо? Протри стекла!.. И пошел отсюда вон.
Я еще раз оглянулся, чтобы позвать друга на помощь.
Ацо не было.
— Ты, кажется, что-то сказал? А ну, повтори! — крикнул я пограничнику.
Но и его не было. В темном боксе не было никого.

...ни часов, ни цепочки с гильзой

В душной темноте моего пенала, напоминающего бокс, не было никого.
...Ацо, где ты?.. Еще когда ты вынул бутылку «Московской особой» из-за пояса, у меня в голове проскользнуло подозрение: что-то здесь не то, очень уж мой Ацо старается... Но я верил тебе, Ацо, до конца, эх ты!
Я отираю ладонью мокрый лоб, ощупываю себя... Где цепочка, что ты мне подарил, где гильза?.. Это просто оскорбительно, если ты мне лишь поблазнился!.. Так, а мои часы?.. Вот оно что! Все теперь ясно... Ну, какие я мог подарить тебе часы, если они не ходят и остались в Москве?.. Кругом одно вранье... Надо же, так позорно обмануться! Да, но зато красивый какой, какой великолепный обман! Если бы мне не было теперь так скверно, я бы не поленился и все записал в подробностях — в свой «Сонник», в котором я уже лет тридцать охочусь за снами, за своими и чужими...

Ах ты, Ацо, дорогой мой обманщик! Ах ты умница... Это просто подло, если тебя нет на самом деле... Ты должен быть, несмотря на отсутствие часов и цепочки. Я достану тебя из-под земли, слышишь? Нечестно меня так водить за нос, если ты, к тому же, из племени Негошей... Я еще не поговорил с тобой о самом важном... Вот только выпью воды из-под крана, и тут же засну, улыбаясь, как ребенок, и тут же настигну тебя... Ты не успел далеко уйти... Перво-наперво я допрошу тебя: а почему это, Гений Ацо, все Негоши были великанского роста, а ты удался такой маленький? Что бы ты мне ни ответил, обманщик, я счастлив, что мы встретились и пригубили вместе чуть-чуть из твоей подземной Чаши... Но теперь я буду внимательней, куда внимательней, не пропущу ни слова из твоих торжественных речей... Ацо, если ты православный человек, а не какой-нибудь лукавчик и пройдоха, если ты не вражий помысел, а настоящая черногорская лоза от сербского корня, я увижу тебя еще раз. Нам поговорить надо... Ацо, погоди, мне легче стало, я, кажется, засыпаю...

(Из рассказов Стручняка в восприятии Антонова.)
Как-то в конце апреля Стручко-младший помогал отцу пилить дрова возле их сарайчика, выделенного семье, как жильцам барака. Когда управились с большим осиновым бревном, отец затеял перекур.
— В этот раз я на парад не иду, — объявил он сыну, будто отчитываясь перед ним. — Но зато имеется пригласительный билет на гостевую трибуну возле ГУМа — это как раз напротив Мавзолея. — Он затянулся и красиво выпустил дым из тонких ноздрей. — Какие будут соображения на сей счет?
— Повезло! — бодро сказал Коля. Какие у него еще могли быть соображения кроме того, что он завидует отцу, который будет стоять как раз напротив трибуны. Но на всякий случай спросил:
— А билет на одно лицо?
— Увы! На одно. Так что маму не удастся взять.
Коля поковырял пальцем кору осинового бревна. И еще на всякий случай спросил:
— И меня не удастся?
Вот сейчас отец и припомнит ему насчет «дурацких» демонстраций. Но тот сказал:
— Ну, ты же проходил со мной на стадион без билета. Может, и здесь удастся. А не удастся, так вернешься сам домой — на метро и на трамвае.
Коля вздохнул полной грудью. Он понял, что отец просто немножко запугивает его, но на самом деле их пропустят вдвоем. Неоднократные посещения стадиона «Динамо» убедили его, что отец обладает каким-то загадочным даром располагать к себе милиционеров: наверное, одного их беглого взгляда на боевые ордена и медали майора-артиллериста хватает, чтобы понять просьбу офицера, не успевшего купить билет сыну, который, как отец при этом пояснял, «никогда еще не видел настоящего футбола». Коле даже нравилась эта многократно повторяемая маленькая хитрость отца, мальчик и не подумал бы назвать ее ложью, тем более, отец вовсе не выклянчивал у милиционеров разрешение, а произносил свою просьбу с великодушной дружеской улыбкой победителя, как бы предоставляя и милиционерам возможность проявить ответное великодушие.
Много позже, вспоминая свои детские годы, Николай Стручко пришел к заключению, что причиной их везений на стадионе «Динамо» были вовсе не эти отцовы маленькие хитрости, благодаря которым отец не тратился на лишний билет, а та особая атмосфера Москвы, когда на армию победителей люди смотрели с восхищением и когда каждый, как мог, старался это свое восхищение подтвердить хоть какой-нибудь бескорыстной услугой. «У той поры, — вещал при этом Стручко, — была особая историческая температура, как будто вы зашли в комнату, где женщина только что выгладила чистое белье».
И вот оно — единственное на всю его, наверное, жизнь — утро Первомая. «Холодок бежит за ворот, Шум на улицах слышней. С добрым утром, милый город, Сердце Родины моей», — слова этой песни, заученной и много раз петой в школе, сочинены, показалось сегодня Коле, именно про нынешнее утро. И прохладный упрямый ветерок свежил ему шею, запускал пятерню в его вихры, щекотал щеки шелковыми лентами наглаженного мамой галстука, когда шли с отцом по непривычному безлюдному мосту, соединяющему Замоскворечье с центром. И сдержанный рокот готовящегося торжества уже доносило сюда от Красной площади. И сам Кремль, впервые увиденный в такой ранний час, да еще со стороны реки, ошеломлял богатырской статью караульных башен, легкой дрожью дворцов, будто готовых оторваться от холма, золотыми плодами куполов, и все это заставляло сердце мальчика звенеть и замирать от нежданной близости к Сердцу его небывалой Отчизны.
Какое же это счастье, что я родился не в какие-нибудь темные времена, — пел Коля про себя, но, казалось, и на всю Москву, — не при жестоких царях-рабовладельцах, но в это солнечное советское время, когда наши победили Гитлера, когда живет Сталин и сейчас тоже, наверное, идет на Красную площадь, и через несколько минут я наконец, его увижу и прошепчу ему клятву, что я сделаю все для нашей окончательной победы, даже если для этого мне понадобится погибнуть на невидимом фронте...
На спуске с моста, где Коля уже не шел, а почти парил, им нужно было миновать милицейский пост и сойти по боковой лестнице вниз. И тут случилось необъяснимое. Один из двух милиционеров, которому отец протянул пропуск, даже не взял бумажку в руки.
— Товарищ майор, я не могу вас пропустить. Вы обязаны быть в парадной форме.
Отец на секунду опешил, но тут же полез в карман кителя.
— Послушайте, товарищ старшина, вот мое удостоверение личности. Я учусь в академии. И пропуск мне выдала академия, как участнику двух парадов на Красной площади. И меня никто ни словом не предупреждал, что по гостевому пропуску я обязан быть в парадной форме.
— Значит, товарищ майор, вам нужно разобраться в этом с теми, кто забыл вас предупредить.
— По-моему, вы не хотите меня понять, товарищ старшина, — Коля по звонким ноткам в голосе отца догадался, что тот начинает раздражаться. — Или шутите. Это в какие же сроки, по вашему разумению, я должен разобраться со своим начальством?
— Мы здесь поставлены не для шуток, товарищ майор, — покраснел милиционер. — А для того, чтобы в точности исполнять предписание: на трибуны пропускаются только офицеры в парадной форме. Извините, но вы зря тратите время.
— Ну, хорошо же, — отец надвинул фуражку чуть ниже на брови. — Но разбираться я буду не где-то, а здесь. И не со своим, а с вашим начальством. Где располагается ваша комендатура?
— Пожалуйста, — еще гуще покраснел милиционер. — Она располагается внизу под лестницей. Но там вам скажут то же самое. А мальчик пусть подождет здесь.
— Что? — изумился отец. — Это что же, в качестве заложника? Как в Золотой Орде?
Старшина молчал, стараясь глядеть в сторону.
— Мальчик пойдет со мной, — резко проговорил отец, схватил Колю за руку, и они стали быстро спускаться по лестнице.
— Напрасно, товарищ майор, — крикнул им в спину старшина.
Отец не удостоил его ответом.
Внизу, в комнатке, где сидело трое офицеров милиции, отец прямо с порога обратился к старшему из них, тоже майору:
— Что за новое предписание, товарищ майор? Ни позавчера, когда мне вручили пропуск, ни вчера меня никто не предупредил, что на гостевые трибуны военнослужащих пускают только в парадной форме.
— Значит, ваше начальство почему-либо не получило предписание. Или не успело вас предупредить, — благодушно объяснил старший. — Но факт есть факт — пропускаем только в парадном.
— Мда, — отец обескураженно повел плечами и полез в брючный карман за портсигаром. — Это дело треба перекурить. Есть желающие?
— «Беломорчик»? — пошевелился майор милиции. — Не откажусь.
За ним потянулись к портсигару и другие.
— Ну, что будем делать? — строго спросил отец у Коли.
Коля взглянул на всех с такой жалкой улыбкой, как будто это он виноват во всем случившемся.
— Час назад, час обратно, — рассуждал вслух отец.
— Нет, товарищ майор, — шумно вздохнул старший и поглядел на ручные часы. — Ровно через шесть минут прекращаем допуск.
Помолчали.
Отец приподнял козырек фуражки, и на лбу под околышем стала видна красная полоска. Подошел к столу и ткнул недокуренную папиросу в пепельницу.
— Значит, не судьба. Поехали-ка, братец, домой.
Коля моргал глазами. «Зря спускались сюда, сразу надо было поворачивать».
— Ваш младший братишка? — полюбопытствовал майор милиции.
— Нет, сын.

— Значит, еще довоенный?
— Так точно, еще довоенный.
— Да, судьба, — неопределенно качнул головой милиционер. И вдруг хитровато улыбнулся. — А знаете, что я вам посоветую, товарищ майор? Тут у меня все свои. Мы ничего не видели и вам, конечно, ничего не говорили. Снимите-ка вы быстренько свои погоны. Теперь ведь половина демобилизованных офицеров донашивает военную форму, не так ли? И тогда у нас не будет никакого формального повода не пропустить вас.
— А если будет еще проверка? А мое удостоверение? — весь напрягся отец.
— Проверки больше не будет. Я вам даю слово. Только поторопитесь.
Отец уже стремительно расстегивал китель. Коля, как раз недавно начищавший ему к празднику погоны, знал, что снимаются они очень просто: нужно только развязать с тыльной стороны плеч шнурочки от пуговиц и вынуть из петель нижние погонные ремешки. Но отец, обескураженно улыбаясь, никак не мог развязать шнурок, которым пуговица крепилась к кителю.
— Обрежьте ножичком, — один из милиционеров, внимательно следивших за действиями отца, протянул ему перочинный ножик.
Когда отец снова надел китель, вид у него был совсем не бравый. Коле показалось, что он сошел бы за какого-нибудь завсегдатая Инвалидного рынка, который бесцельно слоняется между рядами, и даже любопытные евреи из голубых москательных лавочек, как на подбор коренастые и рыжие, не обращают на него никакого внимания.
— Как теперь идти? — спросил отец.
— Пройдете справа от Василия Блаженного. Ваш сектор на тротуаре перед ГУМом, примерно напротив Мавзолея. Определитесь по нумерации секторов, — объяснил старший и ухмыльнулся. — Только честь никому не отдавайте.
И когда они с отцом уже были на пороге, хмыкнул:
— Товарищ майор, а фуражка?
— Что фуражка? — не понял отец.
— У вас звездочка осталась на фуражке.
— Ах, да, — смешался отец. Но звездочку он вынул всего за несколько секунд, отогнув подкладку околыша и распрямив две зажимные проволочки, приваренные ко дну красной эмалевой звездочки.
— Вот такую носил бродяга Тито, — вдруг пошутил отец. — Это я видел сам. Такая изо всех югославских партизан была только у Тито. Когда он еще был за нас, а не против нас... Спасибо, товарищи офицеры. Чести, извините, не отдаю.
Позже, лет через тридцать, рассказывая друзьям про чрезвычайное первомайское происшествие, Николай Стручко так его пояснял:
— Даю голову на отсечение, что это были те еще милиционеры. Отец по наивности мог не знать тогда, но, конечно, это были ребята из Детского Мира (так Стручко в кругу друзей именовал Лубянку). Тот, что не пускал нас на мосту, думаю, он был не в меньшем чине, чем отец. А старший — в комендатуре, по моему разумению, тянул на полковника, а то и на генерала. Ведь так у нас и сейчас: милиция вокруг Кремля и автоинспекция на правительственных трассах — переодетые ребята с зарплатами и полномочиями вовсе не старшин и сержантов. Но те — те еще уважали вояк. Хотя и не все.
— А они могли все же подстроить твоему отцу ловушку?
— Исключено, — протестовал Стручко. — Не нужно абсолютизировать сволочизм даже бериевского поколения КГБ. К тому же при отце был я, а тогда довоенный ребенок в семье вояки что-то весил. Он был живым свидетельством того, что семья пребывала в разлуке минимум четыре года, и отец, он же муж, за редкими исключениями все это время ничегошеньки не знал о судьбе своих жены и ребенка, или детей, как и они о нем. И в Детском Мире, уверяю вас, этому обстоятельству многие все-таки знали настоящую цену.
...А тогда, утром Первого Мая, через несколько минут после чудесного происшествия и рискованной отцовой жертвы Коля увидел, наконец, живого Сталина. Увидел прямо перед собой — поверх фуражек воинской

части, стоявшей спиной к ГУМу. Колино тогдашнее впечатление было таково: Иосиф Виссарионович Сталин едва ли не ниже ростом всех стоящих на трибуне справа и слева от него, военных и гражданских. Но, несмотря на свой невысокий рост и некрупную фигуру, он виден гораздо отчетливей всех остальных, чьи лица и фигуры как-то расплываются и рябят в глазах. Удивительно хорошо видны его пепельно-бархатистые усы, придающие его внешности ощущение особой мягкости и теплоты. Да, от дедушки Сталина исходит какая-то особая теплота и какая-то особая мягкость. Они распространяются от него на всех, стоящих рядом, и на всех, что внизу. Эти мягкость и теплота передаются всей площади, всем людям, всему ясному майскому утру. Этот пожилой человек, да нет же, именно дедушка, добрый и, наверное, улыбающийся в усы дедушка не стоит на месте: то прохаживается за спинами соратников, то вновь становится между военными и гражданскими, несуетливо поворачивается то к одному, то к другому собеседнику, и все это делает удивительно мягко, — ни одного резкого, неожиданного движения.
Он мягкий и теплый — вот что увидел и ощутил мальчик Коля. И больше ничего не увидел и не ощутил. И так потом всегда, в разные времена честно, с обескураженной усмешкой признавался.
— Конечно, моему «историческому свидетельству» грош цена. Но уж не обессудьте, что увидел, то увидел: теплый и мягкий. И не просто сам по себе теплый и мягкий, но распространяющий это свойство мягкости и теплоты на всех присутствующих... Ведь моя задача, по сути, очень проста: восстановить то, что увидел тогда, не прибавляя ни капли из того, что услышал и узнал через три, пять и так далее лет... Вы скажете: я увидел то, что мне задано было увидеть всем нашим тогдашним воспитанием. Чепуха! Я увидел то, что на моем месте увидел бы всякий здоровый, не свихнутый никаким фанатизмом ребенок. И уверяю вас, мое свидетельство если и интересно, то вовсе не с точки зрения психологии массового внушения, не с точки зрения теории мифа и т. д. и т. п. В гробу я видел все эти теории, будь они трижды правы. Мое маленькое свидетельство ценно тем, что оно было до всяких хитрых теорий. Ей-ей, ребята, Сталин все еще загадочен, его не разгадать с помощью истерических нагнетаний оттуда или отсюда, — уж вы поверьте матерому антисталинисту. Но где-то, может быть, почти в центре этой загадки есть момент мягкости и теплоты, вовсе не инфернального, а простого человеческого свойства... Вот почему меня глубоко волнуют те страницы в воспоминаниях его дочери, где она описывает, как Сталин умирал — в окружении плачущих навзрыд московских простолюдинов, которые работали у него на даче и, значит, знали своего бога с ближайшего расстояния, в ежедневном быту, каковой возможности и дочь была лишена... Как персонаж античности, как герой эпического времени, Сталин умирал под вопли и рыдание народного хора, и эти миллионы, что искренне и безутешно его оплакивали, ближе всех умников подошли к отгадке его исторического назначения. Вместе с Пушкиным они подошли ближе всего. Да-да, с Пушкиным, потому что лишь благодаря Пушкину можно понять, кто был для народа Сталин. Вы, конечно, помните стихотворение Пушкина «Герой»? Но небрежно его читали, не так ли?.. А там сказано все или почти все об отношении народа к Сталину. И всего в двух строчках: «Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман». Вот именно. Сталин и был для русского человека тем возвышающим обманом, который понадобился для того, чтобы русский человек выжил в невероятных, нечеловеческих условиях. И народ вполне сознательно, а не сглупа, как представляется нашим умникам, пошел на этот обман, вообразил себе доброго, мудрого, сурового и прозорливого вождя, героя, царя, почти икону, чтобы с помощью этого возвышающего обмана выжить... Впрочем, все Сталин да Сталин, хватит пока. Для меня в тот день главным открытием стал вовсе не вождь, а мой отец, пожертвовавший офицерскими погонами, чтобы мне увидеть Сталина, а ему исполнить свое офицерское обещание... Господи, сколько же я крови попортил своему батьке, как же не щадил незаживающие раны его коммунистической совести... Однажды приехал к нему на день рождения, выпили и завелись, сцепились. Я возьми да брякни: «А помнишь, через месяц после того парада ты как-то вечером взял старое ведро, мне дал второе, и мы пошли в сумерках за бараки, к узкоколейке,

где был свален из вагона уголь и оставлен без присмотру под открытым небом... Видел бы нас в ту минуту товарищ Сталин, тебя — сталинского стипендиата, и меня, юного ленинца, как мы тащим домой общенародное достояние... Нет же, мы до смерти будем нищими, но все будем до неба превозносить нашу такую добренькую власть...» Он глянул на меня затравленно и побарабанил пальцами по столу, чтоб успокоиться. И сказал тихо: «Нет, я такого события что-то не припомню. А если ты что-то такое помнишь, значит, у тебя слишком избирательная память». Ей-ей, я вовсе не хотел его тогда оскорбить: вот, мол, и ты углишко однажды воровал. Я даже горжусь этим нашим ночным походом за углем! Это вам не «Подвиг разведчика»... У нас в доме вообще был культ воспоминаний и любили вспоминать в основном хорошее. «А помнишь, — говорил я ему, — как я тебя в Сибири после войны домой без пароля не впускал? Маму увезли в больницу, а в городе шалили какие-то банды, и ты не велел никому открывать. Ты приходил поздно, стучал. «Кто там?» — «Это отец, открывай». — «Пароль!» — спрашивал я как можно строже, и ты отвечал, как было условлено: «Суворов!» «А помнишь, как зимой, в мороз, в тайге ты разбудил меня и велел отнести пакет командиру полка, и я безропотно оделся, пошел, и когда был уже метрах в ста от нашей землянки, ты позвал меня назад и сказал: «Ложись спать! Задание выполнено».

Но были воспоминания, которыми я никогда потом с ним не делился. Когда Сталин умер, отец приехал со службы под утро и рыдал, давясь подушкой, чтобы мы не слышали. Страшный, жуткий звук! как будто он хотел задушить себя этой подушкой. Или помню вечер, когда он попросил меня выйти на улицу, мы ходили по снегу вокруг нашей пятиэтажки — круг, другой, пятый. Я-то ожидал, он станет отчитывать за школьные провалы по всем статьям, — от года к году учился я все хреновее. А он вдруг заговорил о культе личности. Он не переставая курил, был подавлен, пересказывал хрущевскую речь, будто оправдывался передо мной, пацаном, в темных провинностях своего Отца земного...

И еще есть у меня одно воспоминание — из неоглашенных в присутствии моего батьки. Тоже дело было зимой и ночью, в Сибири, после войны. Мы возвращались из гостей, от сослуживца моего отца, у которого в доме висела большая карта с красными стрелами знаменитых «сталинских ударов», и хозяин, помнится, с жаром доказывал, что великий стратег товарищ Сталин намеренно затащил Гитлера в глубь России, чтобы истончить немецкую силу на громадном пространстве от севера до юга и лишь после этого начать нанесение несокрушимых десяти ударов, — то в голову, то под ребро, то по ногам, то поддых... После пылких разговоров и здравиц ясное звездное небо засияло над нами, будто наградной лист державе-победительнице. Отец вдруг стал как вкопанный, торжественно развел руками и прочитал надо мной, первоклассником, символ своей веры: «Погляди, все это — Вселенная, вечная великая Материя, которая не имеет конца ни в пространстве, ни во времени. Она никогда не начиналась, никем не была сотворена, она была всегда. Она и есть наша творящая сила, и не нуждается ни в каком боге. Посмотри, она прекрасна, и никто никогда не объяснит ее до конца...» Он еще что-то говорил о своей возлюбленной Материи, но я уже плохо соображал, потому что голова кружилась от страха и восхищения перед новым символом веры, который отныне надолго сделался и моим...

А почему я не напоминаю ему о той ночи? Да боюсь, опять заспорим. На смену Победе медленно вползло в наш дом поражение, батьку моего, доверчивого и упрямого коммуниста, ни за понюшку табака предали хитрозадые вожди, сделавшие своей идеологией вместо коммунизма дипломатический туризм. А он?.. Он все еще держится стариковскими руками за свою прекрасную Материю. Дай Бог ему примириться, наконец, с Богом... Давайте, что ли, выпьем за здоровье моего верующего упрямца... Если бы таких коммунистов, как он, было хотя бы десять на сотню, мы бы уже закатили тут такой коммунизм, что Телемская обитель рыдала бы и плакала... Я как-то спросил у отца: «Как ты относишься к разговорам, что Сталина убили, сжили со свету?..» Он или не понял, или не слышал таких разговоров, потому что ответил как-то уклончиво: «А, что бы там ни писали, Сталин не такая персона, чтобы его изъять из истории». Кому-то эти слова покажутся банальными, но я их понимаю так: сколько бы еще ни открылось

пакостей, сотворенных лично Сталиным, вдобавок к тем, про которые мы уже знаем, но когда на Страшном Суде начнется между небом и адом тяжба из-за его несчастной души, когда заскрипят весы и тяжело потянет вниз, во мрак чаша, доверху наполненная злодейскими его делами, пусть тогда не забудут совестливые ангелы и положат напоследок на вторую, слабо и робко дрожащую чашу оправдания, — пусть положат они на эту сирую чашу офицерские погоны и красную звездочку с фуражки моего отца.

...время залечивать раны, мы еще поживем!

Разреши, Петрович, доложу тебе обстановку. Она достаточно странная и, как нашептал мне во сне какой-то хлюст, неоднозначная. То есть, в переводе на простой русский язык, хреноватая такая обстановочка. Я, как видишь, жив и, благодаря твоей поддержке, почти здоров. Пребываю все в том же «Унионе», хотя, похоже, намечаются некоторые свежие движения... Но начну по порядку, чтобы ты убедился, что этот котелок кое-что еще варит. Оно, конечно, порядок соблюдать не просто. Я уж и не упомню, что за чем следовало, что случилось на самом деле, а чего и вовсе не происходило... Я-то думал, спать буду как убитый. Не тут-то было! Твой топольский эликсир завалил меня всякими видениями и знамениями по самую крышу, еле-еле я выкарабкался наружу. Кстати, этот Ацо, маленький такой и хмурый, — до сих пор не соображу, виделся я с ним в натуре, или померещилось...

Потом постучался ко мне Алеша, а я решил, что это опять пограничник для чего-то требует паспорт, и долго не хотел открывать. По-моему, Алеша сильно растерялся, найдя меня в таком состоянии. Он принес пива и целый ворох свежайших новостей... Один здешний журнал, кажется, собрался печатать главу из Стручняка, — если только я ничего не посеял этой ночью из его рукописи. Вперед, Стручняк, тебе салютует гвардия короля Петра!.. Между прочим, от пива, что принес Алеша, я решительно отказался, и мы с ним допили то, что тут оставалось. Ты ведь знаешь, я не какой-нибудь унылый алкаш и никогда не пью один. Да, он, оказывается, рано утром дозвонился в Москву и сообщил моей жене, что я веду здесь себя до безобразия примерно, из-за чего многие белградские дамы сохнут на корню или тихо сходят с ума. Она, говорит, засмеялась... Еще он ей ляпнул, дурашка, что я привезу им целый контейнер подарков, если только таможенники на границе не устроят облаву. Зря! Московские жены очень доверчивы... Еще он мне передал записку от этой Стручняковой журналистки, от Душечки. Она, оказывается, утром ждала меня внизу и оставила записку в рецепции, что приедет в час, покормит обедом и отвезет, куда я хотел... А я вообще не помню, чтобы я ей звонил и о чем-то просил. Срам и конфуз! Помню только, Стручняк велел отдать ей коня... Алеша поглядел на этого Шараца и расхохотался, как невоспитанный мальчишка. Зачем, говорит, вам танки и ракеты, если у вас водятся такие коняги?..

Послушай, однако, что пишет эта Душечка:

«Доброе утро, русский шпиун из «Униона»! Где вы так рано скачете на своем лошаде? Я хочу быть в один час пополудню и накушаю вас обедом и повезу около туда, куда вы очень хочете быть. Моя старшая сестра имеет дом в селе близу Рудника и уже ждет ваш приезд. Она сказала, гость русский шпиун может жить в ее фамилии целый месяц. Досвидания. Душана Спасич».

Что скажешь, Петрович? Меня очень трогают эти милые неправильности в русском языке, но что касается сути, я ничего не пойму. Разве я говорил ей, что хочу попасть в этот наверняка промышленный Рудник, из-за которого меня, может, и не пускают в Тополу? Я, конечно, спросил, что посоветует Алеша, но он, старый шалун, сказал, что записку эту следует рассматривать как эротическое иносказание, в том числе и насчет Рудника... Алеша убежал на свою кафедру, а мне еще два часа терпеть до появления журналистки... Да, именно терпеть, потому что я уже немного проголодался, а если выпью пива, то проголодаюсь еще пуще.. А ну-ка, выпью! Чувство голода есть первое свидетельство, что человек жив и достаточно здоров. Это наше родное советское чувство. Коли тебе страшно хочется поесть, значит,

время залечило твои раны, и ты еще поживешь. Я откупорю одну бутылочку, благо, она еще прохладная, и налью в этот высокий стакан доверху, и подожду, пока пена чуть уляжется, так, чтобы ее стало меньше, чем пива, и выпью сразу целый стакан...

Петрович, посмотри-ка в окно! Что случилось с нашей соседкой? Ее окно распахнуто и на самой середине подоконника стоит простой глиняный горшок с геранью. С алой русской геранью. Это любимый цветок наших несчастных деревень. Любимый цветок моей несчастной жены...

...День Горданы

Гордана подходит сзади мягко, неслышно, как кошка. На ней все то же черное платье, облегающее полные груди и крепкие крестьянские бедра.

— Будешь пить кофе? Я принесу сюда.

— Да, спасибо, буду.

— И чашечку ракии?

— Спасибо. И чашечку ракии.

Песчинки звенят под подошвами ее маленьких туфель. Она уходит в столовую, и я делаю над собой усилие, чтобы не оглянуться. Я и так вижу ее всю, даже если закрыть глаза: черные туфельки, почти без каблуков, как тапочки. Стройные ноги балерины, обтянутые дешевыми черными чулками. Мягкие большие и добрые груди под черным шелком платья. Крепкие, как грива кобылицы, черные волосы над маленьким смуглым лбом. И глаза у нее черные, и брови, для которых никогда не понадобится цыганская тушь. И еще эта трогательная щелка между верхними передними зубами, когда она улыбается. Она не смеется, она только иногда улыбается. Где-нибудь в Стамбуле я бы принял ее за турчанку, но она настоящая сербка, из старого сельского рода. «Я заметил, что в Сербии многие женщины любят в одежде черный цвет, даже летом, когда жарко», — брякнул я ей вчера сдуру, на что она, грустно улыбнувшись, ответила: «Нет, это траур. Я ношу траур по отцу — целый год».

Летом здесь, наверное, сущее пекло, а сейчас, в сентябре, хотя ночи холодны, но солнце по утрам быстро благорастворяет воздух, прогревает фасадную стену дому и зацементированную лестницу. Я сижу на верхней ступеньке, на коврике, и весь их двор передо мной, как на ладони: кусты роз, чернобривцы, олеандр, лужайка, осененная старыми грушами. Несколько плодов, упавших за ночь, желтеют во влажной сверкающей траве.

На маленьком серебряном подносе Гордана подает чашечку густого пахучего кофе, стакан воды и рюмку золотистой сливовицы, домашней, шумадийской. Все это, как в блаженном сне: трава, цветы, плоды, красная черепица старых и новых сельских построек, мягкая небесная дрема над шумадийскими долинами и холмами, простуженные вскрики петухов, голубиное гуликанье где-то под крышей. И Гордана, в которую я вчера сразу же влюбился, хотя и понял сразу же, что влюбляться в нее мне нельзя.

— А где твоя сестрица-Душица, где наша Душечка?

Гордана улыбается и показывает милую черную щелку между зубами:

— Душка ночью уехала в Белград. Сегодня ей надо улететь в Брюссель. Брать интервью у какого-то важного политика.

— А где Драгош?

— Драгош еще спит, — кивает она на зашторенное окно. — Ночью ездил с приятелями по кафанам. Говорят, чуть не до Крагуевца доехали.

Она качает головой, изображая то ли укоризну, то ли восхищение сыном, подносит сигарету к губам и тут же выпускает дым, как школьница, которая еще боится по-настоящему затягиваться. Драгоша вот-вот заберут в армию, и, по здешним молодежным правилам, ему нужно как следует нагуляться, наездиться по окрестным ночным кафанам и кафицам.

— А где Милосав? — спрашиваю про ее мужа.

— Милосав тоже в Белграде. Рано утром повез помидоры на базар.

— А как ваш бычок?

— Хороший. Но ленится сосать вымя. И вымя у коровы раздулось. Придется вызывать ветеринара.

— Не волнуйся. Все обойдется.

— Да, все обойдется... Если хочешь, мы сегодня поедем на тракторе до соседнего села. Покажу тебе церковь, где венчался Карагеоргий.

В этой блаженной Шумадии — я уже почти не удивляюсь — и такое возможно.

— Хочу, — я стараюсь выговаривать, как и она, по-шумадийски, по-крестьянски, заглатывая «х», так, чтобы получалось: очу!

— А завтракать очешь?

— Очу!

— Пойду готовить завтрак.

Сербская женщина не привыкла подолгу разговаривать с гостем. Да еще с гостем из другой страны.

Станция Таганская,
Сладкое шампанское... —

доносится из полутемной комнаты, и это значит, что Драгош пробудился и с помощью «Любэ» пополняет свой русский словарь, чтобы легче разговаривать со мной. Вот и сам он, заспанно щурясь, появляется на крыльце, присаживается рядом.

— Ну, как, Драгош, хорошо погулял?

— Ха-ра-шо, — старательно говорит парень.

— Когда провожаем тебя в армию?

— В октябре. Вы будете у нас в октябре?

— Нет, к сожалению, мне нужно возвращаться. Может быть, даже завтра. Или послезавтра. Прекосутра.

— Жалко, что вы не будете на моих проводах. Вон там, за грушами мы поставим большой шатер, чтобы поместилось человек пятьсот: родные, соседи, друзья, оркестр из Крагуевца и певица. Дед зарежет штук шесть поросят, штук шесть овец.

Мертвые с косами
Вдоль дорог стоят...
Занималась алая
Заря, заря, заря...
Алая заря.

Драгош совсем мальчишка — губастый добрый теленочек. Но по нему не скажешь, чтобы он переживал из-за армии. Он не станет плакать из-за того, что его забирают. Многие его приятели уже отслужили, и он отслужит свое, и, может быть, коса его не скосит.

— А на чьем тракторе ездили ночью?

— А, одного моего друга... Иногда ездим и на машинах.

— Ты водишь трактор?

— И машину вожу.

Гордана зовет завтракать. Помидоры, нарезанные крупными сахаристыми ломтями, жирный слабосольный каймак, домашний хлеб утренней выпечки (в магазине никогда не покупают), печеный перец, фасоль, курятина — все свое, ничего городского.

— А хотите водку «Горбачев»? У деда есть бутылка, — предлагает Драгош.

— Нет, не очу. А где дед?

— Пасет овец тут недалеко, в нашей парцеле, где молодые яблони, — отвечает Гордана.

Она подает на стол и убирает со стола, но за стол с нами не садится. Сербская женщина редко присядет за стол с гостем или мужчинами своего дома...

Вскоре мы выезжаем. Драгош за рулем, а мы с Горданой пристраиваемся на прицепе — на тюках спрессованной соломы. За нами по пустом полу погромыхивают ящики для помидоров, вилы и коса. На подъеме в гору я машу деду рукой. Старый молчаливый четник в выцветшей югославской пилотке и галифе сидит посреди луговины на пеньке, в жидкой тени яблоньки, и читает газету, где, наверное, пишут, что чича Дража вовсе не был бандитом, каким его изображал Тито, а сам Тито был тот еще бандит. Овцы забились в тень и обгладывают кусты акации. Обернувшись на звук мотора, дед приподнимается и машет рукой: счастливый путь.

Еще один старик, с косой через плечо, спускается по дороге навстречу трактору. На нем тоже пилотка и старые галифе, забранные снизу в белые шерстяные чулки. Фантастически громадные свои усищи он не подстригал,

похоже, со времен войны. Мы кланяемся ему сверху, и мне хочется спросить у Горданы: это бывший четник, как ее свекор, или партизан? У меня впечатление, что партизан.

Трактор сворачивает с асфальта на сухой каменистый проселок. Оставив село за спиной, мы взбираемся на спину еще одного холма. Дорога выстилается как раз по его хребтовине, а по обе ее стороны мягко, полого спускаются в долины кукурузные поля, виноградники, сверкающие стерней пшеничные клинья, сливовые и яблоневые сады, и отовсюду волнами подвигаются к этому холму сине-дымчатые дали Шумадии, купающейся в солнечном полусне.

— Гордана, а где может быть Топола? — громко спрашиваю я, и веет на меня от Горданы чернобривцем, парным молоком и солнцем.

— Топола? Она не далеко отсюда. Видишь, вон там, на краю неба синеет гора? Это Опленац. А под Опленцем лежит Топола.

— А сколько же километров до Тополы?

— Если прямо, то километров двадцать. Думаю, так.

«Нет, Гордана, возлюбленная сестрица, до Тополы совсем теперь близко — только протянуть рукой. Потому что там, где ты, там уже и Топола».

— А где же Рудник?

— Вон гора Рудник, видишь, синеет.

Тоже красивая гора, синяя, еще выше, чем Опленац, а я-то боялся, что там сплошные трубы и желтый ядовитый дым.

— А сколько нам осталось до церкви?

— Километра два.

— Очешь, мы пойдем пешком. Трактор все время коптит в лицо и дорога тряская.

— Очу, — кивает Гордана.

Мы кричим Драгошу, чтобы остановился.

Надо же, я иду по Шумадии пешком! Кажется, я могу не идти, а прыгать на одной ноге, двухметровыми скачками. Я иду по Шумадии, по земле, от названия которой у меня ласково пошумливает в голове, рядом с Горданой. Такой красивой сербки вы не встретите ни в белградских ресторанах, ни на обложках «Дуги», откуда на вас щурятся или пялятся самодовольные собственницы эрогенных точек.

Звонкий серебряный воздух Сербии струится над выцветшей белой дорогой, и меня вдруг наполняет новое волнующее видение: Гордана — не сестра моя вовсе, а — чего уж тут таить? — жена, и мы знаем друг друга так давно, что нам вовсе не скучно идти молча, а впереди едет наш сын, которого скоро проводим в армию, и вот тогда она заскучает и родит мне еще одного.

— Сейчас спустимся в овраг, видишь, там где лес, и уже будет совсем близко.

Перед спуском я еще раз озираю виды этой волшебной земли: она разнежилась под солнцем, синие жилы ее виноградников набрякли, дымчатые плоды опавших слив круглятся в траве, словно капли ее пота, она мерно дышит, чуть приподнимая края неба.

Гордана тоже остановилась. Виновато улыбается, отирает платочком повлажневший лоб, и под мышками у нее я вижу темные сырые полукружья.

— Устала немного. Мы тут редко ходим пешком. Знаешь, наши парцелы далеко одна от другой, и мы все время ездим — то на тракторе, то на машине.

Если бы у меня было в запасе побольше сербских слов, я сказал бы ей, что испытываю томящее чувство, как будто когда-то очень давно уже жил в этой земле, может быть, еще в те века, когда славяне спустились сюда с Карпат и сказали: слава Всевышнему, за то что расширил наш предел, но большего нам теперь не нужно, — здесь наполним ветром свои шатры...

— Прости, Гордана, — говорю ей, а сам думаю: «Может, ты беременна?» — Если хочешь, посиди в тени под деревом, а я догоню Драгоша и попрошу, чтобы он вернулся за тобой.

— Не нужно, — показывает она темную щелочку между зубами. — Мы уже почти пришли.

В овраге зеленая мгла и прохлада. Где-то внизу под дорогой ручей моет стеклянную посуду. Старые деревья схватились кронами, стараясь сокрыть от людей давно заброшенную ими церковь. Небо удивленно и невинно зияет там, где были когда-то своды и купол. Перед алтарной стеной на каменном остове престола сохнут мертвые розы и желтеют завядшие свечные огарки. Драгош подносит зажигалку к одному, другому и третьему. И сразу становится легче дышать посреди влажного запустения. Певуче потрескивают свечи — с таким едва уловимым звоном, наверное, лопаются по весне тополиные почки... Я даже не пытаюсь вообразить, как стоял тут молодой Карагеоргий со своей Еленой. Он не здесь стоял, здесь стоим только мы. И мне с тем временем невозможно соединиться, как невозможно повенчаться с Горданой.

...На обратном пути мы навещаем усадьбу ее родственников, богатый, недавно построенный хутор. Пьем в полутемной прохладной комнате кофе, курим. Рассматриваем фотографии из пухлого, давно переполненного альбома, и Гордана молча протягивает мне черно-белый снимок, на котором вижу белое яблоневое деревце свадебного платья и глядящие прямо на меня глаза Горданы-невесты.

Снова забираемся на трактор, и Драгош останавливает его у подножия холма, разлинованного пышными шеренгами виноградных кустов. Драгош приносит мне синюю теплую гроздь. Она не умещается на ладонях.

— И это тоже все ваше?

— Да, это наш виноградник. — Дней через десять пора убирать. Но сначала нужно управиться со сливами, перцем, картофелем. Когда срежем виноград, наймем комбайн и скосим кукурузу. А сейчас Драгош подвезет меня на парцелу — тут недалеко, — где у нас парадайз, скинем ящики, и я там останусь.

Мне нравится, что у сербов помидоры — это парадайз, ведь по-гречески парадайз — рай.

— А я накошу немного клеверу вот здесь, за посадкой, — показывает Драгош на холм напротив виноградника.

— Давайте, я покошу?

— Зачем тебе косить? Ты отдохни. Жарко на солнце, — щурится Гордана.

— Разве это жарко? Ты думаешь, в России сейчас снег?

Щелочка появляется на миг под ее верхней губой. Так я остаюсь на краю клеверища. Похоже, это уже второй урожай клевера, считая от весны, если не третий, — соображаю я. Коса, правда, немного смущает меня. Полотно длинное и тяжелое, а лезвие изгрызено зазубринами. Но, может быть, такая именно тяжелая туповатая коса и годится для жесткого в стебле клевера... Всего десяток-другой шагов, и рубашка моя прилипает к спине и груди. Надо раздеться до пояса, пусть ветерок оближет меня и нагреет добела рубашку. Тут ведь ни одной мошки, ни одного кровососа. Это дома у меня, разденься я до пояса во время косьбы, сразу вопьется в лопатки, в поясницу целая туча слепней и комаров. Давнишний и недавний хмель, заблудившийся в темных закоулках тела, легко выходит из меня, и солнце мгновенно смахивает его с кожи. Все тяжелое, неподвижное, недужное, ненужное выходит, выходит, выходит из меня, и я с каждым взмахом, с каждым выдохом становлюсь все легче, все свободнее, спокойнее, крепче и чище. Все поет во мне, все звенит, все горит, и лицо пышет, и пот уже не успевает остужать его. Хрустят твердые стебли под лезвием, трещат и хрустят во мне старые заскорузлые корни, — все-все ненужное, лишнее, лениво обмершее, изжившее свои сроки безжалостно выкашивает внутри меня быстрая, звонкая, бодрая кровь, красная, как вино, крепкая, как спирт, и когда-нибудь, когда она выкосит все до конца, останутся от меня только белые кости и вольная душа, ищущая Господа своего... И разве не здесь, разве не в этом лоне кости моих праотцев, понимавших друг друга с полуслова на всем пространстве между Моравой и Припятью, между Окой и Дриной, между Ворсклой и Брегальницей?.. Смотри, Петрович, как я машу то ли косой, то ли саблей. Пусть капля и моего пота упадет в твою землю.

А вот и Драгош возвращается. Он отнимает у меня косу, я же вилами принимаюсь сгребать валки, чтобы потом быстро перекидать копешки в кузов.

— На сегодня хватит, — кричит Драгош. — Больше не поместится. Нужно еще оставить место для помидор.

Когда трактор вскарабкивается на вершину холма, и по противоположному склону мы спускаемся к огороду, я вижу, как Гордана с виноватой

улыбкой распрямляет свой черный стан, упираясь ладонями в поясницу. Пластмассовые ящики уже стоят обочь дорожки, доверху наполненные помидорами.

— Ого! — кричу я. — Такие плоды, правда, бывают только в раю.

Неужели это она одна ворочала такую тяжесть? Почти каждый помидор потянет на целый фунт. Глянь, уже лопаются от избытка пышности и на изломе переливаются сахарным инеем.

Ладони у Горданы в темных пятнах пыли и сока, вся она запалилась от быстрой работы, и тыльной стороной ладони отводит жесткую прядь со влажного лба.

— Ай-ай, Гордана, ты и в раю собираешься так же трудиться?

— Ты видишь, — оправдывается она и обнажает на миг щелочку между зубами. — Они уже трещат. Надо поскорей везти на рынок.

— А почем на рынке парадайз?

— Всего десять динаров за килограмм.

— А литр бензина стоит в три раза дороже, — вмешивается Драгош.

— Да. И литр солярки — тоже в три раза дороже, — добавляет Гордана.

— А килограмм пшеницы стоит в десять раз дешевле, чем бензин, — торопится объяснить Драгош.

— Килограмм винограда стоит столько же, сколько литр бензина, — это Гордана вздыхает.

За разговором мы погрузили ящики в прицеп, и теперь можно возвращаться в село. Снова забираемся с Горданой на тележку и ложимся на теплый клевер. Мы долго молчим, и это удивительно приятное занятие — молчать рядом с усталой Горданой. О чем она думает теперь? Вряд ли она думает об мне. Мне кажется, когда молодая крестьянка надолго умолкает, она думает о бешеных ценах на бензин и на солярку, об оскорбительной дешевизне того, что они тут выращивают из года в год; или же думает о том, что ей сегодня еще осталось сделать: подоить коров, сварить похлебку свиньям, насыпать курам дробленой кукурузы, а молодого петушка приберзать на ужин для семьи и гостя... Или она думает, сколько у них будет гостей, когда станут Драгоша провожать в армию. Ведь если соберется человек четыреста, то, значит, надо будет выставить на столы тарелок двести печеного мяса. Разве не стыдно, если угощение будет хуже, чем во всех других домах, где парней провожают в армию? По сербскому обычаю, в армию нужно проводить крепкого, веселого и сытого парня, а не заморыша. Нужно такого отправить, чтобы он стал настоящим героем, не осрамил семью на всю Сербию. Нужно наварить побольше препеченицы, — но об этом позаботится дед. И нужно выставить из подпола побольше бутылок лучшего своего вина. И об этом позаботится свекор. Хотя, прежде всего, это их забота: мужа, сына и ее самой. Свекор уже стар, он пасет овец, приглядывает за другой животиной, чистит в коровнике и свинарнике, варит сливовицу и давит виноград. Он, как старый генерал в запасе, уже не выезжает в поля ежегодных сражений, а командует, почти не отлучаясь от дома... Значит, сливу для котла и виноград для пресса обязаны собрать они сами. Еще хорошо, что в армию призывают в октябре. Армия терпеливо ждет, пока молодые парни помогут своим семьям собрать урожай. Бог знает, может кто-то из них делает это последний раз в жизни: пригубляет с ухмылкой дедову сливовицу, шатается ночью по кафанам?

— Гордана, разреши, спрошу у тебя?

— Да, спроси...

— Эти кафаны? Что там делает молодежь ночью?

Мне кажется, она едва удержалась, чтобы не рассмеяться.

— Как? Разве ты никогда не бывал в кафанах?

— Никогда... Слушай-ка, я еще у тебя спрошу...

— Да, спроси.

— Когда Милосав и ты женились, вы венчались в церкви?

— Да. Почему нет? У нас все венчаются. Когда приедем домой, я покажу тебе фотографию с попом.

Но дома она, конечно, забыла про фотографии, потому что явился ветеринар поглядеть на вспухшее вымя коровы, а мы с Драгошем, пообедав, поехали на тракторе в сливовый сад, чтобы помочь его отцу и сестре Тане.

Нет, это был не сад, а заповедная роща, сине-дымчатая от висящих и

опавших плодов. Когда я поднял с земли пустой ящик, Милосав покачнулся на металлической стремянке:

— Отдыхай! Или посиди под деревом, поешь слив. Зачем собираешь?

— А что я потом скажу? Раз в жизни был в сербском сливовом саду и не набрал ни одного ящика? Я хотя бы на бутылку сливовицы должен собрать. Это у меня единственная возможность. Разве не так?

— Ну, собирай, — улыбнулся он.

Я нашел еще нетронутое, необщипанное снизу дерево, самое, думаю, синее во всем саду. Овал сливы похож на синюю поверхность земли, заволокнутой вечерними туманами и печными деревенскими дымами, — на землю, отходящую ко сну. Плод сливы — это сам сон земли. Он таинствен, как око ночного коня. Он темен, как стенка старой бутыли, внутри которой упорно бережет себя до победного часа огненный сок. Овал сливы — это слиток, оберегающий продолговато-острую шершавую косточку, и эта легкая штука, — не правда ли, подземный гений Ацо? — эта штука дороже всякого золота, потому что золото не прибавляет в весе год от года, а одна косточка дает прибавку сторицей и наполняет отвагой тысячи сердец, в то время как блеск золота наполняет их завистью и раздражением.

Когда я наберу полный ящик, я разрешу себе съесть одну сливу, обсосу как следует косточку и спрячу ее в нагрудный карман, — она пригодится мне дома.

...Приезжает на «Ладе» наша Гордана — о, оказывается, она водит «Ладу»! — и сборщики быстро подносят ящики к тракторной тележке. Милосав торопится: нужно занять очередь в селе на весы: вот-вот прибудет кооперативный грузовик, который повезет сливу то ли в Белград, то ли в Тополу, на здешний завод. А потом он еще поможет соседям подвезти их сливу к складу кооператива.

Ну, а остальных Гордана отвозит домой, ужинать. Она слегка нервничает на сухих ухабах проселка, но на асфальте успокаивается и даже закуривает.

— Гордана, ты знаешь, кто такая была Катана?

— Нет. Кто?

— Такое прозвище дали матери Карагеоргия, потому что она не хуже мужчин скакала верхом на коне. И ты у нас Гордана-Катана.

Она чуть улыбается. Она даже рулит на поворотах одной рукой, пока другую гасит сигарету.

День так просторен, солнце так нехотя продвигается к западу, будто притормаживает только для крестьян, — в городе, думаю, оно уже закатилось... Ветеринар сказал, что корову нужно вывести во двор и поводить по кругу, чтобы у нее размякло вымя. Драгош тянет ее за веревку, а Гордана сзади подхлестывает хворостиной. Вымя громадно, как мешок соломы, из растопыренных сосцов вот-вот брызнет молоко, корова ступает раскорякой, нехотя, ей больно.

Хотя Гордана не подает вида, но я догадываюсь, ей как-то неловко, что гость то и дело застает ее за крестьянской работой. Но вот и мне нашлось занятие: клевер, привезенный нами днем, прямо горит в плотной копенке. Нужно раскидать его вилами, чтобы лучше подсыхал. Потом иду смотреть, как сохнут груды фасолевых стеблей и стручков под навесом. И конечно, вспоминаю своего Стручняка, его горохово-фасолевую крестьянскую фамилию, свидетельствующую о неиссякаемых плодотворных силах нашей народной разведки. Одно зернышко фасоли, белый продолговатый камешек, кинутый в землю, приносит каждое лето дюжину, а то и две длинных, похожих на пистолетные обоймы стручков.

Тут как раз появляется во дворе дед и говорит, что я ведь хотел поглядеть на котел, в котором он сливовицу варит. Котел стоит под навесом и своими внушительными формами напоминает старую, испытанную в боях армейскую полевую кухню. Выводная труба падает из котла в металлический чан и там в толще воды извивается как темно-коричневое змеиное туловище. Под ногами валяются обрубки хвороста, пучки соломы, сухие кукурузные кочерыжки. Из отворенной печной дверцы под котлом торчит обугленное полено акации. Все похоже на бегство армии, которая в панике бросила этот огнедышащий боевой агрегат на произвол судьбы.

— А посмотри туда, в угол, — показывает хмурый четник, и я на миг ощущаю себя младенцем, которого хотят напугать, слегка.

Там, в копошащейся полумгле простирается что-то большое, серое, неохватное.

— Что это?

— Иди, иди сюда, — манит старик. — Видишь, чан. Бродильный чан. В него я ссыпаю сливу... А когда надо варить, вычерпну, сколько мне нужно ведер... Ну, когда закипит, соседи потихоньку стягиваются на запах.

Живы ли еще на свете бондари, которые умели собирать такие просторные деревянные посудины? Чан сверху принакрыт мешковиной, и сквозь прорехи в грубой ткани доносится темное и теплое пыхтение спящего существа. Я прислоняю ухо к деревянному брюху: оно там потягивается сквозь дремоту, посапывает, зевает, нежится, пукает, таращится во тьму, отдувается, пытается перевернуться с боку на бок, замирает ненадолго. И мы с дедом, не сговариваясь, отходим к воротам на цыпочках, чтоб не спугнуть последние сновидения сливовой магмы.

«Вечер, вечер», — старческими румяными губами шепчет кора столетних акаций. «Вечер, вечер», — позванивают, отпуская жар, розовые черепицы на крыше. «Вечер, слышите, вечер», — это звенят струи молока о прозрачные стенки нового белградского подойника. «Вечер, уже вечер,» — поют над селом миллионы цикад. «Вечер, вот он, вот он», — стучат о землю босыми детскими пятками груши, сливы, смоквы. «Гордана, зачем я влюблен в тебя в этот вечер?» — вопрошает тонкий месяц над сизыми холмами Шумадии. Это теплая солома шелестит в стогах за домом. Это куры перешептываются, устраиваясь на насесте. Это лопаются пересохшие стручки фасоли и жемчужные горошины катятся на цементный пол. Это колокол белой церкви на соседнем холме освящает крестьянский ужин: «Вечеря!.. Вечеря!...»

— А где Драгош? — спрашиваю у деда, когда садимся за стол.

— Теперь под утро заявится Драгош, если нигде не свернет шею.

— Боже милый, — с укоризной глядит на старика его жена, выглядывая из кухоньки. Я понимаю ее: в такой блаженный вечер разве стоит думать о чем-то худом.

— Зажги нам свет, — просит старик.

Лампочка вспыхивает под потолком веранды, и почти тут же ночные бабочки затевают сумасшедший пляс вокруг нее. Так, наверное, планеты хороводятся, радуясь своему светилу. Или частицы танцуют сербское коло вокруг атомного ядра.

Громоздится на всю тарелку самый большой помидор, сорванный сегодня Гординой, пышет паром картофель, жарко благоухает густая фасоль, лоснятся подсолнечным маслом печеные перцы. Старая хозяйка подносит теплые хлебные лепешки — сербскую погачу. Дед наливает нам по рюмке из своих старых припасов.

И вдруг сумасбродная радостная догадка начинает колотить руками и ногами в мою быстро захмелевшую люмпен-философскую башку: ночные бабочки навестили нас не зря, они — Божья подсказка на уроке познания, ибо по таким же законам носятся и мельчайшие частицы материи и, значит, на просвет эти частицы оказываются лишь бешено вращающейся схемой, то есть мыслью. И тогда выходит, что Бог всю плоть материи соткал из чего? — да, да, Он соткал ее из мыслей, только из мыслей, из чистых и простых мыслей, идей и образов!.. А это значит, что каждая земная вещь, неживая или живая, представляет собой не что иное, как необыкновенно емкую, плотную и прочную концентрацию, сгусток замыслов и осуществлений, схем, планов и сюжетов, копилку Господнего воображения, и, выходит, мы со стариком поедаем сейчас не вполне хлеб, не вполне помидоры и перец, фасоль и каймак, но, как некие полубоги, неторопливо вкушаем сами образы хлеба и мяса, овощей и трав, и образ напитка, которому нет равных на свете...

Нелепость и очевидность этой догадки настолько меня ошеломляет, что сразу после ужина я спускаюсь с веранды на темную лужайку под грушами, ложусь на траву, чтобы немного остыть и прийти в себя. Зажигаю сигарету и смотрю на ее красный уголек. День был все-таки слишком просторен — даже для такого жадного существа, как я. А одинокий огонек во тьме помогает угомониться и успокоиться. Он то алеет, то сокращается до размеров прижмурившей глазок искры, и когда вспыхивает вновь, то его

света оказывается достаточно, чтобы я различил перед собой женский силуэт в черных шелковых шароварах.

— Таня, ты?.. Ну, прямо как пантера подкралась. Чуть не испугала меня.

Она смеется, довольная своей проделкой.

— Да ты настоящая турчанка, надо же! Куда собралась?

— А, так, в кафану. Решили в кафану поехать.

— И кто же вас повезет? Ребята?

— Нет, зачем. Мама повезет. Мы и вас приглашаем ехать.

— Интересно! А я и не знал. Будем разыскивать Драгоша?

— Ну, если найдем...

— А мама уже подоила коров?

— Да. Она уже в доме... Может, вы возьмете с собой джемпер?

Волнует меня эта загадочность их затеи, тихие приготовления, шевеление занавесок, звон песчинок под туфлями, звяк связки ключей возле дверцы «Лады», молчаливость Горданы, которая, кажется, также взволнована: беспокоится из-за гулены допризывника? или прикидывает про себя, сколько на этот выезд понадобится бензина? или чувствует неловкость оттого, что на ночь глядя собралась она с дочерью и гостем на увеселительную прогулку? а, может, просто-напросто нервничает, как и всякая женщина, только изредка садящаяся за руль?

На ней темная дорожная куртка поверх все того же черного платья. Мне кажется, ей зябко. Ночь будет свежей, судя по напряженному подрагиванию звезд. Гордана окунает в пепельницу едва надкуренную сигарету, включает габариты, ближний свет, и пока машина скатывается с пригорка, она ловко, не хуже бывалого таксиста, чередует передачи, так что наверх едем уже на третьей скорости, под упорный и бодрый рокот мотора.

Все неузнаваемо теперь: заросшая акациями дорога к центру села днем не казалась такой крутой и извилистой; выхваченные из тьмы стебли кукурузы удивляют громадностью; глухой овражек глядится разбойничьей засадой... Но особенно неузнаваема Гордана. Днем у меня было впечатление, что бедняжка все же как-то боится руля, рычагов, педалей. Какой там! Да она родилась на этом сиденье! Она ведет машину с едва сдерживаемой страстью, и — ей-ей! — она поет про себя. Искоса поглядываю на ее лицо, слабо освещенное приборами с панели датчиков. Точно, поет.

— А разве не здесь гуляет Драгош? — оборачиваюсь я к Тане, когда в центре села проезжаем мимо ярко освещенной веранды с несколькими столиками.

— Ну, нет, — отмахивается Таня, давая понять, что молодые люди не настолько ленивы, чтобы гулять ночью в своем собственном селе.

«Куда же теперь?» — хочу я спросить у Горданы. А впрочем, будь что будет. Я всего-навсего гость Горданы, гость этой свежей ночи, в которую мы влетаем на четвертой скорости, оставив сзади последний сельский фонарь.

...Ночь Горданы

Она выскочила на какую-то междугородную трассу. Тут шире полотно, отчетливо белеет продольная разметка и попадаются изредка рефрижераторы-дальнобойщики. Гордана видит в ночи, как рысь. По величине зарева, вырастающего из-за холма, она точно определяет, когда пора переключать фары с дальнего света на ближний, чтобы не ослепить встречного. Увы, встречные редко отвечают ей взаимной вежливостью. Гордана не возмущается, но, думаю, каждую такую встречу оценивает как свою маленькую победу.

Минут через десять врываемся в городок, судя по тому, что тут даже есть светофор. У первого же перекрестка полицейский патруль просит остановиться. Гордана вздыхает и достает сумочку с документами.

— А, Гордана, ты? Здравствуй, — наклоняется над боковым стеклом двухметрового роста полицейский. — Через центр дорога закрыта. Кого катаешь ночью?

— Дочь, как видишь. И наш гость, русский.

— Рус? — недоверчиво косится он на меня и сейчас, конечно, потребует

паспорт, а я, как назло, паспорт оставил дома. С досадой ощупываю нагрудный карман рубашки, но там только сливовая косточка.

— Скажи русу, что они зря сломали берлинскую стену, — ворчит полицейский и лениво идет к своему «форду».

Я развожу руками: будь моя воля, я сломал бы ее сам, но ни в коем случае не предоставлял это удовольствие немцам.

А Гордана сворачивает на объездную дорогу.

— Жалко, не пускают в центр. Но тут тоже есть кафана, недалеко, — говорит Таня.

Останавливаемся перед трехэтажным особняком со сплошь застекленным первым этажом.

— Э-э, пусто, — разочарована Таня. — Видите, как мало машин. И музыки не слышно.

Но мы все-таки заходим. Пять или шесть посетителей из разных углов пустого зала сонно оглядывают нас. Я и сам вижу теперь, что Драгошу тут делать нечего. Садимся за столик, но скучающий официант не успевает к нам, нетерпеливая Гордана уже встала:

— Нет, поедем еще куда-нибудь.

Гордана выбирает такую дорогу, где нет уже ни встречных, ни попутных машин, и пределы ночи обозначают только наши фары и звезды. Чуть пригибаюсь и вижу, что над лобовым стеклом подпрыгивает на ухабах русская небесная телега. Если ехать все прямо, там, пожалуй, будет мой дом. Но впереди брезжит одно шумадийское село, потом другое, и никаких признаков жизни возле слабоосвещенных кафан.

— А где, кстати, мы были? Что это за городок, куда не впустил нас полицейский?

— Это была Топола. Про которую ты спрашивал утром, — отвечает Гордана.

Вот как! Топола... Это, оказывается, была Топола! Но разве могло быть иначе? Я теперь вижу, что Топола — закрытый город. По крайней мере, для меня закрытый... Если бы я увереннее говорил по-сербски, я сказал бы тебе, Гордана: слушай, у меня такое ощущение, что мы совершаем какой-то большой неровный круг по Шумадии, даже много кругов, и я, как ночной мотылек, тычусь лбом в неприступные стены Тополы и отскакиваю. Ударяюсь и снова отскакиваю. Скажи, Гордана, что ты задумалась? Что за притча в рисунке одной тебе понятного ночного маршрута? Гордана-Катана, по-моему, ты давно уже забыла считать про себя, сколько стоит бензин и во сколько килограммов помидоров обойдется эта ночная гонка — за Драгошем, или за тенью грозного вождя. По-моему, мы уже проехали все, что могли, — и село, где родился Карагеоргий, и село, откуда он взял жену, и село, где его избрали вождем, и овраг, где схоронили его отца...

— Извини, Гордана, я, кажется, немного задремал.

И она чуть улыбается: мол, дорога такая, укачивает. Неровный асфальт несется навстречу лоснящимися буграми, и Гордана лавирует, не сбавляя скорости.

— Сейчас будет еще одна кафана, — хриплым спросонья голосом сообщает Таня.

— Э-э, и Таня дремлет! Вот видишь, вместо того, чтобы тебя развлекать, мы тут спим, как суслики.

Кафана вдруг является из тьмы — подобием целого городка увеселений, в лучах уличных прожекторов, в жужжащих росчерках неоновых букв, окруженная стадом легковых автомобилей. Перед входом фонтаны расплескивают голубую, малиновую и зеленую воду.

Мы входим в длинный зал, наполненный дымом легких душистых сигарет, жаркими волнами цыганской музыки. На столах стаканы с недопитым пивом, пепси-колой, апельсиновым соком, набитые окурками пепельницы. Стулья сдвинуты. Похоже, только что все перешли танцевать в другое помещение. Весь пол в проходе между столами усыпан какими-то блестками. Под каблуком у меня неприятно скрежещет осколок рюмки.

— Что это? Почему так много разбитого стекла?

— Это обычай, — хмуро объясняет Таня. — Они ушли в армию.

— Как это? Кто — они? А где же Драгош?

— Все, кто тут был, — говорит Таня. — Мы опоздали. Они сюда не вернутся.

— Хочешь выпить чего-нибудь? — спрашивает у меня грустная, такая усталая Гордана. — Или поедем дальше?

— Конечно, поедем. Надо же его найти.

Но на улице я спохватываюсь:

— А машины? Почему же все их машины стоят здесь?

— Это просто платная стоянка, — объясняет Таня. — За стоянку платить не так дорого, как за бензин. Они почти всегда тут стоят. Посмотрите, пыль.

И она брезгливо проводит пальцем по капоту ближайшего к нам «фольксвагена».

Мы опять ныряем в темень и мчим по какой-то узкой дороге — мимо спящих сел, вверх-вниз, с холма на холм.

— Что это за название сейчас было? — спрашиваю у Горданы.

— Радованье. Сейчас остановимся, и я покажу тебе место, где его убили.

— Кого, Гордана? — Но тут я сам вспомнил. — Ах, да, Радованье...

Как я мог забыть! Его убили возле села с таким веселым именем. Но убили где-то в стороне от села, внизу, на лугу, на пасеке, над ручьем.

Гордана останавливается напротив стрелки, показывающей вбок.

— Я не помню, хорошая ли туда дорога, — говорит она. — Лучше пройти пешком, тут недалеко.

— Я не пойду туда, — говорит Таня, кутается в полы куртки и изображает губами, как ей зябко.

А мы с Горданой выходим из машины.

— Ступай за мной, осторожно, — говорит она сдавленным голосом и движется вниз наощупь, но я сразу теряю ее из вида. Останавливаюсь, протягиваю вперед растопыренные пальцы, хватаю руками темноту.

— Ты где, Гордана? — голос у меня тоже какой-то чужой.

— Дай руку, — слышу рядом.

Она судорожно хватает меня за кисть руки, я забираю ее горячую твердую ладошку в свою.

Теперь идти легче, под ногами хрустит старый жесткий асфальт, и он чуть-чуть светлее окружающей нас тьмы. Похоже, над нами глухой полог деревьев, потому что звезд совсем не видно.

Но вот кончается асфальт, и мы останавливаемся.

— Куда теперь, Гордана?

— Сейчас, подожди, я вспомню... Тут уже где-то недалеко... А, вон, видишь, что-то белеет? Это, кажется, церковь. И недалеко от нее должно быть дерево, дуб, и оградка, там крест стоит.

Мы почти натыкаемся на деревянные колья забора.

— Вот здесь.

Дуб хмуро молчит над нами, и только в одной прорехе его кроны остро посверкивает неизвестная звезда.

Мы стоим близко друг к другу, мне снова становится внятен легкий запах, идущий от Горданы — чернобривца, парного молока и нагретых солнцем волос.

— Ну вот, забыла сигареты в машине.

Я достаю сигареты, зажигалку. На несколько секунд становится виден простой деревянный крест, прислоненный к коре дуба, сосредоточенное лицо закуривающей Горданы.

И снова темень. Огонек подрагивает в ее пальцах.

— Ты озябла, Гордана?

— Да, немножко.

Я обнимаю ее за мягкие плечи, и Гордана, как будто ждала этого, сразу прислоняется скулой к моей груди.

— Я боюсь, — дрожит она. И свободной рукой обвивает мою поясницу.

— Чего ты боишься, Гордана? А, Гордана? — мне хочется повторять и повторять ее имя.

— Я боюсь за Драгоша... Все говорят: скоро опять будет война. Свекор говорит, свекровь. И сестра говорит, что так считают политики... Слишком большой урожай у нас в этом году... Я боюсь за всех... И за тебя, за твоих.

Я глажу ее по голове и целую эти густые волосы, в которых ночует

солнечный ветерок Шумадии. И слышу, как пробирается к моему сердцу вкрадчивый, тончайший росток боли.

— Нам поздно бояться, Гордана. Война уже идет. Для нас она никогда не кончалась. Она только разная: то громкая, то тихая, едва заметная, так что не каждый догадывается. Такая вот, тихая, почти уничтожила Россию. Ты не представляешь, Гордана, — после всех ваших парцел, садов и виноградников, — что эти негодяи сотворили с Россией.

— Нет, нет!.. — слабо протестует она. — Не говори так. Вы сильные. Я ведь вижу, ты — сильный и храбрый. Вон какое у тебя сердце...

Она бросает сигарету в траву и просовывает руку под мою рубашку — туда, где сердце. И тогда я поверх рубашки кладу ладонь на эту ее маленькую руку, дрожащую, с шершавыми ласковыми мозоликами на твердой ладошке. Между нашими руками — только ткань.

— Послушай-ка, Гордана, — улыбаюсь я, — а куда делась косточка?

Она долго молчит. Потом вдруг резко убирает руку из-под рубашки и отшатывается.

— Какая косточка?

— Да так, мелочь, — продолжаю я улыбаться. — У меня тут в кармане рубашки была сливовая косточка... В саду, когда мы с Милосавом и ребятами собирали сливу, я съел одну, а косточку положил в карман, чтобы домой увезти.

— Что это ты говоришь? — спрашивает она с укоризной и лицо ее тонет в темноте. — В каком саду? С каким Милосавом?..

— Что с тобой, Гордана? Почему ты рассердилась? Из-за этой глупой косточки, что ли?.. Да найду я другую... Это ведь просто было, детская шутка... Куда ты, Гордана? Или я чем-то тебя обидел? Но чем, скажи?.. Ну, не молчи, пожалуйста... Разве я виноват, что мне так хорошо было с тобой? Только не молчи, не отстраняйся!.. Вот увидишь, я буду сильным, я теперь обязан быть сильным. И у меня хватит силы в сердце, чтобы не обидеть никого из тех, кого я люблю... Слышишь, Гордана, милая... ты не бойся за Драгоша, он вернется из армии, и ты пришлешь его ко мне в Россию, я познакомлю его со своей дочерью. Вот увидишь, они полюбят друг друга, и от них начнутся новая Россия и новая Сербия. Только не молчи, Гордана, не уходи, я тут ничего не вижу без тебя... не вижу ни дерева, ни церкви... Сейчас, подожди, я догоню тебя...

Я комкаю рубашку, роюсь в пустом кармане. Косточка только недавно была там, она не могла выпасть... Вот же она! Я ощущаю ее острие. Она никуда не потерялась. Она просто надрезала ткань рубашки, жадно впилась в грудь, прошла между ребер и сейчас острой горячей болью врастает в сердце, и остается только оно, замершее, застигнутое врасплох, изнемогающее от каждого своего рывка, — оно и тьма, в которой больше нет ни Горданы, ни могилы моего Петровича, ни зябкой звезды на краю кроны, ни белой церкви, ни меня, который во все это поверил.

ПОЭЗИЯ

ВИКТОР ВЕРСТАКОВ

БЕДНАЯ КЛАРА ИЗ ГОРОДА ВЯТКИ

ПРОЗАИЧЕСКАЯ ПОЭМА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Старомодною скучной строкою
я и вас, и себя успокою,
дверь в поэму слегка отворю,
посмотрю на сюжет, закурю
и махну на сомненья рукою:
время было и вправду такое,
чистой прозою вам говорю.

До Великой войны меньше года,
и другого не видно исхода —
уж в Монголии драка была,
и с Финляндией были дела.
Но пора, когда делать погоду
будут в битве два главных народа —
мы и немцы, — еще не пришла.

Это к слову. А может, к поэме.
На дворе предвоенное время,
двор же необычайно богат —
городской ботанический сад.
Внешне он не относится к теме,
но с героями связан со всеми,
отвлекусь на него, виноват.

Пригодится еще в разговоре:
было там даже Черное море,
меньше южного, но все равно
формой берега — точно оно.
В нем герой мой — с похмелья,
не спорю, —
искупается осенью вскоре:
аж присядет на самое дно.

... Время есть, место действия тоже.
На поэму, признайтесь, похоже,
как вначале я вам намекал,
а не только стихом развлекал.
Предстоит еще главное все же,
но вперед забегу — подытожу,
где я этот сюжет отыскал.

А нигде. Он жил рядом со мною,
был в отцовских глазах тишиною,
непонятно встревал в разговор
в дни давнишних родительских ссор.
Не чужое пишу, а родное,
то, что стало фамильной виною
и сжигает меня до сих пор.

Но давайте вернемся к сюжету
в предвоенное жаркое лето,
в городской ботанический сад,
где на лавочках пары сидят
до заката; затем до рассвета
малолетние рыщут поэты,
обрывая все фрукты подряд.

Дед порой их гонял с грозным видом
вместе с сыном своим Леонидом,
дед мой в том предвоенном году
был работником в этом саду.
Кстати, тайну семейную выдам:
сын был Глебом! а вашим обидам
в тексте я применение найду.

Леонид рос ни валко, ни шатко,
чем и славилась старая Вятка —
воспитанием стойких парней,
хулиганивших сызмальства в ней,
то дерущихся на танцплощадках,
то колы приносящих в тетрадках:
не бывает отметки прямей.

Голубей разводили, однако,
ну а голубь — он вам не собака,
тут не только кормежка нужна
и под вечер прогулка одна.
В голубятню идешь как в атаку,
предвкушая работу и драку
и веселую жизнь до темна.

Голубятня всего в мире выше,
не случайно она то на крыше,
то, по крайности, на чердаке.
А голубка в дрожащей руке
лучший друг: все поймет, все услышит,
вертким клювиком счастье надышит
и на небо взовьется в броске.

В каждой юности жизнь не простая:
вдруг приманит красивая стая
и родной разонравится дом,
улетим и не знаем потом,
в чуждых странах старея и тая,
для чего нам свобода пустая
и зачем мы вертели хвостом.

Поскорее поправлю уступку
бессюжетности, вспомню голубку,
улетевшую в солнечный свет
от мальчишки шестнадцати лет.
Что ж, наверно, он сделал зарубку:
повзрослев, не держаться за юбку,
но пока еще выбора нет —

он влюблен. И зовут ее Клара.
И она Леониду не пара,
хоть за партою вместе сидят
и друг другу в тетрадки глядят...
По одной фотографии старой
я, владеющий творческим даром,
опишу вам хотя бы наряд.

В полосатенькой тесной футболке,
как пристало ходить комсомолке
в небогатые те времена,
юбка кажется слишком длинна,
туфли тоже бы вызвали толки,
каблучки их пускай не иголки,
но форсистость, конечно, видна.

Остальные детали портрета
пострадали от слабого света
да и резкость слегка подвела.
Но красивою Клара была
и особенно вроде б в то лето, —
тетя Женя сказала мне это,
тетя Женя солгать не могла.

Вот ее дополнение вкратце:
«В красоте вы безбожники, братцы,
не имеете вечной души,
вам смазливые все хороши.
Я на Клару могла любоваться,
между прочим, привыкнув считаться
примадонною в нашей глуши.

Я и в хоре солисткою пела,
и ногами в балетах вертела,
и от имени школы не зря
поздравляла борцов Октября.
Клара в это играть не хотела
и вообще была как бы не тело,
а видение или заря.

Бледноватой казалась вначале,
если вы ее скучной встречали,
а скучала нередко она
возле дальнего в классе окна.
Но глаза ее свет излучали
даже в скуке и даже в печали,
как звезда, как заря, как весна.

В росте был даже некий излишек.
Ну, конечно, не выше мальчишек,
но девчонок заметно длинней.
Мы за это шутили над ней:
мол, высокие дочки у шишек!
Нам тогда не хватало умишек
видеть общее горе тех дней".

Тетя Женя не преувеличит,
ей соврать никогда не приспичит,
ведь она после школы ушла
на войну, медсестрою была,
навидалась там ран и отличий,
светлых подвигов и неприличий
и добро отличает от зла.

В те довольно далекие годы
на любовь еще не было моды.
Комсомольский решительный дух
почитал ее верой старух,
неуместной игрою природы,
блажью для трудового народа,
развлеченьем буржуев и мух.

Старшеклассникам напоминали,
собирая их в актовом зале,
что в то время, когда весь народ
напряженно шагает вперед,
обгоняя по выплавке стали
всех врагов, — в школе вновь трали-вали,
это к доброму не приведет.

Ошалевший от актовой трепки
и привычной на выходе пробки,
школьный люд повалил в коридор.
— Ленька, стой. У меня разговор.
Ну скажи, до каких это пор
ты, мужчина довольно неробкий,
будешь Кларе подкладывать кнопки
и хихикать, как тушинский вор? —

Интересно б увидеть их лица.
Леня вынужден остановиться
и задуматься: а почему
Женька вдруг обратилась к нему?
Неужели решила влюбиться?
— Слушай ты, театральная птица,
перестань ты со мной, как с Муму.

Хорошо, что я знаю про вора,
потому что экзамены скоро,
а не то бы... — Тут Ленька притих:
в это время как раз возле них
средь всеобщего бега и ора
Клара шла по краю коридора —
осторожно, как между чужих.

— Ах, боится он девочки Клары,
ах, он девочке Кларе не пара,
ах, он с ней танцевать не пойдет...
— Если даже она позовет,
трали-вали с ней и тары-бары
разводить я не буду. Недаром
в ней фашистская кровка течет. —

(Леонид это ляпнул не сдуру,
хоть имел он такую натуру,
что когда разозлится — дурел.
Я в архиве дела посмотрел,
неприятная литература,
помню строчку: «Внук немца из Рура»
и последнюю запись: «Расстрел»...)

Женя гневно плечами пожала
и от Лени тогда убежала
и до лета рассорилась, но
молча думала с ним заодно:
почему Клара Кларою стала?
Или русских имен в мире мало?
Летом Клару позвали в кино.

Ах, кино в предвоенное лето!
Трепетанье волшебного света
и не страшной совсем темноты,
и о завтрашних битвах мечты.
Нам сегодня не верится в это,
мы уже не бойцы, не поэты,
да и кинотеатры пусты.

Но тогда в «Октябре» — это рядом
с городским ботаническим садом —
Леонид, как последний баран,
недовольно глядел на экран.
Объяснять, полагаю, не надо,
кто соседка с рассеянным взглядом.
Пригодился и мне крупный план.

На экране красавцы пилоты
пели песенки про самолеты
и красиво сходили с небес
в светлый мир предвоенных чудес.
Леньке нынче не нравилось что-то
созерцанье воздушного флота,
у него был другой интерес.

Он, возможно, забыл бы о ссоре,
о загадочном том разговоре
с глупой Женькою в школьные дни,
да некстати прервались они:
наступили каникулы вскоре.
Он провел их у Черного моря,
вызывая тревогу родни.

Да, он денег на танцы не просит
и домой синяков не приносит,
даже пиво украдкой не пьет,
что случалось уже третий год,
но лежит на зеленом откосе,
в море Черное камушек бросит,
поглядит на круги и вздохнет.

Дед, естественно, был озадачен:
что-то с Ленькой стряслось, не иначе,
он бы зря не забыл, хоть убей,
и приятелей, и голубей.
По голубке по беленькой плачет?
Тоже мне, велика неудача —
навидается в жизни ... людей.

Дед порой выражался открыто,
погрубев от советского быта
и полночных набегов на сад,
где спасал только мат-перемат,
хоть ружье было солью набито
и зады превращало бы в сито —
жалко вятских родных чертенят.

Что же с Кларой тем временем было?
Может быть, и она полюбила
непутевого Леньку? Увы,
приближаюсь к финалу главы,
но не вижу взаимного пыла
у героев моих. Так решила
жизнь сама, а не я и не вы.

На нее обижаться не надо,
перед ней наши планы — бравада,
ведь не выдумает человек
ни грядущий, ни прожитый век.
Впрочем, есть и обратные взгляды.
А за Клару вы будете рады:
Клара ездила летом в Артек.

И попала она, между прочим,
в смену прелюбопытную очень,
где помимо советских ребят
был и антифашистский отряд,
отдыхавший до этого в Сочи,
он бузил и в Артеке все ночи:
дескать, антифашисты не спят.

Составляли его иностранцы:
вроде б немцы и вроде б испанцы —
двадцать великорослых юнцов,
сыновей эмигрантов-отцов.
Пили, пели, дурачились в танцах,
не боясь ни татарских поганцев
ни тем более русских глупцов.

Я не злой человек по натуре,
и я помню, что сын Ибаррури
стал солдатом и честно погиб,
а кого вы добавить могли б,
чтоб не в НКВД, не в главпуре —
в русском войске и в русской культуре
героический создали тип?

Впрочем, были. Надеюсь, что были.
Просто мы имена позабыли
среди многих нерусских имен,
вызывающих горе и стон,
тех сынков, что в застенках нас били,
рабством тысячелетним корили
и фашистами звали вдогон.

Клара, налюбовавшись природой,
познакомилась с этой породой,
внешне яркой, чего уж скрывать,
и тайком покидала кровать,
чтоб сидеть у костра до восхода,
слышать песенки их про свободу
и, смелея, самой подпевать.

Правда, после высоких примеров
пелись песенки про флибустьеров,
и пираты, входившие в раж,
лезли к девочкам на абордаж.
Клара все принимала на веру,
сохраняя однако же меру —
отбивался ее экипаж.

«Да, Артек не чета нашей Вятке», —
Клара думала, и в беспорядке
были тело ее и душа,
непонятным разладом дыша.
Снова дома она, и в остатке
целый август, но мысли не сладки:
«Что с того, что она хороша?»

В эти дни, к изумлению брата,
Клара мазала рот вороватo,

примеряла, найдя в сундуке,
туфли мамины на каблуке,
а зашитую в тряпочку вату
под футболку пихала куда-то
и гулять уходила к реке.

Там и встретился ей одноклассник,
голубятник, драчун и проказник —
в общем, Ленька. И он в этот раз,
Черноморье покинув на час,
вышел в город. Так за день до казни
обреченному делают праздник:
пусть пройдет в кандалах среди нас.

— Здравствуй, Клара. —
Привет тебе, Леня,
ты не в парке, не на стадионе,
ждешь кого-нибудь? — Нет, я хожу.
— Вот и я после Крыма гляжу:
люди в Вятке живут, словно сони,
да и город весь как на ладони,
ничего я здесь не нахожу.

— До свидания, Клара. — Куда ты? —
Голос прежний, но чуть виноватый.
Боже мой, для чего, почему
Клара так изменилась к нему!
Он бы стал ей слугою и братом.
Что случилось с ней в этом проклятом,
в этом дачном бардачном Крыму?

— Ну, не важно, куда... Город вот он...
Да, в кино! Там про летчиков что-то.
Слушай, Клара, а сходим в кино?
Знаешь, сколько я не был давно!
С голубями хватало заботы,
ну, садовые тоже работы,
в общем, это теперь все равно. —

Так герои мои в кинозале
очутились, где мы их застали
под мерцающим белым лучом.
Правда, фильм здесь совсем ни при чем.
Да и въявь Клара с Леней едва ли
до войны заведет трали-вали,
а война к ней придет с палачом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Право помнить — спасенье в дороге,
если даже разгневаны боги,
беспощадною карой грозя,
от которой укрыться нельзя.
Пропадем, если смотрим под ноги
или только на небо в тревоге.
Оглянитесь скорее, друзья,

на войну. Вряд ли с первого взгляда
отличить ее сможем от ада,
внешне адом она и была,
молодые терзая тела.
Перед нею молиться не надо,
даже зная, что гром канонады
возвестит поражение зла.

Но вглядитесь в отца или в деда
на войне, вдалеке от победы,
можно и вдалеке от огня —
все равно вы поймете меня.
Оглянулись? По свежему следу
вновь прикиньте дорожные беды,
ваши беды средь мирного дня.

В жизни многое слишком жестоко,
чтоб в слова воплощаться до срока,
срок настанет — подскажет слова...
И, признаться, вторая глава
что-то кажется мне однобока.
Не сбежать ли с нее, как с урока,
посмотреть, чем там Вятка жива?

Переулком левее обкома
выйдем к пятиэтажному дому,
он на улице Герцена, но
восемь окон в нем затемнено,
и вахтерша глядит незнакомо:
— А зачем? Иль по делу какому?
Никого не пущу все равно. —

И соседи не много расскажут.
Дай-то Бог, на суде не покажут
(если будет, конечно же, суд),
что за типы к соседу идут
даже после ареста и даже
говорят о какой-то пропаже
и вопросы про дочь задают.

Но не будем вдаваться в детали.
Да, родителей арестовали,
а детей отселили вдвоем
в деревянный окраинный дом
в полукомнату в полуподвале,
где и мы их отыщем едва ли,
если город весь не обойдем.

Город выглядел осиротело.
Время мобилизаций приспело,
уезжала на фронт молодежь.
Леньку, правда, не взяли. Ну что ж,
к военкому ворвался он смело:
мол, учиться военному делу
и семнадцатилетний пригож.

Получил предписание вскоре
и, не зная о Кларином горе,
не простившись, растерян и рад,
спешно выехал под Ленинград,
где в училище около моря
на танкиста учился. Не спорю,
перед Кларою он виноват.

...По сигналу воздушной тревоги
громыхнули скамейки и ноги,
старшина закричал: «Выходи,
укрывайся, команды не жди!»
Леонид еще был на пороге,
но уже по плацу, по дороге
дождь железный хлестал впереди.

Добежал до какой-то канавы.
Бомбы падали слева и справа,
а из окон столовой за ним
вырывался искрящийся дым.
Не до подвигов и не до славы —
только б выжить в безумстве кровавом,
только б не умереть молодым...

Вспоминал ли он Клару — не знаю.
Разговоры с отцом вспоминаю:
да, бомбежку описывал он —
как растерян был и потрясен,
грязь в канаве сгребая, вминая,
чтоб земля защитила родная,
как услышал свой собственный стон,

пересилил себя, приподнялся
и сидеть почему-то остался,
руки вытянув к правой ноге,
к непонятной дыре в сапоге,
как затем в медсанбате валялся...
Образ Клары никак не вплетался
в разговор о воздушном враге.

Впрочем, скоро в письме треугольном
Леонид себя выдаст невольно:
после кратких приветов родне
и туманных словес о войне
спросит он о компании школьной:
что там с Женькою — все недовольна?
как там Кларка — парит в вышине?

Дед ответит ему торопливо,
что родных забывать некрасиво:
больше месяца ждали письма,
мама просто сходила с ума.
А девчонки его — обе живы,
правда, с Кларой возникли мотивы,
щекотливое дело весьма.

Дальше дед погрузился в намеки:
времена тогда были жестоки.
Текст загадочный переводя,
с костылем по палате бродя,
Ленька мучился, как на уроке,
все испуганней глядя на строки
и в догадках себя не щадя...

По ранению отпуск не дали,
он долечивался на Урале,
вновь учился, и в месяц январь
получил на петлицы кубарь
и уехал на фронт. Но детали
интереса прибавят едва ли —
не отчет пишу, не календарь.

Из отцовских военных рассказов
я запомнил отдельные фразы,
плюс картинки невзгод бытовых,
пьянок в госпиталях тыловых,
юмор афористичных приказов,
отблеск смерти в нелепых проказах,
зависть к мертвым случайно живых.

Главным в памяти все же осталось
повторение слова усталость.
Уставали они до того,
что не ждали уже ничего,
что не думалось им, не мечталось,
что вдруг сиюминутная малость
им казалась превыше всего.

В чем и суть офицерской рулетки.
Леонид обращался к ней редко,
но однажды направил наган
в свой висок и крутнул барабан,
где патрон, как смертельная метка,
лишь один вставлен; сухо, как ветка,
щелкнул спуск... Вам везет, капитан.

Дело было весной в сорок третьем.
Он уже стал комбатом, заметим,
кавалером пяти орденов.
Он лишился наград и чинов,
и однажды в бою на рассвете
он, штрафник-пехотинец, ответит
новой раной за пять тумаков.

Эпизод развернуть не сумею.
Взгляд отца становился острее,
губы дрогнуть от злости могли,
если речь мы об этом вели.
Дело прошлое. Скажем скорее:
он избил дезертира-еврея,
а евреев тогда берегли.

Из штрафбата вернулся в танкисты,
в члены партии и в скандалисты,
лейтенантские звезды надел,
от прямых попаданий горел;
пыль столбом или дым коромыслом
поднимались за ним в поле чистом —
он не знал, он назад не смотрел.

И еще было необъяснимо
то, как мерзли в последнюю зиму,
словно холод всех зим фронтовых
накопился в телах молодых;
над чадящей соляркой родимой
обгорали, дурея от дыма,
среди польских снегов голубых.

В те же дни добавляло печали,
как их жители хмуро встречали
у тяжелых закрытых дверей,
мол, езжайте от нас поскорей,
на приветствия не отвечали,
исподлобья смотрели, молчали —
не любили они москалей.

И впервые тогда к Леониду
мысли горькие, горше обиды,
о войне и народах пришли:
вряд ли в послевоенной дали
над фашистской растоптанной гнидой
воссияют прекрасные виды
и обнимутся дети Земли.

Для чего же потоком кровавым
разлилась по сердцам и державам
эта очередная война?
Что на свете изменит она?
Долговечна ли вечная слава —
та, которую ныне по праву
обещает героям страна?

И героем ли он возвратится
из поверженной им заграницы
в долгожданную Вятку свою?
Да, он храбро дерется в бою,
да, он смерти уже не боится, —
тем страшней и пронзительней снится
встреча с жизнью в родимом краю.

Поспешим, Леонида обгоним,
и в расшатанном общем вагоне,
что не зря всю дорогу вздыхал,
на старинный приедем вокзал,
постоим на знакомом перроне,
взвесим будущее на ладони.
Я ведь главного вам не сказал:

Клара замужем. Пусть без венчанья,
без горзагсовского отмечанья,
но живет у мужчины она
и женою считаться должна.
Не хватает ни рифм, ни дыханья,
и сижу со слезами и бранью
над одною строкой дотемна.

Клара замужем. Необъяснимо.
Нет, неправильно, — непоправимо.
Снова ложь. Вся поэзия ложь:
соответствия в ней не найдешь
мира зримого с миром незримым,
оба с гулом проносятся мимо
и словами в них не попадешь.

А теперь изложу ход событий.
Мы оставили Клару и Митю
(так звался ее маленький брат,
я вам не говорил, виноват)
в незнакомом пугающем быте
одного из домов-общежитий
ФЗУшных приезжих ребят.

Вы не вспомнили? В полуподвале
на дырявом чужом одеяле
Митя с Кларою, брат и сестра,
просидели тогда до утра,
тихо плакали, тихо вздыхали...
Я опять пропускаю детали —
закругляться с главою пора.

Как жила, чем братишку кормила?
Где стирала, где лестницы мыла,
где устраивалась в сторожа,
с голодухи ночами дрожа,
но центральный район обходила
и боялась его, как могилы,
по окраинам Вятки кружа.

Постепенно о ней позабыли:
времена слишком трудные были,
ошалев от смертельных забот
каждый бился, как рыба об лед,
довоенные сказки и были
только душу зазря бередили —
в жизни все было наоборот.

Леонид по горячему следу
в первых письмах упрашивал деда
с Кларой встретиться, адрес просил.
Вдруг его особист пригласил,
до штрафбата еще, на беседу:
не накличь, мол, на родичей беды,
пусть не тратят там нервов и сил...

В этот день и сыграл он с наганом.
И хотя умирать было рано,
он все меньше боялся в бою
за усталую душу свою:
смерть — покой, а с тяжелою раной
после госпиталя без обмана
побывал бы он в Вятском краю.

Это не получилось. Но все же
получилось довольно похоже.
Ближе к делу опять перейду.
В сентябре в сорок третьем году
Клару утром окликнул прохожий
с костылями, в солдатской одеже —
и кривясь, и смеясь на ходу.

Митя-брат проводить ее вышел,
он-то первый слова и услышал:
— Клара, здравствуйте, я Леонид,
то есть Глеб. Извините за вид —
и столбы зацепило, и крышу.
Что брательник мой? Жив ли он, пишет,
как он имя героя хранит? —

Клара Глебу ответит не скоро,
разучившись вести разговоры,
будет пауза слишком длинна,
но такая для нас и нужна:
о причинах скажу, по которым,
не вступая с историей в споры,
я героям сменил имена.

В жизни это подстроили сами
Глеб и Ленька. Они, между нами,
хулиганами слыли не зря,
лет с восьми у афиш «Октября»
начиная бои вечерами
двух отрядов, где слыли вождями,
жаждой славы всевятской горя.

Вдохновенно и честно тузились,
но ни тот, ни другой не добились
безусловных и громких побед.
Дальше следует вечный сюжет:
предводители вдруг подружились,
а со временем и породнились —
на крови дали братский обет,

именами махнувшись при этом
(что и было, по сути, обетом),
Ленька Глебом, Глеб Ленькою стал.
Если кто их по-старому звал,
то ни взгляда от них, ни ответа,
словно с потустороннего света,
озадаченный не получал.

В январе в сорок третьем снарядом,
на снегу разорвавшимся рядом,
Глеб был ранен, едва не убит.
Понял в госпитале: инвалид, —
в культю правой ноги ткнувшись взглядом
и бессильно крича, как он гадам
даже на костылях отомстит.
Вот и вся предыстория вкратце.
Кларе с Глебом пора пообщаться,
только трудно тональность найти,
ведь они не знакомы почти —
раза два доводилось встречаться
возле школы, где кровного братца
перехватывал Глеб на пути.

— Да, конечно... Да, здравствуйте, милый,
я вас помню, я вас не забыла.
Как страшна, как ужасна война!..
Извините, пора... Я должна... —
Клара губы ладонью прикрыла:
что за глупость она говорила,
обезумела, что ли, она?

— Вы про Леню спросили. Простите,
вы родителей лучше спросите.
Я не знаю о нем ничего,
я давно не встречала его —
после тех... после этих событий...
Мы живем в общежитии с Митей...
Писем не было, ни одного... —

Пожалеем же Глеба и Клару
и по узенькому тротуару
с непросохшим вчерашним дождем
потихоньку от них отойдем.
Пусть на вятской окраине старой
жизнь помедлит с неправою карой,
пусть хоть наговорятся вдвоем...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я опять перед темой пасую.
Как словами я вам обрисую
окончанье Великой войны,
ликованье спасенной страны?
Избежать бы, на рифмах гарцуя,
даже упоминания всуе
той живой, той святой тишины.

Впрочем, внешне все было иначе:
восшумели и в смехе, и в плаче
миллионы людей на Земле,
гром салюта ударил в Кремле,
Сталин звякнул бокалом впридачу
и уехал на ближнюю дачу,
что в столичном Волынском селе.

Лишь к зиме тишина наступила,
легким снегом присыпав могилы,
и гулянки прогнав со двора,
где играла в снежки детвора.
Вятка павших солдат не забыла,
но живых ей война возвратила,
значит, жить без надрыва пора.

Тишина продолжалась до лета.
Почему-то оно не воспето
не в стихах и не в прозе пока:
офицеры пошли в отпуска!
И такие имело приметы
время неповторимое это,
что не верится издалека.

Вдоль по улицам Вятки холмистой
прошагали с вокзала танкисты,
истребители, штурмовики,
минометчики и моряки,
пехотинцы и артиллеристы —
лейтенанты, таланты, артисты
фронтовой наивысшей руки.

Впрочем, были и горькие нотки
в их манерах, глазах и походке,
в их изящно-циничных плевках.
Этот люд не витал в облаках,
нахлебавшись и крови, и водки,
что назавтра оценят молодки,
отбиваясь от них впопыхах.

Интонация — важное дело,
если с ней обращаться умело;
я, без шуток, в поэме дорос
обсудить офицерский вопрос, —
но без Клары мне все надоело.
...В это лето она заболела —
и душою, и телом, всерьез.

Из какой-то пословицы старой
помню фразу про бедную Клару.
Клара в жизни бедней и бледней
В сорок третьем расстались мы с ней
на неровных камнях тротуара,
где стоит она с Глебом напару
(Митька влез на забор — там видней).

Отвлечемся от сорок шестого
ради их разговора простого,
ради судеб их, столь не простых.
Глеб, случайно оставшись в живых,
не имея жилья городского,
ничего не предвидя такого,
потеснил фабзайчат молодых

и сумел поселиться в общагу,
взявши в горисполкоме бумагу
на метраж и особый паек,
на складах получаемый впрок,
потому что по вятским оврагам
ковылять к отдаленным продмагам
инвалид первой группы не мог.

Так случайно соседями стали
в общежитии, в полуподвале,
в смежных комнатках Клара и Глеб.
Получая по карточкам хлеб
(это все, что ей с братом давали),
Клара Глебу стыдилась вначале
помогать, но и он был не слеп

и однажды с улыбкою нервной
положил пайковые консервы
перед Кларой на кухонный стол,
не дослушал ее и ушел,
из-за перегородки фанерной
пробурчав: — Будет лучше, наверно,
суп сварить, я без первого зол. —

Клара стала готовить мужчинам
И по очень понятным причинам
стала позже домой приходить
(суп с утра успевала варить):
чем вносить ей свою половину?
В общем, гнула до одури спину
и сама бы слегла, может быть,

не случись это с Митькою вскоре —
распотелся зимой в коридоре
и уселся там на сундуке,
полчаса пробыл на сквозняке
да полдня во дворе на заборе,
спать в тот вечер улегся, не споря,
и проснулся в жару и тоске.

Глеб сказал: — Может, просто простуда,
ты иди, я с братишкой побуду. —
Митька тоже сказал ей: — Иди,
но пораньше домой приходи. —
Клара мыла в столовой посуду,
Клара очень спешила оттуда,
и предчувствие было в груди.

Митя к ночи совсем расхворался,
и хрипел, и стонал, и метался,
Глеб поил его и утешал,
сам от горя с надрывом дышал,
на ночь возле кровати остался,
а на Клару *девчонкой* ругался
и сменить его не разрешал.

Клара в комнате спала соседней
на кровати второй и последней
в их теперь уж совместном быту...
Слишком сложно, пожалуй, плету
предлюбовные сети и бредни:
одинаково в наши ли, в те дни
суть мы схватываем на лету.

Разве Клара была виновата
в том, что кто-то кормил ее брата

и в тяжелой болезни помог,
сам беспомощен и одинок?
Разве из-за корысти — она-то! —
отдарила собою солдата?
Но о Глебе скажу пару строк.

Накануне, надевши награды,
он по улице Маркса до сада
героически доковылял.
Дед его еле-еле узнал
и расплакался возле ограды,
в дом привел, напоил, все, как надо,
Ленькин адрес военный сказал.

Глеб тому написал откровенно,
что соседка необыкновенна
и красива, поэтому он
одноклассницей брата сражен.
(Поясню, что порой предвоенной
Леня не говорил совершенно
даже Глебу, что в Клару влюблен.)

Получив откровения эти,
Ленька свету не взвидел на свете,
сдуру чуть не направив ответ:
Кларка б.., в чем сомнения нет, —
еле-еле остыл, не ответил.
Смерть искал, но и смерти не встретил.
И спустя пару с хвостиком лет

возвратился в родные пределы
с чемоданчиком фибровым белым,
с орденами, которые вновь
заработал за удаль и кровь,
с обожженно-израненным телом
и с душою, что счастья хотела,
но не верила больше в любовь.

— Вы, наверное, к Глебу? Он дома.
Вы на фронте с ним были знакомы?..
Ох, сейчас мы его удивим!
Он вообще-то у нас нелюдим,
гости к нам не приходят в хоромы...
А сестренка совсем, слоано грома,
всех боится, аж спит вместе с ним. —

Мальчуган протянул ему руку...
Леня вздрогнул от резкого стука
распахнувшейся настежь двери,
в коридор хлынул свет изнутри,
сердце вспыхнуло счастьем и мукой
и непереболевшей разлукой.
— Здравствуй, Леня.
— Он Ленька? Не ври... —

Митька взглядом стрелял очумело.
Клара на Леонида смотрела,
неподвижно стояла она
на пороге напротив окна;
свет, казалось, пронзал ее тело.
Боже мой, как она похудела,
как ее изменила война...

— Ты не слушай его, я болею.
Я сама ничего не умею,
я уже ничего не могу,
я давно себя не берегу.
Мы ведь оба у Глеба на шее,
он содержит нас, лечит, жалеет.
Митя скажет тебе, если лгу...

Сцену эту в стихах не осилю.
Если вы хоть однажды любили
и прощались с любимой своей,
вам по собственной жизни видней,
что глазами они говорили,
чем их души наполнены были...
Ленька пьянствует несколько дней,

Глеб и Митька на улице где-то:
только утро — они уж одеты,
полушепотом поговорят,
потихоньку вдвоем поедят,
не включая ни плитки, ни света,
и гулять отправляются, это
день за днем происходит подряд.

Но и Кларе уж не до романов,
объяснений, признаний, обманов,
извинительных в жизни подчас,
если женщина выбрала нас.
Ей, пожалуй, не больно, а странно,
что сердечная давняя рана
снова заполыхала сейчас.

И она размышляет спокойно,
что любви она вряд ли достойна:
с детских лет Леонида любя,
сохранить не сумела себя.
Да, сиротство, война... Но ведь войны
губят тех, кто слабы и безвольны,
настоящей любви не губя.

Лене было труднее, наверно,
даже в горьком ее сорок первом,
и потом всю войну напролет
он трудней, чем она, проживет.
А она... Отдалась за консервы...
Нет, за брата... Нет, тоже неверно...
Но ведь знала, что жив, что придет...

Глеба жалко. Он сам себя губит,
ни за что ее, скверную, любит,
притворяется плохо она,
редко с Глебом бывает нежна;
Митьку он, словно сына, голубит,
а ее он простит и забудет,
он намаялся с нею сполна...

Вот вздохнула она, вот привстала,
темно-синюю склянку достала,
что украла в больнице весной,
подрабатывая в выходной,
поглядела на свет: может, мало? —
снова села поверх одеяла
с напряженно прямою спиной.

И не существовало преграды
для ее неподвижного взгляда,
и смотрела она, не виня,
сквозь отца моего на меня,
повторяя глазами: «Так надо»,
все заметней слабея от яда,
все бессильнее тело клоня.

Клара, милая, ну подожди же,
Леня вышел к тебе, он все ближе,
Глеба с Митею встретив в пути,
но они не успеют дойти.
Не клонись на кровати все ниже,
ну попробуй, пожалуйста, выжить...
Ты не хочешь. Я знаю. Прости.

ПРОЗА

АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ

ГИБЕЛЬ МАРКЕРА КУТУЗОВА

ИНТЕРЕСНАЯ, НО ПЕЧАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Храбрых троян Приамид, шлемоблещущий Гектор великий,
Всех предводил; превосходные множеством, мужеством духа,
С ним ополчилися мужи, копейщики, бурные в битве.

Гомер. Илиада. Песнь вторая. 816 - 818.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой дается подробное описание места действия и инвентаря

Жизни не видел тот, кто никогда не бывал в бильярдном зале пансионата «Восторг» Министерства культуры Российской Федерации. Скудное и беспомощное словесное описание, которым я хочу восполнить ему этот пробел, лишь приоткроет узенькую щелочку и в тусклом свете позволит одним глазком увидеть чудо человеческого гения, коего, увы, уже не существует. Нет ни чуда, ни того, кто сотворил и сберегал его, и счастье, если на короткий миг им удастся воскреснуть в моей повести.

Итак, мы входим а здание главного корпуса. Тотчас к нашим ногам притирается и начинает жалобно мяукать старый кот Лазарь. Сейчас-то его уже нет в живых, но тогда он еще обретался, а поскольку мы совершаем экскурсию в прошлое, то и Лазарь тут как тут. Какое-то время он еще идет за нами, но видя, что мы решительно направляемся в правое крыло, отстает от нас и уже мяукает кому-то другому.

Дойдя до конца правого крыла главного корпуса, мы по застекленному переходу идем в здание спортивно-культурного комплекса. Здесь на первом этаже — большой спортзал, но мы сразу поднимаемся по лестнице на второй этаж, и нас не волнует легкомысленное щелканье целлулоидного шарика пинг-понга, остающееся внизу. Поднялись. Справа — дверь в библиотеку. Кстати, здесь вполне приличные книги. Слева — массивная дверь в кинозал. В углу — ряды уютных кресел перед телевизионной точкой. Но стоит ли обращать внимание на то, какую ерунду показывает цветной экран? Пусть даже чемпионат мира по футболу... Хотя многие тут отвлекутся. Но чемпионат только что закончился в пользу сборной ФРГ, и в данный момент крутят мультик.

Вот она, посередине, между кинозалом и библиотекой, эта заветная дверь. Над нею крупная, красиво выписанная надпись: «БИЛЬЯРДНЫЙ ЗАЛ». На самой двери — следующее сообщение:

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАРА И ЛУЗЫ

Часы работы: с 10-00 до 17-00 для всех желающих, с 17-00 до 24-00 только для проживающих в пансионате «Восторг», а также для выдающихся мастеров нашей прекрасной игры.

Маркер: Г.И.Кутузов

Ну, с Богом! Открываем дверь, мелодично звенит подвешенный с той стороны над

СЕГЕНЬ Александр Юрьевич родился в 1959 году в Москве. Окончил Литературный институт и аспирантуру при нем. Автор романов «Похоронный марш» и «Страшный пассажир», повестей «Заблудившийся БТР» и «Надпись на стене», различных рассказов, очерков и статей о русской литературе. Роман «Похоронный марш» удостоен в этом году первой премии имени В. М. Шукшина, которую присуждает Товарищество Русских Художников и писатель Л. И. Бородин. Член Союза писателей. Живет в Москве.

дверью колокольчик. Вежливо и тихо входим, аккуратно закрываем дверь за своею спиной, стараясь на сей раз не сильно звякнуть колокольчиком. Никто пока не играет, но наша вежливость и робость вызваны восхищением перед блистательностью интерьера. Пол устлан мягким темно-синим ковром, вдоль стен выстроились зеленые кресла и диваны, в западном углу — шахматный инкрустированный столик, в северном — столик для домино, на нем большая немецкая кружка и графин с водой, в вазе есть черные и белые сухарики, здесь же написано: «Место для курения»; в восточном углу — еще один шахматный столик, попроще первого, а рядом — дверь в комнату маркера, на которой вывеска: «Маркер Кутузов Гектор Иванович. Посторонним вход воспрещен». Последний, южный угол. В нем стоит огромный старинный шкаф, красавец-шкаф, темно-вишневого цвета, с резными стеклами в тяжеловесных, но очень плавно открывающихся дверцах. В этом шкафу — целый мир. Справа — стоянка киев. О, едва ли ракеты с ядерными боеголовками хранятся в своих шахтах столь же бережно, как в шкафу у маркера Кутузова орудия для забивания шаров. Каждый кий пронумерован и вставлен в свою лунку, возле которой значится соответствующий данному кию номер. Вставить кий под цифрой 3 в гнездо с цифрой 4 все равно что переселить чукчей в Египет, а жителей Чада на Северный полюс. Края лунок обиты зеленым бархатом, дабы при вытаскивании кия не оставить царапин. Но мало и этого — кии не просто сидят в своих гнездах, они еще и подвешены к потолку шкафа на веревках. Да, да! Вы вставляете кий в гнездо тупым концом, а острый конец защемляете прищепкой, привязанной к веревке. И не спорьте, не удивляйтесь, так надо. Этим способом кии застрахованы от внезапного непредвиденного искривления. Во всяком случае, так считает маркер Кутузов. Табличка, служащая решетке висящих киев фоном, поучает: «Кий любит свое место, как жениха невеста».

А каковы сами кии! Любование, симфония Моцарта, а не кии! От легчайшего, тончайшего, нежного, как южная ночь, номера 1 до толстоногого, слоноватого номера 12. У каждого из них своя история, и коли хватит сил, я расскажу еще эти истории в следующих главах.

Слева от стоянки киев расположена шаровая гавань. Шаров у Кутузова целых четыре комплекта. У каждого комплекта своя деревянная корзина-ящик, в таковых ящиках носят слесарные и столярные инструменты. Ящики озаглавлены и тоже имеют свои точно обозначенные места. Поднимем первый ящик. Шары белые, обычные, на ящике написано: «ШБ — шары белые», под ящиком на полке тоже значится: «Место для белых шаров». Во втором ящике шары желтые, в третьем — розовые, и, наконец, в четвертом — шары особые. На ящике так и написано: «СК — слоновая кость. Шары особые. Брать по особому разрешению маркера Кутузова». И там, где место, необычная надпись: «Почетное место для шаров СК». Удивительные шары! У некоторых слоновокостная поверхность тронута паутинкой трещинок, как краска на старинных картинах, что придает им еще более антикварный вид. Один шар треснут основательно, буквально опоясан трещиной, и даже есть на нем щербинка. Это случилось в жаркий полдень 1983 года, когда отдыхающий Гвасалия применил запрещенный, насилующий удар по шару, стоящему возле лузы, но у борта. Удар был столь сокрушителен, что шар в ужасе вскочил в лузу, но не выдержал насилия и треснул. Гвасалия с тех пор навсегда лишен права играть особыми шарами СК, а прочие мастера обычно стараются треснутый шар забить поскорее, чтобы он не рисковал, находясь долго в сражении.

Но еще более удивителен шар под номером 14. Взгляните-ка на него. Батюшки! да на нем золотая цифра! Так точно и есть, и золотая, а вернее сказать — позолоченная. Не утерплю до других глав и поведаю сейчас, как в 1985 году была долгая затяжная игра на большие деньги между отдыхающим Рабинзонсоном и отдыхающим с редкостной фамилией Зима. Рабинзонсон был в поре расцвета, и Зима чаще проигрывал, чем выигрывал; постепенно накопилась изрядная сумма проигрыша. Тогда Зима поставил такое условие: играть последнюю партию в русскую пирамиду, и если он проигрывает, то передает Рабинзонсону свои «Жигули», а если выигрывает, то Рабинзонсон прощает ему долг да плюс платит еще столько же. Рабинзонсон некоторое время думал, почесывая на себе различные места; «Жигули» у Зимы были пощипанные, но все же стоили больше, чем накопилось проигрыша; и Рабинзонсон согласился, доверившись своему везению и наивысшему расцвету. Стали играть. И пошли, что называется, ноздря в ноздрю — Рабинзонсон положит шар, и Зима положит, Рабинзонсон повалит два, и Зима отвечает тем же. Тут очень важно отметить последовательность забиваемых шаров а их ценностном выражении. Итак, Рабинзонсон забил следующие номера: 15, 8, 10, 6, 11, 7, 5. А вот показатели Зимы: 12, 13, 9, 1 (этот шар называется «туз» и оценивается в 11 очков), 2, 4, 3. В конце игры на столе остался один биток и шар под номером 14, у Рабинзонсона было набрано 62 очка, у Зимы, которому в эндшпиле удалось, как говорится, собрать весь мусор, то бишь шары с низким номиналом, оказалось лишь 54 очка. Но все равно, последний шар оставался решающим. Долго катали его, никак не могли забить. Волновались — ставки-то какие! Рабинзонсон молча вытирал постоянно запотевающий нос, а Зима пел свою обычную в минуты волнующей игры песню:

А какая ж, на фиг, самба без пандейры?
А без пандейры — уже не самба!

Что такое пандейра, он, кажется, знал, но никому не говорил. Зима интересный человек. Однажды он на пишущей машинке сатирика Петрованова станцевал кумбиамбу — латиноамериканский танец с зажженными купюрами в руках. Машинка после этого оказалась все еще пригодной к работе, хотя купюры — червонец и пятерка — сгорели без остатка.

Итак, волнуясь и песенно спрашивая, может ли быть самба без пандейры, Зима вдруг ухитрился так поставить четырнадцатый шар супротив срединной лузы, что забить его такому мастеру и в таком расцвете, как Рабинзонсон, не составляло никакого труда. Зима взвыл и стал бить ногой об пол, а его соперник, весело хихикая, засуетился около стола, прицелился, ударил и — промахнулся! Невиданно, невероятно, необычайно промахнулся!

— Да зачем же он так! — взвизгнул Рабинзонсон отчаянно. Шар тем временем походил по столу и встал в такой позиции, что забить его не представлялось возможным даже для лучших мастеров, чем Зима и Рабинзонсон. И тем не менее случилось второе чудо. Зима, еще не окончательно пережив промах соперника, небрежно подошел к битку, небрежно прицелился, небрежно ударил и — забил четырнадцатый шар в очень отдаленную угловую правую лузу. И снова вскрикнул Рабинзонсон:

— Да зачем же он так!

И снова Зима стал бить ногой об пол, но уже не горестно, а радостно, ликующе, дико. Потом он стал отплясывать самбу и, видимо, используя при этом элементы пандейры.

Затем он вытащил из лузы четырнадцатый шар и расцеловал его, как Ромео Джульетту.

— Позолочу! Позолочу тебя! — клятвенно пообещал он своему благодетелю и выпросил его на пару дней у маркера Кутузова. Тот нехотя согласился, но зато как он был удивлен и обрадован, когда ровно через два дня Зима вернул шар под номером 14, и этот номер сверкал свежей, ликующей позолотой.

Вот такая история. Ну, кладем позолоченный шар в его уютную деревянную ладью и ладью ставим на «почетное место для шаров СК».

Что еще есть в шкафу на других полках? Есть вязанные из тонкой шерсти перчатки для левой руки со срезанными кончиками пальцев. Многие мастера любят играть в перчатке — по ней хорошо скользит кий. Одна перчатка и для правой руки — это если кто-то левша.

Мел в шкафу двух сортов — обычный белый, каким дети в школах пишут: «Мама мыла раму», и синий, французский, специально изготовляемый для бильярда. Его маркер Кутузов выдает лишь тем, кто удостаивается шаров СК. Даже сам, когда он играет один на один с собою, Кутузов пользуется мелом «мама мыла».

Красиво висят в шкафу не только кии, но и треугольники для установки пирамиды. Их зачем-то целых пять, хотя вполне достаточно было бы иметь один, ну в лучшем случае — два. Но маркер Кутузов любит, чтобы всего было в достатке. У него и «тещ» три штуки. «Теща» — это такая вспомогательная палка с дощечкой на конце. Она используется в исключительных случаях, когда до шара трудно дотянуться. Многие игроки «тещу» презирают, говоря: «Сам не в состоянии, тещу попроси», но маркер Кутузов считает, что «тещей» тоже надо уметь пользоваться, а не игнорировать ее.

В шкафу есть часы, хотя на стенах бильярдного зала висят двое часов. Кутузов любит следить за временем, и в каморке у него еще два будильника, и оба тикают, и оба показывают точное время.

В шкафу есть вазочка, в которой натыкано множество карандашей и шариковых авторучек, а на верхней полке слева лежит толстенный том. На обложке его начертано внушительное заглавие: «Гроссбух клуба любителей шара и лузы. Пансионат «Восторг» Министерства культуры РСФСР. Маркер Кутузов Г. И. 1979 — ». Второй год не проставлен. Когда гроссбух закончится, Гектор Иванович проставит год и начнет новый гроссбух... Ах ты, Боже мой! Он ведь никогда не проставит эту конечную дату, эти роковые «1991»! И никогда не начнет свой новый гроссбух. Это тогда, когда все еще было цело — страны, люди, пансионаты, бильярдные, — маркер Кутузов полагал, что не один и не два гроссбуха впитают в себя славную историю бильярдного зала пансионата «Восторг». С каким терпением, с какой любовью он красиво записывал все игры, происшедшие в его владениях. Разумеется, игры, достойные войти в историю, а не те расхожие, что играются белыми или желтыми шарами.

В каморке у Кутузова есть и другой гроссбух. В нем представлена совершенно иная история. Она тайная, и о ней будет рассказано позже.

Пройдемся еще раз по бильярдному залу, чтобы отметить другие его достопримечательности. Чем украшены стены? Во-первых, картой мира, огромной, глянцевой и очень красочной; во-вторых, описаниями правил разнообразнейших игр, которые можно сыграть на покрытом зеленым сукном столе с помощью кия и шаров. Вы скажете: русская пирамида, сибирка, американка, ну разве что еще карамболь (да, кстати, мы забыли заглянуть на ту полку шкафа, где лежат карамбольные фишки), а что, кроме этих игр существуют ли другие? А как же! Покер, испанская пирамида, итальянский карамболь, дуплетка, вист, снукер, бакинская, шашки, «Бородино», копеечка, одесситка, макао, очко, матросская, питерская, джо-джо, курская, московская, марьяж, тыч, женская, мюнхенская, пиратка и, наконец, головановская рассыпная. Согласен, игры эти редкие, и в них мало кто умеет играть. В бильярдном зале пансионата «Восторг» тоже в девятистах девяноста девяти случаях из тысячи игрались русские пирамиды, американки или сибирки, а если в одном оставшемся случае игралась, к примеру, головановская рассыпная, то это маркер Кутузов исполнял ее в одиночестве с самим собою. Такой уж он был человек, он считал, что если существуют какие-то бильярдные игры, то их надо знать и играть в них хоть изредка, равно как если существует какой-то особый удар, то им непременно надо уметь пользоваться.

Мы подошли к стенду с описаниями различных ударов. Чего тут только нет, а главное, из каких источников почерпнуты названия приемов и исторические сведения о них, уму непостижимо! Здесь зафиксировано более трехсот различных ударов от 1 — простейшего лобового, до 335 — королевского прохода Томпсона. И каждый удар с любовью описан, а для большинства даже нарисованы иллюстрации. Вот, например:

127. Глоток воды. Впервые применен в 1895 году в Лондоне А. фон Шульце. Кончик кия плавно ударяет в верхнюю боковую часть битка, противоположную искомому шару, который после исполнения удара медленно, подобно глотку воды, вливается в лузу.

Разве это инструкция? Это стихотворение Шиллера или Гёте! Или другой совет:

144. Пользуйтесь дуплетом Быстрицкого. Биток ударяется плавно, но твердо по касательной вверх, идет по следу чужого и влетает в срединную лузу почти вместе с ним. Отдыхающий В. В. Мягин в 1983 году использовал дуплет Быстрицкого трижды за одну партию и все три раза успешно.

Если хотите, еще парочка таких стихотворений. Увы, невозможно воспроизвести здесь все шедевры бильярдной педагогики Кутузова. Пользуюсь лишь теми, которые в свое время нарочно выписал.

211. Чужой Уинстона Черчилля. Излюбленный удар знаменитого британского политика. Кончик кия сдвинут в сторону и чуть-чуть опущен книзу, словно загрустил. Хлестким ударом чужой, стоящий, казалось бы, в безопасном месте, подсекается и штопором вкручивается в боковую лузу.

Неужели сей, если вдуматься, широко применяемый удар никогда не применялся до Черчилля? Верится с трудом. И откуда Кутузов черпал подобные сведения? Непонятно.

246. Свояк Александра Третьего. Как известно, этот русский царь был заядлым бильярдистом. На весь мир прославился его удар прямо направленным битком в 1/35 часть шара. Твердая, как у царя, рука бильярдиста гарантирует успешное внедрение свояка в лузу.

Не знаю, был ли в действительности Александр Третий заядлым бильярдистом, но удар описан очень достоверно. Так и видишь величественную фигуру государя императора, в андреевской ленте и орденах со звездами, склоненную над теплой зеленью бильярдного сукна.

287. Свой среди чужих. Впервые использован Г. И. Кутузовым в 1984 году в игре против Д. И. Харитонова. Проскочив между двумя чужими, шар ударяется об угол лузы и, подобно оборотню, из чужого превращается в своего.

В пользу скромности маркера Кутузова надо оговорить, что это был единственный удар, который он приписал самому себе. Все остальные принадлежали либо великим мира сего — Рузвельтам, Хрущевым, Брежневым, Фиделям Кастро; либо знаменитым мастерам бильярда — всяким Митасовым, Португезе, Альтредерам и Чешке; либо мастерам местного значения — Рабинзонсону, Харитонову, Джологуа, Зиме, Козоченкову.

305. Чужой аккуратный в среднюю. Неизвестен первооткрыватель этого удара. Есть воспоминания, что им блестяще пользовался Джиакомо Португезе. Шар, стоящий возле средней лузы, нужно очень тонко и точно от своего направить лузе в самый угол рта, чтобы, отскочив внутрь лузы, шар не знал, куда ему деваться, кроме как свалиться в сетку. Этим ударом охотно пользуется К. Р. Джологуа.

Кумар Рушниевич Джологуа много сделал для развития бильярда в пансионате «Восторг». Кроме чужого аккуратного в среднюю он подарил чеканку с изображением горца, подымающего кубок с вином, подарил настоящий кинжал, украшенный серебром и эмалью, и много вина и коньяка, о которых остались теплые и радостные воспоминания.

Если у вас возникнут сомнения в отношении физической и нравственной гигиены бильярдного зала маркера Кутузова, то вот вам свод правил поведения бильярдиста, вывешенный здесь же:

1. Плохой человек не может хорошо играть в бильярд.

2. Прежде чем приступить к игре, загляни внутрь себя, достоин ли ты.

3. В нетрезвом виде играть в бильярд строжайше запрещается!!!

4. Руки мой перед каждой игрой. Нет ничего более отвратительного, чем грязный кий.

5. После каждых 3 ударов натирай мелом нашлепку. Кончик кия любит мел — побелел и осмелел.

6. Не садись на борт — упадешь за борт!

7. Не нервничай, не суетись, не психуй, играй спокойно.

8. Пользуйся захватом «ключ» (кий между указательным и средним пальцами руки) — не сорвется удар, не порвется сукно, не захочется выброситься в окно.

И так далее. Общий свод правил состоит из 50 пунктов. Как аидите, маркер Кутузов был человеком очень остроумным. Кроме различных забавных рифм бильярдную украшало, например, такое объявление:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МАРКЕРА:

1. Вытаскивание шаров из луз — 1 руб. за шт.

2. Уборка шаров со стола в шкаф — 5 руб.

3. Уборка треугольника в шкаф — 8 руб.

4. Установка киев в шкафу — 12 руб.

5. Уборка мела в шкаф — 25 руб.

6. Укрытие стола покрывалом — 50 руб.

7. Хранение забытых вещей — 100 руб. в сутки.

Не подумайте, что кто-либо из отдыхающих когда-нибудь пользовался такими дополнительными услугами. И если кто-то уходил, не убрав в шкаф кии, треугольник, мел и шары, маркер исполнял свои обязанности, не ропща на судьбу, забытые вещи он хранил и возвращал, забывая о тарифе 100 рублей в сутки, а если кто-то уходил не поблагодарив и не попрощавшись, он и это прощал людям. Объявление о дополнительных услугах всегда веселило отдыхающих, как и такая рекомендация: «Если ты веришь в силу таинственных заклинаний, то прежде чем нанести удар, прошепчи: «ЕУ ХАЭРЕ ИЯ ОЭ ЛУЗУЗАЛУЗАМ АЛУЛУЭИ МАМАДУ ХАРИ КРИШНА МУАЛАЛУМАМБА ШАЙТАН АЙ САБАК!»

Трудно перечислить все, что украшало стены бильярдного зала Кутузова. Был здесь и инкрустированный портрет Ленина. Сейчас это может служить маркеру Кутузову дурной рекомендацией, но он не обожал вождя мирового пролетариата, портрет ему навязал директор пансионата, и висел Ильич скромно в довольно темном углу, смотрел куда-то в сторону и не отвлекал игроков своим взглядом.

Кроме Владимира Ильича были портрет Есенина, репродукции картин «Охотники на привале» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», на полочках красовались икебаны, выполненные рукой самого Кутузова. Под охотниками на привале было написано: «Удар — и сразу четыре шара в лузах!», а под запорожцами: «Казаки умели забивать чужих».

И теперь, когда мы осмотрели стены и все, что вдоль них, мы, наконец, поворачиваем свой взор в центр зала. Здесь, накрытые плотными зелеными покрывалами, спят два огромных слона. Видны лишь их могучие ноги. Боязно подходить. Робеем нарушать царственный покой. Но раз уж мы пришли, снимайте покрывало! Господи Боже! Что за стол! Откуда такое диво? Красивые темно-вишневые борта, великолепное изумрудно-зеленое сукно, изящные, ухоженные лузы, нигде ни залысинки, ни потертости, все в идеальном состоянии. Однако медная табличка, украшенная медалями с профилями царей, сообщает нам: «БИЛЬЯРДНАЯ ФАБРИКА ШУЛЬЦА. 1886 ГОДЪ. Москва, Тверской бульваръ». Такая дивная древность и в таком свежем, будто новоиспеченном виде. Все благодаря стараниям маркера. Не надо снимать покрывало со второго стола. Там все точно такое же.

Не терпится уж сыграть на этой блаженной зеленой равнине, безукоризненно ровной и мягкой, как долины мира в день Творенья. Расставляйте шары. Так, аккуратно устанавливайте пирамиду. Кончик кия щедро удобрен мелом. Ну-с, я разбиваю...

ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой рассказывается о тайной и подлинной жизни маркера Кутузова

По своему происхождению маркер Кутузов был кубанский казак. Он имел немного смуглое лицо, жесткие черные волосы, широкие кисти рук, высокую фигуру и карие глаза. Все эти черты предполагают в облике человека некоторую свирепость, порыв и лихость. Однако в Кутузове ни первого, ни второго, ни третьего не было вовсе или до поры скрывалось так, что он и сам не подозревал о наличии в себе таких черт. Будучи человеком не робкого десятка, Кутузов при этом всегда обвораживал людей саоей скромностью и необыкновенной деликатностью. Играя, он всегда старался подсказать, как лучше ударить. И наоборот, когда кто-то играл не с ним, он ни за что не вмешивался и не подчеркивал своих симпатий к тому или иному игроку. Никто никогда не интересовался, где Кутузов жил раньше и живы ли его родители. Сам он обитал с 1979 года в комнате маркера пансионата «Восторг». Комната эта, как мы уже знаем, являла собой приложение к бильярдному залу и посторонним туда вход воспрещался. Комнатка небольшая — одно окно, кровать, умывальник, письменный стол, шкаф, холодильник «Морозко-3М», книжные полки, один стул, одно кресло, тумбочка, торшер. Обычная обстановка, как почти в любой из комнат пансионата «Восторг». Здесь даже не было икебаны, ведь все свои таланты Кутузов употреблял на украшение бильярдного зала.

И все же... Никто и не догадывался, что в этой скромной каморке затаился целый огромный мир. Пусть и придуманный.

Дело в том, что маркер Кутузов проводил свои личные чемпионаты по игре в бильярд. И участники этих чемпионатов были все до единого придуманными Кутузовым. Среди них выделялись такие великолепные мастера шара и лузы, как Петр Иванович Котов, англичанин Алан Брюз, американец Джон Роберт Фицджеральд, японец Микаяма Мидзуи, китаец Ли Ду Чжу, француз Марсель Бертье и многие другие. Как проходили соревнования между этими замечательными спортсменами? А вот как. Утром, искупавшись в море, если лето, или побегав по берегу, если холод, Гектор Иванович завтракал и после завтрака, в десять часов, торжественно появлялся в бильярдной. В ушах его заучали такие, к примеру, слова: «Итак, мы начинаем репортаж с первого дня очередного чемпионвта мира по бильярду. В первой партии француз Патрик Руж встречается с итальянцем Доменико Пьемонти...» Если в бильярдной никого ие было, Кутузов играл сам с собою, поочередно ударяя то за француза, то за итальянца, воображая себе рев трибун, радость или огорчение игроков. Когда кто-то приходил, он мысленно назначал: Харитоиов — Фицджеральд, а Джологуа — за турка. По окончании партии он шел в свою комнату, где в тайной книге отмечал результат. Ду Чжу выиграл у венгра Фекеши и вышел в четвертьфинал. Так, игра за игрою, определялись финалисты, в финале непременно шла на редкость упорная борьба, мастерство сочеталось с удачей и определялся очередной чемпион мира, или чемпион Европы, или чемпион открытого чемпионата Великобритании, или победитель какого-нибудь иного турнира. Если приходили в бильярдную игроки слабые или среднего уровня, то Кутузов поручал им проведение чемпионатоа локального характера — чемпионат Франции или Италии, или турнир стран СЭВ. Хорошие игроки всегда проводили чемпионаты мирового масштаба. Кутузов любил тогда быть зрителем. Но, пожалуй, еще больше он любил играть сам с собою. Обычно это происходило зимой в отсутствие отдыхающих. Он чертил огромную таблицу со множеством участников и большим количеством туров, с чередованием класса игры: первый тур играется простая американская пирамида, второй — покер, третий — пиратка, четвертый — московская, пятый — вист, одна шестнадцатая финала — марьяж, одна восьмая — тыч, четвертьфинал — сибирка, полуфинал — русская пирамида, а двое финалистов должны были сыграть друг с другом во все виды игр, которые только знал Гектор Иваноаич.

Самые знаменитые мастера, такие, как Котов, Фицджеральд, Бертье, Брюз, пользовались у Кутузова особым почетом. Он придумывал им биографии, сочинял экстраординарные личные причины, по которым тот или иной чемпион не мог участвовать в каком-либо соревновании. Швед Ларс Бергрен, например, после поражения в финале одного из чемпионатов мира погиб в автомобильной катастрофе, после чего был учрежден особый турнир имени Бергрена. А француз Дорэ получил дисквалификацию за употребление наркотиков и не участвовал в трех чемпионатах подряд. Правда, виновником оказался сам Гектор Иванович, который однажды в январе напился и, вопреки собственному запрету, стал играть с пришедшим в гости маркером из санатория «Волна». Проиграв соседскому маркеру двадцать пять рублей, Кутузов на следующее утро и дисквалифицировал беднягу Дорэ.

Можно было бы очень долго описывать все чемпионаты, проведенные Гектором Ивановичем втуне, и рассказывать о придуманных им выдающихся мастерах, но будет гораздо лучше, если когда-нибудь все же чудом отыщется его потайная книга и некий хороший, вдумчивый издатель опубликует ее тиражом в двадцать или тридцать тысяч экземпляров. В истории человеческой мысли такая книга, безусловно, заняла бы свое достойное место.

Была ли у маркера Кутузова другая жизнь, кроме только что описанной? Да, была. Конечно. Зарплату в пансионате «Восторг» ему платили скромную, и приходилось посещать другие бильярдные, играть на деньги, обыгрывать богатых грузин, азербайджанцев, партийных работников и просто жуликов и проходимцев всех мастей. Здесь Гектор Иванович был Робин Гудом — он никогда не брал денег с людей, в крупных доходах которых сомневался. Зато с каким наслаждением он сбивал спесь с какого-нибудь Тофика, Реваза или Быр Бырыча, с каким чувством справедливости получал с них в честном бою захваченные червонцы, четвертные или полсотенные. Он превращал грязные деньги в чистые и мог изредка позволить себе какое-нибудь развлечение. Но не злоупотреблял своим мастерством и лишь пару-тройку раз его побили, да и то несильно. Случалось и ему проигрывать, без этого не обойтись.

Игры на стороне, для заработка, не удостаивались чести быть занесенными в потайную книгу, а в своей бильярдной Гектор Иванович играть на деньги брезговал. Другим позволял, а сам — нет.

Вот мы и доиграли свою последнюю партию, пойдем-ка перед сном окунемся. Море сегодня такое тихое. А маркер закроет за нами дверь, сядет в своей комнате, запишет на счет чемпионов наши результаты и с удовольствием начнет составлять таблицу следующего чемпионата, бросая жребий, кому с кем играть в первом туре — немцу Дюррендорфу с поляком Мазовшанским, аргентинцу Лорреде с египтянином Аль Шухри, новичку американской сборной Холсону с маститым испанцем Альмаведой, а нашему Петракову с греком Феодоракисом...

Счастливый был человек маркер Кутузов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
в которой описываются нравы любителей шара и лузы в пансионате «Восторг»

Любимым завсегдатаем бильярдного зала у Кутузова, конечно же, считался Дмитрий Иванович Харитонов. Этот веселый, полный жизненных соков человек дал жизнь великому множеству крылатых слов. Они, как ласточки, гнездились во всех углах храма шара и лузы, и каждое в свой черед выпархивало, чтобы пролететь над полем зеленого сукна и весело чирикнуть. Когда кто-нибудь промахивался по обреченному шару, соперник говаривал:

— Сталинская амнистия, как сказал бы Дмитрий Иваноаич.

Если шар оказывался недостаточно подрезан, то харитоновское словечко было «недорезо». Если, выставив шар, игрок быстро отыгрывал его, то это называлось «реабилитирован по пятьдесят восьмой» или «Никитка реабилитировал». Случалось, кто-то вдруг начинал резво обыгрывать Дмитрия Ивановича, и тогда москвич Харитонов говорил:

— Ничего, мы немца под Москвой остановили, а вас, костромских, и подавно не пустим.

И другие переняли эту поговорку:

— Ничего, мы немчуру к Волге не пустили, а вас, молдаван, и подавно остановим.

Дмитрий Иванович ежегодно приезжал отдохнуть в пансионат «Восторг» и обязательно первым делом шел обняться с Кутузовым:

— Гекторино! Мама мия! Подрос, подрос за год, повзрослел!

Хотя Кутузову было уже давно за тридцать и с годами он почти не менялся. В первый вечер они заигрывались до самого позднего поздна, а среди ночи садились пить коньяк с черной икрой, осетриной, финской колбаской — недаром Дмитрий Иванович занимал в Министерстве культуры Российской Федерации хороший пост.

Дмитрий Иванович рассказывал, как он ездил в Италию, Бразилию, Египет и многие другие интересные страны, Индию, разные там Сингапур-Малайя, Швецию и, конечно,

США. Но ои рассказывал очень попросту, не выпендриваясь. Не очень расхваливал иноземные раи, но и не раскваснвался, как его нестерпимо тянуло домой. Рассказывал о тамошних бильярдистах и иногда привозил в подарок Кутузову правила какой-нибудь неизвестной доселе игры. Это он привез испанскую пирамиду, макао, мюнхенскую и джо-джо.

На другой день после коньяка Харитонов, уважая принципы маркера Кутузова, не играл. И в продолжение своего срока проживания приходил играть только в очищенном от алкоголя состоянии — раз пять или шесть, не больше. Но все равно его присутствие в «Восторге» ощущалось бильярдистами так, будто он пропадал в бильярдном зале с утра до вечера.

Другой знаменитый человек был, разумеется, уже известный нам Зима Григорий Константинович, то есть — Гриша Зима. С ним всегда случались фантастические вещи. Например, он мог пошутить:

— Десятка в угол, свояк дуром в угол ко мне.

И верная десятка не попадала, а свояк, который никоим образом не должен был вкатиться в ближнюю к Зиме угловую лузу, ударившись о три борта, с медлительной важностью по-свойски закатывался именно туда, куда послал его шутливым заказом Гриша.

Однажды таким же образом Зима выколол глаз Виктору Ефимовичу Шлепанному. Не нарочно выколол, но тем не менее.

— Глаз-алмаз, — говорил Виктор Ефимович, кладя шар за шаром в тот роковой для себя вечер. — Глаз-алмаз.

— Ну, ежели ты и этого свояка положишь, — не выдержал Гриша, — я тебе твой алмаз кием выколю.

Тот забил злосчастный шар, а минут через двадцать и впрямь лишился глаза. Дело в том, что у него была раздражающая соперникоа манера подолгу высматривать шары, примериваться, прицениваться, передумывать и при этом совершать порывистые движения лицом влево и вправо, что порой даже казалось, что он не будет бить по шарам, а сам сейчас с разбегу нырнет в лузу.

— Подвинься-ка, подвинься! — приказывал он при этом своему сопернику, неделикатно отпихивая его. И то на ногу кому наступит, то тупым концом, прицеливаясь, в брюхо проходящему мимо зрителю пнет.

— Подвинься-ка, Гриша, — сказал он в тот катастрофический для своего глаза вечер, — что там, что там за шарик? — И вдруг нырнул вбок так, что Зима не успел убрать свой кий, поставленный на пол тупым концом, а острым торчащий очень опасно. В следующую секунду бильярдный зал огласили страшные вопли Шлепанного, который, выронив свой кий, стал кататься по дивану...

Нет сил рассказывать, что было дальше, какой был скандал, как оправдывался Зима, что он не нарочно, как повезли несчастного Виктора Ефимовича в больницу, сколько было крови... Потом он подтвердил, что вины Гриши нет. После больницы Зима поставил пострадавшему десять бутылок коньяка и каждый год поил его, если они попадали в один сезон. Виктору Ефимовичу сделали стеклянный глаз, и когда он теперь, бывало, делал досадные промахи, ему говорили:

— Да, Витя, был у тебя глаз-алмаз, а теперь одно слово — стекляшка.

— Треклятый Гришка, — ворчал Шлепанный, — хоть бы ему кто-нибудь что-нибудь выколол, или откусил еще лучше.

— Все потому, что я слов на ветер не бросаю, — гордо наглел Зима. — Сказал: «Выколю!» — и выколол.

Он не боялся наглеть потому, что Виктор Ефимович все равно не откажется пить за его счет.

— Зато я теперь в отпуск еду — на выпивку денег не беру.

Зима всегда любил играть кием под иомером 6. Это один из самых длинных киев, у него массивное тяжелое цевье, но легкий и тонкий кончик.

— Этим, что ль, ты кием Виктору глаз выколол? — бывало, спросят Гришу, опасливо поглядывая, не наткнуться бы часом тоже.

Среди тяжеловесных киев выделялись двенадцатый, очень толстый, но легкий — некоторым нравится такими играть, — и одиннадцатый. Вот это дубина так дубина. Этим кием любил играть Василий Христофорович Васильев, который работал в Министерстве культуры шофером и получал путевки в пансионат «Восторг» на правах участника войны. Однажды он ударил этим кием Костю Жукова со всей силы по башке и кий не сломался. Василий Христофорович сам по себе ростом невысоконький, но любил кии длинные и тяжелые. Когда он играл, то походил на клубок ниток, который насадили на вязальную спицу. А Жукова как же не стукнуть по башке? Бивали, и не раз, его. Такая балаболка! Даром что носил знаменитую фамилию.

Самый длинный кий — девятка. Им всегда пользовался Бубуладзе. Но Бубуладзе сам выше двух метров росту, даже выше своего любимого кия. Бубуладзе из стали и сплавов сделан, ему все равно, балабонит ему под руку Костя Жукоа или иет, а Василий Христофороаич нервничает и может дать по голове кием.

Самый прославленный кий — двойка. Он тонок, изящен и, казалось бы, должен, как и номер один, сломаться при легком прикосновении к шару, но нет, он крепок и несгибаем. Славу ему принесла игра между Володей Цыганочкиным и Бубуладзе в 1986 году. Володя Цыганочкин — игрок среднего класса и по шкале Кутузова занимал не то тринадцатое, не то семнадцатое место, но в тот вечер при стечении зрителей, разбив пирамиду, закатил сразу два шара, потом в середину шар, потом в противоположную середину два шара — один в другой, потом в угол услал блистательного дальнего, потом свояка в другой угол, все ахнули, руки у Цыганочкина задрожали, он прицелился и почти проплакал:

— Не могу бить, братцы, не забью!

А шар, между прочим, стоял в самой лузе и из всех только что забитых семи был самый легкий. Гиблый шар, одним словом.

— Дай поиграть, э! — тихо попросил зеленый от ужаса Бубуладзе.

Володя ударил, мазанул, шар, слегка задетый, так и остался стоять над пропастью лузы, но свояк, описав какую-то греховодную кривую, встретился у другой лузы с шаром номер тринадцать, сговорился с ним, упал и затрепетал в сетке. Восемь шаров подряд! Такого ие бывало в пансионате «Восторг» никогда. Цыганочкин выиграл у Бубуладзе, занимающего, между прочим, в табели о рангах у Кутузова второе место, и выиграл, даже не позволив своему сопернику ни разу ударить.

— Этого не бывает, — сказал Бубуладзе. — Ты этот кий заколдовал, признайся.

— Это точно, — добавил Харитонов, явившийся одним из свидетелей чуда. — Он его, поди, своей какашкой намазал.

Слово вмиг сделалось крылатым, оно даже получило развитие в отношении шаров и даже луз. Однажды, играя с тем же Цыганочкиным, известнейший деятель культуры Игорь Беседин почти каждый свой шар загонял в одну и ту же срединную лузу, и Цыганочкин шутнул:

— Ты эту лузу, видать, заговорил, Игорь Сергеевич. Видать, ты туда свою сушеную какашку бросил.

Кий номер два пользовался огромным уважением, еще бы, восемь шаров подряд закатил. Но далеко не все стремились им играть, боялись, скажут: «Ну, этим кием и дурак сыграет! Это который волшебной какашкой смазан». И еще каждому хотелось прославить свой кий, присвоить ему свое имя. Ивисту Алексеевичу Жульянову удалось прославить кий номер семь, хотя и не в такой степени, как Цыганочкину — двойку. К Жульянову часто приставали по поводу его необычного имени, мол, откуда такое и что означает. Поначалу он попробовал сойти за француза — будто бы отец у него был француз, и дед, и прадед, и все предки французской национальности, и правильнее, мол, не Жульянов, а Жюльенов, поскольку прадед носил фамилию де Жюльен. Ивист Алексеевич также хвастался, что для него французский — второй язык и даже роднее русского, но недолго он пользовался тем, что советские деятели культуры все как один не владели иностранными языками, разве что «ду ю спик инглиш?» — «йес, оф кос» — «сит даун плиз» — «ай лав ю» — «гуд лак» — «хау ду ю ду» — «маны-маны-маны оу йе!» Но это «инглиш». С «франсе» гораздо хуже. Однако и на старуху бывает проруха. Как-то в «Восторг» на две недели приехали самые настоящие французы с самыми настоящими француженками, и некоторым отдыхающим дамам, а в особенности некоторым отдыхающим мужчинам сразу остро захотелось любви. Зиме и Цыганочкину удалось как-то познакомиться на пляже с Ирэн и Жаклин; чем они их приворожили, трудно вообразить. Общаться через переводчика им не нравилось, и они повели парижанок к Ивисту де Жюльену. Тот поначалу как-то хмуро стал ссылаться на занятость, но куда деваться, какая такая на отдыхе занятость? Он попробовал было как-то с Ирэн и Жаклин объясниться, да сразу стало ясно, что он ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Да вдобавок потом уже, через переводчика, Зима и Цыганочкин узнали, что у французов нет такого красивого имени — Ивист, хотя красивых имен много, например, Амбруаз или Жан-Батист.

Разоблаченный Ивист Алексеевич после краснел от издевок и говорил:

— Да ладно вам, пустосмехи! Уж и пошутить нельзя.

— А так все же, что за имя у тебя? Что за Ивист?

— Ну, Ивист он Ивист и есть, — вздыхал бедняга. — Ивист ясный сокол. Нормальное русское имя.

— То Финист, а не Ивист, ты нам мозги не компостируй.

— И Ивист есть.

— Что-то не встречается нигде Ивистов, кроме тебя. Что же, и в святцах есть такое русское имя?

— А тебе прям давай-подавай святцы! Скажите, какой орижинель! (Даже у разоблаченного Ивиста Алексеевича еще долго то и дело прорывалось «французское происхождение»).

— А как же без святцев? В них все русские имена состоят на учете.

— Во-первых, далеко не все. А во-вторых, есть и в святцах Ивисты, даже много, — снова врал Жульянов.

И снова его разоблачили, нашли святцы, то есть обычный Православный церковный календарь, он у одной отдыхающей оказался, а в нем — перечень русских православных имен, где никакими Ивистами и не пахло. Тогда Василий Христофорович поднял вопрос, а крещеный ли Ивист.

— Крещеный, — отвечал Жульянов.

— Каким же именем?

— Таким, какое и есть, Ивистом.

— Врешь, так не может быть. Никакой поп так не окрестит.

— Попы тоже разные бывают, — вставлял а защиту Жульянова Харитонов. — У меня одна дура знакомая ребенка Гамлетом назвала, и ничего, окрестили младенца Гамлетом.

— Хорошо хоть не Мефистофелем!

— Небось, по блату крестили.

— А! Нет, мужики! Наврал я! Наоборот, не стал крестить поп. Та говорит: «Хочу, чтобы был Гамлет!», а поп ни в какую. Так и остался Гамлет некрещеным.

— Вот видите, я не виноват, что попы жулики бывают повсеместно, — хватался за уже утонувшую соломинку Жульянов. — Вон, Рабинзонсон тоже, поди, некрещеный, а в бильярд лучше всех играет.

— Ему и не положено крещеным быть.

— И вовсе он не лучше всех!

— И евреи есть крещеные, даже в огромном количестве.

— Вот пусть евреи и крестятся, — внезапно рассердился Ивист Алексеевич. — У них и Иисус Христос еврей был. А я зато русским был, есть и остаюсь!

Играл Жульянов не очень хорошо, примерно на уровне Цыганочкина, а разгадал тайну его имени не кто иной, как сам маркер Кутузов. Одиажды он сидел, смотрел, как в поздневечернем бильярдном зале катают сибирку Харитонов и какой-то его заезжий приятель, и вдруг ни с того ни с сего его осенило внезапное прозрение. Он даже сам удивился и оттого воскликнул:

— Дмитрий Иваныч! А ведь Ивист-то знаете, что такое?

— Подожди, счас свояка положу... Ах, не пошел! Все ты под руку со своим Ивистом. Так что ты хотел сказать?

— Ивист-то ведь!.. Это же — Иосиф Виссарионоаич Сталин!

— Что за чушь? Какой такой Сталин?

— Сокращенно. Иосиф Виссарионович Сталин. И-Ви-Ст.

— Стоп-стоп! А ведь точно! Смотри-ка! А кто тебе сказал?

— Сам догадался. Вдруг, ни с того ни с сего — и догадался. Есть же такие имена. Марлен, например, — Маркс-Ленин. Владлен туда же. Еще эта... как ее?.. Дазмира! Да здравствует мировая революция.

— Ишь ты! А ведь я его кием играю. Семеркой. Смотри, Миш, — обратился Харитонов к приятелю, — вот этим кием играл сам Иосиф Виссарионович.

С тех пор и пошло называть кий под номером семь сталинским. Вот как неожиданно прославил длинную, средней тяжелости семерку Ивист Жульянов. Жаль только, что после этого, последнего, разоблачения он почему-то не приезжал больше в «Восторг», а то ведь сколько острот заготовили к его приезду завсегдатаи клуба любителей шара и лузы.

— Ивист — ясный сталинский сокол, — придумал Зима.

— Приедет, я ему скажу: «Иосиф Виссарионович, не хотите ли с маршалом Жуковым сыграть партеечку?» — предвкушал Костя Жуков.

Но Жульянов так и не приехал и, возможно даже, так до сих пор и не знает, что означает его редкое, изящное имя. А может, знает, ему ведь родители-то наверняка поведали сию страшную тайну.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

а которой описываются последствия употребления некоторых напитков

Как уже было сказано, маркер Кутузов относился к игре на бильярде как к священнодействию и не разрешал играть пьяным. Но куда деваться? Пили отдыхающие много, а уж когда началась открытая борьба с зеленым гадом, стали употреблять напитки в три раза больше. Сказалось это и на Гекторе Ивановиче. Так сказать, не миновала его чаша сия. Но все равно играл он только втрезвую и пьяных по-прежнему гонял. Однако случалось, выпив лишнего, он засыпал в своей каморке и тогда кое-кто позволял себе прийти среди ночи и лупить по шарам нетрезво вихляющей рукой.

Драматург Морфоломеев однажды уснул на столе — долго целился по шару, долго подползал к нему на брюхе, потом затих.

— Уснул, что ли? — спрашивают. Подошли, а он и впрямь уже посапывает. Потом он рассказывал, что ему приснилось, будто на краю лузы голая женщина сидит, а он в нее шарами лупит и все никак попасть не может.

Но это еще невинный случай. Бывало и похуже. Зима играл с деятелем культуры Усырко, вдруг заваливается очень пьяный Василий Христофорович и требует немедленно прекратить игру, потому что он сейчас будет играть. Пытались не обращать на него внимания, так он стал ругаться, сгребать шары в одну кучу и искать в карманах удостоверение участника войны. Что же делать, поставили пирамиду, установили шар на точку — разбивай, Василий Христофорович. А пока он вытаскивал из шкафа свой кий, Зима взял да и поставил вместо шара на точке пустой стакан. Для смеха Василий Христофорович взял кий, с пьяной важностью подошел к позиции, прицелился по стакану — ну, думали, шутку поддерживает — и как даст со всей силы! Стакан влетел в пирамиду и — вдребезги. Василий Христофороаич ужаснулся и, не понимая, в чем дело, стал покачиваться, чуть не упал, хотел опереться рукой о борт, да угодил рукой в лузу и провалился в нее по локоть, прорвав сетку. Звон, треск, грохот, мат! Стали его вытаскивать из лузы, а он матерится и свободной рукой спасателей по головам лупит кием. Эту сцену и застал проснувшийся, малость протрезвевший Кутузов. Гнев его был неописуем:

— Вон отсюда! — стал кричать он на Гришу. — Чтоб ноги твоей!.. Чтоб духу твоего!.. Одному глаз выколол, другому руку отрываешь! Откуда осколки стекла?

Наутро Василий Христофорович помнил только, что он играл с какими-то незнакомыми людьми на бильярде и много выиграл денег, а они его за это били стаканами по голове и выламывали руки, гады, фашисты проклятые.

А Зиме маркер приказал на выстрел не подходить к бильярдному залу. Но Гриша принес Гектору Ивановичу красивую фотографию из иностранного журнала — два представительных джентльмена играют в карамболь. Гектор Иванович повесил ее рядом с объяснением правил карамболи и простил Гришу, а вскоре после того Зима выиграл в русскую пирамиду знаменитый матч с Рабинзонсоном и позолотил четырнадцатый шар.

Однажды и не на шутку подрались двое пьяных — Резников и Бычков. Они до этого всегда парой ходили играть, ни с кем другим не играли и все время спорили друг с другом, «Огонек» или «Молодая гвардия», находя в этих нескончаемых спорах неведомое другим наслаждение. Но ничем хорошим эти споры все равно кончиться не могли, и однажды Бычков задел рукавом шар и не заметил, а Резников молча взял и снял с полочки соперника штраф. Тот:

— Не понял! Ты чо делаешь!

Слово за слово, мат-перемат, пустым стаканом в голову, стакан мимо, да в окно, да там в кого-то из прохожих отдыхающих попал, а тот тоже с пьянством борется и стал в окно бильярдной комья земли швырять. Страшная картина вновь предстала глазам проснувшегося Кутузова — двое по полу катаются и друг друга душат, на полу кий сломанный, а в окно комья земли летят. Бедный Гектор Иванович! Возможно, уже тогда вкрался в его доброе, теплое сердце червь сомнения в незыблемости своего существования, в неприкосновенности мира, созданного по гениальным правилам бильярдной гармонии. Но все же тогда он еще крепко верил в порядок, он восстановил поломки, наказал нарушителей, склеил кий и некоторое время с разрешения директора пансионата позволял играть только избранным любителям шара и лузы, записывая их результаты в потайную книгу чемпионатов мира.

ГЛАВА ПЯТАЯ,
в которой происходит смена персонажей, столь пагубная для маркера Кутузова

Ничто не вечно в этом мире, и судьба нашего героя призвана стать очередной иллюстрацией к этому старинному утверждению.

С некоторых пор контингент отдыхающих в пансионате «Восторг» стал заметно меняться. Все меньше приезжало прежних, добровидных людей застойного времени, крупных начальников культуры, заслуженных деятелей, благодаря которым народ знал, что культура столь же безгранична, авторитетна и полезна, как космос и космические исследования, как влияние приливов и отливов, как мощь вооруженных сил и святость государственных границ, как дружба народов, борющихся за еще большее улучшение своего благосостояния. Все больше стало появляться молодчиков, одетых в кооперативные вещи, пахнущих импортным одеколоном, сыто-мускулистых. Они косо поглядывали на прежних представителей культуры, как на стадо, которое можно пожрать, но только не сегодня, а завтра, когда вновь появится здоровое чувство в желудке — эдакий бодрящий голодок. Многие из них недурно играли в бильярд, не без лихости, но скорее удачливо, нежели мастерски. Маркер Кутузоа с неприязнью поглядывал, как они нагло забивают шары, которые можно было бы высоко оценить, забей их Дмитрий Иванович Харитонов или Игорь Борисович Беседин. К тому же по требованию директора пансионата за пользование бильярдом отныне взималась плата — три рубля в час, и если некоторые из бывших покряхтывали, расставаясь со своими трояками, то новые швыряли маркеру Кутузову пятерки и даже червонцы и подолгу не соглашались брать сдачу. Для них это были не деньги, но и Гектору Ивановичу не надобно было их денег. Однажды молодчики порвали сукно, и вот тогда уже маркер Кутузов с удовольствием содрал с них штраф. И выдал квитанцию, подписанную директором пансионата, товарищем Шапиро.

Новые люди играли либо молча, либо говорили какую-нибудь несуразицу, типа: «Тейбл неровный, кажется», или: «Хреновые кии, я у Дикона видел стейтсовые, вот это финиш». Один из них сказал такое, что у Гектора Ивановича лицо вспыхнуло от обиды и огорчения, захотелось ответить что-нибудь столь же обидное.

— Шары однообразные, сплошной совок, на Западе уже давно разноцветными шарами играют, — вот что было сказано неким красивым молодчиком, хорошо подстриженным, обутым в умопомрачительные кроссовки. Горячая, болезненная мысль зашевелилась в мозгу у Кутузова: чем же лучше разноцветные шары? от них рябит в глазах, да и вообще они только для игры в снукер... Разве можно было объяснить этим кооперативным болванчикам, как красиво зеленое поле, усыпанное крупными звездами одинаковых шаров? На небе ведь тоже все звезды одинаковые, а такому дураку, глядишь, тоже подумается: совок, однообразие, не могли разноцветные звезды обеспечить. Хотел было Гектор Иванович эту мысль про звездное небо выразить, да уж больно долго она шла к нему, молодчики уж давно про что-то другое толковали.

Бывшие завсегдатаи клуба любителей шара и лузы с новыми играли редко, играли снисходительно и чаще проигрывали, всем своим видом показывая, что не хотят серьезно связываться — пусть, мол, молодые дельцы потешатся. Но бывших становилось все меньше и меньше. Ударом, непоправимым ударом в самое сердце Кутузова пришло сообщение о том, что Дмитрий Иванович Харитонов больше не работает в министерстве, что на него даже заведено какое-то уголовное дело, а главное, что он уже никогда ие приедет в пансионат «Восторг». Какое же может быть уголовное дело? — недоумевал Кутузов. Он знал, что Харитонов — большой начальник в области культуры Российской Федерации, что за это он пользовался заслуженными благами; и с горечью Гектор Иванович думал о Харитонове как о иевинно пострадавшем, а оттого еще больше ненавидел этих воображалистых проныр, которым все не так, все ие эдак — стол неровный, кии плохие, шары иеразноцветные. Между прочим, ровнее стола ни в одной вашей Америке не сыскать! И про кии брехня. А про шары и говорить нечего, особенно про слоновую кость.

Тяжким шаром повисло в лузе кутузовского сердца сообщение о печальной судьбе Дмитрия Ивановича. А тут еще хуже известие — погиб от рук экстремистов Кумар Рушниевич Джологуа. Редели ряды, новое время с корнем вырывало деревья из некогда шумевшей рощи.

Еще раздражало то, что при молодчиках часто захаживали в бильярдный зал Кутузова девицы. Красивые, стервы, манящие. В ранней молодости Гектор Иванович был женат, но неудачно. Жена ушла к другому. Это еще до того, как он поселился в пансионате «Восторг» и зажил здесь чудесной тихой жизнью. С тех пор у него не было женщин, и это мучало, но несильно. И вот теперь раз за разом Кутузов стал все больше обращать внимание на девиц, заглядывающих посмотреть, как играют их молодчики. Девицы старались вести себя по-американски развязно, подчеркнуто изображая отсутствие в себе комплексов. Иногда они пробовали стукать по шарам под руководством своих кавалеров, и Кутузов милостиво дозволял им это, хотя и побаивался, что порвут сукно. По ночам он стал мечтать о том, как какая-нибудь красотка, не очень развязная, поскромней, придет к нему, и он будет учить ее играть в бильярд, а потом она захочет, чтобы он поцеловал ее и повел в свою каморку. А там, быть может, со временем, он откроет ей свою потайную, заветную жизнь...

Однажды ярким солнечным утром, когда все после завтрака спешат поскорее на пляж, Кутузов наводил порядок в бильярдном зале, стирал с сукна щеточкой следы мела, как вдруг дверь отворилась и вошла красивая девушка. Она поздоровалась и стала разглядывать бильярдную с видом посетительницы музея, надолго задержалась перед учебным стендом и спросила:

— Это все вы написали?

— Да, — ответил Гектор Иванович, — я.

— А это вы маркер Кутузов Гэ И?

— Да, я.

— У вас тут первоклассно. А икебану кто делал?

— Тоже я.

— Талантливо.

Продолжая вежливо все осматривать, она подошла к столу, погладила ладонью сукно борта.

— Какой ои нежный.

— Старинный стол, — польщенно заметил Гектор Иванович. — Вон, взгляните.

— Да, верно. Надо же! Фабрика Шульца, восемьсот восемьдесят шестой год, с ума сойти! Откуда здесь такая древность? Наверное, сейчас такой стол стоит безумные деньги. Это, значит, ваша вотчина?

— Хм, — смущенно улыбнулся Кутузов. Девушка продолжила осмотр достопримечательностей, дошла до смешных надписей. Гектору Ивановичу почему-то вдруг стало неловко за свое, может быть, кондовое остроумие. Она улыбнулась, оценив объявление о дополнительных услугах маркера, потом спросила про магическое заклинание:

— А это вы откуда взяли? Хаэре ия оэ лузузузу...

— Из космоса сигнал получил, — нашелся что ответить маркер.

— Помогает?

— Конечно, помогает. Только почему-то никто не пользуется.

— А можно, я попробую?

Вот оно! Сбывается! Неужели?! — вспыхнуло в душе Гектора Ивановича предчувствие, которое он боялся спугнуть. Но уж кому-кому, как не завзятому бильярдисту знать, что такое предчувствие, когда самый трудный шар, бывает, посылаешь и как будто бы уже заранее знаешь, что он войдет. Или наоборот, когда бьешь по, считай, погибшему шару, а в последний миг что-то будто толкнет под локоть — мимо! — и так и есть, мимо.

Поставили на стол два шара. Кутузоа протянул девушке легкий кий под номером два.

— Возьмите этот кий, — отрекомендовал он знаменитость, — он волшебный. Как-то раз им были забиты подряд восемь шаров.

— А десять подряд можно забить? — спросила девушка.

— Нельзя. После того, как кем-то из игроков забиты восемь шаров, оканчивается партия.

— Понятно. Как бить?

— Бейте вот этим шаром по этому. Не очень сильно. Они хорошо стоят.

— Вот так, да?

— Да.

— Так, сейчас я промолвлю заклинание, — девушка подошла к листку с заклинанием и громко прочитала: — Еу хаэре ия оэ лузузалузам алулуэи мамаду хари кришна муалалумамба шайтан ай сабак.

Пока она медленно произносила заклинание, Кутузов подвинул чужой шар еще ближе к лузе. Ему хотелось, чтобы она непременно попала. Девушка резко обернулась, решительно приблизилась к столу и нанесла удар. Шар закатился точно в лузу.

— Ура! — воскликнула девушка. — Помогло! Ну это просто чудо! Я ни разу а жизни не играла и сразу забила!

— Удар был исполнен мастерски, — ликуя, отметил Гектор Иванович, извлекая забитый шар из лузы.

— А теперь вы. Покажите что-нибудь первоклассное, — попросила девушка азартно. Глаза ее прелестно горели.

Маркер Кутузов поставил шар на третью точку, биток — на вторую, собрал в комок силу воли и ударил, но шары глупо заходили по столу. Он промазал!

— Эх, надо было заклинание! — сказала девушка.

— Момент! — разозлясь на себя, прохрипел Кутузов, поставил шары в ту же позицию, что-то оторвал внутри себя и ударил. Шары послушно разошлись надвое, и чужой влетел в левую лузу, а свояк — в правую. Девушка захлопала в ладоши.

— Ах, как хорошо! — сказала она. — Прямо самой захотелось так распластаться на столе — одной рукой туда, другой — сюда.

И она провела ладонями по мягкому бильярдному сукну так, что лодочки ее ладоней устремились вперед, отдаляясь друг от друга — одна вправо, другая влево.

В этот миг внезапно зародившееся счастье Гектора Ивановича прервалось. Открылась дверь, вошел высокий и красивый молодой человек и сказал:

— Вот ты где, оказывается.

Девушка еще пыталась показывать молодому человеку достопримечательности бильярдного зала — а икебана! а смотри, какая под запорожцами смешная надпись! — и вот уже их нет, ни его, ни ее, и Гектор Иванович еще долго стоял, прислонившись

к борту стола, глядя на закрывшуюся дверь в другой мир, чуждый, но манящий.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,
в которой описывается поединок Гектора с Ахиллом

Но визит не остался бесследным; закралось в душу маркера Кутузова нехорошее, ненужное чувство, будто бильярдный зал, который он так холил и любил, где прошли его лучшие годы, — тюрьма, из которой ему никогда не выбраться на волю. *Как* чудесно было то счастье, что мелькнуло внезапно и так же внезапно растаяло. *Звезда* вспыхнула и тотчас закатилась; Гектор Иванович ходил днем на пляж, стремясь увидеть хотя бы отсвет звезды, но ни девушки, ни похитителя там не оказалось, а нужно было вновь идти в бильярдную и следить, чтобы все там было в порядке; первые посетители пришли вечером, хорошие игроки, но маркеру Кутузову было не до них, он то и дело подходил к раскрытому настежь окну и выглядывал наружу. *Меж* тем спустилась нежная южная ночь, полная упоительных запахов, проснувшихся после жаркого дня. *Звездами* усыпанное небо смотрело на Гектора Ивановича из-за кипарисов, навевая грустные мысли и волнующие, беспокойные предчувствия. *В сумраке* двигались фигуры прохожих, в которых Гектор Иванович старался угадать сегодняшнюю беглянку, но ее не было среди них; нет, не было.

Ночи напролет маркер Кутузов проводил в придуманном мире бильярда и не замечал этого волнующего разнообразия теней, огоньков, силуэтов, запахов, дуновений ветра, шорохов и шептаний, отдаленного шума прибоя, ласкающего берег, мерцания небесных светил.

Сияет! — думал Гектор Иванович, глядя на небо, удивляясь, что оно черное, а сияет все целиком, хотя черноты больше, чем сверкающих звезд, и пытался вспоминать названия светил — Венера, Марс, Большая Медведица, Южный Крест, Млечный Путь, Андромеда, знаки Зодиака, еще десяток звезд набиралось, а больше он и не знал. *Геспер* еще какой-то есть. *Который* там из них Геспер, а кто Альтаир, поди разберись. *На небе* все глубже, таинственнее и страшнее, чем на бильярдном столе, и Кутузов в досаде возвращался в мир бильярда, смотрел, как то изящно и плавно, то с бестолковой суетливостью двигаются по зеленому сукну шары, и гибельное сравнение терзало его душу. *Прекраснее* ли небо, где все так многообразно, избыточно и чересчур блистательно, прекраснее ли оно этого мира шаров и луз, где все гораздо проще, схематичнее, но ближе, сподручнее?

Всех дольше играла пара новеньких отдыхающих, никогда не приезжавших раньше в «Восторг», — видимо, раньше они служили по другому ведомству и давно не играли, не могли насытиться игрой; но, наконец, и они угомонились, стрелки на часах показывали половину двенадцатого, бильярдный зал Кутузова опустел.

И вдруг пришел он, похититель, укравший у Кутузова девушку его мечты, но Кутузов не разозлился, увидев своего врага и соперника, а, напротив того, растерялся и даже обрадовался его приходу, не зная и не желая знать, что сей приход ему сулит.

— *Светлее*, чем везде, — сказал похититель, войдя и осматриваясь. — *Так*, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми шарами? — произнес он дальше и задорно прошелся по залу, взял кий под номером семь, уже известный нам под именем сталинского, повертел его и, видимо, счел его тем, что нужно. — *У* вас тут чисто и светло, уютненько, — сказал он и улыбнулся Кутузову, пытаясь привлечь его на свою сторону.

Героя нашей повести немножко покоробило, когда он заметил, что пришелец довольно пьяноват, но ему не хотелось отпускать его, тем более что тот спросил, нельзя ли сыграть партейку-другую, и маркер Кутузов скрепя сердце согласился играть с нетрезвым игроком. *Сверкало* в центре свежеустановленной пирамиды позолоченное число четырнадцать, чуть облупившееся, но не утратившее своей красоты. *Копье* седьмого кия нацелилось на биток, чуть помедлило, нанесло удар — началась партия, обычная американка, каких сыграно было в этой бильярдной тьмы и тьмы.

Изощренное мастерство Кутузова поначалу куда-то исчезло, уступив место вежливости, которую Кутузов, как обойденный вниманием судьбы, оказывал счастливчику. *Коим* образом тому удавалось забивать шары, объяснить трудно — соперник Кутузова едва стоял на ногах и с еще большим трудом бил по шарам; но было некое озорство, которое, как знает всякий бильярдист, может некоторое время удерживать бильярдного дилетанта на плаву. *В* конце первой партии сопернику маркера удалось довести счет до семи против пяти, он торжественно напевал что-то, но тут хладнокровие все увереннее стало возвращаться к Гектору Ивановичу, и он очень точно положил в дальнюю лузу позолоченный четырнадцатый шар. *Правой* рукой твердо сжимая кий, он завел его за спину, потому что только так можно было закатить неудобно стоящего свояка, и из-за спины послал шар в лузу, сравняв счет. *Руке* Гектора Ивановича сделалось как-то особенно тепло и приятно, к ней прилило вдохновение, как всегда бывает, когда возвращается уверенность в своих силах, но следующий шар он не смог забить. *Потрясал*, заводясь, кием Ивиста Жульянова соперник и, промурлыкав что-то типа «мы тоже кое-что могем», как ни странно, закончил партию довольно сносно забитым свояком.

Он искренне обрадовался своей победе над Гектором Ивановичем и сразу предложил играть еще одну партию, но уже на бутылку коньяка. *На* бутылку так на бутылку, Кутузов согласился и стал устанавливать новую пирамиду, покуда противник закуривал, продолжая что-то напевать. *Гектора* Ивановича нисколько не смутило предложение играть на интерес, он даже готов был проиграть несколько партий, а потом ловко отыграть все проигранное, а может, даже оставить ему в утешение одну недоотыгранную бутылку. *Жизнь* приучила Кутузова смотреть на соперников не как на объект добывания денег, а как на множество интересных человеческих личностей, а также смотреть на матерьяльный интерес в игре не как на самоцель, а лишь как на средство продлить общение с человеческой личностью.

Умышляя быстрей и решительней выиграть вторую партию, гость сильным ударом разбил пирамиду, и ему повезло — один шар сам собою закатился в угловую лузу. *Места* вокруг стола было достаточно, но противник зачем-то резко надвинулся боком на Гектора Ивановича, выбирая шар для следующего удара, и наступил маркеру на ногу, а вместо извинения пропел, прицеливаясь:

— *На теле прекрасном* твоем ожерелья и бусы...

Ища, куда бить, он явно не сомневался, что без труда свалит еще один шар, а то и сразу несколько, но, ударив, промахнулся и изумленно хмыкнул. *Для* Кутузова на столе осталось сразу три удачно вставших шара. *Верных* три удара — и обреченные шары затрепетали в лузах.

— *Ударов* вам не занимать, — снисходительно пробурчал соперник и, когда до него дошла очередь, пропел вторую строку песни:

— *Но* в сердце холодном твоем царит пустота...

У него случился кикс, и шар прокатился несколько сантиметров, никого не задев, пришлось выставлять на стол единственный забитый. *Героя* нашей повести охватила торжественная уверенность в своих силах. *Все* его существо закипело в предвкушении блестящей победы. *Тело* превратилось в мощное, пружинистое и точное орудие для забивания шаров, и он быстро забил еще три шара, оставляя соперника в состоянии легкого шока.

— *Доспех* мой обильно украшен, а волосы русы... — пел бедняга и снова промахивался, и лишь в конце партии ему удалось забить шар престижа и проиграть со счетом восемь — один. *Покрывал* уже его лоб тонкий слой холодного пота, и Гектор Иванович с удовлетворением это обстоятельство отметил. *Медноковный* ярлык фабрики Шульца несколько минут занимал воображение гостя, помогая ему немного остынуть и прийти в себя; затем гость решительно предложил играть третью партию, причем подчеркнул — дабы выявить, кто же все-таки играет лучше.

Пышный — вот эпитет, достойный того удара, коим Гектор Иванович разбил пирамиду. *Который* уж год он играл в бильярд, но ни разу в жизни не было так, чтобы сразу три шара закатились после первого удара, и Кутузов не выдержал и победоносно посмотрел в лицо соперника. *Похитил* мою девушку-мечту, так получи ж за это! *Он* и четвертый шар положил, и тогда только дал поиграть гостю. *Мощь* Гектора Ивановича сбила с того большую часть спеси, бедняга стал тужиться, пыжиться, очень стараться. *Одолевши* с большим трудом два поставленных в самую лузу шарика, он уступил в третьей партии восемь — два. *Патрокла* убивший Гектор Приамович не знал великодушия и милости к побежденным, в отличие от своего тезки, Гектора Ивановича Кутузова, который тотчас по окончании партии предложил на сем остановиться, а про проигранные две бутылки коньяка забыть, но гость нахмурился:

— *Там*, где я вырос и возмужал, такие вещи не позволяются, — изрек он грозно, после чего приказным тоном заявил, что сейчас состоится еще одна партия, в которой ставкой будет уже не одна, а сразу три бутылки коньяка.

Лишь пять минут длилась эта головокружительная партия. *Где* бы ни стоял шар, Гектор Иванович умудрялся ловко подцепить его и препроводить куда надо, а сопернику в этой партии не удалось забить ни одного шара. *Выю* склонивши, смотрел он горестно, как Кутузов забивает изящные дуплеты, а сам полностью утратил бильярдоспособность, скис, насупился и засопел, у него не получались никакие удары, он киксовал, не попадал вообще никуда, и после промахов ему нечего было выставлять на стол — его полочка была пуста. *Ключи* выпали у него из кармана — он даже не заметил, пока сам не наступил на них. *С* бедняги полностью схлынуло былое удальство. *Раменами* могучими поигрывавший поначалу, он теперь повесил плечи.

— *Связуют* нас невидимые узы... — продолжал он все еще напевать длинную и нелепую, оснащенную блатным мотивишкой, песню о прекрасной девушке с холодным сердцем и благородном рыцаре, добивающемся от нее ответного чувства. *Гортани* его явно не хватало нескольких глотков коньяка, чтобы хоть немного вернуть певческую силу. *Часть* песни вообще утонула в мычании, а последние слова совпали с последним шаром, забитым Кутузовым:

— *Обнажалася* ты пред другим!

— *Место* наше возле параши, — заявил гость, видимо, под влиянием блатного мотивчика песни; затем пронзительным взглядом посмотрел на победителя и спросил: — *Где* будем завтра пить коньяк?

Гибель, неотвратимая, страшная, нелепая, вдруг разверзлась перед Кутузовым в этом пронизывающем взгляде врага. *Душе* стало томно, душа затосковала в четком бильярдистском предчувствии, что шар, пущенный соперником наугад, провалится в бездну и гибель его неизбежна. *Неизбежна*! *Там*, высоко в звездном небе, уже извлекли из лузы шар Гектора Ивановича Кутузова и, назвав его имя, отчество, фамилию и номинал, поставили на нужную полочку, а здесь, на земле, в бильярдном зале Министерства культуры Российской Федерации, маркер Кутузов еще лепетал, что можно будет посидеть и выпить коньяку после одиннадцати вечера здесь же, в бильярдной, или в его каморке, и обиженно ворчал, когда гость спросил, нарочно ли Гектор Иванович продул первую партию, дабы заманить дилетанта и обчистить в пух и прах. *Налетевши* на вконец разобидевшегося Кутузова, враг стал пожимать ему руку и говорить, что так и надо было проучить спесивца, артистично расчувствовался, узнав, что маркера зовут Гектор, и назвал свое имя, а также сообщил, что по профессии он дилер, а по совместительству спонсор. *Копьем* сталинского кия он бессмысленно тыкал в оставшиеся на столе шары, и тут Гектор Иванович совершил главную ошибку: он предложил врагу взять у него несколько уроков игры на бильярде, искренне обещая научить крутить винты и делать правильные подрезки. *Ахиллес* вновь смерил маркера Кутузова испепеляющим взглядом. *Поразил*, вновь, как в первый раз, до глубины сердца поразил Гектора Ивановича этот бездонный, гибельный взгляд гостя. *Приамида*, красу и радость Трои, сына Приама и Гекубы, мужа Андромахи, брата Париса Александра и деверя прекрасной Елены Аргивской, дилер и спонсор Толик из Комкомбанка обливал полным презрением.

Он ничего не ответил на предложение маркера, поставил кий к стене, взял свои сигареты и направился было к выходу, но на полпути оглянулся и надменно произнес:

— Хорошее умение играть на бильярде свидетельствует о дурно проведенной молодости.

И ушел.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
в которой описывается стремительное падение и гибель маркера Кутузова

Всю ночь маркер Кутузов думал, как поступить, если спонсор и дилер Толик и впрямь завтра принесет пять бутылок коньяка. «Пить или не пить, вот в чем вопрос», — шептал он иронично, ворочаясь с боку на бок. Образы ночи и девушки-мечты переплетались в его воспаленном сознании с образом пьяного, но грозного врага, проигравшего, но не побежденного.

Особенное мучение доставляла последняя фраза, брошенная не просто так, а с желанием вонзить смертоносное жало в самое беззащитное место. Он чувствовал, как эти облитые желчью слова застряли у него где-то в глотке, будто он проглотил их, а они сильно поранили гортань. Гектор Иванович горестно размышлял о своей жизни, о своей дурно проведенной молодости, которая действительно толкнула его на путь бильярдного мастерства. Что он видел в этой своей молодости? Нервозную жену, внушавшую ему постоянно, что он все делает не так, как надо, что он неудачник, что с такими, как он, женщины не живут. В конце концов она ушла от него, а он убежал от своей молодости в мир бильярдной гармонии. И вот теперь он мучительно переживал, что лучшие его годы прошли сначала в войнах с женою, потом в бильярдном забытьи. «Мне уже тридцать восемь лет!» — сжимая виски,

шептал он обычную в таких случаях фразу. Женщины произносят эти слова гораздо чаще, чем мужчины, но и мужчинам случается встретиться с осознанием сей горькой истины. И всегда, сколько бы лет ни вставлялось в заготовку — двадцать пять или пятьдесят девять, — людям неизменно кажется, что жизнь безвозвратно канула в никуда.

Еще он то и дело сетовал, что девушка-мечта не видела, как он лихо обыграл ее спонсора. Быть может, в душу к ней закралось бы сомнение — а тот ли человек владеет ею, и даже могло бы так случиться, что она сбежала бы от спонсора к маркеру.

Гектор Иванович не заметил, как его терзания перелились в тревожный и мутный сон. Ему снились компьютерные бильярды с разноцветными шарами, он пытается соглашаться с людьми, что это прогресс, но когда он начинает нажимать кнопки, то на экране почему-то гонят какую-то рекламу каких-то бирж и брокерских фирм вперемежку с голыми красивыми девушками, исполняющими всякие неприличные эротические жесты и телодвижения.

Проснулся маркер Кутузов позднее обычного, встал с постели разбитый, вялый и даже не пошел с утра купаться. Некоторое время он размышлял над тем, где лучше повесить портрет Брежнева, случайно доставшийся Гектору Ивановичу три дня назад со склада санатория Министерства обороны. Где повесить и какую остроумную подпись сделать. Брежнев с укоризной смотрел с портрета, а в голове маркера Кутузова не крутилось ничего остроумного, кроме «сиськи-масиськи» и «чувство глубокого морального удовлетворения». Так ничего и не придумав, он оставил портрет на столе в каморке.

Маркер Кутузов маялся, не находя себе места в жизни, но, как ни странно, время пожирало этот день стремительно быстро. Утром приходили играть какие-то два молокососа, в полдень бильярдный зал пустовал и маркер, сидя в кресле у окна, дремал и сквозь дрему слышал какие-то громкие слова: повсеместно, давление сил, приватизация, распадение структур, симптомы, кажущееся спокойствие, неуправляемость, пятнадцатый от борта в угол, крушение мировой системы, стаканов нет, и тому подобное. Время от времени он вставал с кресла и начинал что-то прибирать и подчищать, но быстро уставал и вновь возвращался в свою дрему. Он знал, что приди кто-нибудь из бывших любителей шара и лузы — Зима, Бубуладзе, Харитонов или даже Ивист Жульянов, — и все встанет с головы на ноги, мир снова наполнится смыслом и гармонией. Но сейчас в «Восторге» из бывших отдыхал один лишь Рабинзонсон, да и тот почему-то за две недели пребывания в пансионате ни разу так и не заглянул в бильярдный зал.

Как ни ожидал Гектор Иванович своих прежних завсегдатаев, в глубине души он чувствовал, что придут в конце концов не они, а придет дилер и спонсор Толик и случится нечто непоправимое.

Часов в пять, когда жара только-только начала слабнуть, Гектор Иванович стряхнул с себя пыльцу дремоты и увидел, что какой-то невысокий и худой черноватый человек катает в одиночестве шары.

— Ждете партнера? — попытался оживиться Кутузов.

— Да нет, — отвечал посетитель. — Может, вы со мной сыграете?

Маркер охотно согласился. Для начала стали играть простую американку. Игра пошла живо, партнер оказался хороший. После первой партии, которую Гектор Иванович с некоторым напряжением все же выиграл восемь — семь, стали играть сибирскую. И вот тут начались странности. Что-то неприятное исходило от посетителя, каким-то недобрым глазом следил он за игрой. «Ах ты, дьявол, привела нелегкая экстрасенса!» — в досаде думал Кутузов, чувствуя, как темный глаз соперника нацелен на его руку и как становится непослушной рука, в результате шар летит не туда, куда надо. Есть такая категория бильярдистов, умеющих взглядом внушать шару: «Не закатись!», «Стой!», «Подкатись еще поближе!», «Провались!». Одни не скрывают этого, другие наоборот — тайком колдуют, тяжелым глазом играют вместо кия.

Гектор Иванович, промахнувшись в очередной раз, взглянул на посетителя и перехватил в лице его лукавую усмешку. Вторую партию гость выиграл. Стали играть русскую пирамиду. Здесь еще хуже пошло дело. Рука совершенно перестала слушаться Гектора Ивановича, а соперник аккуратно забил сначала тринадцатый шар, потом туза, потом пятнашку, потом шестерку. Кутузов огорчился, и тут начались и вовсе странные вещи. Едва удалось Гектору Ивановичу закатить десятку и пятерку, как вдруг случилось так, что он вместо битка ударил четырнадцатым шаром по битку — никогда такого не бывало с ним. Пришлось пять очков списать, а пять приплюсовать противнику. Только Кутузов повалил девяточку, как вдруг гром среди ясного неба — и удар-то вроде не такой сильный был, а поди ж ты, не один и не два, а целых четыре шара со стола, как лягушки, спрыгнули и с грохотом поскакали, покатились по полу, а вместе с ними биток, значит, еще пять очков списывай, а пять — сопернику прибавляй.

— Ума не приложу, как такое произошло! — краснея, сетовал Гектор Иванович.

— Еще и не такое бывает, — ответил посетитель, и как бы в подтверждение его слов шары разбаловались еще пуще. Сделав очередной удар, Гектор Иванович не поверил глазам и ушам своим. Он отчетливо увидел, как три шара, сгрудившиеся в углу, сами собой суетливо зашевелились и, встретив подкатившегося к ним битка, стали энергично подталкивать его к лузе, пока не провалили. Мало того, при этом шары, совершая хулиганство, тихонько повизгивали и в их повизгивании можно даже было различить возгласы: «Вали его! в лузу его! в лузу!»

— Что произошло? — спросил Гектор Иванович, когда биток плюхнулся в лузу, а баловники замерли на своих местах.

— Вы удивительно ловко закатили свояка, — спокойно ответил соперник, — с вас еще пять очков списывается.

- «Бред какой-то!» - думал маркер Кутузов, ударяя в очередной раз и вновь не веря своим ушам и глазам. Биток, отскочив от шара, вдруг стал разгоняться, разгоняться, побежал, побежал и с тихонечким криком — «Расступись! расступись, халявы!» — закатился в дальнюю угловую лузу.

— Да вы, я гляжу, мастер на такие фокусы! — лукаво подмигивая Гектору Ивановичу, поиздевался соперник.

Он весело подошел к столу, вытащил биток из лузы, поставил его на точку, ударил, и два шара, задетые битком, принялись совершать по зеленому сукну стола невероятные круговые движения, пискляво приговаривая: «Раз-два-три! Раз-два-три! Раз-два-три!»

— Хоп! — пискнул двенадцатый и упал в одну среднюю лузу.

— Оп-ля! — взвизгнул одиннадцатый и провалился в другую среднюю.

— Партия! — объявил гость, отставляя кий в сторону. И вдруг все шары взлетели в воздух: и те, что были на столе, и те, что лежали на полочках, — и упали на пол, покатились по полу во все стороны...

— Кошмар! — Гектор Иванович вскочил с кресла, вырываясь из цепких оков сна. Несколько минут он растерянно переживал только что увиденное, и затем до его сознания дошло, что весь комплект желтых шаров рассыпан по полу. Он заглянул в средние лузы и достал из одной одиннадцатый шар,

из другой — двенадцатый. Не зная, что и думать, маркер Кутузов принялся складывать шары в их деревянный ковчежец, долго не мог найти биток, который закатился под диван. Подойдя к шкафу и открывая дверцу, Гектор Иванович уже чувствовал, как шары вновь забаловались в своем домишке, он слышал их повизгивания, но не мог различить слов. Из шкафа на Гектора Ивановича глянули два тяжелых недобрых глаза — чернявый пришелец сидел там, в шкафу, и лукаво улыбался маркеру Кутузову гнусной улыбкой.

И вновь Кутузов вскочил с кресла, стряхивая с себя жуткий сон. Но сон ли это был? Очень уж сильно было ощущение того, что посетитель с дурным глазом действительно играл с маркером в нехороший бильярд. А шкаф открыт. А около шкафа — ковчежец с желтым комплектом шаров. А вон из-под дивана один шар выкатился, посмотрел на Гектора Ивановича и шмыгнул, как крыса, обратно под диван. Гектор Иванович подошел, нагнулся, посмотрел. Нет, никто там, под диваном, не прячется, померещилось.

— Так-таки и померещилось? — раздался голос за спиной.

Кутузов обернулся. Пришелец сидел на бильярдном столе и ухмылялся.

— Решил вот сесть на борт и упасть за борт, — сказал он.

Гектор Иванович хотел что-нибудь промолвить, но не мог.

— Молчите уж, — сказал пришелец. Он сунул руку в карман пиджака, вытащил оттуда крошечную голую женщину и пустил ее гулять по зеленому сукну. Она резво побежала, потом стала кувыркаться и совершать неприличные телодвижения. — Гомуня, не увлекайся, — сказал ей хозяин строго, — а то опять долго не заснешь.

Он поймал микродамочку и сунул обратно в карман.

— Не волнуйтесь, — сказал он Кутузову, — придет.

После этого пришелец взглянул на часы, вздохнул и, спрыгнув с борта стола, попрощался и ушел.

Маркер Кутузов сел в кресло, зевнул и не мог понять, то ли он только что проснулся, то ли вовсе не спал. Часы показывали восемь часов. Чтобы как-то отвлечься, Кутузов сыграл сам с собою несколько партий придуманного чемпионата мира. Родионов выиграл у аргентинца Каброля, Котов внезапно проиграл молодому бильярдисту из Швейцарии Брауншвицу, а Брюз не смог одолеть финна Ойтокайнена.

Ощущение того, что странный посетитель не приснился, а действительно приходил и вытворял свои безобразия, не покидало Гектора Ивановича, а наоборот, все больше и больше утверждалось. И все же поверить в реальность наваждения было невозможно. Хотя каких только нет сейчас умелых шарлатанов и колдунов, все может быть! Так размышлял Гектор Иванович весь вечер. С девяти до одиннадцати у него были посетители, вполне нормальные люди, хоть и незнакомые. В одиннадцать они, словно по приказу, ушли. Вот теперь придет дилер-спонсор, решил Кутузов, и действительно, не прошло и нескольких минут, как за дверью раздались шаги, оживленные голоса и в бильярдный зал ввалился Толик, да не один, а с приятелем и двумя девушками, одной из которых была она — мечта, беглянка, звезда, акварель, карамболь, фантазия закостенелого бильярдиста.

— Я пришел, Дон Жуан! Ты звал меня? — спросил дилер-спонсор Толик и принялся извлекать из сумки бутылки коньяка «Арагви», расставляя их на зеленом сукне. Приятель включил магнитофон, из которого запела Патриция Каас, и тогда представился: Игорь. А девушки — Марина и Лида. Значит, она — Лида. Ничего противоречащего мечте, акварели и фантазии в этом имени для Гектора Ивановича не звучало. Он пожал руку Игорю, поздоровался с девушками, объяснил происхождение своего имени от героя древнегреческого эпоса и предложил чувствовать себя как дома.

В холодильнике у Кутузова нашлось полкруга сулгуни, немного черешни, лимон, да гости с собой принесли ветчину и салями. Закуску и выпивку расположили на столике для домино, к нему придвинули кресла. Пока девушки и Кутузов устраивали все это, резали сыр, колбасу, ветчину и лимон, Толик и Игорь взялись играть на бильярде. Гектор Иванович поглядывал на их игру и предвкушал, как всё сейчас немного выпьют, и он покажет класс, он вызовет восхищение девушек и завоюет сердце Лиды.

Забив по два шара, Толик и Игорь оставили кии и подсели к столику для домино. Стали пить коньяк. Девушкам наливали поменьше, мужчинам сразу граммов по сто пятьдесят — короче, каждую бутылку с одного раза разливали, чокались и пили без тостов. Гектору Ивановичу налили штрафную, под тем предлогом, что они-то сегодня уже приняли дозу, а он еще нет. Потом Толик наполнил Кутузову полный стакан и произнес маленький тост за выдающегося мастера игры на бильярде, непобедимого, прекрасного Гектора. Кутузов смело рванул в себя полный стакан коньяка и решил, что настал момент показать свое искусство. Он подошел к столу и стал забивать шары. Три первых закатились как бы сами собой под дружные аплодисменты гостей. У Гектора Ивановича взыграло ретивое, он объявил:

— Любой игре приносит эффектный успех удар дуплетом. Как известно, одним из лучших дуплетистов был безвременно погибший президент Кеннеди, который зимой и летом всегда играл дуплетом.

Кутузов выполнил дуплет, шар послушно вкатился в среднюю лузу. Из угла, где шло веселье, раздались восторженные овации. Игорь подбежал к Гектору Ивановичу с наполненным стаканом. Маркер пытался отстранить стакан — потом, мол, потом, — но Игорь вдруг встал на одно колено, приложил ладонь к груди и умоляюще протянул стакан с коньяком еще раз:

— Приз, маэстро! Приз! Призовой кубок!

Была не была! Гектор Иванович хватанул стакан, закусил лимонной долькой и почувствовал себя на такой высоте, что можно без сомнения забить любой шар.

— А теперь! — вскричал он. — Внимание! Исполняется великолепный удар Челенджер! Кончик кия нежно, но требовательно ударяется в верхушку шара, чужой закатывается в среднюю лузу, а свояк оттягивается в противоположную среднюю. Внимание! Трибуны застыли!

Он поставил два шара в удобную позицию для исполнения этого сложнейшего приема, собрался с духом, начал прицеливаться. И тут все перед его глазами поплыло, шары пьяно закачались, он упустил момент, когда нужно было нанести удар, стукнул с явным запозданием, чужой подкатился к лузе и вдруг у него выросли тонюсенькие ручки, которыми он уперся в края лузы и не пошел проваливаться, замер, а свояк вяло вернулся назад и ударился о борт в нескольких сантиметрах от ближней к Кутузову лузы и даже пискнул при этом что-то озорное. Величие маркера Кутузова рухнуло и рассыпалось в прах. Убитый горем, он неверным шагом отошел от стола.

— Не попал! Не попал! — кричали зрители.

— Надо было заклинание! — кричала Лида.

— Р-р-ручонками упираться! Я тебе дам ручонками! — кричал маркер.

Толик подбежал к Гектору Ивановичу, обнял и препроводил к столику, усадил. Игорь протянул маркеру новый стакан коньяка, приговаривая:

— Утешительный приз, маэстро! Утешительный!

Гектор Иванович хотел было все же вскочить и идти бить морду шару, но вместо этого почему-то взял дрожащей рукой стакан, налитый всклень коньяк выплеснулся через край на штаны, но Кутузов ошалело выпил остававшийся на две трети наполненным стакан и громко икнул. Он увидел, что Марина уже сидит на коленях у Игоря, а Толик, не стесняясь, гладит Лиде ноги. Ноги эти были необыкновенно красивые, и при виде их Гектор Иванович опьянел еще больше. Он стал оправдываться, что удар очень сложный и даже самые выдающиеся мастера не всегда его выполняют четко. Его утешали, хлопали по плечу и по шее, но Кутузов был убит, неутешен, он отказывался от коньяка, потому что чувствовал: больше пить не надо. Тогда Игорь извлек из сумки бутылку французского:

— «Наполеон»! Кутузов! Сразись с Наполеоном!

И он сразился.

Выпил полстакана французского.

Бильярдный зал превратился в каюту корабля, попавшего в шторм, — все шаталось и шумело, девушки постанывали в умелых руках Толика и Игоря.

— А мне вот Лида нравится, она девушка моей мечты, звездочка моя! — сказал Гектор Иванович, и тотчас она уже оказалась рядом с ним в обнимку, щекотала носом его ухо. Он оглупел и зачем-то спросил у нее:

— А что значит пумпонбанк?

— Пумпон! Пумпон! Ха-ха-ха-ха!

— Нет, я серьезно, я не понял.

— Комкомбанк, а не пумпон! Это значит комиссионно-коммерческий. Понял, Гек?

— Понял! Солидно!

— Эх ты, пумпон! Сам ты пумпон! Типичнейший причем!

— Да врут они, — звонко возразила Лида. — Комитет комсомола — вот что такое ихний комком. Ты что, Гек, не видишь, что ли, их рожи? Это же бывшие комсомолисты, а комсомольские денежки теперь в дело пустили. Они теперь буржуйчики. Все богатства в мире накоплены нечестным путем.

— Момент! — сказал Кутузов, зыбко встал на ноги и проколесил в свою каморку за портретом Брежнева. В голове его вертелось: комсомолисты, мозги мускулисты, побольше ситчика моим комсомолкам, а как это? коммунистический союз молодежи? теперь, значит, капиталистический — капсомол, нор-рмально! Портрет Брежнева поднялся и понес за собой пьяненького маркера, который едва поспевал за ним, уцепившись за раму руками.

— Господа капсомольцы! Вот вам от меня подарочек!

— Леонид Ильич, дорогой! — Гостям понравился подарок, его поставили на обозримое место. Брежневу тоже подносили коньяк, но вместо него пил маркер Кутузов, и ему вдруг стало все равно, в какой мере он пьян. Марина густо намазала губы и оставила на щеке Леонида Ильича жирный малиновый отпечаток, и это было дико смешно. Стали танцевать под Патрицию Каас, но Кутузов уже танцевать не мог, ибо едва стоял на ногах, а Лиду он все тянул к себе и целовал, пытаясь попасть в губы, она смеялась и говорила, что нужно что-то сделать на бильярдном столе, и велела Гектору Ивановичу раздеваться. Он при женщинах раздеваться стеснялся и долго уходил в свою каморку, чтобы раздеться там. В каморке он спустил штаны, но снять их окончательно не сумел — запутался в штанинах, как зверь в силке, рухнул на пол и не мог встать. Он лежал и смотрел, как по потолку двигается люстра в каком-то бесконечном полете на одном месте. Так он лежал неизвестно сколько времени, хотя часы и показывали ему это время, но Кутузов провалился в некое безвременное пространство, хотя и оставался в сознании. Из бильярдного зала доносились вскрикивания и звуки музыки, кто-то заглянул к Кутузову, засмеялся и закрыл дверь, и, кажется, это повторялось несколько раз. Гектор Иванович же смотрел на потолок и пытался внушить себе, что он может смотреть сквозь вещество материи и видеть звездное небо. Потом ему захотелось все же вернуться к компании, он с трудом натянул на себя штаны и выбрался из каморки. В глазах его все ходило ходуном, он увидел на обоих бильярдных столах обнаженные мужские и женские тела, успел заметить, что Лида лежит на животе под Толиком, вытянув вперед руки и держась одной рукой за одну угловую лузу, а другой — за другую. Гектору Ивановичу стало очень стыдно присутствовать, и он поспешил скорее выскочить вон из бильярдного зала. Он сбежал на заплетающихся ногах вниз по лестнице и в следующем обрывке сознания уже бежал по пляжу вдоль моря. Потом пляж подпрыгнул и больно ударил Кутузова по лицу остывшей галькой. Гектор Иванович почувствовал, как по лицу его побежала кровь, и провалился в пляж, как в дым.

Когда маркер Кутузов очнулся, ночь уже заметно посветлела. Он сел, попытался смахнуть с лица что-то мешающее. Оказалось, что это прилипшая к запекшейся крови галька. Отколупнув ее, он почувствовал боль, и кровь снова потекла по лицу. Гектор Иванович был по-прежнему сильно пьян и с трудом понимал, где находится и как тут оказался. Он захотел курить, стал искать пачку — в карманах нет, а ведь была нераспечатанная пачка «БТ» в кармане брюк. А, вот же она! Да скользкая какая! Он схватил пачку и стал пытаться открыть ее, но пачка шевелилась в руках, как живая, и никак не отдавалась.

— Чертовы болгары! — выругался Гектор Иванович и стал уже зло тискать пачку, но целлофановая оболочка с нее никак не срывалась, и тут вдруг Гектор Иванович пригляделся и увидел, что в руке у него вовсе не пачка «БТ», а живая упирающаяся жаба, которой очень не нравится, что с нее хотят сорвать целлофановое покрытие и извлечь из нее сигарету. Кутузов отбросил ее в сторону, и жаба сделала несколько оскорбленных прыжков. Гектору Ивановичу показалось, что она оглянулась и посмотрела на него лукавым взглядом. «Да ведь это сам нечистый!» — в ужасе подумал Кутузов, быстро встал и направился в сторону своего пансионата «Восторг».

Он еще проплутал какое-то время, цепляясь за обрывки сознания — в одном обрывке он шел по аллее роз, в другом лежал около санатория «Дельфин», в третьем разувался и шел босиком по звездному небу, в четвертом снова стоял на пляже и громко ругался с морем, которое никак не хотело доставить ему наслаждение от купания и несколько раз сильной волной вышвыривало обратно на берег. Наконец, мокрый, босой, окровавленный, но постепенно трезвеющий Кутузов добрел до пансионата «Восторг» Министерства культуры Российской Федерации. Он стал рваться в главный корпус, но ему не открыли. Тогда он подошел к окнам бильярдного зала и увидел, что там горит свет и одно окно открыто настежь. В следующем обрывке сознания он уже переваливался брюхом в это открытое окно и грузно падал внутрь своего бильярдного зала.

Зал был пуст. Несмотря на сигаретный смрад и запах спиртного, все было прибрано. Во всяком случае, никакой мерзости не было. Но память проснулась в маркере Кутузове и воскресила ему всю виденную недавно страшную картину. Брежнев с жирным малиновым отпечатком женских губ на щеке смотрел с портрета на Кутузова очень печально, будто говоря: «Я видел здесь людей в костюме Адама и Евы, которые творили безобразие». Тоскливо оглядев бильярдный зал, маркер Кутузов почувствовал черную пустоту внутри и промолвил одно только слово:

— Осквернено!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
которая служит эпилогом

Пожарные машины приехали в пансионат «Восторг» в седьмом часу утра. Им удалось сбить пламя, рвавшееся из бильярдного зала в кинозал, но в бильярдном зале сгорело все — кресла, диваны, роскошный шкаф и великолепные старинные столы фабрики Шульца. Сгорела и каморка маркера Кутузова. Искали обугленный труп самого маркера, но не нашли. Как он исчез? Видимо, через окно. И как не разбился со второго этажа? В кустах под окном обнаружились четыре комплекта шаров, правда, не в полном количестве. Не хватало четырех белых, трех розовых, семи желтых и трех из слоновой кости.

Впоследствии несколько шаров обнаружилось у местных ребятишек после того, как одному из них его приятель разбил шаром лоб. Они были конфискованы и приобщены к следствию по делу Гектора Кутузова.

Поиски Гектора Ивановича долгое время не давали никаких результатов. Вахтерша главного корпуса призналась, что ночью, под утро, какой-то пьяный рвался в двери, она, естественно, его не впустила, но, кажется, это был Кутузов. При таком повороте объяснялось отсутствие обугленного трупа. Неподалеку от санатория «Дельфин» нашлись ботинки Гектора Ивановича, но на этом какие бы то ни было находки иссякли.

Кутузов исчез бесследно, и уж решено было прекратить особенные поиски и ограничиться объявлением «Их разыскивает милиция», тем более что после августовских событий появилось много других забот, как вдруг по осени на всем побережье участились случаи поджогов кооперативных лавочек. После одного такого пожара, спалившего дотла сразу три прижавшиеся друг к другу лавчонки, неподалеку была найдена записка: «Поджог совершило Босикомое». Пожары происходили чуть ли не раз в три дня, и после первой записки неизменно неподалеку от пепелища обнаруживались похожие: «Трепещите, я — Босикомое!», «Здесь было Босикомое!», «Месть Босикомого», просто «Босикомое» без комментариев, а в декабре следователь Щепа получил доказательство своих подозрений, «Босикомое» дало свои инициалы, хотя и несколько необычные. После пожара коммерческого магазина «Наури» неподалеку от места происшествия нашлась записка: «Гори, гори, моя звезда! Босикомое Г. К. Ч. П.» И подающий большие надежды Щепа гениально догадался, что Г. К. означает «Гектор Кутузов», а Ч. П., возможно, «Человек Пламени» или что-нибудь в этом роде. Щепа утверждал, что Кутузов, войдя в состояние хронического аффекта, стал ощущать жар в подошвах ног и ради того выбросил ботинки, а со временем изобрел себе псевдоним «Босикомое». А главное, что и там, и там поджоги — началось с бильярдной, понравилось и пошло-поехало по кооператорам.

Косное начальство не оценило догадку Щепы, тем более что кроме приведенных доказательств никаких подтверждений тому, что Г. К. — это «Гектор Кутузов», не последовало. Щепе поручили другое дело, а новый следователь устремился на поиски поджигателей в среду бывших номенклатурных работников, которые могли сочувствовать настоящему ГКЧП и мстить за провал путча таким примитивным способом.

Тем временем пожары в кооперативных структурах внезапно затихли, но вскоре «Босикомое Г. К. Ч. П.» объявилось в соседней области, где ознаменовало свое присутствие целой серией дерзновенных поджогов. Как ни старались подкараулить, выследить, хоть как-то подловить нахальное «Босикомое», ничто не помогало. Оставалось такое впечатление, будто коммерческие плоды перестройки и демократизации воспламеняются сами собой, без посторонней помощи. И даже видели, как это происходит — вдруг яростный порыв ветра, вспышка и моментальное, широкоохватное воспламенение. Явное самовозгорание, но обнаруживаемые возле пепелищ записки «Босикомого» всегда свидетельствовали, что дело не в стихийности, а в преступном умысле.

Как бы то ни было, но пожары продолжались, а органам охраны правопорядка не удавалось даже краешком ботинка наступить на хвост злоумышленникам. Делом уже занималась целая следственная комиссия, а толку все равно было чуть.

О Гекторе же Ивановиче стали распространяться самые невероятные слухи. Какая-то старушка, некогда работавшая в пансионате «Восторг» уборщицей, утверждала, что когда она ездила на Новый год к дочери в Одессу, то там, на Привозе, видела человека, удивительно похожего на Гектора Ивановича. Он сидел босиком на холодной земле и просил подаяния, но лицо его было разбито, и невозможно с точностью утверждать, что это Кутузов. К тому же если предположить, что «Босикомое» — это наш Гектор Иванович, то показания бывшей уборщицы неверны, поскольку под Новый год поджоги кооперативных магазинчиков происходили совсем в ином месте, порядком удаленном от Одессы.

Другая старушка, та самая вахтерша, которая не пустила Кутузова в здание главного корпуса тою злополучною ночью, уверяла, что видела Гектора Ивановича в Новочеркасске. Якобы на нем была великолепная казачья форма, белоснежная и расшитая золотом, бурка, папаха и высокие сапоги, а на боку сабля. Будто бы она подошла к нему и спросила: «Гектор Иваныч, ты ли это?» На что он всполошился, стал оглядываться по сторонам, а потом молвил: «Молчи, старая! Какой я тебе Гектор? Я — атаман Буйной, запомни это!»

Слухи разрастались, как грибы. Один из них гласил, будто в данное время Гектор Иванович скрывается в одной из ударных воинских частей, верных какому-то маршалу Непреклонову, и, мол, якобы именно Гектору Ивановичу суждено в ближайшем будущем оправдать свою славную фамилию и спасти Россию. Этот слух распространял Гриша Зима, появившийся в пансионате «Восторг» в феврале. С ним не спорили, но ему, естественно, не верили, но потом кто-то подтвердил, что действительно есть такой маршал Непреклонов, возле которого постоянно находится какой-то тип, по описанию очень похожий на Гектора Ивановича, но только с бородой и не босиком.

Но что бы ни было, жив ли Гектор Иванович, имеет ли он какое-то отношение к дерзновенному «Босикомому», состоит ли он при маршале Непреклонове или вернулся к корням и стал атаманом Буйным, для нас это не имеет уже никакого значения, поскольку как маркер Гектор Кутузов окончил свое земное существование. Если он перешел в мир иной, то непременно в ближайшем будущем астрономы откроют новое созвездие — созвездие Маркера. Если он жив, то пусть Бог будет ему судьей и путеводителем, а мы не будем желать ему зла, и повесть наша подошла к концу.

ЕВГЕНИЙ НЕФЕДОВ

НЕТ НИ ФРОНТА И НИ ТЫЛА

* * *

Нет ни фронта и ни тыла —
Есть огонь войны.
И небратские могилы
Братьями полны.

Недожили, недоплыли,
Канули во мрак.
И за что себя сгубили —
Не поймут никак.

Неповинно, понапрасну
Положили жизнь.
Кто за белых, кто за красных —
Не разобрались.

Друг на друга в непогоду
Встали и пошли.
И заветную свободу
Вместе обрели...

* * *

Запах мазута с дождем,
Улица возле вокзала.
Здравствуй, забытый мой дом.
Все вспоминаю сначала.

Вижу былое в лицо —
Мне уже семь или восемь,
Я выхожу на крыльцо,
В раннюю пряную осень.

Держит сосед голубей.
Он говорит: — Не робей,
Птица воротится в стаю...
Голубя я выпускаю!

Птица, как маленький взрыв,
В небо далекое взмыв,
Воздух упруго взметает —
И от меня улетает.

Жду ее час или день —
Не промелькнула и тень.
Жду ее год или жизнь —
Птица уносится ввысь.

...Есть и синица в руках,
Есть и журавль в облаках,
Ворон сидит на рябине —
Голубя нет и в помине.

НЕФЕДОВ Евгений Андреевич родился в 1946 году в Донбассе. Окончил факультет журналистики МГУ. Был рабочим, служил в армии, много лет в печати. Работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» на Украине, в Чехословакии. Публикации — стихи, переводы, пародии, статьи, рецензии. Книги — «Взлетная полоса», «Цель», «Радар». Член Союза писателей с 1978 года. Последнее время — работа в газете «День».

Отпуск

Поставим бидон у порога
И ждем за калиткой, пока
Хозяйка подоит корову
И вынесет нам молока.

Шагаем по улице с дочкой,
Тропинка уже не видна,
Но светится белый бидончик,
Как будто ручная луна.

...Над кружками пухлая пена,
Покоится хлеб на столе.
Все правильно и неизменно
На вечной отцовской земле.

Ее позабудешь, но снова
Однажды приедешь сюда —
И словно не ведал иного
Нигде,
ничего,
никогда!

...Проклюнутся звезды над полем,
Сверчок голосит на весь дом,
И месяц висит на заборе,
Как бабушка сушит бидон...

* * *

Какое счастье — помнить те года,
Где паровозы
тащат поезда
И поднимает по утрам гудок
Наш тихий тополиный городок.

Там жить пока несыто, нелегко,
Там тень беды ушла недалеко,
Там не по фильмам судят о войне,
Но патефон играет в тишине.

И взгляды так приветливо-чисты,
И речи так спокойны и просты,
Цветут петуньи под окном у нас,
А бате меньше лет, чем мне сейчас.

Там мама вышивает и поет,
Там дедушка мне сахар отдает,
Там слышен мой, сестры и брата смех,
И комната у нас одна на всех.

Нет, не зову о прошлом я тужить,
Там все бывало, коль разворошить...
Но что-то к нам оттуда не пришло —
И без него теперь так тяжело.

Мне скажут: детство — потому уже
Воспоминанья — праздник на душе.
Но только ль этим в сердце навсегда
Вошли послевоенные года?..

* * *

Чужое горе постучалось
В мое веселое окно.
Я за окошко подал жалость —
Осталось горе все равно.

Забросив срочную работу,
На гостя позднего сердит,
Я протянул ему заботу —
А горе вновь в глаза глядит.

Спеша покончить со свиданьем,
Уже вздыхая тяжело,
Ему отдал я состраданье —
А горе все же не ушло.

Стою и я, а сердце, споря
С рассудком, мечется в груди.
Ну чем еще поможешь горю?!
И я сказал ему:
— Входи!

* * *

«Двадцать второго июня
Ровно в четыре утра...»
Кто ожидал накануне?
Кто мог подумать вчера!..

Что же ты, горькая дата,
Вдруг воротилася вспять?
Страшное утро когда-то —
Страшное утро опять...

Мирный пикет утомленных
Тяжкою долей людей —
И батальоны холеных
Центурионов властей!

Боль и нужда человечья,
Флаг и плакат...А в ответ —
Газы, дубинки, увечья,
Кровью омытый рассвет!

Кто ожидал накануне?
Кто мог подумать вчера!..
Двадцать второго июня.
Ровно в четыре утра.

АРКАДИЙ САВЕЛИЧЕВ

ПОТОП

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Часть вторая
ВОЛЬНЫЕ ЛОШАДИ

I

Июль уже катился под копну, а сенокóсить не собирались — ни колхозники, ни единоличники. Переселение то ли начиналось, то ли кончалось — никто толком не понимал; о будущей зиме то ли думать, то ли вовсе позабыть — всяк решай как знаешь. Председатели ждали указаний из района, а единоличники — с небес божьих; но не было указующего знака ни оттуда, ни отсюда. На небесах отмахнулись от великих грешников, забросивших вековые новгородские отчины, а на земле, в своем Мяксинском районе, с грешниками поступали и того круче — увозили и ссыпали в какой-то бездонный мешок. Стало известно, что в три коротких летних ночи заарестовали всю районную власть — от секретаря райкома до начальника НКВД. Тихо и незаметно скатывались под береговой откос несокрушимые, казалось, мяксинские столпы — так тихо, что и родимая Шексна ни единой волной не дрогнула. Вечером служащие расходились по домам — в РИКе горел яркий свет, и на втором этаже похаживала всем знакомая, уверенная тень председателя, которая иногда порывалась к раскрытому окну и жадно хватала воздух душистой, летней Шексны; такая же тень, даже еще покрупнее, маячила, как и всегда, до полуночи в окне секретаря райкома. Напротив стояли дома, одинаковые, купеческие. Вся и разница, что в риковских стенах раньше торговали шекснинской стерлядью, а в секретарских — соловецкой солью. Но чья власть выше — трудно сказать; стерлядь никуда не годилась без соли, а соль без стерляди — и подавно. И власть, и деньгу, и кормилицу Шексну делили поровну на две стати; собственно, так продолжалось и сейчас, если не считать глухо подмигивающих третьих окон — в районном отделе НКВД. Но народ там был, как все считали, тихий, скрытный и малозаметный: соперничать с главными районными окнами не мог, а если и вредил кому, так по долгу службы. На службу не обижались.

И вот такой хороший, размеренный порядок стал пропадать. В первый вечер раньше обычного, то есть отнюдь не за полночь, загасли, причем все разом, будто с одного выключателя, окна на обоих этажах РИКа — и на следующий вечер не загорелись; одиноко полыхали от расшумевшегося при таком безделье движка лишь окна райкома да подсвечивали зарешеченные восьмушки в закоулке отдела НКВД. И повторилось, как накануне: еще до двенадцати, когда начинались обычно совещания по сенозаготовкам, отрубили свет, прямо каким-то единым топором, и в кабинетах райкома, еще не выветривших стойкий привкус соловецкой соли. Темнотой исходила эта вторая полуночная тревога, поскольку плотно переплетенные, давно не мытые окна НКВД, где торговали во времена нэпа керосином, — эти мутные восьмушки не могли осветить районную площадь. Напрасно захлебывался в яростном стуке керосиновый движок: выхода его силе не было. Во все прочие районные учреждения, кроме районо и больницы, дорогое электричество пускали только по праздничным дням, да и находилось все это на задворках, в том числе и несущее свет районо. Так что жгли керосин в движке без всякого толку. Темень опустилась на районную Мяксу, а огоньки самокруток, с которыми делили свою тревогу праздно шатающиеся районщики, понятно, ясности ночи не прибавляли.

Но совсем уж район пал духом на третью ночь — когда вот так же решительно отсекли свет и в отделе НКВД. Тогда-то, после затеми и в этом учреждении, и родилось роковое слово: «Свето-преставление!»

Вот почему и усыхали непрокосные шекснинские луга. Никогда еще, с самого тридцатого года, не бывало, чтоб в сенокосную пору гасла районная власть. Как ни слаб был движок, как ни часто ломался, а сорвать совещание по сеноуборке даже он не мог: на такой случай во всех кабинетах имелись керосиновые лампы. Но и они не зажглись ни в первую, ни во вторую, ни в третью ночь; дальше уже и не ждали, повторяя жутковатое: «Свето-преставление!» А раз так, и косы не били. А раз этак, и конную колхозную косилку, красу и гордость района, в луга не пускали. Травы исходили горячим, подопревшим духом. Ах, какие травы стояли по Шексне на двести верст — от Череповца до Рыбинска и от Рыбинска до Череповца, если идти с косой обратным берегом. Но кому ходить, кому валить валки непроворотные?! Мужики толковали о переселении и дальше околицы не трогались, боясь наскочить на какое-нибудь новоприбывшее начальство; известно, новая коса начнет и мужицкую осоку косить без разбору — сторонились Шексны, своей главной дороги. На всякий случай.

А выходило — напрасно, потому что начальство не ехало ни по суху, ни по воде. Шексна мелела и безнадежно скатывалась в межень, когда и плоскодонные буксиры с трудом через перекаты продирались; лопасти выбрасывали больше песка, чем воды. Забавное зрелище — ревущий рак на реке! Знай откидывает клешнями взбаламученный песок, а сам ни с места. Цепляли тогда пару-тройку лошадей — да перетаскивали на плавь; со старых времен держали по берегам, на самых опасных местах, бурлацких лошадей, для чего и не прижимали окончательно хозяина. Без них, бурлачков родимых, капитанам в межень хоть пропадай. Ругать кулака ругали, а чуть затабанят плицы — винтовых буксиров было мало, да и те не лучше вели себя на мелководьях, — чуть заскрипят на песке водометные колеса, капитан и зовет в матюгальник: «Ми-итрич, ты куда, милóй, подевался?!» А Митрич тут как тут с лошадками: «Эва я!» Цепляй плюгавенький пароходишко на вожжи да тащи, пока червонцы у капитана не переведутся. Известно, платили наличными, которые выдавались капитану под расписку, так и назывались: лошадиные. Если капитан не промах, и себя, конечно, не обидит, потому что Митричи да Саввичи бумажки капитанские подмахивали не глядя — им лишь бы свои уговорные червончики получить. Передавались они из рук в руки, с борта на бережок, под доброе прощаньице: «Ты, Митрич, в следующий раз побыстрее ко мне гони!» — «И ты, капитан, посуровее гони красненькие!» С поклонами расходились, довольные.

Не сказать, что конное бурлачество было главной статьей дохода вымирающих кулачков, — лучшей-то доходностью выходили все-таки казенные сенокосы, — но лошади не даром ели такую сытную шекснинскую траву. Для того и обзаводились парой: хоть косилку таскать, хоть обессилевший пароход. Казенные подряды для красной кавалерии брали вблизи перекатов, а на самом перекате, пока хозяин косил, обязательно дежурил ни на что уже не годный дедок, на худой конец и мальчонка, лишь бы при виде парохода мог потрезвонить в подвешенную на столбе железяку. А там, получив сигнал, уже торопились отпрягать лошадей и с двумя длиннющими веревками, с крюками на концах, скакать к несчастному пароходу, с ходу бросать помочи. Редко когда ошибались, потому что редко какой пароход переходил через перекаты, разве уж совсем порожний; нечасто и крюки зацепные пролетали мимо рук пароходных матросов — лезть без нужды в воду и по теплому времени не особенно любили: всякий раз снимай штаны да заголяйся, а матросами на пароходах, и особенно буксирах, часто плавали бабенки, такие разбитные, что без особенной нужды под их глаза и не сунешься. Нет, крюки метали без обмана, да и наловчились за долгие годы. Перепугавшая было речных извозчиков коллективизация постепенно утряслась и успокоилась; кого уж сильно раскулачили да на Беломорканал сослали — тех сослали, а остальных не трогали. Шексна родимая оберегала! Главная государственная дорога по ней проходила — на Северá, в том числе и к строящемуся Беломорканалу, а с его открытием Шексна со своими шлюзами и пароходными извозчиками стала просто проходным двором. Не в одиночку, как прежде, — целыми караванами, стаями носились вверх-вниз грузовые пароходы и баржи с буксирами — этими крикливыми няньками; няньки чаще всего проскакивали, а баржи садились своими перегруженными, неповоротливыми корытами. Хорошо, если везли заключенных, тут команда: «Шасть в воду!» — вся шарага, для удовольствия конвоя, шлепает вдоль бортов так, что волны на оба берега шугают; эти капитаны на лошадиных квитанциях экономили, а другим без посторонней помощи было не обойтись. Так вот и доживали свой век по берегам Шексны новоявленные кулачки, заявившие о себе уже после коллективизации. До четверти всех рабочих лошадей приречных районов — Мологского, Пошехонского, Мяксинского и Череповецкого — числилось за единоличниками. Местные власти цифры эти напоказ не выставляли, а терпеть — терпели. Выхода у них не было. Гонять колхозных лошадей в извоз — слишком накладно, а обеспечение судоходства по Шексне считалось главнейшей государственной обязанностью. Кроме межени, было еще и весеннее половодье, с его заторами и зажорами, когда на их разборы сзывали всех вподчистую. Были ведь и обложные лесозаготовки — попробуй-ка откажись! Были и неисчислимые вереницы плотов сверху, с Белоозера; их сплавляли, протаскивали на мелководьях, сволакивали до Рыбинска все те же хозяева, на тех же частнособственнических лошадях, ибо никакое колхозное тягло такой работы не выдержало бы. Получалось как в присказке: было — не было, не было — было... Жили, жили по берегам Шексны не знавшие колхозов лошадки!

Поскольку власти их не трогали, более того, от нужды даже поощряли частный извоз, иные расторопные мужички, оправившись от испуга первой коллективизации, к паре примелькавшихся лошадок прибавляли еще пару — записывали на свата или на зятя, под хорошее настроение — и на куму. А там, глядишь, ко второй паре и третья подоспела — сын оженился, а там и следующий, и последующий... Так, властям вроде вопреки, но в то же время и с поощрения этой самой власти, заводились по Шексне, при наркомовской водной дороге, целые семейства речных извозчиков; финансовым инспекторам родство свое, конечно, не выпячивали, но и таиться особо не таились — пережили уже страх всеобщей коллективизации. Иные так уверовали в свою государственную необходимость, что, и не особенно любя красный флаг, на радостях его благословляли: лишь бы

Окончание. Начало в № 10 за 1992 год.

не выцветал и не линял на дождях. Ведь в последний год, вместе с заготовкой казенного сена и речным извозом, и третий заработок появился: плотина под Рыбинском. Были там, конечно, и машины, и заключенные, но без лошадей справиться не удавалось. До шести тысяч их собиралось в котлованах и строящихся шлюзах. Мало, все было мало! И вот во многих прибрежных селах запорхали на ветру ласковые ласточки — картонные ленты-объявления:

Волгострой приглашает на работу!

Всех, имеющих лошадей в личном пользовании, всех, желающих работать на строительстве величайшего Сталинского водохранилища!
Знайте: своим трудом вы ускорете индустриализацию страны!
Работа сдельная и высокооплачиваемая. Заработок неограниченный. Пользуйтесь такими льготными условиями найма!
При поступлении на работу иметь при себе исправную пароконную грабарку (для вывоза земли из котлованов), комплект рабочих лопат, запас фуража и справку ветеринарного врача для лошадей. Других документов не требуется.

Ни справок на человеческую душу, ни разрешений о выезде в другой район?! Ну чем не жизнь пошла!

Так, или примерно так, думал Тишуня и месяц и два спустя после встречи с Гурьяном Свищевым, когда гнал в ночное свой родовой табунок. Теперь лошади откочевали подальше в луга, возле деревни не маячили. Двое сыновей на пароконных грабарках уже с весны работали под Рыбинском, и ничего, по пятьсот чистеньких выгоняли; трое зятьев, опять же на парах лошадей, ходили с казенным извозом в тот же Рыбинск и тоже с четырьмя сотнями домой возвращались; двое самых меньших под его присмотром здесь, на перекатах, промышляли, а внучатам и разным племяшам он и счет потерял, но тоже, конечно, зря хлеб не ели, хоть по одной лошадке — да водили. Всего-то в большом семейном роду — лучше сказать, кусту — насчитывалось больше двух десятков лошадей. Ошибался Гурьян Свищев, думая, что встреченный табунок — с окольных деревень. Все эти лошади так или иначе к роду Тихона Тихонова принадлежали. Под разными именами и фамилиями, но у старика на счету. Время опять начиналось тяжелое, потайное, вот почему и внуки в счет шли. Один как раз и прозвенел в разбитый чугун — знай успевай распрягаться. Не только лошади — и сам Тишуня прискакал уже в мыле. И что же?

— Свето-преставление! — высказал и он залетевшую сюда тревогу.

Тишуня старым сердцем чувствовал, что начинается нечто страшное. И Северьян, ставший в Рыбинске таким умником, не преминул сообщить новость:

— Ты слышал, тятя, в Мяксе все начальство заарестовали?

— Кака-ая Мякса, како-ое начальство? — от очередной бессмыслицы даже взвизгнул Тишуня, хотя прекрасно знал и свою районную Мяксу, и своих не слишком привередливых начальников — местных, в общем-то безобидных крикунов.

Северьян не счел нужным продолжать разговор.

— Тьфу, прости господи! — уж и неизвестно на чью сторону сплюнул Тишуня.

Если на районную Мяксу — так чего на нее плевать, сама жила и до поры до времени ему давала жить. Если на сына-умника — так ведь не из баловней, а ум хорошему человеку не помеха...

Ум за разум заходил, право.

На Шексне началась невообразимая суета. То катер начальника стройки, то катерок водяного — как быстро окрестили Гурьяна Свищева; то уполномоченные по переселению, то фининспектора. Всех их знали, все примелькались — тоже ведь стаскивать с мелей приходилось, хоть тут и бесплатно, — но в таком количестве, друг за другом, они не сновали. А сейчас накатывает — устаешь считать. Бакенщики ошалели от бесконечно меняющихся мелей и знай таскают по реке свои бесполезные горшки; вечером глубина была вполне проходимая, а утром, глядь, матюги с палуб — и на всю пойму: «Тишу-уня!..» Но ведь, знать, не зря его так прозывали: затаился в необозримых шекснинских лугах. На перекаты лошадей больше не водил и сына своего, Северьяна, больше не пускал — чтобы не раздражать начальство, невесток да внучат посылал. Если что и не так, с них спросу меньше. И лошадей не менял, держал при реке одних и тех же, не самых лучших, конечно. Чуяла старая, наученная временем душа: грядут, гремят перемены! Какие — он не знал, но втайне готовился. Что было ценного в доме — кожи, посуду и сукна, например, — потихоньку перевозил в луга, на самые дальние отвержки, где они уже сливались с необозримыми забережными лесами. Там, на границе вологодской, ярославской и тверской земли, займища лежали немеренные; они исподволь, за десятком уже километров от Шексны и Мологи, переходили в сухие сосновые леса, тоже не знавшие ни меры, ни края. Даже леспромхозы туда не забирались, поскольку не было выхода к сплавным рекам — местные речушки едва проходимы для лодок. В безвестности, за кромками дальних весенних разливов, поднимались дремучие старинные боры, которые перемежались болотинами, еще петровскими рудными копаницами, безвестными протоками, безымянными притоками Шексны и Мологи — до Весьёгонска и еще дальше и глуше, до Устюжны, лежала земля древней веси. Водные стоки такие тихие, что и не определить — в какую сторону; лодочные запутанные пути даже охотников сбивали с толку — куда уж там постороннему! В низовьях совсем близко сходились Шексна и Молога, наперегонки пускаясь к Волге; но и выше расходиться не спешили, а притоки их, особенно мелкие разветвления, в общий дебрянный клубок завивались. Левый берег Мологи да правый Шексны — до сих пор не топтаны, мало кому из старожилов известны. Стройка гремела где-то в низовьях, русло будущего моря чистили на ближних побережьях, а здесь если и собирались затоплять, так на бога надеялись. Пильщиков явно не хватало, хоть гнали и гнали их со всей России, даже с закраин... А по реке все чаще выстрелы раздавались да плач человеческий душу терзал... Напуганный выстрелами, Тишуня без нужды на Шексну не совался, рыбу промышлял в мелких притоках. Коротал, бывало, ночь под брезентовым дождевиком. Все казалось, что с той стороны и придет разъяснение жизни, в которой он потерял всякий путь, как в лугах шекснинских... Как и сегодня, когда здесь у него вдруг появился Северьян, без обиняков приступил к главному:

— Тятя, есть еще одна новость...

— Плохая? — догадался Тишуня.

— Очень плохая. Проводится перепись лошадей.

— Ну и что? — из чувства противоречия равнодушно встретил эту новость Тишуня.

— А то не знаешь — тю-тю наши лошадки!

— Так уж и тю-тю?

— Так уж и будет. Неделя всего и прошла, как в газетах объявили, а цыгане и половинной цены не дают. Цыгане цену знают.

— Да, они знают...

Откровенно говоря, Тишуня уже слышал о лошадином налоге — от своих же деревенских, когда наведывался за барахлишком. Свояки да кумовья везде, как не прослышать! Они и другое подсказали: мяксинское начальство и забрали как раз за то, что слишком вольно распустили по Шексне частных лошадей. Мол, новоявленное кулачество, а вы, товарищи начальники, — покровители и защитники воскресших кулаков! Конечно, подлинного разговора никто не слышал, но Мякса уже месяц жила без начальства — чего другое могло быть? Не находилось охотников лезть в такую, даже начальственную петлю. Расторопные возчики-извозчики начали сбывать лошадей, но они так упали в цене, что и продавать не имело смысла. Верно говорил сын, самый грамотный из всех Тишуней. Нечего было и к цыганам соваться: дело шло к тому, что лошадь стоила дешевле своей собственной шкуры. Однако Тишуня все еще не сдавался — потому и таился от домашних. Такую коллективизацию избыли и выдержали — неуж не избудут благополучно какую-то лошадиную перепись?..

— Перетерпится, — успокоил он слишком горячего сына. — Придет зима, лошади опять вздорожают. Одно пока и надо — кончить всякую работу на лошадях. Наших кормилиц всех, кроме одной Залёты, отвести в забережные леса — знаешь там сторожку?.. — пристально глянул на сына. — Сараюшек утеплить, сена заранее навозить — пусть стоят родимые. В случае какой спрос — мол, продали лошадей да пропили. Все коммунисты пьют, а нам чего?

— Так-то оно так, тятя... — усмехнулся Северьян. — Да не все согласные...

— Игнатий?

— Он, тятя, чего скрывать. Говорит, жить надо как люди.

— В колхоз идти?

— Выходит, в колхоз. Пока были лошади, в государственном извозе мы числились, а теперь кто будем?..

— Никто! Делай, как сказано, да потаивайся... особенно от Игнатия... Знаешь что? — нашел Тишуня для всех хороший выход. — Раз все равно решили одну-то лошадку оставить — пускай Игнатий Залету в Рыбинск берет. В конце концов, и на одноконной грабарке поработает. Заработает не заработает чего там на плотине, а все ж при деле... и при официальном документе. Он старший — его беречь надо...

— Ясно, меня-то чего оберегать! — бесшабашно ухмыльнулся Северьян и ушел обратно в луга, где из еловых лап да корья был выстроен сенокосный шалаш, а лучше сказать — просторный летник, в котором и печку с плитой сложили.

Все одно к одному шло: в этом году, как знали, и летник ставили не на ясной Шексне, а в комариной глухомани, и городили его гораздо просторнее, чем в прежние годы, двойным слоем елового корья обшивали; место выбрали на островке середь болот, ну, прямо от диких татар схоронились! Про татар здесь ходило еще древнее, как земля, предание: в этих лесах и князь Великий, князь Владимирский, от поганых прятался, засеки устраивал — думал отсидеться до лучших времен. Правда, было это еще глубже, на затаенных притоках Мологи, но известно, что владимирские да рязанские беженцы растекались тогда по всему лесному Забережью — пойди возьми! Князя все-таки взяли на кровавой рати, а остатки полков его обреченных рассеялись по земле веси. Думали татары: в лесах позагинули. Ан нет! Жило предание: и тот боярин, и тот вой, и тот князь только до поры до времени к сохе пригибается... Тишуня перед женитьбой вышел на берега Шексны как раз с верховий Мологи, предания нес на плечах, иногда, особенно перед сватовством, и проговаривался: «Мы чего, мы от владимирских побитых князей, терпеливые». Терпения ему было не занимать, особенно как землю по декрету получил и распахал деляну по новой мере — в десяток советских гектаров, считай, за сотню десятин; но во всем остальном княжеская властная кровь почему-то не проступала. Разве что Северьян — в кого уж вышел? И ростом, и статью, и нравом! Раньше таких в гренадеры брали, а сейчас — по болотам сиднем... За Северьяна Тишуня и опасался больше всего. Остальные в него, покладистые; Игнатий — так и копия точная, зря не расшумится, тишком да молчком, как отец, живет. Чего ж, все время гнуться приходилось Тишуне, сильно прогибаться. То налоги, то подлоги, то зажимки, то отжимки, а то и коллективизация — пронеси ее, господи, и унеси навеки! Пронести тогда пронесло, но землю пахотную, потом политую, пришлось бросить на волю ольхи да березы, чтоб не зарились голоштанные лодыри и крикуны. Без земли, с одними лошадьми, было спокойнее. Не думал не гадал он, окрепнув в извозе, что по следам молодости и пойдет обратным ходом — в края своих родовых преданий. Будто шепнул кто: «Туда ступай, туда, Тишуня!» А чего особенного — больше и некуда. Левобережье заселено густо, да и лагеря там через пять верст на шестую, а правобережье терялось в лесах дремучих. Тайные тропы с Шексны и выводили к притокам отпатнувшейся Мологи — в края засечные, в края недоступные даже для татарвы...

Конечно, все это лишь мерещилось в каком-то кошмаре, подсказывало и подталкивало, а сенокосили пока, хотя и далеко от берега, в пойме Шексны. Но в таком углу, что дочки и внучата по десятому разу не могли дорогу запомнить. Зачем им знать? Тишуня никого туда и не водил, хотя бы и кумовьев деревенских, охочих до сенокосных гостеваний. Обижались, да пускай их, потом помирятся.

Даже кавалерийский приемщик, обмерив и расписав по квитанциям, как водится, заготовленное для его полка сено, в обиду

полез: где же положенное угощеньице?.. Известно, с рыбкой, бывало, на берегу Шексны, под разговорчивыми звездами. А теперь — и к стогам повел его Тишуня по каким-то мочажным тропам, а уж к положенному при таком деле столу и не продерешься. Где — леший тебя возьми тишайший?! «А здеся», — как иссякло терпение, перестал крутить круги Тишуня, указал на ближайший стог; под ним, распертый кольями, и был ближний шалаш; дальше, на заветный островок, вести приемщика не решился. Тут было дочками припасено что надо: скатерть раскинута и на скатерти не бедно, а для отдохновения и овчина поверх сена. Приемщик пофырчал, но угощение было хорошее, трехдневное, погода стояла теплая — перебился и в птичьем шалаше. Один пока гостил, для расчетов. Дело косарей — поставить стога первосортного душистого сена и получить за то обговоренные, обещанные еще с весны денежки, а уж прессовать в кипы и вывозить — это позднее, по осенней большой воде. Вывозку кавалерия брала на себя: дело для деревенских непосильное. Радуйся, что стоят стога, и уж сам думай, что с ними делать.

Но на этот раз и приемщик, давно знакомый со здешними порядками, почему-то посетовал:

— Кажется, заморим кавалерию. Нет ни проволоки, ни машин, чтоб ваше сено прессовать, а россыпью разве увезем?.. Ну, порядочки! — чуть было не заговорился он; спохватившись, все свалил на речников: — Прямо взбесились, черти водяные! Ничего, кроме стройки, не видят. Ты, Тишуня, уж так, за спасибо, присмотри за стогами. Сейчас баржи для сена не выпросишь, пор-рядочки!..

Тишуня посочувствовал такому хорошему кавалеристу, который, выплатив деньги и опохмелившись напоследок, умотал за баржами — да так до сих пор и не показывался. Похоже, и в зиму стога кавалерийские уйдут. Тишуня из уважения огородил их от лосей и всякого другого зверья и посчитал дело сделанным. Надо было и о себе позаботиться. Тоже зима не за горами.

Отправив старшего сына с единственной, попавшей под перепись лошадью обратно в Рыбинск, а Северьяна со всеми остальными — в лесные захоронки, он сам пешочком, как нищий странник, притопал в деревню, к своему уже разоренному дому. То есть внешне там все было в порядке, убрано и прибрано, а ценного, кроме коровы, ничего не оставалось. Ну да корова — не штука сукна, в потайной сундук не спрячешь; кормилица должна находиться при хозяйстве. Как и сама хозяйка — она с порога разохалась:

— Сам! Где тебя церти-те носят? Лошадей-те цастных переписывают, нас цас на цас выселяют...

— Ну! — остановил он неурочные причитания своей расцокавшейся жены. — Час не час, а долго церти носили...

За долгие годы шекснинское цоканье поутихло было, а к старости опять прорвалось. Тишуня пожалел свою старушку:

— Так надо, не шуми, Анна...

Он с расчетом пришел в деревню поздним вечером, чтоб осмотреться. Многие дома уже чернели развалинами — значит, разбирали, чтоб перевозить на новое место. Даже по темноте скрипели лесовозные дроги, с распущенными на длину бревна полуосями. Колхозники переселялись вслед за председателем — молодым Гаврилой Свищевым; ему удалось-таки выторговать место на правобережье, на заросших полях выморочного отруба, торопил своих колхозников, пока не занял кто. Говорили, один из Свищевых, Гурьян, в большие начальники вышел, даже несколько машин прислал для подмоги. Они-то и урчали по темноте, светили глазищами, окончательно портили настроение. Гаврила Свищев единоличников не звал за собой, да и позвал бы — с какой радости ехать. Нет, надо было, видно, искать свои пути-дороги. Колхозники покричали да и перестали — к порядку уже привыкли. А таким, как Тишуня?.. Кричать без поддержки колхозников тоже ни к чему. Уж поистине: на бога надейся, а сам не плошай. Начальство, и то не знало, что делать с единоличниками, которых еще немало оставалось на Шексне — до четверти деревни в государственном извозе числилось, тем и отбивались от наступавшего колхоза. А теперь куда?..

Как ни тихо проходил по деревне, кому надо — услышали. Малое время спустя и кум без стука зашел, перекрестился по привычке, подсел к столу. Тишуня налил ему стакашик и сочувственно спросил:

— Жив еще?

— Сегодня жив, а завтра не знаю, — похрустев огурцом, ответил кум. — Я сдуру переписал всех своих лошадей, а налог-то теперь, знаешь, какой бухают?..

— Не знаю, — с замиранием души отвечал Тишуня, потому что кум уже доставал из кармана газету.

Тишуня грамоту знал, но газет опасался. А кум бесстрашный — с каким-то сладострастием развернул газету:

— Смотри! Вникай!

Все-таки не спешил с пакостной, судя по всему, вестью. Только уже после третьего огурца выложил:

— По восемьсот рублев за лошадушку!

— Быть того не может! — искренне изумился Тишуня. — Тысячу, ну, полторы — и всего-то за год выработает лошадушка. Какой смысл тогда ее содержать?

— Вот я тебе и толкую — какой! — за весь этот налог на него же и озлился кум. — Восемьсот-то рублев только на первую лошадь — за каждую последующую прибавляется еще пятьсот. Три хотя бы класса в приходском кончал? Во и посчитай! — Кум начал по целым сотням бросать на пальцы. — Вторая-то лошадь уже в тысячу триста обойдется... третья — в тысячу восемьсот... четвертая — в две тысячи триста... Слышь? У тебя-то два с половиной десятка? Во сколько же двадцатая-то станет?! Мне уж и не посчитать, пальцев у меня не хватит!

— Чего — двадцатая? Чего? — и Тишуня озлился. — Двое сыновей, трое дочек, зятья, на внуков еще записаны лошади, да мы со старухой — по паре на одну-то семью, не больше, ирод!

Кум грустно рассмеялся:

— Это ты раньше мог районному начальству грибы на уши вешать, но, слышь, начальство-то именно за то и заарестовали. Выходит, за тебя да за меня, да еще за какого другого лошадника! Теперь — шалишь, новое начальство, поди, грибы твои лопать не захочет. Все семейное на главу же семьи и зачис-

чет. Все семейное на главу же семьи и зачисляется. И знаешь еще что? — с каким-то уже злым удовольствием сообщал кум. — Срок уплаты — до пятнадцатого октября! А сейчас чего — август? Вот-вот, греби мешок денег да тащи в район... за два-то десятка лошадушек!

Тишуня сидел за столом ни жив ни мертв.

— Что же теперь делать-то?!

— А что! — ткнул кум пальцем. — Тут ясно сказано: если владелец лошади вступает в колхоз — налог снимается. Метут нас под метелочку, по собственной волюшке. Кто выдюжит такой налог?.. Никто. Не выдержать и при одной-то лошади... А у тебя, говорю, за двадцать?!

Настал черед и Тишуне посмеяться. За минуту какую он все это осмыслил и в голове, как на точильном камне, провертел, заострил до изнеможения. Прямо и без обиняков посмотрел в глаза:

— У меня, кум, всего единая. Залета... ну, на которой Игнатий в Рыбинск ушел. Помнишь, прошлым летом у заготовщика-кавалериста, под хорошее настроеньице, на дохлятку выменял? Ее, одну Залету, и оставляю. Другие — тю-тю! Тю-тю, лови их по лесочкам, по кусточкам! Одна записана, единая. Других-то нету. И не бывало. На-ко выкуси! — кому-то неизвестному, уже не куму, показал он свой корявый кукиш.

Кум от бессилия и обиды заплакал:

— Что же ты мне-то не подсказал, идол тихоживущий?.. Я ведь всех четырех своих записал! Налог-то сейчас только обнародовали...*

Жалко было смотреть на кума — ведь он истинно казнил себя:

— Раньше как думалось? Для порядка перепись лошадушек, для нашего же блага! Во, ублажили... обложили... Трудно было мне шепнуть-то, идол тихоживущий?

— То и не шепнул, что и сам до последнего времени не верил. В рога трубить было? Телеграммы слать, из лугов-то моих сенокосных? Ты, кум, не отчаивайся, — поругав, и успокоил его. — Раз уж оплошал с переписью лошадиной, так плошай до конца. По крайней мере, хоть зачтется. Налог все равно не выплатить, резать лошадей нельзя, засудят, да и не татары мы, чтоб жрать конину, продать сейчас лошадку можно разве что лешему, значит, что?.. — подвел он к неизбежному. — Значит, в колхоз сдай.

— В колхо-оз?.. — перестал кум валять веселого дурака. — Ни под каким наганом! Если подвернутся мне знакомые цыгане... черт их куда-то унес... если сговоримся, так им на время переписи отдам. Право дело: выручай, мои цыганушки! Все прошлые ваши грешки прощу и забуду!

— Цыгане-то что — на воздусях летают? Они сами нашей лошадиной вольностью держались. Теперь их тоже поголовно перепишут и тот же налог на каждый хомут повесят. Нет, цыгане будут по лесам черт-те где скрываться. Не утешай себя глупостью, кум.

Тот долго, тяжело молчал, а потом встал в полной решимости:

— Тогда уж лучше я ошейник с лошадушки сниму да пущу ее на все четыре стороны. Пусть сама по себе живет божья тварь. Придут требовать налог, придут описывать лошадей за этот налог — ан их и нету. Нетуньки! Нетуньки! — приободрившись, даже заплясал под слезы горючие кум.

Тут было недалеко и свихнуться. Тишуня кума проводил со всей любовью, под локоток. Зря над ним смеялся — не так он и глуп...

Стоило улечься после того на кровать, как собственные лошади, с кавалерийской Залетой во главе, всем табунком и заржали над ухом. Право, так и почудилось. Тишуня вскочил — и на крыльцо. Верно, морда лошадиная совалась в дверь. Но, как оказалось, всего единая. Старший, Игнатий, из-под Рыбинска возвернулся. С Залетой.

— Не удивляйся, тятя, — едва переступив ночной порог, сказал он. — Строгости начались. В Рыбинске уже требуют квитанцию об уплате лошадиного налога, без нее и в грабари не принимают. А мне эту квитанцию и в три месяца не выработать. Зачем в таком разе лошадь, хоть и семижильная Залета? Землекопом с лопатой пойду, спокойнее. С лошадью ты сам возись. Устал я, тятя. Каждое рыло кулаком обзывает... Все, хватит с меня! Пересплю — да с какими-нибудь плотами сплыву в Рыбинск. Сам себе казак, хоть и безлошадный...

Сын буквально засыпал на ходу и, не дожидаясь огня, бухнулся на лавку.

Тишуня долго в темноте сидел под образами. Над ним был бог, сбоку на лавке — старший сын, опора и надежа семьи, а на печке — молчаливая, все колхозные грозы пережившая хозяйка. Она не охала, боялась окрика, но тоже не спала. Уже под утро Тишуня ее окликнул:

— Слышь, сама? Одна ведь остаешься?

Для нее это не было неожиданностью. Старший сын в Рыбинск, дочки к муженькам, младшенький в лесных бегах, а остальные на побегушках у хозяина. Она вздохнула, как раздоившая все молочко коровка:

— Хо-озяюшко... Смотри сам. Куда мне из дому?

Значит, поняла его мысли, если о переселении и не заговаривает. Порознь не переезжают — тащатся на новые места всем семейным скопом.

Жалея ее, но уже не в силах перемочь себя, Тишуня окончательно решил:

— Поживешь пока у племянки в Мяксе, ее малышей понянчишь. А там Игнатий в Рыбинск заберет. Парень он надежный, думаю, быстро выбьется в люди.

И опять она не спросила — когда же и как же выбьется младшенький. Пришлось напомнить:

— Сама? Северьян со мной будет зимогорить. Ты о нас не думай, не пропадем.

*22 августа 1938 года. У меня нет данных по Вологодской области (статистика тех лет глуха!), но прорываются в критических энцикликах такие цифры: в Смоленской области, например, к тому времени насчитывалось 29 тысяч единоличных хозяйств, в которых было 12 тысяч лошадей. В Ярославской области «лошадиным налогом» обложено 3 008 хозяйств, на которые начислено миллион 458 тысяч рублей налога. Если учесть, что в районах, прилегающих к Мариинской водной системе, то есть к Шексне, содержание частных лошадей, в силу острой транспортной необходимости, даже поощрялось, то любую из этих цифр можно со спокойной совестью удваивать и утраивать. Кроме того, имелись десятки способов записать лошадей на дальних родственников, инвалидов, в какую-нибудь артель или на время переписи отдать их доверенным цыганам. А мои родовые, семейные свидетельства и вообще гудят от топота лошадей. Тетки и дядья в один голос говорят: «Колхозный-те табун только половинушку составлял, право, парень!» Как им не верить? «Лошадиный указ» и призван был покончить с этой, второй, волной единоличников.

— Я не думаю, хозяюшко, цево, я просто плацу, — откликнулась она с печи сухим, совсем не плачущим голосом.

Надо было и последний наказ дать:

— Коровы пока в цене, корову я завтра в Мяксу отведу. Деньги, они надежнее.

— Цево, надежнее... — все-таки пролилось дождиком на печи, когда задели ее кровное.

Вот так: поплачет да обсохнет. Предстояло и самое тяжкое досказать:

— За дома, которые остаются на корню, страховку выплачивают. Как ни худо, с тыщу-то все-таки дадут.

Больше он под божницей усидеть не мог, боялся неизбежного вопроса: где сам-то жить будет? Да и вторые петухи уже пропели — надо было кончать еще вечером, после разговора с кумом, решенное дело...

Кавалерийская, огненно-буланая Залета, пригнанная из Рыбинска и брошенная в хомуте — когда это бывало? — стояла у крыльца, терпеливо ждала нерадивых хозяев. Кажется, обрадовалась, что вышел сам старый, потянулась губами к его уху. Тишуня дал пожевать свое вкусное седое ухо, погладил Залету по влажному, как бы заплаканному носу и торопливо стал распрягать; не то чтобы боялся передумать, а просто нечего было тянуть волынку, да и животине самое время отдохнуть. Но прежде чем скинуть последнее, уздечку, он сбегал в сарай, принес ветошку и банку с керосином, потертые места на хребтине и на плечах старательно отмыл, хорошенько прижег керосинчиком. Щипало, конечно, но Залета, лошадь ученая, знала: после того легче станет. Не дергалась. Грязь она не любила, умница. Осмотрев Залету напоследок, Тишуня сдернул уздечку — и резко, больно хлестнул ее по ногам. Вот это уже было против всяких правил! Залета, кажется, обиделась, хрипло заржав, ускакала на улицу. Давай, давай, родимая...

В розовевшем рассвете еще несколько лошадиных голов промелькнуло, все ошалелые и явно без уздечек и без ночных ошейников — ни один шаркун-колоколец не шаркнул даже в беге.

— Вот так-то, кум мой догадливый, — похвалил Тишуня его сообразительность и возвратился в дом.

Видно, долго возился у лошади — Игнатий уже собирался в дорогу, мать хлопотала у стола. Они не спросили, что он делал на дворе, и было ясно: знают все и понимают.

Выпив на дорогу вчерашнего молока и положив в мешок хлеба, сын приобнял отца и сказал:

— Раз так, будем жить по-пролетарски.

— Будем, Игнатий, — ответил Тишуня и проводить его не пошел, мать это сделала.

Вернулась она нескоро, вся в росе, и попросила:

— Цево, ты отдохни, пока я напоследок нацокаю...

— Пожалуй что и отдохну, — согласился Тишуня.

С добрый час он все же поспал — прощание хозяйки с коровой затянулось. А когда вернулась с подойником, закричала:

— Цево, цево? Давай поскорее, не тяни душу!

Он не стал завтракать: надел чистый пиджак, к ошейнику коровы прищелкнул вертлюжок поводка и скорым шагом пошел к переправе через Шексну. Можно уже было не опасаться, что столкнутся с сыном. От здешнего Черепановского шлюза плоты уходили чуть свет, Игнатий был уже явно на реке.

Так оно и вышло: целая связка плотов уплывала на Рыбинск, змеиным хвостом изгибалась в излуке. А тут и ему повезло: быстро паром подошел. Единственное, что кольнуло напоследок, — провожавший их табунок лошадей, все без колокольцев и без недоуздков. Он вздрогнул, насчитав тринадцать, уже тринадцать... но от деревни еще одна бежала, четырнадцатая, и так ржала, так знакомо раскатывала горловые камушки, что даже корова засучила ногами. И паромщик, всем тут друг, пригляделся:

— Вроде твоя Залета, Тихоныч?

— Не моя, — буркнул Тишуня и отвернулся.

Может, поэтому и Шексны не заметил, как бы сразу и оказался на другом берегу, у базара. Коров в летнее время продают ведь только дураки, это каждому известно, — он мог бы взять и больше пятисот, предложенных с ходу, но торговаться не стал. Раз уж рушится дом, то за коровий хвост не хватаются. Прежде чем возвращаться в свои забережные шалаши, надо было еще старуху пристроить. Племянница, о которой он говорил, — дочка увезенного на Севера еще в тридцатом году братеника, — жила в няньках при больнице с карапузами-двойняшками, явившимися на свет в горькой безотцовщине, и, конечно, несказанно обрадовалась неожиданной подмоге. Тишуня только договорился, чтобы не торопить его старуху — пусть по-божески распрощается с домом, который срубил он для нее, еще женихом, как раз после японской войны, на радостях, что живым с сопок маньчжурских вернулся. Племянница о японской войне ничего не знала, огорчилась задержке, но нашла утешительный довод:

— Ладно, дядька. Дома́ у вас еще до осени, видно, попалят, так что тетка долго в деревне не засидится.

Типун бы ей на язык! Но приходилось поддакивать: племяннице хорошо с такой подмогой, да ведь и старухе нужна крыша над головой.

О себе Тишуня не думал.

II

Пройдя до нынешнего Волгостроя Беломорканал, огни, воды и медные трубы победных оркестров, Рапопорт уже должен был ничему не удивляться. И тем не менее смотрел на московского посланца с ужасом и недоумением:

— Товарищ Блидма̀н?!

Газеты трещали на все лады об этом Блидмане, начальнику Волгостроя со всех сторон советовали поскорее внедрить на своей стройке «стахановские методы Блидмана», но никогда Рапопорт не думал, что придется этим вплотную заниматься! Метод известный — на отстающем участке добавить две-три тысячи зэков, и дело пойдет; так велось со времен египетских пирамид, так и Беломорканал через всю Карелию пропрубили. С газетными лозунгами Рапопорт никогда не спорил, но и вникать в них не вникал. «Даешь рабсилу!» — вот лозунг. А ее прибывало — некуда девать. На механизм не поставишь, на гидроузел тоже не сунешь — ссылай в теснящие котлованы. Там, правда, и без них не протолкнешься. Единственное, где можно рассредоточить, — на лесоповале и на расчистке ложа водохранилища. Но, насколько он понимал, «метод Блидмана» связывают только с погрузкой-разгрузкой, с перекидкой по транспортерам землицы и всего прочего, сыпучего?..

— Слыхал, слыхал, — тянул он время, — даже «Правда» пропагандирует. Изучаем, вникаем. Думали послать кого-нибудь на курсы к вам... А тут сам товарищ Блидман!

— Да, Абрам Блидман, прошу любить и жаловать, — как-то даже пришаркнул ножкой маленький посланец. — С личным поручением от Наркома товарища Ежова. Свежая брошюрка! Не читали?

Рапопорт и газет-то по неделям в руки не брал — когда в этой сутолоке? — а тут ему подсовывали, действительно, целую брошюру! Он хотел отшвырнуть ее вместе с бумагами нахального командировочника, который возник как бы из прошлого времени, вместе с подхваченным где-то в дороге именем опального Наркома... но взгляд его невольно зацепился за крупно выписанный заголовок: **«На приеме у Народного комиссара водного транспорта...»*** Сомнений не оставалось: самозванством здесь и не пахло...

— Я слушаю вас, товарищ Блидман, — взял себя в руки Рапопорт, хотя они и тянулись невольно к шивороту этого московского посланца.

Тот ничуть не смутился. Маленький, черняменький, юркий, поистине сама ненавистная жмеринская наивность, — он не слышал ничего, кроме своего голоса, он упивался, рассказывая недавнее:

— Как вам нравится — мой метод погрузки три года не признавали! Я тогда работал...

— В Жмеринке? — не утерпел со своим ехидством Рапопорт.

— В Киеве, — поправил его Блидман. — В Днепропетровском пароходстве. А там знаете какие хохлачи?! Ого! Рационализатора Блидмана не пускали, над бедным Блидманом смеялись. Я добился, что производительность ленточного транспортера «Макензен» достигла ста двадцати километров в час, и что же?.. Мне ставили палки в колеса! И только с приходом в Народный комиссариат водного транспорта Сталинского Наркома Николая Ивановича Ежова мои идеи воплотились в жизнь. Да!

Рапопорт ушам своим не верил: прошлое, славное прошлое возвращалось! Вот так: в облике маленького, как и сам Нарком, говорливого киевского — надо же, не жмеринского! — наивнейшего сородича... Еще первой весенней водой смыв из отделкадровских списков всех и всяческих земляков, Рапопорт и этого, без сомнения, послал бы в волжскую баню, но не тут-то было! Голос курчавого посланца гремел на весь кабинет, голос захлебывался от восторга:

— Второго июня меня вызвали в Москву. Принял товарищ Ежов. Это самый замечательный день в моей жизни! Дорогой Николай Иванович предложил мне — мне, Абраму Блидману! — создать в Наркомате оперативную группу — чтобы быстро внедрить стахановские методы перегрузочных работ. На пристанях и в портах — в первую очередь. У вас самый большой объем работ, товарищ Рапопорт. Вами я займусь самолично.

Ну просто залюбуешься землячком! Это не походило уже на простую наивность...

— Товарищ Ежов сказал: ваша задача — сплотить вокруг себя железных людей. Думайте, Блидман, думайте! На каждый участок двигайте свои кадры. Помните, Блидман: сталинские кадры решают все! Мы должны вести погрузку-разгрузку в десять раз быстрее, чем Америка. Слышите, не бойтесь врагов и уклонистов, Блидман! На водном транспорте мне досталось в наследство немало гнилой рыбешки — вытряхивайте ее на берег. На революционную сковородку, Блидман! Дураков — тоже. Пескари и караси хотят жить спокойно. Не трусьте, Блидман, ввязывайтесь с ними в драку. Я поддержу вас! Он так и сказал: поддержу, Блидман! Он пожал мне руку на прощание. И посоветовал начинать с Волгостроя. Да, он так велел простому советскому человеку — Абраму Блидману. Этот день забыть нельзя! Абрам Блидман не забудет, Абрам Блидман оправдает доверие Сталинского Наркома! В Америке транспортеры грузят пятнадцать тонн в час — мы будем грузить в двадцать раз больше. Так я ответил Наркому Ежову!

Рапопорт понимал, что попал под какой-то бешеный, неукротимый гипноз, — сам того не сознавая, уже стоял перед этим невесть откуда свалившимся посланцем. Неужели время вспять повернулось? Неужели он дал где-то маху? Он, прошедший огни и воды Беломорканала?..

— И сколько же вас, товарищ Блидман?.. — с трудом обретал Рапопорт свою обычную уверенность.

— Оперативная группа при Наркомате состоит из сорока человек. Но к вам приехало только пятеро, во главе со мной. Не маловато?

— Не маловато, товарищ Блидман, раз вы сами берете руководство. Действуйте, как сказал Нарком! — отходя, чуть заметно улыбнулся Рапопорт. — О вашем быте я позабочусь. Отдохните на рыбке денек-другой — и начинайте.

— Вы с ума сошли, товарищ Рапопорт! — в комичном ужасе вскочил маленький, прыткий Блидман. — Какой отдых, какая рыбка? Я сейчас же еду на объекты.

Он вскочил, побросал в портфель вырезки из газет и брошюры, но Рапопорт остановил:

— Да погодите все-таки немного! Вам выпишут пропуск. У нас, знаете ли, строго.

— Да, да, строгости я люблю! — забегал по кабинету Блидман и не успокоился, пока помощник не принес ему пропуск на все объекты Волгостроя.

«Мама ро̀дная!» — плюхнулся в кресло Рапопорт, когда дверь за именитым рационализатором захлопнулась. Его разбирал смех, но смех этот остановило каким-то подспудным страхом. Если опальные Наркомы бросают в бой таких вот одержимых Блидманов — значит, конец близок, значит, грядут еще горшие перемены... Почему это наркомовского рационализатора направили именно в Волгострой? Сидел бы себе на Днепре тише

*Речь идет о главе из брошюры А. Ф. Блидмана «Три года моей работы» (Москва, издательство «Водный транспорт», 1938).

карася — так нет, хвостом хлестать по Волге! Все это было неспроста, как понимал Рапопорт. По крайней мере в двух Наркоматах — внутреннем и водном — менялись кадры, сводились счеты, и кому-то хочется, очень хочется в мутной водичке поймать такого сома, как начальник Волгостроя... Что делать, на многих заседаниях он бывал вместе с Железным Наркомом, на многих фотографиях — с правой, любимой его руки! А сколько в ней прежней силы осталось?!

«Нет, если киевский простачок хочет славить поверженного Наркома — путь славит, а Рапопорт... Рапопорт будет тихо и незаметно делать моря и электростанции!» — нескоро, сбитый с толку, но пришел он к этому спасительному выводу. Никаких Блидманов на порог не пускать! Никаких наркомовских любимчиков! Первые головы с любимчиков-то как раз и падают...

Вот дожил: даже муха шальная раздражала! Он сгреб несколько газет — и вдребезги разбил возмутительницу спокойствия. Газеты рассыпались веером — и сразу ожгли несколькими заголовками:

«Разгрузка по методу товарища Блидмана»;

«Успехи блидманцев»;

«Грузовой пароход «Борец» переименован в «Блидман»!»

Вот этого только и не хватало, чтоб к Переборам на «Блидмане» приплыл товарищ Блидман... да вместе со своим любимым Наркомом!..

Нет, нервы у него совсем расшатались. Не мог свести воедино такие простые слова, как «Борец» и «Блидман»... Коли так, то вышел от него сейчас не человек — чудище в сотню лошадиных сил!

Топая чуть не строевым шагом по своему кабинету, Рапопорт вдруг зло, нахраписто, фальшиво пропел:

Были когда-то и мы рысаками...
Э-эх, сотня гнедых, сотня гнедых!

Вбежавший на это громовое песнопение порученец долго не мог понять — чего хочет начальник Волгостроя, а он, смутившись, вспомнил самое обыденное:

— Выпить у нас найдется?

Порученец на радостных крыльях вылетел из кабинета. Дело ясное — что дело темное, вечернее...

Больше стахановцу Блидману, рационализатору Блидману ни разу не удалось застать его врасплох. Начальника Волгостроя не было. Начальник в разъездах по дальним объектам. Начальник в Ленинграде, а может, и в Москве. Начальник... черт знает куда подевался начальник!

Штабисты и порученцы умели морочить голову. Личный посланец Наркома уехал в полной уверенности, что начальник Волгостроя занят непроворотными государственными делами. А начальник... а начальник все три дня, пока киевский рационализатор внедрял среди зэков и пошехонцев свои новаторские методы, удил рыбку на одном из тихих притоков Шексны. В конце концов, он не был в отпуске с начала строительства, три года, — день за год, как говорят. Так что причина вполне уважительная...

...Совсем другими, повеселевшими глазами встретил Рапопорт новоиспеченного инженера:

— Что ж, поздравляю с дипломом, товарищ Свищев!

— Спасибо, товарищ Рапопорт. Когда прикажете приступать?

— Ты вроде еще без петлиц и кубарей? Какие приказания!

— Товарищ Рапопорт, приказ о приступлении к работе...

— Ах да... Пре... приступление! Даю, даю такой приказ. Само собой.

На Свищеве была ладная комсоставская гимнастерка с белым, назойливо выступающим подворотничком, того же сукна брюки, засунутые в высокие яловые сапоги, — все поношенное, но чистое, выглаженное, строгое. Даже фуражка что-то военное напоминала, хотя не было, конечно, ни звезды, ни лака на козырьке — подкачал, подкачал с козырьком приодевшийся в Москве инженер...

Но почему именно — в Москве? Рапопорт решил проверить свою лукавую догадку.

— Дорого дерут на базаре с наших инженеров? — по праву старшего бесцеремонно помял он в пальцах привычное глазу сукнецо.

— Дорого, товарищ Рапопорт. Спасибо, вещевики бэу подыскали, — не стал таиться Свищев, хотя понял коварность вопроса.

— И сколько же?

— По бутыленции за штуку, — широко и открыто улыбнулся Свищев.

— Итого — три?

— Четыре. Ушивать пришлось.

— Ах ты, мой хороший! — приобнял его Рапопорт. — Выправка — прямо лейтенантская!

На это Свищев ничего не ответил, смущенно и расслабленно потупился. И Рапопорт, к своему изумлению, понял тайное желание новообмундированного инженера. «Неужели и этот?.. — не хотелось доканчивать каверзную думу, но само собой докончилось: — Форма! Форма нынче в моде».

Даже при такой пустяковой и скрытой думке ирония, как ни крути, проступала, и он невольно оглянулся. Но в его служебном кабинете не было никого постороннего. Дух рационализатора Блидмана, голос наивного киевского сородича выветрился в форточку. Сейчас просто зашел, как говорят, представиться новоиспеченный инженер, уже побывавший в заместителях, — пока настоящего заместителя, с лейтенантскими кубарями, не прислали из Москвы, — зашел за новым назначением, понимая, что в заместителях ему, штатскому, больше не бывать. Скромно, смотри ты, по-студенчески постучал. Остановился у порога, разрешения спросил. Можно бы его с порога без разговоров и отправить вслед за Блидманом в отдел кадров — срок отпуска на защиту диплома был оговорен в приказе, а Свищев в этот срок уложился, только завтра следовало выходить на работу, — но то, что он вышел сегодня, пускай и в середине дня, невольно польстило самолюбию. Начальник громоздкого, огражденного приказами, уставами, колючей проволокой, овчарками и прочими прелестями Волгостроя — он, сам не ведая, тоже нуждался в такой вот наивной привязанности. Его боялись, может, и уважали, но искренности не допускали; допусти — и придется ведь объяснять, с каких таких плеч досталась инженеру Свищеву форма, в которой еще недавно щеголяли спецы душеспасительного Орджоникидзе... Совсем, совсем недавно, еще на Беломорканале... Ах, Беломор, ах, Беломорчик, канал славненький! Не с папиросочку — с оглоблю тысячеверстную! Рапопорт с удовольствием потряс новенькой пачкой и закурил. Беломорканал, канал беленький! Как же скоро, как же славно — ах, мама родная! — вывел он на простор нынешнего Волгостроя молодого, исполнительного, ревностного, но все-таки мало что смыслившего в строительстве лейтенанта, — чего уж там, не до дипломов было. Это нынешние Свищевы свищут по столицам за дипломами, а они на достославном Беломорканале гонялись за инженерами — просто голодными, потерявшими лик человеческий бывшими спецами, которых манила близкая финская граница. Наивные люди, верили в свои гнилые ноги! Верить можно только в овчарок, если они хорошо покормлены. Да и то... Прикармливали самых злых, ублажали самых гордых. Рапопорт не доверял, конечно, ни овчаркам, ни самим овчарникам, но другого выхода не было; в одиночку кулачки-мужички канал не могли построить, спецы требовались. А они, разбалованные Орджоникидзе, этого не понимали. Вот и получалось: одни дураки бегали, другие их догоняли. Только и всего. Он, лейтенант Рапопорт, едва пристегнувший к петлицам второй кубарь, старался поменьше бегать, а побольше давать мерзлых кубометриков. К своей чести, глотку понапрасну, как другие, не драл — любил скалистую и болотистую, проклинаемую всеми карельскую землицу. Он не жалел, как некоторые горлодеры, дарового огня и не ломал понапрасну кайла, — он заставлял думать опустившихся до пайки спецов. Мужички-кулачки пускай кайлят! А спецы пускай шариками-роликами ворочают! Пока иные лейтенанты, со всеми своими шарагами, овчарками и овчарами, драли голыми зубами кубометр канала — он выжигал и вырубал хитроумными клиньями эти кубики, как орешки; он возил их наверх хоть и в самодельных, но поставленных на ролики тачках, а зимой — по ледяным канатным самоспускам. Пока горлодеры и дурошлепы топили в болотах, вместе с кулачками, целые батальоны серых спецов — он отводил и спускал гиблые воды, он посуху, не стесняясь подсказки вшивых спецов, вел свой участок канала. Серую казенную пайку не только не заначивал — старался, коль выходило, и приварок, где грибной, где лосиный, по котлам рассовать; за это его и любили, чего уж скрывать, бывшие спецы и бывшие кулачки, не пожелавшие колхозов. А уж попы да цадики — те прямо отцом родным называли, на своем лампадном языке. Радовались, что не мешает им под святую молитву канавы копать. Тряси, глупый цадик, всеми своими пейсами, кланяйся бороденкой, отче, бей карельской земле поклоны, владыко, хоть сам патриарх! И кулачков-подкулачников за своей святой молитвой веди! Привыкшие к вологодским да полесским болотам, они, ненавистные друг другу попы и раввины, по гиблой Карелии шли рука об руку истинно посуху — прямо с библейской улыбочкой. Он не мешал им улыбаться — он требовал только кубометры и километры достославного канала. И как же пылили они по просохшим торфяным болотам! Даже выжигали где могли чертов бездонный торфяник! И поэтому — как своего Христа и Спасителя — вынесли лейтенанта прямо в майоры и усадили в кабинет начальника Волгостроя, — ну, не так чтобы уж совершенно прямиком, но и без задержки в капитанах. Капитаны, сбившиеся с ног и с круга, сами под конвой попадали...

Вспомнив своих незадачливых приятелей-сослуживцев, он с особенным удовлетворением прикурил от окурка следующую «беломорину».

— Вот такие, Свищев, дела!

— Какие, товарищ Рапопорт?..

Не знал Рапопорт — радоваться или ругаться, что инженер сбил его своим глупым вопросом с любимых воспоминаний. Пожалуй, следовало порадоваться — беломорские поминки, как ни крутись, могли и в дебри болотные завести...

Ломая от какого-то внутреннего испуга «беломорину», вскинул голову:

— Как, ты еще не ушел, Свищев?..

— Вы не отпускали, товарищ Рапопорт, — ответил тот и лукаво улыбнулся. — Вы заняты были...

— Занят?.. Ах, да! — Он вдруг тоже рассмеялся. — С тобой, Свищев, не соскучишься!

— А чего скучать? Жить стало лучше, стало веселей...

— ...шея стала тоньше, но зато длинней. Так-то поют наши доходяги... и твои прорабы, Свищев. Твои! Пойдем, погоняем.

Гурьян с готовностью побежал вперед — дать команду, чтоб готовили катер. А чего готовить-то? Рулевой Миша дело свое знает, у Миши катер всегда наготове. Они тронулись, едва Рапопорт ступил на палубу.

Вначале он хотел прокатиться вверх по Шексне, но передумал: в шлюзе придется барахтаться, а время уже к вечеру заворачивало. Лучше в Мологу, тем более что оттуда знай сыплются жалобы, и все прямым адресом: *«Москва, Кремль, Сталинскому Наркому товарищу Ежову»*. Он сел за стол и вытряхнул из полевой сумки целую пачку писем. Некогда было раньше, только адреса и прочитал. Сейчас с интересом и великим изумлением рвал конверты. Какую ахинею несли эти мологжане! Ну, не дурачье ли? Нашли на кого жаловаться — на Волгострой! Рапопорт качал головой, читая:

«Нас выселяют из Мологи, но у меня нет денег на переселение. Рабочие только за разборку потребовали все, что мне заплачено за дом. Все 900 рублей! Но дом еще надо перевезти и собрать, а на какие шиши? Я — пенсионерка, получаю пенсию 10 р. в месяц, со мной проживает сестра, которая получает 12 р. Да и как можно ликвидировать свое хозяйство двум женщинам за такой короткий срок, что дают, за полтора месяца? Вроде Волгострой нас должен перевозить, но тамошние начальники, все военные, не хотят и разговаривать...»

«Мой отец пенсионер 73-х лет, мать в таком же возрасте, а Волгострой отказывается переносить наш дом. Я работаю на стройке, но мне даже отпуск не дают, чтобы самому взяться за дело. Что же нам делать — ждать, когда затопит?»

«Меня вызвали в оценочную комиссию Волгостроя, выдали за дом 800 р. — и дали 10 дней

сроку на выезд. У меня нет мужа, на иждивении трое малолетних детей, а заработок 18 р. Не оставьте на улице на холодную зиму!»

«Волгострой признал мой дом непригодным к переносу, и меня с 4-мя детьми выселяют из Мологи в месячный срок. Я существую с детьми на 40 рублей. Если искать квартиру в Рыбинске, то там платят от 50 до 80 рублей в месяц. Не погубите, родной товарищ Ежов!»

«Волгостроевцы, собаки служивые, ведут себя, как завоеватели. Дорогой Николай Иванович! Скажите про нас товарищу Сталину — ведь махновцы так не поступали. Я всю гражданскую прошел, кровь и здоровье отдал за Советскую власть — за что же меня, калеку, терзают псы окаянные?..

*Оценочная комиссия Волгостроя не пробыла в доме и 10 минут — мол, уезжайте, дом переносу не подлежит. Ложь это, товарищ Ежов, вражья ложь! Дом в прошлом году отремонтирован. Просто денег не хотят платить. Уж если море на нос напускают, так хоть по-человечески переселили бы..."**

Рапопорт не мог дальше читать. Писем с этим, прежде грозным, московским адресом было не меньше сотни. «Господи, мама родная! — внутренне вскричал он. — Когда они перестанут быть такими наивными?!» Но чего удивляться на провинциалов-мологжан, если он только третьего дня избавился от московского восторженного дурака — от Абрама Блидмана! Сколько же времени будет тащиться грозная слава за человеком, у которого никакой власти уже не осталось?!

Конечно, до Москвы жалобы не доходят, хотя почта напрямую Волгострою и не подчиняется. Взяли моду, чуть что — Наркому! Рапопорт пощелкал пряжкой полевой сумки: очередное письмо читать не хотелось. И не только потому, что «Сталинский Нарком», к которому обращались, теперь отношения к Волгострою не имеет, — занимается водным транспортом, как прежде Пахомов, исчезнувший без следа на каком-то речном повороте... Рапопорт не видел в том ни плохого, ни хорошего, а только суть: его начальник и фантазер беломорский — уже над ним и не начальник и фантазии наверняка оставил. Весенний наркомовский «Плес» и принес как раз сигнал о смене Наркомов; летние месяцы смутную весть подтвердили. Это раньше «Железный Нарком» мог сказать: «Где наша нога ступила — там коммунизм прорастает». Знал майор Рапопорт, а тем более тогдашний лейтенант, какой коммунизм проступал под ихней ногой, — знал и чрез меру не усердствовал... тем и жив до сих пор, помолись за него жмеринская мама! А кто усердствовал без всякой оглядки — где он сейчас, сердешный? Рапопорт уже встречал таких даже в своих лагерях — за что, за что, родимые пьяницы?! Нет, на своего любимого Николая Ивановича он не роптал, он верил, что Николай Иванович как-нибудь вывернется и обернется... ну, хоть Наркомом иностранных дел! Действительно, не Шексной же, не Мологой ему заведовать. Все так же, как и прежде, по правую руку вождя — со своей лихо заломленной фуражкой и беззаветной улыбкой. Видно, тюфяк Пахомов до дна иссушил водный транспорт, если пришлось бросить на укрепление самого Сталинского Наркома! Найдя такое объяснение, Рапопорт тоже преданно и самозабвенно улыбнулся... но о портрете, кем-то заботливо снятом со стены каюты, постарался не вспоминать. Пятнадцать лет крутясь в жестком подворотничке, он знал, разумеется, что портреты Наркомов ни с того ни с сего не исчезают, но знал также, что об этом не спрашивают. Приходит время — вешают, приходит — снимают, только и всего. Сейчас речная каюта начальника Волгостроя была вовсе без наркомовских портретов — при одном товарище Сталине, — и это его, при здравом размышлении, не удивило... не должно удивлять. Портреты сами по себе не меняются — портреты меняет время. Значит, время такое настало — беспортретное. Сбоку от товарища Сталина, как раз у правого плеча, осталось светлое пятно, но это ничего в жизни не меняло. Майор Рапопорт просто цепким глазом определял — долго ли еще продержится угасавшее на открытом свету пятно, и пришел к выводу, что уж никак не меньше полугода. Каюта была обшита отличной вагонкой, она в одночасье не потемнеет, если на место Николая Ивановича не вывесить другой портрет. Новых наркомовских приказов ему не присылали, но он знал — чей будет, если будет, и эта задержка с портретами и приказами выходила добрым знаком. Незнание — еще не преступление; хуже, когда знаешь, да молчишь. В прошлом году в этой каюте было три портрета: товарища Сталина, по правую руку — товарища Ежова, а по левую — Пахомова, поскольку на Волге он тоже был большим человеком. Потом кто-то невидимый стряхнул портрет с левой руки вождя — и все лето жили при двух преданно объединившихся портретах, а теперь и правая рука свободна — поднимай ее как знаешь, в каком угодно приветствии. Рапопорт не сомневался, что эта рука и создана для приветствий и сама знает, когда нужны помощники. Значит, сейчас попросту не нужны.

Он оторвал от стены слишком назойливый взгляд, скомкал в пальцах «беломорину» и сказал сидящему в уголке инженеру:

— Такие-то дела!

— Такие, товарищ Рапопорт, — весь вытянулся Свищев.

Интересно, понимал ли этот цыпленок ход его тяжелой, как жернова, мысли? Задумался ли над словами: «Вихри враждебные веют над нами?..» Тут оступиться — что на палубе катерка, если снять и без того хилое ограждение...

— Ми-ша! — выплюнул он злость в переговорный матюгальник. — Беломор-вальс крутишь?

Слушать, что ответит Миша, не стал, но катер пошел ровнее на завороте. Пора было и самому выравниваться — новоиспеченный инженер следил за ним преданным взглядом. Отходя и успокаиваясь в виду наплывающего монастыря, сказал уже насмешливо:

— Без шума нам Мологу не переселить!

— Переселим, товарищ Рапопорт, — был скорый и спокойный ответ.

*За письма переселенцев автор благодарит ярославского краеведа Ю. А. Нестерова. Они имеют конкретных отправителей — жителей, увы, уже несуществующей Мологи; я не указываю фамилии единственно из деликатности по отношению к наследникам.

Начальник Волгостроя посмотрел на инженера с восхищением: блажен не знающий, что творит! Но вслух предостерег:

— Город старообрядческий, крепкий. Матюгами не расшугаешь на стороны.

— И не надо матюгами. Надо, товарищ Рапопорт, чтоб сами побежали...

— ...как крысы с тонущего корабля! Ну, ты даешь, Свищев!

— Не я — планы наши должны поддать жару. Объявите, что к Октябрьским праздникам Мологу затопит, — и побегут уже сейчас, пока дожди да холода не ударили. Кому охота в грязи валандаться?

— Ты это серьезно, Свищев?

— Вполне серьезно, товарищ Рапопорт. Я в дипломном проекте так писал: «Перед несознательными переселенцами нужно ставить озадачивающие сроки...»

— Какие, какие?

— Упреждающие, чтоб понятнее. Плановый срок при себе держать, а массы озадачить заранее. С большим упреждением... Я понятно говорю, товарищ Рапопорт?

— Да уж куда понятнее! Должен только тебя огорчить, Свищев: кое-что такое... упреждающее... мы уже начинали в тридцать шестом году, но так ничего путного и не добились...

— Не испугали?

— Нас не испугались, Свищев. Сам видишь, до сих пор сидят по кочкам, как кулики, и посвистывают жалобами... Во! — выхватил он опять из полевой сумки пачку писем. — Что с этим проклятым народом делать?

— Упредить по-настоящему. Когда и какая улица пойдет под снос. Оповестить под расписку. Даинуть в город лагеря. Начать уже сейчас взрывные работы... да что я вас учу, товарищ Рапопорт! Без меня знаете — что делать, чтобы крысы побежали с корабля...

Мама родная, за какие такие заслуги свалился на него этот пошехонец? Добровольно, и главное — без подсказки, берет на себя роль чистильщика! Положим, почиститься перед начальством всякий желает — но ведь для форсу, для красного словца, для кубаря или медальки наконец? А этот — по святой простоте. Прямиком выкладывает то, что не решается сказать вслух даже начальник Волгостроя... Может, потому, что именно начальник?

Переселение главного города, подпавшего под затопление, планировалось на тридцать девятый год — времени, мол, вполне достаточно, чтоб районный городишко, снявшись в одночасье, перекочевал в окрестности Рыбинска, как ему предписано. Со всеми его горожанами-староверами. С монастырями, бесчисленными церквами, дореволюционными сиротскими и монашескими домами. С двумя техникумами, с училищами и школами. С театром, самым старым в России конным манежем, пожарной знаменитой каланчой. С двухэтажными купеческими крепостями, нижний этаж которых был обязательно каменный, да и верхний из таких бревнищ, что и татарские тараны в свое время не брали. Вместе с многоверстным людским муравейником, за восемь веков образовавшим над рекой Мологой такую же восьмивековую гору, на которой и встал этот несокрушимый город. Вместе с глупостью людской, строительной неразберихой, вместе с заключенными, лагерями, овчарками, вместе со стотысячной перевалочной базой Волголага, вместе с бесчисленными пристанями, баржами, забитыми вшивым, никому уже не нужным народом, наконец, вместе с обреченными и горластыми защитниками Мологи, — возможно ли, мыслимо ли перенести за одно лето на новое место весь этот вселенский содом?! Да еще так, чтоб пароходы шли — и за маковки церквей не задевали!

Положим, церкви и монастыри никто и не собирается перетаскивать — их взрывать да взрывать; положим, школы, ипподромы, театры сами завалятся, как люди побегут... но далеко ли разбегутся, черт их дери, староверов?! Когда обе плотины, и на Волге, и на Шексне, встанут в свой срок и задержат сток сразу трех рек, когда воды их хлынут вспять и пойдут в первую очередь на староверов-мологжан, поскольку они ближе всех к плотинам, — тогда поздно будет размахивать руками и объяснять, что не успели зачистить ложе водохранилища... Ложе уготовят самому начальнику! И сделают это с тем бóльшим удовольствием, что наркомовская власть в Москве, судя по всему, переменилась — неизвестно, какому Наркому теперь молиться...

Речные блики, залетая в каюту, назойливо высвечивали белое пятно по правую руку вождя. Смотреть туда было нестерпимо и тревожно — помимо воли оно притягивало глаз. Рапопорт встал и задернул шторы на окнах каюты. Нервы, нервы держи, старина! Разве в такие передряги попадали на Беломорканале?..

Все тот же беломорский опыт и подсказал: судьбу не выпрашивай, судьбу бери в свои руки. И чем быстрее, тем надежнее.

— Свищев, ты можешь подготовить расчеты? — как можно равнодушнее обронил он.

— Конечно, могу, товарищ Рапопорт!

— Ну ладно, ладно, не суетись, Свищев... Я так это... тебя хотел поддержать... Надо растить молодые кадры. Кадры решают все!

По разгоревшемуся взгляду новоиспеченного инженера он понимал: искра попала на порох. Ну, а если кого сдуру и разнесет... с пороха и спрашивай! Никто его не просит трещать и рвать все вдребезги. Рапопорт даже посчитал своим долгом предупредить:

— Кто много хочет, с того много и спрашивается — так, Свищев?

— Так, товарищ Рапопорт, — ответил тот без тени сомнения.

Больше они к этому разговору не возвращались. Молога наплывала — как белое и поистине завораживающее видение. Даже время не затерло стены монастырей и многочисленных церквей. Сколько раз проплывал, проезжал и даже пролетал мимо — не дрожала некрещеная, закаленная на Беломорканале душа, а тут дрогнула, виновато затосковала. С чего бы это? Проекты составлял не он, рукотворные моря и затопленные города не он планировал — он со своей многотысячной рабсилой только копал и строил, строил и копал, ну, и целыми километрами, конечно, огораживал поля, леса и болота, чтобы дурная рабсила не разбежалась. Ругают пастухов за изгороди — засеки, как здесь называют? Не ругают. Гложет их совесть, что щелкает кнут? Не гложет. Потому что для пользы самой же скотинки. Пускай жует свое сенцо и за изгородь не суется. Тем более в ихних делах и изгородь-то реденькая — какой-то десяток

проволочек, которые наша доблестная пехота в боях голой грудью рвала. Здесь и этого не требуется — пулеметы по тебе не строчат! Одни реденькие винтовочки по сторонам...

От красоты поднебесной, от монастырей и колоколен его не случайно за проволоку бросило: прежде чем попасть в город, нужно было объехать длиннющий лагерь, и созданный-то в целях переселения. Собственно, и штаб стройки поначалу был здесь — не в бараках, конечно, а в монастыре. Ничего не скажешь: тепло, сухо и привольно, поскольку монашек — монастырь был женский — еще раньше разогнали, кроме необходимых кухарок, уборщиц, служанок и прочей такой наемной вольности. Отнюдь не отдаленность от плотин заставила перенести штаб в Переборы — в конце концов стройка растягивалась от Рыбинска до Череповца и от Углича до Весьегонска, а начальник Волгостроя не прораб, и тем более не лагерный рукраб,* чтоб деньденьской торчать с зэками на плотине, — нет, были причины психологические, как он сам называл. Места в обширных монастырских строениях хватало и для командного, и для подкомандного состава, если принять во внимание и глухие, необозримые подвалы, — должную дисциплину держать было трудно. Стены, взывающие к какому-то глупому богу, — сами стены были тому виной: травили души. Не только у тех, кого охраняли, но и у тех, кто охранял. Бывало, в какой-то отчаянной молитве сходились вместе: издыхающий зэк и пьяный конвоир. Братание Христово — надо же! — чумой заразной разлилось. Что толку ставить к стенке конвоира, что толку бросать в общую яму еще копошащегося зэка! Назавтра новые псалмопевцы в смертную очередь становились. Жуткое это было время, безнадежное. Что-то сдвинулось в общем порядке — не оградить ни овчарками, ни штыками. Он, начальник этого всечеловеческого муравейника, всерьез запаниковал: что делать, что делать?! Горячие головы о пулеметах заговорили, которыми удобнее, чем революционными трехлинейками, гасить непотребные молитвы, но он внял своему разуму: примитивные остолопы! Песней революционной держите порядок! И... стройными колоннами, под духовой оркестр, под «Марш веселых ребят» вывел всю монастырскую нечисть на свежий ветер — поистине в чисто поле. Молиться было некогда: снег на головы сыпал. Не божий — земной дом готовьте! Для одних намотали проволоку и поставили вполне нормальные бараки, для других накатали рубленых комсоставских коммуналок, в два высоких этажа и с двухэтажными голландками. Взвыли было комсоставские жены — ой, задавит такими двухэтажными печами! — но печки ставились крепко, никого пока не придавило. В новоявленном лагере, выросшем в междуречье Волги, Шексны и Мологи, все было надежно и крепко обустроено. Если ДОС — так ДОС,** если барак — так барак, если вышка — так вышка, ничего не попишешь, не лозунгами же их, стервецов, держать! Рапопорт улыбнулся: как раз мимо громадного фанерного щита проплывали, на котором метровыми буквами было написано: «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!»

Он, разумеется, хорошо знал этого лагерного остолопа, выскочившего в начальники после наркомовского «Плеса»; не один лагерь, не один такой остолоп, да и в подробности охраны начальнику Волгостроя, собственно, нечего входить, — его интересовала рабсила, только рабсила как таковая, — но подчинялись-то все лагеря штабу Волгостроя, уж тут ничего не поделаешь... «Не вырубишь топором!» — чертыхнулся при виде слишком прыткого лейтенанта, который спешил с докладом. Он доклад выслушал спокойно и равнодушно; кажется, не любил таких шустрых лейтенантов. И спросил совсем не о том, о чем следовало спрашивать — о непорядках, жалобах и здоровье рабсилы, — нет, поинтересовался, с тайной ехидной мыслью, о своем знакомом затворнике:

— Что там художник, рисует?

По тому, как замялся лейтенант, было видно: художника он намеревался скрывать до поры до времени. Не догадываясь, конечно, что Рапопорт знал его еще по Беломорканалу. Однако на вопрос майора, начальника над всеми здешними начальниками, следовало отвечать, и ответ был без увертох:

— Рисует, рисует... не зная, само собой, натуры!

Нет, лейтенант, сменивший еще беломорского капитана, ничего, неглупый: отвечает по существу. Уличенный в скрытности, доверительно спрашивает — кого ж рисовать теперь?.. Рапопорт прошел в знакомую, наглухо замурованную каптерку и без церемоний подал руку художнику:

— Ну, покажь, покажь, Артемий...

Тот сдернул тряпку с большого, чисто и прочно загрунтованного холста. Рапопорт невольно расхохотался:

— Стареешь ты, Артемий, глупеешь... Глаз косит, рука дрожит? С какого года у нас?

— Сами знаете, гражданин начальник, после смерти Сергея Мироновича...

— Я-то знаю, Артемий, но и ты должен знать: не произноси святые для нас имена.

— Слушаюсь, гражданин начальник!

— Вот и хорошо, Артемий. Понимаешь, почему я смеюсь?

— Понимаю, гражданин начальник, но видите — какая натура? — достал он сильно увеличенную, расплывшуюся, совершенно негодную фотографию. — К тому же я не знаю ни характера, ни имени, ни звания, ни привычек этой натуры — как ее выразить? Вот вас бы я...

— Меня не надо, Артемий, — удержал его Рапопорт. — А работу свою продолжай... в том же духе и продолжай. Хочешь, дам совет? Пенсне не выпячивай назойливо... так, губы поплотнее, порешительнее, не бабу рисуешь... так, уши можно и покрупнее... разрез глаз чуть-чуть восточный, но только, но только чуток, запомни!..

Художник тут же лихорадочно карандашом подправил неясный, раздерганный, явно приблизительный рисунок. Вышло немного стройнее, по крайней мере приличнее, но больших советов Рапопорт давать не рискнул. Он знал, что теперь, уличенные в тайном портретописании, и начальник лагеря, и художник будут из кожи лезть, чтоб на свой страх и риск довести дело до конца, а когда придет срок — утереть нос всем другим недогадливым лейтенантам. «И майорам включительно», — понял Рапопорт. А срок не придет — уж тут самим утираться... Он, Рапопорт, им ничего не говорил и ничего не советовал. Лейтенант явно не промах, если с таким огнем играет. «Как вот и я, бывало!» — вспомнил Рапопорт себя славной четырехлетней давности, еще только входившим в силу. Он портретов, правда, не рисовал, но нового Наркома, нагрянувшего на Беломорканал, и при его-то малом росточке, за версту учуял, первым подлетел с громовым докладом: «Товарищ Нарком! Вся наличная рабсила занята на копке канала! Норма за вчерашний день выполнена на сто пятьдесят шесть процентов! Сегодня будет на сто шестьдесят! Но можно гораздо быстрее, если рабсилу использовать с полной экономической нагрузкой...» — «Ясно, — был ответ, — здесь интеллигентствуют... Лейтенант, с сегодняшнего дня вы будете начальником этого верхнего участка. Смотрите, не оступитесь, здесь болота!» Он запомнил, он хорошо запомнил предупреждающий, ничего не прощающий взгляд маленького, и от этого еще более страшного, Наркома. Этот взгляд сопровождал его по всем необозримым хлябям Беломорканала и вот довел сюда, до Волгостроя, — Рапопорт прекрасно помнил портрет над воротами изгнанного из монастыря ближнего лагеря. Взгляд Наркома каждому входящему говорил: иди и не смей оглядываться! И вот портрет, как и со стены его собственной каюты, исчез, и сам господь не знает — ругать ли за это поторопившегося лейтенанта или похвалить за прозорливость. Подумав, Рапопорт не сделал ни того, ни другого. Быть, как будет!

— Я вроде заговорился?.. Что я понимаю в портретах! — внимательно посмотрел в немигающие глаза лейтенанта и шутовски подмигнул на прощание художнику. — Продолжай, милый, в том же духе!

Шутовство не зря, видимо, напало на него: когда вышел к дожидавшемуся у ворот Свищеву, на том лица не было.

— Что с тобой, дражайший?..

— Он, он!.. — указал Свищев на часового. — Он велел в лагерь убираться! И затвором, затвором!..

— Ну, нашел о чем тужить, — не унимался Рапопорт. — Забыл разве? От тюрьмы, от сумы не отказываются. Учись народной мудрости.

Рапопорт был весел и доволен: что ни говори, а покровительство над такими неотесанными инженерами приятно. Пока шли они от лагеря, пустого и чистого, — рабсила еще не возвращалась с работы, а сачки при виде начальства пуще тараканов в щели забивались, — пока то да се, он решился и на затаенную откровенность.

— Вот ты хочешь, Свищев, сразу быка за рога? — говоря это, Рапопорт думал даже не о нем — о служаке-лейтенанте. — Нет, поживи и посмотри вокруг — что там за быки. Ой, мама родная!.. Может, и нет их, быков-то? Может, и хватать их уж прямо-то за рога не следует? — Он испытующе посматривал на притихшего после лагеря инженера. — А может, и того хуже: такие рожища, что умный человек стороной обойдет... Во, учись у них! — ликующе указал на небольшую команду, всего-то в шесть человек при одном конвоире, под берегом пилили плавник на дрова. — Часовой делает вид, что не замечает нас, и, видишь, что-то шепнул своим хмурикам, — секунда, и все уже за кустами. Зачем лезть на рога, хотя бы и тому же часовому? Под плохое настроение я всегда найду, за что его прижучить, и он это знает, каналья! Нервы мои бережет. Значит, любит. — И сделав такое неожиданное заключение, Рапопорт погрозил кулаком в сторону притихших кустов. — А стоит нам подойти — пилы завоют на всю вселенную, часовой заорет ярославским медведем. Потом подбежит с рапортом, как ни в чем не бывало. Каналья?.. А, прощать — так прощать! Давай-ка и мы отвернемся — не померли бы там за кустами от бездыханья. Люблю я их, стервецов. Славные у нас люди!

Для постороннего уха логики в его рассуждениях было не больше, чем крупиц в баланде, но он-то знал: все именно так и есть. И отвернуться иногда не мешает, и потрафить незазорно. И люди у них славные, и работа славится. Все одно к одному. На сердитых воду возят, даже на начальниках. Где они, самые сердитые беломорские мордачи, бывшие капитаны и майоры? Или поспивались от такой жизни, или сами теперь в лагерях, потому что от слепого усердия слишком глаза нам озолили. Каждому хочется поскорее скрутить эти самые бараньи рога, а где про всех наберешься такого рожья? Изобретать, мудрить приходится. Вот и намудрят чего-нибудь такого на свою голову! Тот же капитан, предшественник лейтенанта, — чего ему было бежать к наркомовскому «Плесу»? Неуж не догадывался, что власть в Москве меняется? Была б голова на плечах — в кусты, да и после пятого окрика не вылезай! Авось и пронесет, как говорят в России; мама родная, пусти пописать, как говорят в Жмеринке! Одно и то же, если разобраться. Дуроломы беломорские давно с кругу съехали, а он — царь, бог и воинский начальник от Рыбинска до Череповца, да, пожалуй, и того подалее. А кто больше всего жалеет несчастных зэков? Он, Рапопорт. Кто не замечает, как конвоиры филонят вместе с заключенными? Он, опять же он. Кто сквозь пальцы, ой, мама, сквозь пальчики, смотрит на дурь и шалость разбросанных по всей Шексне прорабов?.. С Белоруссии да Украины, с Кавказа да с Поволжья такие сливки-вишенки прибывают, что пальчики оближешь! Конечно, на первых порах, пока не обтаскались. К зиме от них кожура гнилая останется, что делать, — не институт благородных девиц! А на первых порах пускай побалуются — смотришь, и срок, и работа, работа веселее пойдет. Веселье, оно жизнь рабсилы продлевает, а рабсила крепит мощь страны. Правильно? Все правильно, как говорит Рапопорт!

И похвалив себя таким образом, он глухо, невидяще уставился на своего спутника. Будто без Свищева не знают, чем занимаются ошалевшие от скуки мужики, коль прибывают сюда такие ясненькие хохлушки! Месяц-другой — и уж силком к тем хохлушкам не затянешь. Вот прополощут их осенние грязи и хляби — поди признай, где хохлушка, а где азиатка...

Он только сейчас понял, что таким вот кружным шажком подбирается к душе этого новоиспеченного дуролома.

— Свищев, ты сколько за прошлую поездку рогов обломал?

*Прорабов-заключенных, чтобы не путать с вольными, называли руководителями работ, отсюда и слово — рукраб.

**Дом особого состава, позднее известный уже как Дом офицерского состава.

— Двенадцать, если по паре на прораба, — с довольным видом высчитал тот.

— По паре и приходится ставить. Прорабы остаются на тех же местах, но с двумя конвойщиками. Одному не справиться...

— Почему же, товарищ Рапопорт?.. — еще не понял Свищев, к чему дело клонится.

— Да потому: у прораба день ненормированный, считай, круглосуточный. А часовой при нем, коль осужден, должен быть? Должен. Полагается трехсменка, но это уж черт знает что! Где штыков на всех прорабов наберешься?

Свищев понял наконец, что перестарался, но обиду сдержать не мог:

— Так что же с ними, саботажниками, делать?..

— А водку пить, дорогой. Водку! — Рапопорт со зла сунул ему в руки свою полевую сумку.

Как раз и случай подвернулся — преподнесли урок. Это уже последнего из шести разжалованных прорабов Свищев спровадил тогда с запиской — здесь, около Мологи, прихватил. Водку, видите ли, с конвоирами дул! А прораб — из мороженых, да незамороженных, значит, цены ему нет. Вслед за своим начальником, отмотав пять положенных лет, уже вольным казаком с Беломорканала сюда пришел и, не нарвись на дурного практиканта, под вольную песенку и попер бы строительный воз. Теперь к пяти прежним еще пять прибавили — потому что скрыть докладные, да еще письменные, не может даже он, Рапопорт.

— Ну что, Валерьян Викентьевич? — подошел он к насупившемуся прорабу — теперь уже и рукрабу одновременно. — Простим практиканта?

— Простим, ежели откупится, — навеки простуженной глоткой похмыкал прораб, не умевший выражать свои чувства. — Выходит, вы опять — гражданин начальник?..

— Выходит так, Валерьян Викентьевич. Что делать! Прощаем или нет?

— Сказал — если откупится!

И тут пришел черед изумиться самому начальнику. Полевая сумка, которую в знак наказания таскал Свищев, тоже сердито и решительно скрипнула — в одной руке стакан, в другой бутылка, и уж отнюдь не мальчишеский зов:

— Ладно, Валерьян! Пьешь... нашу валерьянку?

Хоть и любил Рапопорт в этой скучной жизни всяческие подвохи, хоть нечто такое и замышлял, — выходка молодого инженера была уж чересчур. Даже прораб не решался взять стакан, прежним, беломорканалским взглядом закаменел.

— Да-а... — тянул время Рапопорт. — Что будем делать, Валерьян Викентьевич? Может, отправим этого практиканта к тебе на практику? Право, прорабы есть — рукрабов не хватает!

Рапопорт не шутил. Рапопорт ждал ответа. Лицо Свищева сделалось под цвет бутылки, которая тряслась в руке. Прораб угрюмо смотрел себе под ноги.

— Не стоит жизнь этому сосунку ломать... — наконец поднял он козырек тяжелой суконной кепки. — Моя — не сегодня поломана... Ты, парень, не переживай, — взял он стакан и с лету махнул в рот.

Около сотни заключенных, разбиравших береговые кирпичные склады, сдержанно, одобрительно загудели; конвоиры погнали их на всякий случай в помещение, с глаз долой. Но один конвоир остался возле прораба, в трех метрах, с винтовкой у ноги, строгий и молчаливый. Если он под оком начальства и святил устав, так не больше обычного.

— Такие пироги, мой доблестный стукарик... — назидательно тыкал носом своего спутника Рапопорт. — У этого человека золотой диплом горного инженера, а он кирпичи на берегу Мологи ковыряет. Учись мудрости жизни!

Свищев не мог больше держаться, опустил к ногам бутылку и так, на полусогнутых, побежал прочь. Рапопорт посмотрел на него успокоительно:

— А ведь толк выйдет... Как, Валерьян Викентьевич?

— Выйдет, если раньше времени не скурвится, — и прораб ободряющим взглядом проводил своего незадачливого стукарика.

На это нечего было отвечать. Кому что на роду написано. Знал Рапопорт привычку бывшего инженера, выбившегося в люди кухаркиного сына, опять вот впавшего во мразь, — о судьбе-злодейке порассуждать. Это уж неисправимое, лагерное...

Рапопорт и себе налил полстакана, остальное сунул прорабу:

— Угости, Валерьян Викентьич, и конвоира. Видишь, умный человек — отвернулся.

Как ни строг устав, на тот момент, когда выпивал начальник, конвоир сделал несколько шагов в сторону, чтобы обернуться уже к пустому стакану.

Рапопорт не сомневался, что остатки бутылки они поделят мирно. Куда ему, нынешнему рукрабу, бежать? Такие не бегают, на таких и держится стройка. А без конвоира все равно нельзя — десятка! Может, и пересмотрят это пустое дело, может, и сократят... Рапопорт грустно усмехнулся про себя. Вряд ли! На этот счет начальник строительства не обманывался. Что говорить, опыт!

Свищев сидел под берегом возле катера и не поднял мокрое лицо даже на скрип гальки под каблуками.

— А вот это уже непорядок, — заметил Рапопорт. — Вста-ать!

Свищев вскочил, кажется, еще минута — залопотал бы: «Гражданин начальник, гражданин начальник...»

— А ведь ты прав, мой дорогой, от начала до конца.

— К-как, п-прав?..

— А так, — подсел к нему Рапопорт. — Представь, спустил бы одному, другому, третьему прорабу... Тем более у хохлушек бы пображничал! Думаешь, на тебя самого не написали бы докладную?..

Такой оборот дела кого угодно мог сбить с пенька. Рапопорт пожалел парня:

— Так и должно все быть. Все правильно. За уроки скажешь спасибо.

— Не скажу! Не скажу! — по-мальчишески закричал он, так что Миша из будки катера выскочил и повертел у виска пальцем.

— А я говорю — скажешь, — терпеливо вразумлял его Рапопорт. — Без этой науки ты пропадешь, Свищев.

— Знаю, знаю, что пропаду. Я свободный человек, сегодня же напишу заявление...

— Э-э, нет! Вот это уже не пойдет. Заявления у нас не пишут. У нас или на служебных катерах разъезжают... или как уважаемый Валерьян Викентьевич!.. Ну, куда, Свищев?

Тот утер рукавом красное, потерявшее человеческий вид лицо:

— На катер...

— Я так и думал. Миша!

Мишу не нужно было подгонять — мотор уже гремел. Катер вылетел на простор Мологи, с которой открывался белый на розовой заре, призрачный город. Он словно оторвался от горы, от земли и завис над тихими вечерними водами — со всеми своими монастырями, колокольнями, садами, двухэтажными каменными крепостями, парками, школами, ипподромами, пристанями, бесчисленными прибрежными лодками...

— Жаль... — вздохнул Рапопорт. — Обреченный город.

— У меня бы никогда не поднялась рука...

— Вот твоя-то рука и поднимется. Твоя, Свищев, — жестко, без объяснений, объявил Рапопорт. — Побаловался в заместителях, пора и за дело браться. С завтрашнего дня будет приказ о назначении тебя начальником Переселенческого отдела.

Он и на этот раз пожалел слишком впечатлительного парня и ушел к себе в каюту. Мысли его были просты и покойны, как вечернее течение Мологи; он думал свою обычную думу: «Какие ни строй плотины, реки вспять не текут, люди пятками наперед не ходят». Он тоже был обречен плыть по течению. «Плотины, они для дураков!» И это говорил, пускай и для самого себя, начальник строительства! Начальник двух величайших волжских плотин, которые через пару лет должны остановить разом и Волгу, и Шексну, и блажную Мологу!.. Никакого противоречия не было: он только исполнял — не порождал планы. Исполнял хорошо и толково, что говорить. И — всегда с мыслью о неизбежной расплате за сегодняшние удачи. Именно поэтому и хотел быть в стороне от самого грязного, самого слезного дела — убиения восьмисотлетнего города. Переселение — для красных слов; переселятся, и то после жесточайшей ругани, несколько сот самых смирных обывателей, только и всего. Остальное должны довершить аммонал, огонь и вода... И лагеря, лагеря, черт бы их побрал! Он любил вот так, в тишине, поругать свои славные лагеря. Не асерьез же, конечно. Куда без них? Сто двадцать тысяч человек, ставших безымянной рабсилой, собралось под его начало — целая армия, армия трудовая! И он, майор Рапопорт, пускал ее по дну будущего рукотворного моря — от Рыбинска до Череповца и от Мологи до Пошехонья. Что живое устоит под топотом ног такой трудармии? Там, где она пройдет, будет голая, будет мертвая земля, которую не жалко и бросать под воду...

«Нет, этот пошехонец Свищев послан мне в утешение! Видит мама родная, лично я ничего плохого не делаю!»

Верно: пусть пошехонцы сами и разбираются. Свищев так Свищев!

III

Гурьян Свищев приступил к делу незамедлительно. Неизвестно, кто уж решал эти организационные дела, но назавтра же в Переборах, в одном из новых двухэтажных, срубленных на славу домов появился кабинет с табличкой: ОТДЕЛ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ. Кабинет просторный, светлый, на первом этаже, разумеется, — чтоб посетителям не бегать по лестницам. Как в сказке, явились трое сотрудников, не считая оставленного за ним Миши-моториста, Миши-два, — во избежание путаницы с рулевым начальника строительства. Стало быть, пять человек, четыре стола — Мише-два зачем стол? — и с десяток стульев, для будущих посетителей. Сказка так сказка, вершилось быстро — по приказу. Просто вошли трое добрых молодцев и коротко доложили: «Мы к вам направлены, товарищ Свищев». По повадкам и выправке все они, без сомнения, были военными, гражданская одежонка висела на них отчужденно. Свищев не стал спрашивать, с чего их одели в пиджачки, и осмотрел своих помощников начальственно, то есть ни о чем не расспрашивая. Вчерашняя поездка с Рапопортом не прошла даром: ученый. Он уже знал, что все будет идти как должно и ему надо лишь не терять головы. Добрые молодцы заявились с полевыми сумками, а в них — схемы, карты и чертежи. И ему полевую сумку принесли, получше других, но пустую. Пока он изучал ее отделения и застежки, в кабинет втащили шкаф, обитый железом, а на стене развесили карту будущего водохранилища; этим занимался уже какой-то другой человек, в форме и с наганом на боку. Не спрашивая разрешения, прикнопил карту, из своей полевой сумки достал прошнурованный и опечатанный журнал и велел расписаться; там уже стояло: Свищев.

Но и на этом организационные дела не закончились: явились еще двое каких-то слесарей, под наблюдением третьего, в форме, и коваными гвоздями прибухали на окно толстенную решетку; в комнате заметно потемнело. Гурьян Свищев делал вид, что ничему не удивляется, но от решетки веяло вчерашним лагерным холодом, так что он невольно заозирался. Рассевшиеся по своим местам помощники сдержанно переглянулись в ответ на этот вполне человеческий испуг, а тот, что поставил свой стол впритык к столу начальника, удовлетворенно сказал:

— Вот и все, можно начинать. Оружие нам подберут и попозднее принесут.

— Оружие?.. — все-таки не выдержал новоиспеченный начальник. — Но я же не умею стрелять.

— Ничего, я научу, товарищ Свищев. Без оружия нам нельзя: у нас карты и схемы семнадцати районов четырех областей, в том числе и Московской. Порядок такой: вся переселенческая документация хранится только в этой комнате, и только в сейфе, — он указал на бронированное чудище, как-то незаметно вползшее в этом переполохе, — а в полевых условиях — в полевой сумке, при оружии и при двух сопровождающих.

— Ага, третий из вас запасной? — догадался Гурьян.

— Запасной, по инструкции. Мало ли — заболеет кто. Мало ли — потребуется послать нарочного. Бывают непредвиденные обстоятельства. Мы военные топографы, товарищ Свищев, и любим во всем порядок.

— Какой же порядок — без формы? — показал он свою начальственную проницательность.
— Так приказано. Работать будем среди гражданского населения, без формы спокойнее.
— Да, да, спокойно надо...
Разговор в одну минуту прояснился, иссяк, как дождевой ручей. Оставалась самая малость — познакомиться.
— Насколько я понимаю, вы — старший?
— Старший вы, товарищ Свищев, я ваш помощник. Лейтенант Малкин! — вскочил он привычно из-за стола и сконфузился. — Пиджак проклятый...
Пиджак был как пиджак, суконный. Просто не привык, видно, лейтенант Малкин к бесформенной жизни.
Двое других — попроще, усердно горбились за столами, хотя делать было совершенно нечего. Но находили занятие: перекладывали вытащенные из сумок бумаги, шуршали, как мыши. Писаря, поди?
Его законное начальственное любопытство тут же было удовлетворено.
— Это — геодезист, — по порядку от себя рассчитал лейтенант Малкин. — Старшина Колобородько.
Тот, естественно, вскочил, большой, разлапистый и неуклюжий, и повторил:
— Старшина Колобородько!
Видно, давно уже служил, позатерлось украинское обличье, заплыло вальяжным, спелым жирком. Курс геодезии и Свищев проходил, представлял, сколько за день намотает геодезист, — что же он, по кабинетам теодолит вертел?
Лейтенант Малкин был прозорливым человеком, успокоил на этот счет:
— От безделья распух немного Колобородько. Натура такая, товарищ Свищев: быстро жир нагуливает. Ну, Молога ему сгонит!
Сам лейтенант был поджар, как гончая. А третий из них — и вообще пигаленок. Сморчок, если уж быть точным.
— О! — и тут поймал лейтенант его взгляд. — Вся наша отчетность. Чертежник, писарь и по совместительству реечник. Сержант Волк.
— Волк?..
— Як слышите, — этот обиженно и шумно вылез из-за стола. — У нас на Витебщине, бачьте, уся веска — Вовки ды Вовчаты.
В институте Гурьян встречал таких — обиженных от рождения. Все они очень любили свою веску, свой хутор, свой починок — одинаково и белорусы, и украинцы, и северяне. Хуторянам в институте не везло, помыкали. Похоже, и здесь то же самое.
— Волк так волк, — на правах начальника прошелся Гурьян по кабинету. — А мы — ягнята?..
Смех его не поддержали: субординация не позволяла. Гурьян затих под равнодушными взглядами. Его сослуживцы, представившись, опять усердно зашелестели бумагами. Понятно, им торопиться некуда: служба идет!
— Выезжаем на Мологу, — решил Гурьян согнать это сонное наваждение.
Все вскочили, но лейтенант Малкин, одернув пиджак, спохватился и тут же уточнил:
— С документами или без?
— Ну как же, карты-то надо прихватить?..
— Не положено без оружия. Сержант Волк! Поторопи.
Маленький, мешковатый Волк собрал свои бумаги, засунул в полевую сумку и, громыхая, положил в сейф. Только после того, провозившись минут пять, и вышел. Ну и дела. С каждой бумажкой так?..
Начальнику тоже следовало чем-то заняться. Чувствуя себя неуютно и чуждо средь этого переодетого воинства, он встал и подошел к карте — как и все здесь, явившейся неизвестно откуда и неизвестно зачем. Но сердился он напрасно: это была толковая военная пятиверстка, приспособленная к строительным нуждам; отдельные листы сведены воедино и наклеены на прочный холст, а образовавшуюся развернутую и подробнейшую карту уже вручную прошли акварельной кистью, так тонко и чувствительно, что все названия проступали. Можно было залюбоваться такой хорошей работой! Одного взгляда достаточно, чтобы определить контуры будущего моря, — оно голубое, конечно, при самом счастливом штиле. И это голубое, светлое, радостное захватывало границы четырех областей: Ярославской, Вологодской, Калининской и даже немного Московской — во-он куда, к Весьегонску подходила вода! Да что там: Углич, Калязин, Мышкин подтапливало — и совсем уж запредельный, за двести верст отстоящий Череповец, даже окрестности его по Ягорбе и Суде. Голубое, нежное пятно было впятеро больше Чудского озера, а уж сколько таких истоков Шексны, как озеро Белое, свободно укладывалось на его ласковых водах — и сосчитать трудно. Голубая акварель неслышно и незримо смывала с лица земли, как в Великом потопе, семьсот тридцать сел и деревень, подтопляла необозримые забережные леса, ну и начисто захватывала Мологу, получившую свой герб, с перекрещенными стерлядками, от путешествовавшей по Волге Екатерины, — наверно, по царской милости, за раболепие. Гурьян Свищев, студент советский, все это доподлинно знал: рабские гербы! Тут сомневаться не приходилось: за рабские грехи и казнили Мологу. Правда, непонятно было — за что наказывали двести двадцать тысяч сегодняшних крестьян, уже заранее накрытых голубой волной... Гурьян невольно стрельнул глазом вверх, к Череповцу, — и там увидел свои Заломы. Тоже обычное уже вроде — волны достали. Но они били здесь особенно хлестко: бревна трещали, сараи сыпались, дома падали, коровы мычали — и ржали, ржали почему-то взбесившиеся лошади! Уж лошадей-то никто никогда не бросит — с чего бы это? Гурьян трудно, долго опускался взглядом от Заломов до Мологи; здесь, в чужих низах, было спокойнее. Вода смывала незнакомые, безликие дома...
Успокоившись, он новым взглядом смерил рукотворную карту. И опять подивился художеству исполнителя: столько цветов, столько знаков, а все прочитывается, как через стекло! Голубое-то голубое, но оно по берегам было обведено легкой красной краской, чтобы и сомнений не оставалось: с берега в воду не прыгнешь. Дальше по голубому шли зеленые елочки — леса, значит; коричневые, разбросанные штрихи — болота, без сомнения; снопики луговой метелочки — луга, луга прибрежные, во всю ширь поймы. И колокольни, колокольни, омытые голубым, но внутри оставшиеся в погребальной белизне, — до полусотни насчитал их Гурьян, даже беглым взглядом. Ничего не скажешь, чистая работа!
— Волк?..
— Ну что вы, товарищ Свищев! — будто ждал вопроса лейтенант Малкин. — Чертежник готовит схемы с разметкой лесов, лугов, строений, церквей тех мракобесовых, а уж художествует кто-то другой. Говорят, контра какая-то лагерная. Правда, небесталанно?..
Ответить Гурьян не успел: в кабинет втащили железный, грохочущий ящик. Запахло машинным маслом и потом запыхавшихся солдат. Ящик этот сопровождали сержант Волк и какой-то празднично-малиновый старшина.
— Проверьте оружие и боеприпасы и распишитесь, — небрежно положил он на крайний стол прошнурованный журнал. — Я покурю пока.
Тут началась малопонятная для Гурьяна Свищева, но серьезная для всех остальных суматоха, в которой принял участие и моторист Миша. Оказывается, ему тоже полагалось оружие. Катер превращался в какую-то канонерку!
— Что же мне теперь с ним делать?.. — повертел Гурьян новенький, маслянистый пистолет, к которому выложили на стол и кобуру, и кучу патронов.
— Прежде всего чистить, товарищ Свищев, — кивнул лейтенант Малкин на свою команду, которая привычно взялась за тряпки...
Все эти организационные, оружейные и прочие дела оказались не более чем смешной присказкой. Бес его испытывал, не иначе. Рассуждения о бесах не были пустыми: Гурьян ежедневно ходил теперь по притихшим мологским церквам и с жутью необъяснимой слышал за своей спиной глухие, тяжелые, шлепающие шаги. Будто в валенках семипудовых, намокших. Он оглядывался — конечно же, никого. Топографы занимались своими делами, обозначая — уже не на карте, а на местности — границы будущего водохранилища, Миша, по обычаю, отсыпался в будке катера, а председатель Мологского горсовета хоть и мозолил глаза, но при первом же недружелюбном взгляде отворачивал в сторону. Нет, и его искушал тот же бес! Ему нравилось, когда молодой, аспыльчивый начальник поминал черта, а как не поминать? Этот пережиток прошлого в сознании людей, этот опиум для народа, вся эта поповщина — все эти несокрушимые стены и вставали на пути переселения. Колокола, само собой, были скинуты еще раньше, кое-где, пока не ведали о переселении, поковыряли кирпич на печи и фундаменты, но немного: кладка никаким ломам и зубилам не поддавалась. Отступились добытчики. Все так и стояло в первозданном виде, разве что загаженное заключенными. Но сейчас и заключенных повыгоняли на свежий воздух, поближе к местам работы, — славный Волголаг времени зря не терял; рабсилу более или менее равномерно распределили по дну будущего водохранилища — церкви остались распахнутыми настежь. Единственное исключение — Афанасьевский женский монастырь; там оставались кое-какие лагерные склады, в подвалах было что-то вроде карцера, в кельях жила охрана; не это, понятно, заставляло вспоминать о бесах — собственное бессилие. Гурьян с первого дня, закончившегося выпивкой на лесной поляне, догадывался, что влип в какое-то черное дело; пистолет, который побрякивал в полевой сумке, уже не казался игрушкой. Взгляды, взгляды мологжан убивали! Он думал, так и побегут с распростертыми: товарищ Свищев, товарищ Свищев, скорее переселяйте нас в новую, счастливую жизнь! Нет, не бежали. Упорно бычили свои стоеросовые лбы. Сторонились всяких разговоров. Не зря, не зря военных топографов переодели в маскарадные пиджаки — и к гражданским-то служащим мологжане не шли на поклон; пожалуй, и догадывались, что у них в полевых сумках побрякивало... Жили, как и раньше; служащим Волгостроя, не говоря уже о Волголаге, только что в глаза не плевали. А один назойливый такой, по-профессорски самодовольный мужичина, упорно ремонтировал свой дом, расписывал двухэтажный фасад на три тона: охристый, малиновый и белый. Не дом выходил — игрушка. Охра по стенам, малина по карнизам, наличникам и разводам углов, ну а белила — по снежным переплетам рам, во втором этаже даже стрельчатым. Семья у него была большая, какая-то заслуженная, не реквизировали вовремя частнособственническую крепость — вот он и издевался над всеми переселенческими планами. Его даже председатель горсовета, суетной и крикливый Назаров, утишал матюгами: опомнись, так-перетак, Кир Кириллыч, не видишь, к чему дело идет?! Не видел этого профессорски вальяжный Кир Кириллыч и, закончив вместе со своей домашней челядью окраску дома, полез на крышу. Две трубы там были, с резными дымогарами. Пока стояли они так, под копотью, еще ничего, терпелось, а как он высветлил их бронзовой краской — так и вскричали караул на всю Мологу. У его дома собирались толпы всякого неорганизованного люда и вели разговоры, не стеснялись. Выходившие из монастырских келий службисты НКВД — все в форме, все при петлицах, при винтовках, а некоторые и при наганах, залюбуешься! — грозили кулаками, но пока не стреляли, приказа не было. Да и работа у них другая: строем водить, кто в одиночку ходить не может. У этих затурканных службистов тоже не было особенного желания пополнять свои серые роты за счет мологжан; их, служак горластых, явно не хватало на все прибывающие баржи, поезда и пешие колонны — к ночи возвращались в свои кельи, как и заключенные, еле ноги волоча. Гурьян невольно вспоминал своего младшего брата, который тоже где-то ошивался с длиннющей винтовкой в руках. Ну, Васятка, ну, молокосос! Участи этих сторожевиков не позавидуешь: мало что заключенные, так и встречные-поперечные норовят плюнуть в глаза. А кому охота еще с вольными дураками связываться? Только председатель горсовета, Назаров, и бегал по городу со своей ополоумевшей свитой. Но не было еще какого-то решительного, последнего приказа — одни уговоры. На председателя горсовета страшно было смотреть — искричался досиня. Как удавленник! Даже Гурьян его пожалел:
— Вы не расстраивайтесь, товарищ Назаров. Переселим всех за милую душу!

— Э, вы не знаете наших мологжан... — обреченно отмахивался этот издерганный человек.

Гурьян, действительно, не знал их, хоть и родился неподалеку. Молога — это Молога. Здесь, на ближней окраине Московии, за века собралось все самое несогласное и твердолобое; власть уважали не больше, чем дурачка Ефимку, который бродил по улицам и кричал: «Потоп! Потоп! Стройте, как преподобный Ной, свои ковчеги, спасайтесь!» Ночевал он на крышах, привязавшись к трубе веревкой, и часто в темноте можно было слышать его жутковатый, дьяконовский бас: «Потоп! Потоп!» Что интересно — никто с собственной крыши не сгонял: считалось, на эту ночь Ефимка обережет от беды. Напуганные разговорами, прячущиеся от Назарова жители даже потихоньку приставляли на ночь лестницы, чтобы именно у ихней трубы заночевал блаженный Ефимка. Вот и толкуй с таким народом о переселении!

Гурьян Свищев, начальник всевластного переселенческого отдела, пришел, конечно, не на пустое место: все было до него рассчитано. В самом проекте Рыбинского водохранилища. В сметной стоимости. Просто это лежало в сейфах, никому не ведомое и неопасное — как динамит без запалов. Сейчас динамит, а точнее аммонал, возили, как он уже знал, в церковь Благовещения, которая была в пяти километрах от города, на голом холме, на отдалении — хорошо охранять, безопасно. Гурьяна это пока мало касалось, просто когда он со своими картами сунулся туда — ему грубо и бесцеремонно посоветовали расстегнуть и вытрясти штаны, для чего и бросили под ноги ящик с красной надписью: «Аммонал». Он не знал еще тогда, что аммонал и динамит — одно и то же, что без запала не опаснее камня, разве что ноги отдавит, — и, прихрамывая, дал стрекача под речной обрыв. То-то было смеху! Народ возле взрывчатки был серьезный, военный, на гражданское начальство помахивал со своей колоколенки, — там у них на вольном верху вечно пыхтел самовар, наяривала от безделья гармошка и неслись песни Демьяна Бедного, вполне сознательные и революционные. Не к чему придраться! Даже ссылка на товарища Рапопорта не действовала. Случившийся тут лейтенант Малкин не зря посоветовал: «Э-э, с этими не спорь!»

Больше начальник Отдела переселения взрывчаткой не занимался. Он ходил и чертыхался, он проклинал старорежимную Мологу. Город был отдан в его власть, а власти, по сути, не было. Шли пока расчеты и пересчеты. Как оказалось, смету составили поистине наобум Лазаря, а переносить, да чего там — сносить! — город приходилось по самым житейским меркам: где и сколько жечь-пожечь дерева, сколько рвать-порвать камня и прочего несгораемого материала. Сколько квадратных километров дорогостоящей площади водохранилища очистить от всяческой людской засоренности. Куда перенести береговые границы и всякие прибрежные государственные строения; о частных домах пусть частники и беспокоятся, не рвануть бы по ошибке советские учреждения. На основе географических укрупненных карт составлялись карты военные; город разбивался на сектора и зоны — преимущественно красные. Этим занимались и топографы во главе

с лейтенантом Малкиным, и оценщики строений, и госстрах, и начальники лагерей, которые получали для работы тот или иной сектор Мологи, и мордастые взрывники, которые подсчитывали и запасали аммонал, и речники, которым предстояло на плотах перетаскивать деревянные уцелевшие дома к новому месту жительства, и председатель горсовета со всем своим охрипшим, растерявшимся штатом, и, конечно, Отдел переселения. Сюда-то и стекались, как в преисподнюю-диспетчерскую, все многоликие, слезливые, противоречивые сводки. Месяц работы не прошел даром. В конце концов за подписью Свищева, под утверждение начальника Волгостроя, и родился этот документ; он назывался

«РАБОЧИЙ (УТОЧНЕННЫЙ) ПЛАН

ОЧИСТКИ ЛОЖА РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (ПО г. МОЛОГА).

В ЦЕЛЯХ ДОСРОЧНОГО выполнения постановления СНК СССР от 1 августа 1936 года, Отдел переселения Волгостроя, основываясь на данных горисполкома, считает НЕОБХОДИМЫМ:

1) к 1 ноября 1938 года осуществить полный перевоз 400 частных домов, признанных пригодными к перевозке, 23 общественных зданий, сделанных из рубленого дерева, в том числе два детских сада, школу и дом престарелых, а также 19 коммунальных домов;

2) считать ве пригодными к переносу и подлежащими уничтожению на месте (чтобы не загрязнять ложе водохранилища) — 945 частных домов разной этажности; в том числе каменные строения горкома и райкома партии, горисполкома и райисполкома, райкома комсомола, совмещенного с НКВД, гор- и райплана, совмещенного с гор- и райздравом, горсобеса, совмещенного с гороно, конного манежа, совмещенного с театром, горбольницы, педтехникума, училища, пожарной части, лесопильных, маслодельных, промышленных предприятий и прочих городских строений разного назначения — общим числом 378;

3) в городе Мологе и ее окрестностях снести 3 монастыря, 28 церквей и 17 прочих культовых сооружений;

4) надлежит вырубить 365 га садов и парков, 1,8 км аллей, бульваров и прочее.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по расчистке ложа, ныне занятого городом Молога:

1) 2-этажные частные дома переносить только с учетом 2-го этажа, поскольку 1-й этаж, как правило, кирпичный, не подлежит разбору из-за прочности кладки;

2) деревянные строения, не подлежащие переносу, жечь специальными командами, ознакомленными с техникой безопасности;

3) каменные строения, все сплошь не пригодные к переносу из-за той же прочности кладки, взрывать на месте, каждое в отдельности, с соблюдением техники безопасности, и только силами Взрывного управления Волгостроя; рабсилу Волголага использовать лишь на подготовительных и подсобных работах, не допуская к взрывчатым веществам;

4) при взрыве церквей, монастырских и прочих культовых строений следует предлагать максимальную разовую мощность взрыва, дабы избежать эксцессов со стороны несознательного, религиозно настроенного населения.

ПЛАНОВЫЙ СРОК дноочистительных работ, растянутый до осени 1939 года, перенести на весну, с тем, чтобы Волголаг за зиму сдал чистое ложе водохранилища.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ слухов и кривотолков, ОБЯЗАТЬ председателя горсовета т. Назарова провести расширенное заседание исполкома, с тем, чтобы ПРИНЯТЬ БЕЗОГОВОРОЧНО план всеобщего переселения к 1 ноября с. г.

Более уточненную разработку этих предложений см. в РАБОЧЕМ ПРИЛОЖЕНИИ.

1 сентября 1938 года.

Начальник Отдела переселения *Свищев.*

Разумеется, Гурьян Свищев был не совсем доволен сроками и согласованностью работ, но тут ничего не поделаешь — приходилось считаться с исполнителями. Так, взрывники наотрез отказались рвать, пока не расчистят деревянные строения — мол, будут ненужные разбросы бревен и пожары. Начальники двух лагерей, определенных для Мологи, не могли приступить к расчистке, пока в городе находится гражданское население, — невозможно в постоянно движущейся, переселяющейся толпе организовать охрану. Речники, наоборот, торопили: давайте ваши дома, пока не замерзла река. Учреждения требовали новых зданий, прежде чем переезжать. Председатель горсовета, недопеха Назаров, не знал, куда девать полсотни своих депутатов, — ведь нельзя же их просто разогнать, исполком выбирали. «Сталинская Конституция, как же, все по ней, все по ней делается!» — твердил он на каждом перекрестке и раздавал из своего служебного портфеля скопившиеся красные книжицы. Их брали охотно и приколачивали гвоздями на дверях — охранные грамоты. Когда Гурьян Свишев в очередной раз нагрянул в Мологу — улицы горели, как в день Конституции. Кир Кириллыч на своем раскрашенном фасаде пристроил две грамотки — на каждом этаже. Дурачок Ефимка маршировал по улицам с самодельным плакатом — палка, к ней прибита фанерка, а по фанерке — развернутая обложка Конституции. Помощники Назарова хотели втолковать Ефимке, что до декабря еще далеко, но Ефимка перепугался и сиганул со своим плакатом на крышу горсовета — благо пожарная лестница всегда стояла. Помощники гурьбой кинулись по ступенькам, обломили гнилое дерево, зашиблись и подняли в городе еще больший переполох. Проходившая мимо колонна зэков взорвалась удовлетворенным смешком, загавкали овчарки, защелкали затворы, в сторону Ефимки грянул выстрел, но бесполезный: стервец спрятался за трубу. Было отчего схватиться за голову председателю горсовета!

— Ох, не затопить вам нашу проклятую Мологу... — заранее оправдал он свои служебные грехи.

— Утопим, товарищ Назаров, не хнычьте! — приказным тоном подгонял его Гурьян.

Но не надолго хватало. Назавтра все повторялось...

Вдобавок ко всему и начальник Волгостроя чего-то выжидал. «Рабочий план», выписанный на большом листе ватмана витебским Волком, похвалил, поощрительно поулыбался, но резолюцию накладывать не спешил. Да, Рапопорт был ласковее и внимательнее обычного, начальника Отдела переселения, иссохшего от бессонницы, всячески ублажал, выдал, например, в качестве премии отрез на костюм... а подпись свою не ставил. Фамилия его, вырезанная писарской тушью в левом верхнем углу, красовалась без всякой закорючки. Как-то уж так получилось, что и места ватману в кабинете начальника стройки не нашлось — его «спустили» все в тот же Отдел переселения. Рядом с картой висел теперь ватман: смотри и радуйся!

— Дорогой мой, — говорил Рапопорт без всякой официальности, — не хмурься и не терзай серое вещество. Необходимое число копий снято... и лежит в моем сейфе. Прекрасный план и всегда под рукой! Более того скажу: первый экземпляр — выше, гораздо выше пошел! Что Рапопорт... Рапопорт здесь, Рапопорт всегда с тобой. Круче нос, курилка! Все идет своим чередом. Именно твоим планом и будем руководствоваться... но афишировать его не надо. Уподобляться неврастенику Назарову или стрелять по дурачку Ефимке... фи, как глупо! Чем меньше звона — тем меньше слухов. Понимаешь, Свищев?

— Понимаю, товарищ Рапопорт, — отвечал Гурьян, хотя ровным счетом ничего не понимал. — Сегодня первое сентября, детишки в школу пошли... как же мы их всех к Октябрьским праздникам переселим?..

— Ах, простота, святая простота! — совсем ласково приобнял его Рапопорт. — Разве это твое дело — палкой мологжан гонять? Горсовет на что? Назаров для какого хрена? Они еще в тридцать шестом такое решение принимали — и ничегошеньки не сделали. Сидят! Сами себя не выкурят! Три года ухлопали на разговоры! Пусть теперь расхлебывают. Пусть принимают последнее, последнее, — подчеркнул Рапопорт, — решение. Чтоб было у них добровольно и общественно. Ты это хорошо подметил: «Принять безоговорочно». Подскажи паникеру Назарову, чтоб поскорее сессию горсовета собирал. Чего тянуть... — он посмотрел на календарь. — Да, четвертого. Четвертого сентября и пускай голосуют... безоговорочно! Свою же резолюцию трехлетней давности повторят! А сам... сам в первые ряды тоже не вылезай, ни к чему тебе, Свищев, красоваться. Назарова, растепу Назарова, покруче подталкивай! Теперь-то понимаешь, мой дорогой?!

Чего уж, Гурьян понимал: все больше и больше погружается в какие-то переселенческие воды...

Это не мешало ему вставать с самой легкой ноги и бежать в служебную столовую, где уже отирался сумрачный моторист. Раньше его позавтракать не удавалось.

— Ну что, Миша, идем на варягов?

На варягов — значит в Мологу, которая была ближе всего к штабу строительства, следовательно, и ближе к переселенческой волне.

Ехали по утрам, как водится, всем отделом, к которому присоединили еще и переписчиков-оценщиков, так что катерок еле тащился. Над Волгой уже поднимался затяжелевший осенний туман; сыро, знобко было и в устье Шексны, куда заворачивали за этими заспанными оценщиками. Жилья в Переборах не хватало, а служащих в лагеря не загонишь, — жили на десять верст в округе, оценщики — в зашекснинской деревне.

Уже давно дрожали на берегу. Здесь, правда, не продувало ветром, но зато заносило прелью некошеных лугов. Колхозы расползались на стороны — было не до сена. Где и стояли стога, так явно бросовые, уже обдерганные разным шляющимся народом. Да и лагеря были тут же, в пойме, — ближний буквально в Заречье, где поднимали шестикилометровую дамбу. Ее, конечно, еще бузовать да бузовать. Прошли по руслу Шексны, осыпанному с обеих сторон серым, копошащимся, совершенно однородным людом. Берега справа и слева огороженные, бежать некуда, поэтому охранники зябко позевывали в утреннем тумане — вот работа, стой да переминайся с винтовкой на плече... Глупый братеник, шалопутный Васятка — на что он позарился?! Не позавидуешь, даже обочь проплывая. Скорее туда, на простор лугов!

Но и луга потеряли уже свой летний цвет, тоже посерели. Высокая, всюду пробитая тропками трава щетинилась будыльем. Кустов здесь, на ближних подступах к плотине, уже не было, повырубали, даже сквозь осенний туман открывалась широкая даль, — кажется, до соседней Мологи. Реки сходились близко, одна из проток Шексны вообще заворачивала к Мологе, словно собиралась увести от Волги северную реку, но потом сообразила: Молога все-таки младшенькая, нечего унижаться, надо пробиваться к Волге. И отворачивала, так и не дойдя до Мологи. Эта протока имела ту особенность, что регулировала уровни Шексны и Волги: как только вода в Волге поднималась — начиналось обратное течение волжской воды, вкруговую, через Шексну, и наоборот, при высоком подъеме Шексны — бурлила, рвалась ближней дорогой к Волге вся эта шалая отступница. Сейчас было как раз время северного притока: с Белоозера, видимо, шли дожди, а вслед за дождями и рыба. Ее перехватывали на узкой, удобной протоке; бывало, весь Рыбинск высыпал, да и мологжане подваливали. Место золотое, можно сказать.

В это утро к протоке топал строй человек в сто, с охранниками и овчарками, с поднятыми на шестах мережами. На большой реке трудно ловить рыбу, а еще труднее охранять рыбарей; приезжее начальство, охочее до рыбки, тоже облюбовало протоку. В такие дни горожане уже не совались — под собак и штыки. Вольный луговой берег на время становился непроходимой зоной; охрана, имевшая и лодки, загораживала оба побережья, а подневольные рыбари своими самодельными мережами наглухо перекрывали неширокую протоку. Она мутно и шумно неслась к Волге — мотор почти и не требовался. Знаков предупредительных не выставляли, но все знали: городским рыбакам, да и вообще вольным людям подходить к оцеплению не разрешается.

Гурьян Свищев со своей командой тоже нечасто здесь плавал, но сейчас Миша-моторист решил по большой воде сократить путь — и не успел, оцепление уже выставили. Охранники, конечно, не раз видели этот штабной катерок, но у них было свое начальство — плевать они хотели на штатскую шушеру! Командовал рыбаками старшина. Глотка луженая:

— А ну — за-аварачивай!

С этими переписчиками они и без того много времени потеряли, да и не так-то просто развернуться на узкой протоке — их несло шумным течением. Свищев на правах начальства выскочил на нос:

— Это Отдел переселения — не видите?!

— Плевать, за-аварачивай, — равнодушно повторил старшина, уже и голоса не повышая.

По берегам загоготали охранники, залаяли овчарки, забухали сильнее прежнего мережами рыбари: отдых в их работе намечался. Свищев побледнел, не зная, что делать. Форма на нем была теперь почти такая же, как у старшины, — не хватало только алых петличек да звездочки на фуражке, — а чины гораздо большие, но вот убрать какого-то старшину с дороги он не мог. Миша-моторист начинал тормозить, юля носом на узкой протоке и давя мережи, от которых шарахались серые, ничего не понимающие тени.

— Я приказываю... полный вперед! — вспомнил Свищев какую-то не существующую в реальной жизни команду и, вскочив на передний рундук, выхватил из сумки пистолет.

На берегу еще громче взлаяли овчарки, защелкали затворы. Начиналось что-то непонятное и для старшины — он ходил скрестя руки, а тут отскочил за спину охранника и тоже выхватил из кобуры пистолет:

— Первый предупредительный... второй!..

Неизвестно, чем бы это кончилось, но все решил лейтенант Малкин со своей недрогнувшей командой.

— Старшина-а! — пропел он хорошо поставленным голосом. — Я лейтенант НКВД... на месте расстреляю, шкура!

— Пле... на вас всех я пле... — начал было опять старшина, но докончить не решился: и моторист, привстав от руля, поднял пистолет, и Колобородько с Волком размахались, готовые стрелять без предупреждения.

В полном отчаянии, на малом ходу пробираясь сквозь рассыпавшихся по берегам рыбарей, и прошли они эту протоку. Поднятые кверху пистолеты, в ответ нацеленные штыки, бегущие вслед за катером овчарки, вдруг загоревшиеся под серыми шапками человеческие глаза, небывалая на этих берегах сумятица, чертыхание Миши на узких извивах протоки, ненависть опростоволосившихся охранников, загонявших штыками обратно в воду рыбарей, крики, стоны... какой-то несусветный бедлам провожал их до Волги, пока Миша не врубил на просторе полные обороты и не свернул к маячившему невдалеке устью Мологи.

— Уберите пистолет, товарищ Свищев, — напомнил лейтенант Малкин. — Он хоть заряжен?

Свищев сконфуженно обернул пустую рукоять, в которой и магазина не было...

— Да-а, славно постреляли бы!..

Что было отвечать лейтенанту? Гурьян сделал самое необходимое:

— Спасибо вам...

— Спасибо нам, — поправил Малкин и глянул на моториста: — Если никто не настучит...

— Лучше без стука, — тоже как-то особенно посмотрел моторист на лейтенанта. — Дело дрянь! И наших, и ваших — засудят одинаково.

— Так почему ж ты тоже выскочил с пистолетом? А, Миша?

— Потому, лейтенант! — грубо отрезал Миша. — Не задавайте глупых вопросов.

Лейтенант Малкин стерпел грубость. Более того, облегченно вздохнул, отходя от моториста. Для посторонних глаз это было странно, очень странно...

— Почему вы перед ним спасовали? — не удержался Гурьян от беспокойного вопроса.

— Потому, товарищ Свищев! — тем же тоном отшил лейтенант. — Вам тоже лучше помолчать... и помолиться богу, чтоб до ушей Рапопорта не дошло. Вон, и церковь как раз!

И грубость, и прощение — все шло по кругу. Гурьян сделал вид, что и не понял ничего...

Вблизи уже маячили белые колокольни Афанасьевского монастыря, наплывала всей своей красивой горой Молога. На одной из бесчисленных колоколен, действительно, маячил несбитый крест. Говорят, двое зашиблись, так и не успев зацепиться веревками за подножие коварного креста; стреляли после из винтовок и пулеметов, да разве перешибешь! А пушки пустить в дело не решились — все-таки в гуще города. Теперь оставили в покое, надеясь на взрывчатку: она уравняет и крещеных и некрещеных. Пароходам нужна чистая гладь, нечего на море торчать колокольням!

А все-таки жаль. Солнце прорывалось сквозь туман и осеннюю мглу, золотило сбитые, но не совсем еще ободранные купола — под ними лагеря недавно стояли, начальство жило, не трогали. Золотой негасимый крест и вовсе назойливо высился в небе — ленты тумана как раз обвивали подножие креста, совершенно отделив его от земли. Завораживающее было зрелище, зловещее.

— Да, самое время помолиться, — видно, не надеясь на понятливость начальника, стоял над душой лейтенант Малкин. — Чтоб пронесло, чтоб отмолчалось! Ну, не думал, товарищ Свищев, что вы такой удалец...

Гурьян и сам об этом не думал. Но раз дают в руки пистолет — так для чего-то же он нужен?

Что ни говори, жизнь открывалась какой-то удивительной стороной. Страха он не испытывал — восторг поднимал душу. А тут и новое наваждение — прямо бешеным, блистающим галопом. По росе, по туману, по лугу...

— Лошади! Лошади!

Делая большой полукруг от Шексны к Мологе, заворачивал вдоль лугового берега табун неизвестно откуда взявшихся лошадей. Сотня голов, не меньше. Все разномастные, лохматые, сытые, какие-то задичалые — вольные лошади, явно позабывшие хомуты. Ни уздечек, ни колокольцев, никаких пут. Они мчались с тревожным, призывным ржанием, словно созывая в свой грохочущий вихрь все живое и не спутанное по ногам. Впереди мчалась красивая рыжая, в лучах солнца почти красная, кобыла, которую Свищев — он не мог ошибиться! — встречал в табунке Тишуни, когда приезжал домой. Что они — ошалели, что они — все поубегали от своих куркулей?!

Лошадям не было дела до его вопросов — кем-то вспугнутые в этом людном междуречье, ходко, нахраписто уходили на север, в глухие леса.

— Давай, Миша!

Мотористу тоже не прошло даром нервное напряжение — с удовольствием проскочил город и пустился наперегонки с лошадьми. Они услышали шум мотора, но неслись, не отворачивая от берега: здесь была чистая, натоптанная полоса, а дальше щетинился прорубленный кое-как, размызганный кустарник. Было видно, что лошади уже не один раз проходили этой дорогой, знали. Напуганные чем-то, они неслись, распустив гривы, потные и неукротимые, и всхрапывали, всхрапывали всеми разинутыми глотками, клочьями разбрасывали пену; она грязным снегом осыпала гудящий берег.

Вскоре и причина переполоха открылась: трое мотоциклистов, военных.

— Ах, стервецы! Опять ушли! — спрыгнул на землю, чтоб поразмяться, передний. — В лугах их теперь не возьмешь. Какие лошади пропадают!..

Состязание кончилось, табун уходил, уже еле различимый на береговой кромке. Ругань мотоциклистов никто не слушал. Миша выворачивал катер в обратный путь, к Мологе, которую они проскочили в этой безумной погоне за лошадьми. Что их сюда занесло, дурных?..

Гурьян ничего на это не мог ответить, а лейтенант Малкин со своей командой задремал: им предстоял тяжелый, изнурительный день. С уточнением границ будущего моря и переселенческими документами торопили со всех сторон. От того, где пройдет обозначенная топографами граница, и зависело — кому переселяться, а кому можно пересидеть будущий потоп. Проект составлялся в Ленинграде, утверждался в Москве — короткой сталинской резолюцией: «Я — за», — когда было считать каждую деревню? Очертили приблизительно, и ладно. Сама вода укажет, кому куда бежать. Нынешние топографы могли бы и лодыря погонять — рисуй да рисуй, хоть и наобум Лазаря, свои переселенческие карты. Главное, чтоб побыстрее.

Но лейтенант Малкин, надо отдать ему должное, уважал свое профессиональное дело: проектным раскрашенным картам мало доверял. Так что за лошадьми гоняться не приходилось; они промелькнули как наваждение в этом взбудораженном крае и ушли в дальние забережные луга. Зачем? Почему? И надолго ли?..

Думать об этом не хотелось. Через три дня начиналось переселение Мологи...

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Вече

РУССКИЙ ВОПРОС

На вопросы корреспондента Алексея БОРЗЕНКО отвечает один из лидеров оппозиции, сопредседатель Думы Русского национального Собора генерал-майор Александр СТЕРЛИГОВ.

— Начиная с 1917 года национальный вопрос в России даже не ставился политиками в повестку дня. Мы знаем, что все достигнутое в стране за эти годы было густо замешано на донорской крови русского народа. Александр Николаевич, в условиях такой запущенной загнанности и подавления русского народа, которые давно стали нормой нашей жизни, — с чего следует начинать решение национального вопроса в России?

— Многие решения будущего следует искать в нашем прошлом. Вы упомянули 1917 год, как некоторую отправную точку отсчета, а я бы порассуждал о более раннем периоде нашей истории. Когда сегодня русское патриотическое движение упрекают в «имперском мышлении», мы не должны забывать, что здесь срабатывает стереотип, навязываемый нашему народу западной антироссийской пропагандой, насаждаемый и собственным демократическим агитпропом.

Да, Россия складывалась как империя. Если взглянуть в глубь веков, мы увидим разные империи — уникальность русской в том, что, может быть, это была единственная империя в мире, которая складывалась по принципу баланса интересов коренных народов, что делало ее достаточно прочной со всех точек зрения. Объединение народов шло главным образом не «мечом», а благодаря совпадению экономических интересов. Пространство, на котором находилось наше государство, объединило в себе народы, которые неизбежно должны были тянуться к созданию единого государства. Вопрос жизни требовал такого объединения.

Например, государства Средней Азии. Возьмем их традиционные производства и традиционные экономические интересы. Где должны продаваться знаменитые узбекские ковры? Ну не в Афганистане же, где своих хватает. Продукция уходила на север, в Россию, так складывалось единое экономическое пространство, единый рынок.

— Можно сказать, что исторически сложилось так, что не могло появиться на этом пространстве двух или трех империй, а только одна — российская...

— Несомненно. С другой стороны, посмотрите, как мудро поступала администрация Российской империи. Она не подавляла экономическое, культурное развитие, духовную жизнь местных народов. Россия не имела колоний, где использовалась бы рабочая сила рабов, а в европейской «цивилизованной» истории таких колоний множество. Территории управлялись местной властью, царская администрация ограничивалась лишь обеспечением основных, фундаментальных требований по сохранению единого государства: обороной — малые народы давали воинов в случае войны, охраной границ, внешней политикой. Заметьте, все это задачи, делающие государство государством.

Россия не диктовала, как кому жить. Возьмите, например, Башкирию, где до революции было 2 тысячи мечетей и 500 православных храмов, сосуществовавших без каких-либо конфликтов между конфессиями. Наверное, имели место стычки на бытовом уровне, но историки не приведут случаев, когда империя подавляла бы серьезные конфликты на межэтническом уровне. Вот почему к рубежу 1917 года Россия подошла, сохранив в целости все свои малые и большие народы. С другой стороны, посмотрите на американских индейцев, живущих в позорных резервациях. Так у кого на самом деле «имперское мышление» в том смысле, в каком нам его сегодня преподносят? И почему тогда метрополия оказалась куда более нищей, чем национальные окраины?

Всякий раз нам приходится доказывать то, что давно ясно и понятно. Какое еще государство мира может похвастать, что малые народы имели свои квоты в российских университетах и вузах? Если разобраться, это все жертвы нашего русского народа, за счет своих потерь в интеллектуальном потенциале Россия создавала национальную местную интеллигенцию. И в конце концов, если у живших в царской России народов сегодня появилась возможность говорить о суверенитете, то это само по себе — результат самосознания, привнесенного в народ местной интеллигенцией, обучавшейся и возросшей на российских духовных хлебах.

Эта самая местная интеллигенция довела суверенизацию до самостийности, породила националистические движения. Мы дали им такую возможность, одновременно занесли в души и микроб отделения, сепаратизма. Россия бескорыстно создавала чужую элиту в ущерб собственным интеллектуальным силам. Парадоксально, но даже антирусским тенденциям в республиках бывшего СССР местные народы обязаны именно русским.

Русский народ, если разобраться, всегда был каркасом государства, вместе с малороссами, белорусами, татарами и башкирами он строил это государство и был его активной несущей конструкцией. И в этом была и есть его историческая миссия. Так следует понимать «имперское мышление» русских людей.

— Александр Николаевич, в последнее время в России все больше говорят о неэквивалентном обмене с народами бывших республик Союза, который практиковался долгие десятилетия. Что вы думаете по этому поводу?

— Обмен остался неэквивалентным и сегодня. Возьмите, к примеру, Грузию, которая вдвое больше потребляла, чем производила сама. А как же она жила, что, чудеса на свете существуют? А берется это вот откуда. Из «ближнего солнечного зарубежья» приезжают (и сегодня!) ближние иностранцы, не встречая на своем пути ни таможен, ни границ. Они за копейки покупают у нас бензин, но отнюдь не за копейки продают нам фрукты и овощи. А вырастить сегодня под палящими лучами солнца помидоры — это совсем не то, что в российской глубинке получить нефть, перегнать ее в центр, сделать из нее бензин. Иностранцы продают помидоры, покупают бензин, а потом, уже вечером, не берут сдачи в ресторанах Москвы. А по логике наших национальных интересов должно быть так: помидоры продавать по ценам не выше назначенных нами, продавать бензин иностранцам по ценам гораздо более высоким, нежели для самих россиян.

— Как вы считаете, допустил ли стратегическую ошибку М. Горбачев, когда «отпустил» республики Прибалтики, не взяв компенсации за вложенное в их экономику Россией в послевоенные годы? О вкладах царской России до 1917 года говорить не приходится.

— Эта ошибка последнего Генерального секретаря ЦК КПСС исчисляется десятками и даже сотнями миллиардов рублей. За счет таких сумм можно было бы долго выплачивать приличные пенсии и пособия российским гражданам.

Давайте вспомним, как восстанавливалась Прибалтика. Россия после войны нашла эти народы босоногими, обнищавшими, разрушенными Германией. И сколько же надо было вложить в строительство железных дорог, автодорог — где в самой России такие автодороги? Кто их строил? И если где-то что-то прибавилось, то где-то соответственно нет. Мы восстанавливали разрушенные окраины в ущерб себе.

Россия триста лет вкладывала средства и силы в строительство морских портов Прибалтики. В этих республиках надо было построить ту легкую промышленность, которой там теперь хвалятся, но ее современное оборудование из «цивилизованных» стран завезли и смонтировали на деньги, полученные от продажи российской нефти. И уж наверное не за деньги, вырученные от реализации мяса с хуторов Прибалтики.

Мы долго закрывали на это глаза, русские люди изначально бескорыстны и добры, когда речь идет о помощи соседу, «брату на век», особенно в периоды бедствий, но межнациональные отношения нельзя строить на бесконечных жертвах одной стороны, на неэквивалентном обмене. И я думаю, что если бы та самая «империя», уже советская, гораздо раньше пришла бы к мысли о том, что Россия — не донор и что обмен должен быть эквивалентным, скажем, с момента завершения послевоенного восстановления, то и межэтнические отношения были бы сегодня более здоровыми.

— Александр Николаевич, подтверждаете ли вы мысль о том, что после смерти И. Сталина все последующие лидеры СССР, включая и последнего, умышленно сохраняли неэквивалентный обмен в отношениях с дружескими братскими республиками, потому что боялись их разрыва с центром?

— Они все пытались стереть грань — и между городом и деревней и между республиками — по уровню их экономического и культурного развития. Но можно ли стереть границу в культурном развитии между мусульманской и православной страной? Они просто разные. Мусульмане — люди с многотысячелетней историей, древней культурой, они не скажут вам спасибо за стирание этих границ, потому что они хотят быть самими собой, как мы — православными.

Одно дело — помочь после землетрясения, на Руси всегда помогали бедствующим погорельцам, другое — давать деньги, и большие деньги, за хлопок по припискам, хлопок несуществующий. Да еще создали такое монокультурное хозяйство, что умудрились исковеркать и разрушить экономическую структуру этих южных народов, сменить уклад жизни. Подобно тому, как у нас в России принялись ликвидировать деревни с их многовековыми устоями, хотели крестьянина за десять лет преобразовать в городского жителя. А ему, собственно, это и не нужно, народ в массе своей всегда жил на земле. Такое стирание различий доминировало в понимании главного: а что человеку нужно? Лозунг «Все для блага человека» остался на бумаге, в этом одна из главных трагедий советского государства. Доктринальные подходы возобладали над потребностями отдельного человека, отдельного народа. И в результате — повсеместный национальный кризис.

Помню, в 1987 году я приехал в Ташкент и там, на проспекте Ленина, как-то особенно почувствовал чужеродность всего того, что Москва насаждала на окраинах. Как же мусульмане должны были отторгать все это, — молчать до поры, оглядываться на собственных, национальных партийных функционеров, наиболее яростных стражей режима. Сейчас мы в полной мере пожинаем плоды национальной политики прошлых десятилетий. А вспомните — какое уважение к центру было на периферии в царской России! Существовали нормальные отношения взаимного уважения, складывавшиеся веками. Именно поэтому мы сегодня не задумываемся, какой национальности был, например, Багратион, русский или нет. Мы знаем, что он герой Отечественной войны 1812 года, герой России.

Россия сложно создавалась, в постоянной борьбе и войнах, всегда должна была думать о безопасности своих рубежей. Поэтому именно в России возникло такое уникальное явление, как русское казачество. Когда страна выстояла после тяжелого нашествия степняков, происходили интересные трансформации на национальном уровне — татарские князья служили Московскому царю, который видел в них не людей второго сорта, а полководцев, способных защитить государство, и отдавал им должное. Так складывались отношения русского и татарского народов — в нормальном развитии и заботах о создании государства. И сегодня мы с благодарностью

вспоминаем татарских полководцев, служивших у Ивана Грозного, и тех, кто был позже. Вспоминаем и знаменитый род Юсуповых. Вся российская национальная политика пронизана мыслью о сожительстве разных наций в государстве через понимание того, что главное — созидание России. Это очень мудрая политика, выработанная самим временем. Со своей стороны, мы в Русском национальном Соборе хотим быть лишь максимально прилежными учениками этой истории и политики, стремимся вобрать в себя все то, что Россия накопила в решении национального вопроса.

— Как практически перейти к этой политике?

— Я думаю, сегодня демократы только запутали отношения между нациями в стране. Все эти Старовойтовы, Собчаки, Якунины, Ельцины и прочие должны взять на себя львиную долю вины за то, что возникли, как грибы после дождя, многочисленные межнациональные конфликты. Карабах, Южная Осетия, Приднестровье, Абхазия — что следующее, какая точка бывшего Советского Союза? В одном случае демократы провоцировали конфликт в силу простой неграмотности, в другом — потому, что поощряли одних, но упускали из виду других. Это они виноваты в этом. И сегодня бросать упрек русским в том, что среди них появились какие-то «русские националисты», просто несерьезно, господа демократы должны нас извинить, но они сами к этому большую руку приложили.

Сегодня у нас чрезвычайно сложная ситуация, мы должны быть действительно практическими политиками, должны понимать, что до того, как положение в общественной жизни, особенно в экономике России, не стабилизируется, ни о какой серьезной объединительной национальной политике речи быть не может. Наша первая задача сегодня — стабилизировать большую экономику страны. Как только это будет сделано, изменится отношение к России и на Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане.

Наверное, сегодня мы должны говорить о том, что русское население в отделившихся государствах просто должно выжить. А выжить оно может лишь в том случае, если будет стремиться к компактности проживания, к созданию какого-то вида автономии, и тем самым сохранит себя как этнос, как высококультурная общность. Лишь после стабилизации общего положения в России появятся новые центростремительные силы и русский народ начнет вновь собираться. Но тогда уже, когда разбежавшиеся народы быстро поймут, что не смогут выжить по отдельности, новые отношения дружбы с «суверенными» должны строиться согласно эквивалентному обмену, простите за прозу, по принципу « ты — мне, я — тебе». Нас история многому научила, никаких недомолвок и стыдливых умалчиваний из соображений, что мы — великий народ.

— Одним росчерком ельцинского пера в Беловежской пуще мы лишились 25 миллионов соотечественников, проживающих ныне в «ближнем зарубежье». Что вы об этом думаете? И не является ли разбегание республик попыткой выжить в одиночку в условиях экономического хаоса?

— Республики бежали от разрушающейся экономики, бежали от очень недальновидной, а порой просто враждебной демократии. На Украине многие прямо говорили: «Хотим Россию, но не хотим Ельцина!» А посмотрите, что заявляли лидеры Южной Осетии и Абхазии по поводу нашего демократического руководства, его политики в «ближнем зарубежье».

В то же время в нескольких республиках бывшего Союза уже есть ясное понимание необходимости экономической конфедерации. Мы увидим, как в ближайшее время об этом заговорят вслух.

25 миллионов русских остались «за бортом российского корабля». Нельзя разделить народ. Вспомните разделенную Германию, вспомните, какие колоссальные денежные инвестиции вкладывал Советский Союз в социалистическую восточную ее часть — ничего не получилось, история рассудила посвоему. Сейчас хотят разделить русский народ, растворить его в малых народностях, сделать его второсортным, обнищавшим и притесняемым. Ничего не выйдет из этого, если русское население в республиках сумеет консолидироваться и заявить во всеуслышание о своих исторических правах. Мы не будем стыдливо умалчивать о том, что Россия слишком много вложила, чтобы выйти к морям. Отдельным лицам или группкам лиц демократического толка не удастся убедить Россию в том, что у нее нет уже никаких государственных интересов ни на Балтике, ни на Черном море. Эта пагубная политика может привести лишь к очень серьезным последствиям, но она не имеет никакой исторической перспективы. Как не имеет исторической перспективы ни одно государство, отделившееся ныне от России хотя бы по причине существующих границ. Многие путают понимание коренного народа с титульной нацией, границы искусственны и сделаны во вред обеим сторонам, по живому проходят через русское население, разделяя его на российское и зарубежное — они не смогут долго просуществовать в таком виде.

— Можно предположить, что отдельные республики войдут в состав будущей России, об СССР, на мой взгляд, уже говорить не приходится. Будет ли Россия пересматривать границы, так как сегодня значительные русские территории принадлежат другим республикам? Имеются в виду земли в Прибалтике, Донбасс и Крым на Украине, земли северного Казахстана.

— Конечно, потому что народы не согласятся с теми границами, которые не отвечают интересам коренного населения и не соответствуют истории. Все это может иметь отрицательные последствия в ближайшем будущем.

Трудно сказать, как поведет себя Галиция, но что касается малороссов, то они в конце концов войдут в единое государство. А проблема Крыма решится сама собой. Повторяю, что сегодняшнее положение с границами не зафиксируется в истории, они временные, так как не устраивают ни Россию, ни «самостийные» республики. О пересмотре постоянно говорят Эстония, Латвия, Литва. У суверенных ныне народов должно хватить мудрости решить эту проблему не военным путем, а экономическим. Многие уже понимают это. Стоит лишь одному заводу на Украине перестать поставлять свою монопольную продукцию в другие государства — экономика стран всего бывшего Союза парализована. Монополизация, совершенно своеобразное размещение производительных сил и производственных мощностей из концепции единого бывшего государства окончательно продиктует свои правила. Экономические связи неизбежно заставят сделать экономическое пространство единым и, как и в прошлом, экономические связи начнут создавать и собственно государственное устройство и новые, выгодные всем, границы.

Уже сегодня в суверенных государствах появляется пока еще робкая тяга к России. Я был недавно в Узбекистане, там сейчас очень серьезные настроения о совместном ведении дел с Россией и даже о совместном государстве с нами. Некоторые страны Средней Азии вынуждены становиться отдельными государствами, им приходится открывать свои посольства за рубежом, потому что их отторгает сама Россия. Их народам до конца непонятна политика Ельцина, который повернулся к ним спиной. Такие тенденции возникают не потому, что в российском государстве эти нации в свое время жили плохо, ведь историческая память народов несет в себе не столько плохое, сколько благополучное совместное проживание. Все это еще скажется.

— В случае, если демократы в ближайшем будущем не отдадут власть, не приведет ли национальная каша, которая варится сегодня на развалинах СССР, к большим кровавым конфликтам и к великому переселению народов, в первую очередь к возврату 25 миллионов русских в Россию?

— 25 миллионов, конечно, не вернутся, но великое переселение народов возможно, потому что есть в этом процессе прямая и обратная связь. Если подавляется русское население в Прибалтике, то, с другой стороны, и в России живут литовцы, эстонцы и латыши, и это не может не сказаться на моральном климате их проживания у нас. Могут быть встречные переселения. Все это очень болезненно, потому что браки самые разные, семьи зачастую настолько многонациональны, что даже не могут разобраться, куда им ехать. Возьмите семьи военных, интернациональность которых самая высокая.

Вполне возможно, что политика демократов, поощряющая любые националистические выходки отделившихся государств, лишающая русское население мало-мальской защиты, доведет национальное противостояние в «ближнем зарубежье» до критического предела. Опасно и затягивание такой политики, на мой взгляд. Логика жизни подсказывает, что если непрерывно подбрасывать горящие головешки в костер межэтнических конфликтов, процесс когда-нибудь станет необратимым, и сами конфликты превратятся в затяжные очаги ненависти. В таких делах нужно действовать решительно и быстро. Вспомните первые месяцы в Карабахе, тогда еще можно было локализовать и прекратить кровопролитие. Можно ли это сделать сейчас, когда с обеих сторон пролито много крови невинных людей? Затягивание конфликтов быстро вступает в противоречие с экономическими интересами, с интересами чисто государственными.

Я полагаю, что наши демократы уже сегодня заложили столько мин замедленного действия, сколько нам и не снилось. Демократы, конечно же, уйдут, это неизбежно, Россия не может долго выдержать такой политический курс, но «наследство» они могут оставить нам очень тяжелое — в виде начинающейся крупномасштабной гражданской войны. Собственно говоря, они повторяют политику большевиков. Ленин для того, чтобы выжить самому, готов был вместе с Брестским миром — этим предательством национальных интересов — отдать и всю Украину. Нечто подобное сейчас совершают демократы с Бурбулисом, Гайдаром и Ельциным. Они ни разу не отстаивали интересы русского населения, их совершенно не интересуют судьбы русских людей в Приднестровье, но им важен мир и дружба с теми лидерами «ближнего зарубежья», одновременно с которыми они приходили к власти. Они готовы принести в жертву весь русский народ, лишь бы подольше удержаться у власти, и лишь бы на Западе их считали истинными демократами. Кровь соотечественников их не смущает.

— Вы помните, как в Германии возник фашизм — он появился в результате тяжелого унижения немецкого народа в результате его поражения в первой мировой войне. Немцы, доведенные до уничижения, растоптанные морально Европой после Версальского договора, возродились как народ на базе своей национальной идеи. Как вам кажется, сегодня, когда русский народ реально находится в очень похожих условиях, могут ли демократы своей недальновидной политикой породить русский фашизм?

— Демократы, по моему мнению, способны породить что угодно, кроме русского фашизма. Русских нельзя сравнивать с немцами, которые очень прагматичный народ, воспитанный на крестовых походах и непрерывных войнах в процессе формирования немецкого государства. В то время как русский народ и все его православное воспитание выделило в нем не прагматичность, а духовность, понимание человеческой жизни как самоценности. У русских никогда материальное обогащение не являлось самоцелью.

Россия и проиграла в 1917 году битву с большевиками потому, что непрерывные философские поиски русской интеллигенции в течение нескольких лет ценности жизни отвлекли их от осознания опасности, они и сами не заметили, как свершилась революция. Это же уникальная особенность русской нации - непрерывно искать ценность жизни. На такой почве фашизм никогда не возникнет, к такому выводу я пришел окончательно.

Другое дело — русский национализм — повторяю, не фашизм. Через несколько лет он станет важным фактором политической жизни, но не для подавления каких-либо наций, а для выживания. Патриотические силы помогут почувствовать русскому народу реальную опасность для себя, для своей земли и потомства. Мы просто вынуждены будем встать на защиту своего достоинства, своего многострадального государства. Согласитесь, что немцы — мононация, но какой фашизм может произрасти на территории, где всегда проживали более ста народностей, ста национальностей. Демократы могут принести много неприятностей своей глупостью, своим непониманием России как России, своей врожденной враждебностью к ее интересам, а вот фашизм не породят. Мы знаем себя, мы совершенно другая цивилизация, не хуже, не лучше, мы — славянская цивилизация, мы такие, какие мы есть.

— Александр Николаевич, у каждой нации есть свои цифровые количественные показатели, есть, скажем, критический минимум, позволяющий народу возродиться. Не кажется ли вам, что после стольких войн, выпавших на долю русских в этом столетии,

столъких гонений и неприкрытого геноцида, после растраты генетического фонда русские уже не смогут стать снова теми русскими, которых мы знаем по нашей истории?

— Я с этим не соглашусь. Мы с вами живем в год 600-летия преподобного Сергия Радонежского; вспомним, как он поступил, будучи обеспокоен обескровленностью Руси под иноземным господством. Он нашел свое мудрое решение по сохранению русского генетического потенциала. Его ученики и он сам отправились в леса создавать монастыри и обители, лесные братства. За ними потянулись крестьяне. Грабить там было нечего, и кочевники обходили аскетические обители стороной. Север Руси сыграл тогда колоссальную роль по сохранению генетического фонда. А что такое Север — ограниченное пространство, далеко не вся Россия.

Исторически мы должны и сегодня рассуждать, отдавая должное мудрости Сергия Радонежского. Вспомним, что живо казачество, ослабленное, но живо. Недавно я был на Дону в одной станице, которая существует с 1610 года, я посмотрел на казаков, какая мощь, сила, какой генетический потенциал цел. Это надо просто один раз увидеть. Мы, городские жители, настолько оторвались от своей глубинки, что в пыльных городах среди «макдональдсов» и пиццерий не представляем себе, насколько еще сильна Россия. Надо увидеть их достоинство, поведение, их культуру, чтобы понять главное: мы, русские, живы. Именно оттуда, из дальних станиц, начнется возрождение России. Кстати, демократы не решаются до конца реабилитировать казаков, потому что видят в них силу и боятся их. А нам, патриотическому движению, их бояться не надо. Организованные казачьи структуры опоясывают Россию от Карпат до Курил, есть некоторое соперничество в их структурах власти, но ведь это уже соперничество на пути возрождения. Вопрос — быть России или не быть, не ставится. Ясно, что быть.

С другой стороны, возьмите Сибирь. Я был в Новосибирске и Барнауле и просто не представлял себе, какая это мощь — Сибирь. Приходилось говорить со специалистами на заводах, какая россыпь талантливых людей! Я тогда подумал, где Ельцин находит себе министров, откуда он их берет? А тут берите любого, посадите его в кресло министра промышленности, не ошибетесь. Что надо этим людям? Им не нужна власть, которая их подавляет и не дает развиваться, им нужно просто нормальное русское государство с пониманием национальных интересов, и они сами расправят крылья. У меня есть уверенность, что, если даже представить, что нынешние демократы пойдут на какие-нибудь чрезвычайные меры, у них ничего не выйдет. Это закончится тем, что Сибирь отделится от демократической России и тем самым просто сохранит себя от дальнейшего экономического развала. Я знаю настроения сибиряков, они выступают против отделения, но временно пойдут на такую крайнюю меру, чтобы выжить, и затем снова быть с Россией.

— Этот шаг выразил бы недоверие нынешнему правительству Ельцина. .

— Это шаг во имя сохранения некой свободной зоны российского государства.

— А как бы в такой сложной политической ситуации повело себя правительство?

— Видимо, никак, демократам по-хорошему следовало бы давно уйти в отставку и не осложнять и без того тяжелое положение в стране. Более того, я скажу, что и юг России может поступить совсем не так, как хочется нынешнему правительству. По некоторым признакам можно предположить, что скоро может возникнуть какая-нибудь Южная Казачья Республика. И опять не потому, что им нехорошо в России, а напротив, именно потому, что они и есть сегодня Россия, которая не хочет с этой властью иметь ничего общего. Возможна очень необычная ситуация: власть руководит сама собой, а регионы живут своей жизнью. Но придет время, и эти регионы воссоединятся. Никакие расчленения Россию не ликвидируют, русские, как ртутные шарики, все равно сольются воедино.

— Можно сказать, что впереди у России светлое будущее, без большевиков и демократов?

— Не сомневаюсь, Россия была велика, есть и будет. Сегодня следует говорить не столько об опасности исчезновения России с политической карты мира, сколько о необходимости пройти до конца этот судьбой определенный тяжелый отрезок пути, начавшийся в 1917 году, преодолеть его. К сожалению, Россия не разобралась в том, куда ее завлекли, таков ее крест. Страна, собственно говоря, уже выжила, теперь ей нужно встать на ноги, сосредоточиться, поразмышлять, стать собой, вернуть себе по-настоящему добытые в истории ценности, и быть выше суетливой Европы и Америки. Пусть американца волнует: купить или не купить новенький «кадиллак», у нас иные ценности, Мы живем в другом духовном измерении.

— Александр Николаевич, скажите, как вы понимаете национальный капитализм в России, в чем его отличительные особенности?

— В отличие от правительства Ельцина, которое всеми возможными способами подавляет русский национальный капитал в угоду западным транснациональным корпорациям, мы должны дать все возможности национальному капиталу встать на ноги, развиваться до такого уровня, чтобы он мог полнокровно противостоять западному на мировой арене. Наша политика заключается в определенных протекционистских мерах на какой-то период. Страну надо защитить и не отдать на разграбление иностранцам, как дальним, так и ближним. Но тем не менее наше понимание рыночной экономики, развития и становления капитала отличается во многом от европейской и американской модели.

Приведу один пример. Русские крупные предприниматели, которые не так давно появились, далеко не считают накопление самоцелью, они не видят смысла в том, чтобы просто делать деньги. Они ищут ответа на типичный русский вопрос: ради чего делать эти деньги?

Предприниматели говорят сейчас: нельзя жить в таком бездуховном обществе, надо что-то делать. Они готовы вкладывать деньги в общество, в музеи, в борьбу с нищетой. Они готовы работать на общество. Скоро появятся у нас новые Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы. Вот в чем главное отличие русского капиталиста от западного.

— Можно ли предположить в этой связи, что через 10 — 15 лет Россия выйдет в разряд самых развитых стран мира?

— Я не сомневаюсь в этом.

— XXI век может стать веком России. Идея третьего Рима будет пророчески воплощена в жизнь?

— У нас очень талантливый народ, огромный интеллектуальный потенциал, если не самый лучший в мире — как вы его ни выкачивайте на Запад, не выкачаете. У России есть огромная территория, есть богатейшие запасы сырья, есть многочисленный трудолюбивый народ, есть все, чтобы поднять государство и сделать его передовым в мире. Главное — не препятствовать этому процессу, как это делают демократы. Но Россия не будет государством, где один капиталист поедает другого в западной конкурентной борьбе, а это будет держава с православными ценностями и капиталом, который будет служить обществу.

Сегодня некоторые предприниматели, я это знаю доподлинно, откровенно враждебно относятся к правительству Ельцина, потому что на их глазах большинство дельцов разворовывают Россию. Кредиты уходят безвозвратно, как вода в песок, а они могли бы использовать эти огромные деньги с пользой для страны. Я заметил, что в предпринимательских кругах уже появились свои национальные серьезные силы.

— Как вы считаете, Александр Николаевич, что нужно предпринять, чтобы возродить обезлюдевшие северные деревни?

— Коль скоро суверенные государства, возглавляемые местными националистами, жаждут избавиться от русского населения, мы должны им в этом помочь, правда, на условиях эквивалентного обмена. К примеру, жилой фонд Латвии создан централизованными вложениями России. В свою очередь латыши должны оплатить переезд русских беженцев, их обустройство, всю инфраструктуру их дальнейшего бытия. Это справедливо.

Но самое главное, «неперспективные», как их недавно называли, русские села возродятся лишь тогда, когда мы крепко посадим на землю русского человека. В колхозах и совхозах люди порой не хотят просто работать «на дядю». Мои собственные дед и бабушка рассказывали, как у них под Подольском один председатель колхоза за другим строил себе дом, наворовывал состояние и уезжал. Крестьянин хочет работать на себя. А сколько у нас офицеров, которые с удовольствием занялись бы землей. Нынешнее правительство палец о палец не ударило для того, чтобы создать крестьянину условия для полнокровного труда, чтобы появился хозяин земли. Заметьте, они говорят лишь о продаже земли. Для того чтобы появился фермер, нужно не просто выделить ему 50 гектаров пашни, но и обеспечить его всем необходимым: малой техникой, стройматериалами, транспортом, дорогами, телефоном наконец. Одного кредита с грабительскими процентами мало.

Представьте себе, что вместо того чтобы закупать зерно у американских и канадских фермеров, поддерживая тем самым всю экономику этих стран, огромные валютные средства пустить в русскую деревню. Через несколько лет мы бы уже сами торговали зерном, как это было в России до революции.

Но как хотят нынешние лидеры протащить идею с продажей земли! А дальше они разберутся с этой землей, мы знаем, у кого она окажется. По существу, демократы настоящего хозяина на земле не создадут. Если бы мы помогли русским из «ближнего зарубежья» осесть на земле внутри страны, уже во втором поколении они стали бы настоящими хозяевами и знали, зачем они живут. От собственности еще никто не убегал, бежали от пустоты.

— Значит, можно рассматривать купли-продажу земли как еще один источник наживы демократов?

— Разве мы не знаем, в чьих руках окажутся так называемые земельные банки? Власть совершенно не волнуют интересы русского народа-землепашца.

— Александр Николаевич, как вы практически представляете защиту русских интересов в торговле и промышленности?

— Когда читаешь работы разных Явлинских и прочих экономистов, приходишь к мысли, что в каждой проблеме есть и сложная сторона, и простая. Возьмем, к примеру, Индонезию. После Сукарно индонезийцы не стали продавать иностранцам ни недвижимость, ни землю. Иностранцам позволялась лишь аренда на 20 — 30 лет. Так вот, защита национального капитала заключается в первую очередь в том, чтобы иностранцы не могли купить ни недвижимость, ни недра, ни землю. Хотите участвовать в распределении прибыли — участвуйте, хотите бензин — стройте завод, но сырую нефть мы продавать не будем. Вам нужна древесина — стройте фабрику, домостроительный комбинат, 20 процентов продукции можете вывозить, а остальное — для офицеров и беженцев из республик. В обмен на технологию получите сравнительно дешевую рабочую силу и сырье. Защита национального капитала заключается именно в том, что мы должны привлекать инвестиции в собственную экономику, однако не для вывоза дешевого сырья, а для взаимной экономической выгоды. Не иностранец, а только свой, русский, предприниматель должен иметь право купить недвижимость. Только в этом случае нас не скупят на корню западные банки.

— И последний вопрос, Александр Николаевич. Способна ли национально-патриотическая оппозиция нынешнему правительству Ельцина сформировать новое правительство и вывести страну из глубокого кризиса?

— От имени Русского национального Собора я хочу заявить, что сегодня в стране есть собственные патриотические силы, готовые взять на себя полную ответственность за вывод России из того политического, экономического и национального тупика, в котором она оказалась по вине демократов. Я призываю к сотрудничеству с нами всех, кому не безразлично будущее нашей великой державы. У России свое собственное ни на кого не похожее будущее.

Славянский мир

ВЯЧЕСЛАВ ОГРЫЗКО

СЛАВЯНСКАЯ ДРАМА

СТРАНИЧКИ ИЗ СЕРБСКОГО ДНЕВНИКА

9 сентября

Доберемся ли до Сербии? Ведь билеты у нас только до Софии. Из-за санкций ООН все международные рейсы до Белграда отменены. Строгий майор, проверяя документы на КПП в Шереметьево, интересуется, как, не имея ни въездной, ни транзитной визы, собираюсь добираться из Софии до Югославии. Не думая, что выдаю какую-то тайну, говорю, что в Софии будут встречать коллеги-журналисты, они и довезут до Белграда.

— Так вы журналист? А удостоверение есть?

Вот и влип. Сейчас из-за меня тормознет всю группу, которая уже прошла пограничный контроль у других офицеров. Протягиваю визитку. Голос майора, кажется, помягчел. Уже не так сурово офицер предупреждает:

— На всякий случай будьте готовы к тому, что из Софии вас могут тут же выпроводить в Москву. Обратный билет есть? Тогда удачи вам.

Не обошли, оказывается, эти напутствия и всю группу. Ну что ж, будем надеяться, что не тормознут нас в Софии и наши братушки-болгары.

10 сентября

Уже два дня мы в Белграде. Первое впечатление, что война бушует не рядом, не в ста — ста пятидесяти километрах, а где-то далеко. Город живет своей столичной жизнью. В гостинице, где мы поселились, в эти дни проходит конкурс «Мисс Югославия». Кругом красивые женские лица. Когда сегодня поздно вечером мы гуляли по улице князя Михаила, я поразился обилию людей. Эта улица во многом напоминает наш Арбат. Но есть одна разница — по Арбату не то что поздним вечером, даже днем особенно не разгуляешься без риска быть ограбленным или услышать сочные матюги сопливой шпаны. А здесь на всем пути ни одного алкаша не попалось. Молодые, как и положено, ходят-милуются, старики же подолгу стоят у витрин магазинов, разглядывая ценники. На каждом шагу крутящиеся барабаны с жареной кукурузой. Словом, отдыхай сколько твоей душе угодно.

О войне мы судим пока по «салонному» общению. Сегодня, к примеру, были у вице-премьера правительства Сербии профессора Зорана Оранджеловича. Он приводил ужасные цифры. В Боснии и Герцеговине в боевых действиях легально участвует 50 тысяч хорватских солдат. Количество беженцев из Хорватии, Боснии и Герцеговины перевалило за полмиллиона человек, из них пятая часть отнюдь не является сербами по национальности. При этом беженцам, которые уже сегодня составляют 7 процентов населения Сербии, создаются всяческие условия для нормальной жизни. Они получают питание, более-менее сносное жилье или номера в гостиницах, медикаменты, а детям бесплатно выдаются учебники. В республике все делается для того, чтобы беженцы не чувствовали себя гражданами второго сорта. Но вместо помощи от мира Сербия и Черногория столкнулись с весьма жесткими санкциями ООН. Страна не получает нефти. Очереди на бензоколонках достигают трех-четырех километров. От мировых компьютерных систем сейчас отключены даже гуманитарные институты Сербии. Как считает Оранджелович, повторяется ситуация, когда «новый мировой порядок» начинает кроить судьбу и сербского, и русского народов.

Конечно, и эта информация чрезвычайно важна. Но она пока мало укладывается в наших головах и плохо сочетается с тем умиротворением, которое царит на всех приемах. Какая война, если вчера мы весь вечер наслаждались в ресторане прекрасной игрой музыкантов. Правда, стоило в зале появиться в красивых черных платьях молодым девчонкам (а сербки, как я заметил, любят черный цвет), оркестр сразу переключился на них. Но что это было! Нет, не шлягеры тут же понеслись по залу и тем более уж не рок, — зазвучали сербские национальные песни, которые девчонки тут же подхватили. В ресторанах России давно уже такое невозможно. Наши девчонки, оказавшись в банкетном зале, народную песню не запоют. А жаль!

О войне напомнило неожиданное появление гостей из Сербской Краины. О нашем приезде они ничего не знали. Они — это начальник республиканской милиции и его боевой друг. Ребята приехали в Белград, видимо, просто отдохнуть, хоть на миг отвлечься от войны. Много рассказывать они не стали. Начальник милиции пригласил:

— Приезжайте, увидите своими глазами. У нас стоит русский батальон. Мы вашими

ребятами очень довольны. С русскими командирами у нас прекрасные отношения.

А на прощание гости подарили нам майки с сербской национальной символикой. Естественно, мы все захотели тут же надеть эти майки на себя. И только жена одного посольского работника не выдержала, ойкнула:

— Ребята, ну в Белграде еще поносите эти майки, а если поедете туда — в Краину, — ради Бога, прошу, ни в коем случае майки не одевайте, сохраните до Москвы.

Так что же все-таки в Сербской Краине происходит? Что вообще творится в Сербии и с сербами?

ТРЕТЬЯ УГРОЗА ГЕНОЦИДА

Третий раз в нынешнем столетии сербы столкнулись с угрозой уничтожения собственной государственности и геноцидом против своего народа.

Первый раз опасность возникла еще перед первой мировой войной, когда австро-венгерские войска оккупировали Боснию и Герцеговину. Аннексия сербских земель в 1908 году должна была уничтожить всякую надежду на возможность национального объединения сербов. В годы первой мировой войны гнет против сербов на Балканах только усилился. Лишь поражение германского блока спасло многомиллионный народ. Тогда решение балканского, а в какой-то мере и мирового конфликта было увидено в создании первого югославского государства. В конце 18-го года на карте мира появилось Королевство сербов, хорватов и словенцев. Несмотря на то, что словенцы и хорваты в ходе первой мировой войны выступали против православных соседей, сербы проявили великодушие и согласились включить их в состав нового государства. Они полагали, что новое королевство поможет спасти словенцев и хорватов от германизации. Чем обернулась эта доброжелательность, сербы сполна испытали во время второй мировой войны, когда усташи вместе с фашистской Германией устроили против них новый геноцид.

Но вторая мировая война не стала уроком для сербов. Они вновь согласились принести себя в жертву, чтобы построить, как им казалось, новую Югославию. Мало кого возмутило тогда установление режимом Тито совершенно произвольных границ внутри созданного федеративного государства. Общественное мнение спокойно отнеслось к тому, что по новому административно-территориальному делению к Хорватии отошла часть земель, издревле населенных сербами, и сербские территории оказались отрезанными от моря. Многим казалось, что гарантом мира выступит послевоенная хорватская Конституция. Титовские законы провозглашали, что Хорватия — это государство хорватов, сербов и других народов. Больше того, в 45-м году Тито и его сторонники не отрицали, что хорваты и сербы — суверенные народы, совместно строящие общий дом. Кто знал, что через 46 лет все упоминания о сербах из хорватской Конституции будут просто выброшены, а вот границы объявят нерушимыми. Впрочем, как считает лидер боснийских сербов поэт Радован Караджич, были такие люди, которые не верили Тито, и среди них — Сталин.

— Сталин понял еще в 43-м году, что Тито — орудие в руках Запада, — заявил нам Караджич при встрече близ Сараево. — Сталину было б лучше, если бы сюда вернулся король. Порой кажется, что Сталин был больше православным, нежели большевиком.

За искусственно проведенными границами очень скоро последовали и другие шаги Тито, преследовавшие одну цель — лишить сербов исторической памяти, своей культуры, веры и обычаев. Сначала удар был обрушен на православие. Новое государство делало все, чтобы отлучить детей от веры. Сокращалось количество православных церквей. Исчезали молитвенники. Угасали иконописные школы. При этом гонения почти не затронули католические костелы и мечети. Затем режим Тито объявил бой кириллице. Очень скоро на улицах городов и сел стали преобладать вывески, исполненные латинским шрифтом. Чуть ли не целиком перешло на латиницу и книгопечатание. В стране все делалось для того, чтобы кириллица ушла в прошлое и стала письмом мертвых.

И вот на сербов обрушился еще один удар. Силы «нового мирового порядка» не хотят теперь позволить им объединиться и восстановить на своих исконных землях собственную государственность. Один народ сейчас разделен границами. Почти 7 миллионов сербов живет теперь на территории новой Югославии. которую составляют Сербия и Черногория, другая часть (а это 600 тысяч) находится в Сербской Краине и более миллиона сербов населяют Боснию и Герцеговину. Только долго ли так будет продолжаться? Как я услышал в Белграде от сербских парламентариев, в данный момент сербские земли представляют большой концлагерь, в котором совершается физический и культурный геноцид против сербского народа, и у многих депутатов создается впечатление, что давлением на Югославию и сербов мир хочет добиться уничтожения православия.

Если сербский национальный вопрос и в этом столетии окажется без своего решения, нестабильность на Балканах перерастет в крупные международные кризисы, опасные для всего человечества.

14 сентября

От Белграда до границы с Краиной не так уж много — чуть больше ста километров. Но вот уже три часа прошло, четвертый на исходе, а мы все петляем по каким-то проселочным дорогам и петляем. Шофер нашего автобуса без конца сверяется с картой, уже несколько раз он спрашивал дорогу у случайных прохожих, но цели так и не видать. Э. И. Сафонов полагает, что мы имеем дело с сербским вариантом Ивана Сусанина. Но когда автобус окончательно встал возле какой-то деревеньки и шофер, похоже, надолго углубился в изучение двигателей и мотора, у В. И. Филатова появилась другая версия: боится водитель усташей, и все.

— У меня уже было так в Ираке, — нервничает генерал.

Так это или не так, никто не знает. Что делать, если шофер здесь самый главный, как его проверить? Наконец автобус вроде бы завелся. По местам! Еще минут 20 — 30 — и граница. С левой стороны Дуная автобус проверяет сербская армия. Мост кончается. И нас перед въездом в поселок Эрдут встречают... русские.

Да, это уже зона, контролируемая войсками ООН, а от ООН здесь стоят посты русского батальона. К встрече с нашими парнями мы готовились еще в Белграде, но не думали, что первое знакомство произойдет вот так. Солдаты, по-моему, сами опешили. Они уже четвертый месяц стоят тут, а своих соотечественников видят впервые. Старший лейтенант, успевший еще послужить в Афганистане и до сих пор не остывший от «горячих точек» в бывшем Союзе, после радостных объятий сразу ошарашивает:

— Скажите, это начало третьей мировой войны?

Смысл его вопроса стал понятен буквально через час, когда мы въехали в Вуковар, который иначе, как Сталинградом конца двадцатого века, назвать нельзя. Осенью 91-го года здесь развернулась самая настоящая битва. Усташи подвергли осаде Вуковарский гарнизон югославской армии. Бои велись не только на улицах. Стрельба велась усташами даже из подвалов и подземных ходов. Говорят, что после пражской весны Тито, опасаясь вторжения в Югославию войск стран Варшавского Договора, решил создать в Вуковаре мощный опорный пункт. Здесь была построена разветвленная сеть подземных коммуникаций, где нашлось место для больших запасов оружия, боеприпасов и продовольствия. Теперь всю эту мощь усташи обратили против югославской армии. Впрочем, армия была только предлогом. В Вуковаре усташи развернули войну против сербского народа. Свидетельство тому — сожженные дома мирных жителей, обстрелянные здания больниц, порушенные храмы.

Разве можно забыть маленькую церквушку в центре города? Она вся прошита пулеметными очередями. Битый кирпич до сих пор устилает церковный двор. Здесь еще ничего не расчищено. Ступенек в храм не видно — ноги увязают в груде камней и стреляных гильз. Стены — одно название, живого места на них не найти. Роспись осыпана. И только возле алтаря чудом сохранилась одна фреска: ангел закрывается руками от ужаса.

Чем церквушка-то помешала? Ведь и слепому было понятно, что тут никакой военный объект не разместить и даже взвода солдат здесь не укрыть. Зачем же потребовалось ее крушить? Только потому, что церквушка представляла крепость иного рода —

крепость православия. В Вуковаре была предпринята попытка уничтожить сам дух православия. Если автоматные очереди не помогали, усташи посылали в сторону храмов мощные артиллерийские снаряды. Когда и снаряды оказывались бессильны, церкви подрывали. А они все равно выживали. Пусть израненные, изрешеченные пулями, но оставались стоять. Как, например, главный вуковарский кафедральный собор, названный в честь святителя Николая чудотворца.

Здесь еще зияет дырами крыша, не заделаны оконные проемы, не расчищены многие кирпичные завалы, но уже проходят службы, а недавно, как поведал протоиерей Жарко Яинеч, даже совершался обряд венчания.

Отец Жарко стал настоятелем Вуковарского собора в апреле 91-го года. До этого он 26 лет отслужил в Боровом. Раньше он полагал, что самое тяжелое время пришлось на его юность, когда учился в семинарии и жил в Раковицком монастыре. В стране тогда господствовала титоистская диктатура. Церковь подвергалась многочисленным унижениям. Но оказалось, самые страшные испытания святого отца поджидали впереди. Он рассказывает:

— Вечером 17 сентября 91-го года усташи заминировали храм. Действовали они очень расчетливо и хладнокровно. Мины были заложены под купол и практически все основные конструкции храма. Первым же взрывом им удалось основательно разрушить купол и выбить все двери и окна. Пол был завален грудами кирпича и дерева метра на полтора. Но это, как выяснилось, была всего лишь прелюдия. На следующий день фашисты облили церковь бензином и подожгли храм. В огне сгорел весь деревянный иконостас, а он был одним из самых красивейших во всей Славонии. Однако и на этом усташи не успокоились. Они пустили по миру фальшивку о зверствах сербов. У меня был гость — он живет в Вене, который рассказал, как по австрийскому телевидению регулярно показывают наш собор, называют его католическим костелом и говорят: вот, смотрите, что сотворили с ним сербы.

Первый раз после взрыва отец Жарко смог прийти в церковь только 22 сентября. Среди руин на чудом сохранившейся алтарной стене он увидел уцелевший образ Бога-отца.

Испепелить собор усташам не удалось. Он уже простоял на православной земле два с половиной века и останется стоять, надеюсь, до тех пор, пока в Вуковаре будет жить сам дух православия.

— Я без разрешения патриархии назвал храм, пока он не будет полностью восстановлен, великомученическим, — признался отец Жарко.

И разве кто посмеет осудить его за это?

На прощание отец Жарко пригласил выпить ракии. Но мы, боясь опоздать в русский батальон, отказались. И потом очень жалели об этом. Сэкономив пять минут, мы обидели не кого-нибудь — священника, который уже столько вынес на своих плечах, а сколько ему еще предстоит пережить. Наказание не заставило себя долго ждать. Встреча в самом батальоне прошла скомканно. Ребята выглядели растерянно. Они не знали, что рассказывать. Не потому, что боялись выдать какие-то секреты. Им до сих пор трудно понять, в чем миссия русского батальона. Хорваты считают наших солдат русскими четниками, упрекают в просербских позициях. И, видимо, они недалеки от истины. Но симпатии не всегда согласуются с приказами. Как ребятам выразить все свои сомнения?

Даже приезд из Белграда отца Василия, который представляет в Сербии Русскую Православную Церковь, по-моему, не произвел поначалу в батальоне никакого впечатления. Да и откуда взяться впечатлениям. Отец Василий собирался освятить казарму, поговорить с ребятами наедине, поведать им о своей судьбе, послушать солдатские рассказы. А вместо этого — построил начштаба в аэропорту Осиека комендантскую роту. Но разве на плацу выговоришься? Только и смог на общем построении отец Василий передать батальону икону Александра Невского и сказать пару напутственных слов, да еще показать военную форму своего деда, сражавшегося против турок.

Неужели так и уедем, не услышав друг друга и не увидев, как живут здесь наши парни? Может, просто не надо засиживаться в штабе, а лучше выехать на посты, туда, где ребята несут боевое дежурство? И тут вдруг заупрямился один из операторов с Белградского телевидения, ехавший с нами всю дорогу. «Не сяду в автобус, и все». Почему? «Там усташи». И то, что рядом с нами русские офицеры, на него абсолютно не действует. В ответ как заклинание: «Там усташи». Только когда начштаба дал твердую гарантию, что нынешнюю хорватскую границу мы пересекать не будем, оператор чуть-чуть успокоился и сел в автобус.

Свое слово начштаба сдержал. Сначала мы заехали в поселок Липовац. Это самая южная точка на той территории, которая находится под контролем русского батальона. Казарм, естественно, здесь никаких нет. Солдатам, свободным от боевого дежурства, приходится пока размещаться в домах, оставленных хорватами. Здесь уже ребята не стесняются. Разговор идет в открытую — о большой политике, о русско-сербских связях, о роли России в нынешнем конфликте, о том, кому выгодно столкнуть Россию с Сербией — все вопросы и не перечислить. Мы большей частью помалкиваем, пусть ребята послушают отца Василия.

Хотя он родился и всю жизнь прожил в Белграде, но никогда не отделял себя от России. В России выросли его родители. Отец — Виталий Тарасьев — был, как дед и прадед, священником. Революцию он встретил шестнадцатилетним мальчишкой на юге России. Тогда же получил тяжелое ранение в ногу. После лазарета Тарасьев нашел свое место в Белом движении, служил у генерала Врангеля, вместе с ним в 20-м году покидал Россию, скитался по Европе, пока его не приютила Сербия. В начале 20-х годов Сербия приветила и семью матери отца Василия. Мать его была дочерью художника-баталиста и генерала Литвинова. Она выросла в Туркестане. Отец ее в свое время под командованием Юденича брал Эрзурум, сражался с турками, получил ранение в сердечную сумку. Русско-турецкий фронт и Туркестан были главными темами его картин. А всего к середине 20-х годов в Сербии оказались десятки тысяч русских эмигрантов. Братья-славяне отнеслись к ним с полным пониманием. Живы еще были старики, которые с благодарностью вспоминали поход генерала Черняева, способствовавший освобождению сербов от турецкого владычества. Осталось и много свидетелей подвигов московского ополчения, которое в 1916-м году громило на сербских землях союзников Германии. В благодарность русскому народу местные власти разрешили в 24-м году открыть в центре Белграда русскую церковь. Ее освящение совпало с днем Куликовской битвы. 43 года в этом храме отслужил Виталий Тарасьев. Теперь здесь служит отец Василий. (Кстати, его сын, диакон, сейчас готовится к рукоположению в священнники, и надо надеяться, что и он останется в церкви Николая угодника.)

Виталий Тарасьев, как и другие священники, главное назначение церкви видели в сохранении русского духа и верности героической истории России. Не случайно здесь 20 лет стояли многие знамена российской императорской армии, которые до наших дней, к сожалению, сберечь не удалось, перед освобождением Белграда от немцев в храм ворвались гестаповцы и увезли символы воинской доблести русского народа с собой. Но семья Тарасьевых сохранила икону из Сараево — участницу похода генерала Черняева, походную икону Кубанского казачьего войска, кители генералов и солдат русской армии времен первой мировой войны, многие документы о доблестях русского оружия в Сербии. Может, поэтому отцу Василию так дорого военное прошлое России, в котором столь ярко отразилась и история его героических предков. Вот почему он рвался вместе с нами в русский батальон, одному ему в Белграде разрешения на поездку не давали.

Чувствовалось, что для ребят то, что рассказывал отец Василий, — тайна за семью печатями. Им никто раньше ничего не говорил о подвигах русского воинства на сербских землях. Многие думали, что они здесь совершенно посторонние люди. Но это не так. Мы — братья, и наше родство скреплено кровью предков. И неужто нашим врагам удастся теперь рассорить нас?

Но договорить не удалось, надо было ехать дальше. К посту — это в километрах пяти от Липовац — мы добрались уже в сумерках. Собственно, сам пост — это небольшая вышка, на которой круглосуточно несут службу наблюдатели, и еще солдатский наряд на развилке проселочных дорог. У наряда главные нагрузки днем: ребята проверяют каждый транспорт, пересекающий пока прозрачную границу между Хорватией и Сербской Краиной, нет ли в машине оружия и запрещенного груза, правильно ли оформлены документы. Наблюдателям же на вышке несладко и днем и ночью.

Конечно, трудно удержаться и самому не подняться на вышку. В бинокль ночного видения рассматриваю окрестности. Ближайшая хорватская деревня не так уж и далеко — только поле перейти. Но гулять по этому полю охотников мало, оно все утыкано минами. Впрочем, зверье до сих пор так и не может уловить законов войны. Редкая ночь здесь обходится без взрывов: то заяц пробежит, наскочит на мину, то неосторожный кабан подорвется. Так что скучать нашим солдатам не приходится.

А в палатках посидеть, поговорить нам уже не удалось. Только успели заскочить на минутку. Хотя лучше б нас оставили здесь дня на два — на три.

Возвращались мы в сербскую столицу уже по ночному и совершенно пустынному шоссе Загреб — Белград. Ехали в пугающей тишине. Неужели эта тишина может и здесь взорваться войной? Не дай Бог.

ПОД НАЖИМОМ «НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА»

Вряд ли теперь кто сомневается в том, что бывшая Югославия в очередной раз принесена в жертву ради утверждения «нового мирового порядка». Момент для проверки давно написанных на Западе сценариев был выбран весьма удачно. На мировой сцене лопнуло равновесие сил. Правящая верхушка бывшего Советского Союза добровольно уступила свои преимущества Америке. США остались на сегодня единственной супердержавой. А тут еще наслоились внутренние проблемы. Все государственные структуры в бывшей Югославии, сформированные тоталитарным режимом Тито, насквозь прогнили и не смогли вовремя сориентироваться в новой обстановке. Первыми почувствовали перемены лидеры национальных движений в Словении и Хорватии. Взамен не оправдавших себя союзных органов власти, воспитанных в коммунистическом духе, они предложили создать на своих территориях национально ориентированные правительства. Большинство же сербских руководителей предпочло держаться за старые структуры, не решаясь порвать с социализмом. Это только усилило кризис в бывшей Югославии.

Естественно, сложной внутренней обстановкой в стране умело воспользовались силы, пытающиеся навязать человечеству «новый мировой порядок». Сначала Германия морально, а во многих случаях и материально поддержала таможенную войну в Словении и междоусобные конфликты в Хорватии. В ее интересах было создание на юге Балкан двух послушных государств-сателлитов. Здесь немецкие политики были не новы. Они во многом опирались на план создания экономически сильной Германии, выдвинутый еще в 1915 году немецким экономистом и политиком Фридрихом Науманом. Еще в годы первой мировой войны, когда Германия находилась на вершине своей военной мощи, Науман призывал к созданию на славянском юге государств-сателлитов, послушных германскому капиталу. Но в 18-м году план Наумана потерпел крушение. Впоследствии к разработкам немецкого экономиста и политика обратился Гитлер. Правда, действовал он более примитивно, чем его предшественники. Он выгнал из оккупированной им Словении часть населения, а в Хорватии провозгласил образование фашистского государства. В итоге гитлеровская политика по отношению к южным славянам также закончилась провалом. Нынешние лидеры Германии действуют более осторожно, используя для утверждения своих целей в первую очередь экономические рычаги. Кстати, одна любопытная деталь. Бывший многолетний министр иностранных дел ФРГ Геншер, который так энергично способствовал развалу единой Югославии и признанию мировым сообществом Хорватии и Словении, принадлежит к партии, основанной в свое время Фридрихом Науманом. Это косвенно подтверждает преемственность политики Германии по отношению к южным славянам.

Однако скоро руководящую роль в утверждении «нового мирового порядка» у Германии перехватила Америка. Именно США выступает закулисным режиссером тех событий, что развернулись сегодня в Боснии и Герцеговине. Америке сейчас очень выгодно поддерживать мусульманский режим в Сараево. На нее из-за событий в Ливии, Ираке, Ливане рассержен чуть ли не весь исламский мир. Продолжать портить отношения с мусульманскими странами Америка позволить себе не может. Прочные связи с исламским миром ей нужны прежде всего из-за нефти. Конфликт в Боснии — прекрасный предлог исправить среди мусульман плохое впечатление об Америке.

Но первым камнем преткновения в утверждении «нового мирового порядка» стала Сербия. Она не захотела покориться закулисным режиссерам и принять чуждые ее народу правила игры. И тогда на Сербию обрушились санкции ООН. Цель этих санкций очевидна — наказать сербов за строптивость экономически. Что это значит? А это значит, что, если не будет отменена блокада, устроенная ООН, уже к концу нынешнего года в Сербии появится полтора миллиона безработных, десятки тысяч беженцев не смогут получить ни хлеба, ни жилья и начнут умирать от голода и холода дети.

Кстати, большинство сербов хорошо понимает роль Америки в нынешней югославской драме. Но это не мешает Сербии продолжать широко рекламировать фирмы «Мальборо» и «Макдональдс». Что это: политическая наивность, беспибашность или полное равнодушие, я так и не понял.

Только решительные действия на мировой арене многовекового друга сербского народа России пока еще в состоянии не допустить утверждения «нового мирового порядка». Именно — пока. Если Сербия не устоит под натиском мирового капитала, следующий удар обрушится на нас, на Россию. Но спасемся ли мы в одиночку?

16 сентября

Как только вблизи Зворника мы пересекли границу с Боснией, наш друг Драгош Калаич стал раздавать бронежилеты. Естественно, надевать их никто не захотел. Еще чего не хватало. Но долго храбриться не дали. Кило-

метров через десять нас остановил очередной солдатский пост: дальше начиналась опасная зона и все грузовики, торопящиеся в сараевском направлении, ждали БТР. Тут подсевший к нам в Зворнике полковник Петер Солопура просто приказал всем надеть панцирьки — так по-сербски называются бронежилеты.

— Кто был в Афганистане, — грозно сказал полковник, — поймет в чем дело.

Таких у нас четверо: Юрий Лощиц, Эрнст Сафонов, Александр Проханов и Виктор Филатов. Они и пояснили, что въезжаем в «зеленку» — это когда дорога со всех сторон плотно окружена лесными массивами, откуда противнику очень удобно вести огонь по любому проезжающему транспорту.

Здешняя «зеленка» растянулась километров на пять. Уже минут через десять нам открылось страшное зрелище: в кювете лежали опрокинутые грузовики и сожженные легковушки, а чуть дальше — груды изуродованного металла. Долгого боя здесь не было. Все случилось за несколько минут. Две недели назад сюда скрытно пробрались мусульманские боевики. Улучив момент, они налетели из засады на безоружную колонну, перестреляли водителей, а когда возвращались на свою базу, по пути «покуражились» в сербских селах. Теперь, пока солдаты не вырубят метров на сто от дороги все деревья, машинам ездить по этому участку без сопровождения БТРов запрещено, так как не исключена возможность новых диверсий; перерезать одну из главных магистралей, по которой перебрасываются грузы для сербского правительства в Боснии, — мечта боевиков, поддерживающих режим Изетбеговича.

Само же правительство, пока идут бои в Сараево, размещается близ Палы в курортном местечке Яхорина. Во время Сараевской зимней олимпиады там проходили соревнования мужчин по горным лыжам. А теперь в Яхорине воцарилась отнюдь не курортная тишина. Лесные тропы — и не только они, все возможные подходы к горному курорту — заминированы. Голые скалы возле дорог — в густых маскировочных сетях. И на каждом шагу — солдатские посты с неизбежными в таких случаях проверками документов.

Пока добрались, стемнело. Поэтому все встречи и разговоры решили перенести на утро.

17 сентября

Есть, видимо, какая-то закономерность в том, что руководителями сербского национального движения как в Краине, так и в Боснии стали учителя и писатели. В Эрдуте мы познакомились с председателем Скупщины Сербской области Славония, Баранья и Западный срем Миланом Илечем, он — учитель. Из сельской школы пришел в первое правительство Сербской Республики в Боснии и Герцеговине министр информации В. Остоич. Член президиума Сербской Республики Биляна Плавшич до войны преподавала в Сараевском университете. А президент этой республики Радован Караджич — поэт. Впрочем, это чувствовалось даже по его речи, которая изобиловала метафорами, сравнениями и сочными эпитетами.

Свободного времени у Караджича было в обрез. Через два часа он вылетал на очередной раунд женевских переговоров. Чтобы мы лучше поняли, почему сербы поднялись на борьбу, президент обратился к истории, когда сербскому народу при Тито пытались навязать неестественный путь развития.

— Если корни сталкиваются с препятствиями, дерево будет расти криво, — сказал Караджич. — А наш народ пытались даже не подпустить к своим корням. Искусственное насаждение социализма, как и отрыв сербов от национальных традиций, закономерно привели страну к катастрофе. Я не знаю, почему, к примеру, русские должны походить на американцев, а у вас сейчас усиленно к этому призывают. Если так свершится, будет потеряно нечто драгоценное, это все равно, если исчезнет один из видов цветов. А цветок человеческого рода — дух. И русская душа, как и сербская, неповторима.

Видимо, именно поэтому первое руководство Сербской Республики решило вернуть старые государственные атрибуты. Сербам Боснии возвращен прежний герб Немача — двуглавый белый орел с короной. Корона, как заметил Караджич, не означает монархию, она символизирует единство духовного и светских начал в сербском народе.

Если Караджич — романтик, то генерал Ратко Младич, командующий армией Сербской республики, прежде всего прагматик, он предпочитает оперировать сухими фактами.

Языком цифр генерал убедительно доказывает, что его армия ведет оборонительные действия, а не наступательные, как утверждает Запад. Война давно могла бы здесь закончиться. Мешает присутствие хорватских войск. Хорватия сейчас выставила против сербов Боснии 31 бригаду, вертолетную эскадрилью и эскадрилью истребителей-бомбардировщиков, 11 батальонов спецназа, а также другие части. У них практически нет проблем с вооружением. Только на территории самой Хорватии находится девять крупных заводов по производству военной техники и боеприпасов, включая крупнейшую артиллерийскую фабрику в Травниках, способную за 10 дней производить 10 тысяч минометов. Но хорватские войска вдобавок к этому получают немалую помощь от Германии и ее союзников.

— Если война в Боснии продолжится, — считает Младич, — это может стать началом третьей мировой войны и невиданной катастрофы.

Отсюда — осторожность в действиях сербского командования. При желании сербская авиация, спецназ и другие части давно могли бы разрушить хорватские военные объекты. Но генерал Младич сознательно выступает против уничтожения природных и экономических ресурсов противника и, в частности, не хочет, чтобы подчиненные ему эскадрильи разбомбили завод в Травниках (хотя меры другого характера он все-таки принял и сейчас артфабрика не работает). Иначе, полагает командующий, окончательно будет отрезан путь для политического решения конфликта.

— Мы ведем оборонительную войну, — подчеркивает Младич, — а не наступательную. Наша цель — защита сербского народа от агрессии, но не разрушение экономического потенциала Балкан.

Чего армии молодой республики сегодня больше всего не хватает? Генерал полагает, что во многих районах Боснии уже истощены ресурсы для ведения войны. Нужны люди, вооружение, боеприпасы. Если боевые действия будут продолжены, потребуется резкое увеличение младшего офицерского состава, понадобится много летчиков, хорошо бы также получить МИГи-24, хотя бы пять-шесть штук...

И все-таки от эмоций не удалось уйти даже генералу. Но это были другие, печальные

эмоции. Нас интересовало, как меняет война человека.

— Плохо, — был ответ генерала. — Сербский солдат уходит корнями в православную веру, патриотизм, любовь к ближнему. Когда в Далмации начались боевые действия, наши солдаты даже не хотели входить в хорватские села. Ни о каких в то время разрушениях со стороны сербов не могло идти и речи. И так было до тех пор, пока хорватские войска не стали взрывать сербские дома и убивать на глазах сербов их матерей и жен. Такие зверства не забываются. В ответ в некоторых районах наши солдаты стали мстить тем же способом: сжигать хорватские деревни, громить дома, угрожать мирным жителям. Я вынужден был отдать приказ о гуманном отношении к военнопленным и о защите гражданского населения.

Прощаясь, генерал пообещал, что нам покажут боевые позиции. Мы размечтались, что сможем пробраться даже в Сараево. Но в Сараево нам спуститься так и не дали, наоборот, повезли еще выше в горы, к артиллеристам. До Сараево оттуда по прямой километров шесть. В бинокль город был виден как на ладони. Впечатление такое, будто город только что пережил землетрясение: дым, огонь, развалины... Зрелище жуткое. А рядом, возле артиллерийских позиций — буйство осенних красок, только начинающие желтеть леса, опадающие сливы, пасущиеся в ложбинах овцы... Контрасты, конечно, поразительные: вот — мир, а вот — война, только выбрать что-то одно пока не получается.

Мы войну увидели пусть и очень близко, но тем не менее на достаточно безопасном расстоянии. Снайперы в нас не целились, из пушек по нам не стреляли, авиация не бомбила. А встретившаяся нам на обратном пути возле горного ручья колонна ехала в самое пекло. Это перебрасывалась под Сараево еще одна сербская бригада. Солдаты были похожи на четников. Им только недавно пришлось крестьянский плуг сменить на автоматы Калашникова. Гимнастерки еще не успели пообноситься. О каких тут предстоящих боях думать, когда хочется петь. Ребята, как нам показалось, пока не обстреляны и полны неистребимой веры в жизнь.

Остановившись, мы прижались к скале, чтобы не задерживать движение встречной колонны, и внимали веселым четническим песням, которые раздавались из всех машин. Вдруг с борта одного грузовика на ходу выпрыгнул солдат. Видимо, замученный жаждой, он решил на бегу наполнить у горного ручья водой фляжку. Но фляжка обо что-то зацепилась, вода пролилась, а наполнить по новой до краев уже времени не было, надо машину догонять. Как же солдат, на ходу пытаясь запрыгнуть в кузов, матом крыл по-сербски Изетбеговича, из-за которого, как ему казалось, он даже попить по-человечески не смог. А притормозивший водитель, левой рукой держась за баранку, правой, оттопырив в нашу сторону большой, указательный и средний пальцы, одобрительно прокричал: так его, Изетбеговича. С оттопыренными пальцами на правой руке ехали и все другие водители. Что это означало, в горах нам никто не ответил. Мы поняли это по-своему, как приветствие четников (как известно, тремя пальцами правой руки православные сербы крестятся, молясь Богу), и дали этому знаку свое объяснение: Бог, Сербия, Победа. Если оказались не правы, не обессудьте.

Стоя у скалы и провожая колонну, мы думали: что ждет этих веселых и неунывающих ребят, озорно матерящих Изетбеговича, за следующим горным перевалом: война или мир?

ПЕРЕКРЕСТОК ТРЕХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Босния и Герцеговина — перекресток трех цивилизаций. Здесь столкнулись интересы православия, католицизма и ислама. Экономические факторы ни для одной из сторон тут решающей роли не играют. Главные причины конфликта кроются прежде всего в религиозных мотивах.

Войну здесь развязал исламский фундаментализм пакистанского образца. Нынешний руководитель мусульманской общины Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович в свое время выступил с «Исламской декларацией», в которой он заявил о своем стремлении сплотить в Европе исламское движение и привести исламских фундаменталистов к власти. Изетбегович сразу же, как только 51% населения Боснийского края составили бы мусульмане, собирался объявить о создании исламского государства. Это возмутило даже Тито. Он упрятал Изетбеговича за решетку. Но уже в наши дни диссидентское прошлое помогло Изетбеговичу стать национальным лидером.

Цель сторонников нового вождя сербских мусульман очевидна: отнять у православия жизненное пространство. Но какой интерес для католической Европы представляет поддержка исламских фундаменталистов? Понятно, что католическому лобби выгодно использовать мусульманский фактор для сведения исторических счетов с православием. Но неужели, скажем, Франция не понимает, что даже моральная поддержка мусульман обернется в конечном счете созданием в центре Европы мощного исламского государства, откуда ислам продолжит свое наступательное шествие на Запад? Наверняка европейское сообщество осознает такую опасность. Отсюда — тактика лавирования западных стран в югославском кризисе и поощрение временных и потому весьма хрупких союзов между хорватскими и мусульманскими силами. В реальности Европа просто стремится использовать Сербию как сдерживающий плацдарм против наступления ислама.

Вот почему война в Боснии и Герцеговине носит ярко выраженный религиозный характер.

К сожалению, мировое сообщество видит сегодня в Боснии и Герцеговине только то, что хочет видеть. Оно пошло на признание режима Алии Изетбеговича. Хотя веских оснований для этого не существовало. На территории республики живет три крупных общины, я имею в виду православных сербов, хорватов и сербов-мусульман, и если следовать логике, то все три общины должны быть представлены в органах законодательной и исполнительной власти этой республики. Этого не случилось.

В республике режимом Изетбеговича преследуются национальные меньшинства. Мир этого также не замечает. Как не замечает отсутствие у страны, руководимой Изетбеговичем, контролируемых границ — важнейшего фактора государственности. Уже ни для кого не является секретом присутствие до четырех тысяч моджахедов из мусульманского мира, воюющих на стороне отрядов Изетбеговича против православных сербов, и что мусульманские боевики постоянно получают с Запада оружие, несмотря на эмбарго. Здесь еще можно привести целый список преступлений исламских экстремистов, совершенных на территории Боснии и Герцеговины. Но мировое сообщество это, видимо, в расчет не принимает. Иначе трудно объяснить, почему, потворствуя режиму Изетбеговича, оно не признает Сербской Республики с ее президентом Р. Караджичем. Двойная мораль еще никогда до добра не доводила.

18 — 19 сентября

Эту ночь толком поспать не удалось. До самого утра вокруг гостиницы, где мы остановились, раздавались автоматные и пулеметные очереди. Кто стреляет, почему, — неясно. До фронта отсюда километров пятнадцать. Может, какие-то вылазки мусульманских боевиков, хотя не исключено, что кто-то из солдат так экстравагантно проверяет личное оружие. Впрочем, а почему бы это не быть салюту четников и караула из местного гарнизона в нашу честь? Но если серьезно, кого сейчас этими выстрелами напугаешь: можно подумать, что в Москве спокойней — там автоматные очереди уже средь белого дня гремят.

Страшно в Биелене другое. Мы раньше много читали о войнах, которые ведутся по определенным правилам. Здесь видишь, что для кого-то никаких правил не существует. Борьба ведется не только против армии. Сознательному геноциду подвергаются мирные жители.

Сегодня очевидцы рассказывали нам, как выглядел Биелен после освобождения от му-

сульманских отрядов. Город был просто усеян трупами. Убитые мужчины, стыдно писать, лежали со спущенными штанами: каждого серба, назвавшегося мусульманским именем, захватчики подвергали унижениям, заставляли снимать нижнее белье, проверяли насчет обрезания, действительно ли перед ними мусульманин, и если оказывалось, что кто-то прикрылся чужой фамилией, того человека тут же прошивала насквозь автоматная очередь.

Часть сербских мусульман резко осудила эти зверства. Как рассказывал в Биелене командир Восточно-Боснийского корпуса, многие из них изъявили желание служить в сербской армии. Сербские мусульмане вошли в отдельные воинские формироваиия, которые из-за уважения к вере ополченцев командование направило на те участки фронта, где ведутся сражения с хорватскими войсками.

Я теперь могу понять, почему сегодня у епископа Зворникского и Тузланского Василия сорвалось:

— Нужна православная революция.

Возможно, в устах Владыки призыв к революции звучит очень вызывающе. Любая революция таит в себе опасность насилия. Но я полагаю, что Владыка, говоря о необходимости революции, отнюдь не о насилии думал, а о том, как защитить на исконно сербских землях веру предков — православие, как отстоять тысячелетние традиции народа, сохранить язык материнской церкви.

Как еще отреагировать Владыке, если ему пришлось на неизвестно какой период покинуть свою постоянную резиденцию в Зворнике — там опасность разбойничьих налетов намного выше, чем в других городах Боснии, — и перебраться пока в Биелен, если в епархии за несколько месяцев подверглось разрушениям несколько храмов и если чуть ли не все липы Биелена уклеены похоронными знаками — так велико количество убитых его прихожан? А Россия, которая всегда приходила в трудную минуту на помощь Сербии, молчит. Это непонятно не только Владыке Василию. Об этом нам говорил, когда в обед мы наконец по многокилометровому коридору, разделяющему сербские и хорватские позиции, из Биелена добрались до Бани Луки, и Владыка Ефрем.

— Россия всегда играла роль защитницы христианства на Балканах. Что сейчас случилось с великим русским народом? — вопрошал Владыка.

Как он считает, русский народ — ствол православия, остальные народы — ветви славянского дерева.

— Поэтому нам тяжело, — признавался Владыка Ефрем, — когда нас предало правительство России. Мы, сербы и русские, не должны пасть на колени перед Западом за его подачки. Это большой обман, что Америка и Германия спасут Россию экономически. У американцев нет духа, потому что они связаны с долларом. Запад хочет православных поработить и морально, и политически. Из России должен прийти голос поддержки, который бы показал нашим противникам, что мы не одиноки.

А Владыка Василий в Биелене прямо говорил: пусть Русская Православная Церковь пришлет в Боснию хотя бы 10 — 15 своих монахов, он в каждый монастырь отправит по одному-два человека. Какая это будет большая моральная поддержка для всех православных сербов!

19 сентября, вечер

Тостов за мир и дружбу было поднято в Боснии достаточно. Но этот тост я никогда не забуду, когда поздним вечером в Доме офицеров Бани Луки поднялся с бокалом в руке генерал Живомир Нинкович, командующий авиацией Сербской Республики, и наизусть, по-русски, правда, с легким акцентом, прочитал есенинское «Письмо к матери». Это стихотворение любимо многими и русскими, и сербами, но каждому оно напоминает что-то свое, личностное. Наверное, я бы никогда не узнал, чем задело письмо Есенина генерала, если б не сидящие рядом его друзья. Они рассказали, что Нинкович в два года потерял мать, даже фотографии ее не осталось. Отсюда - такая грусть, с какой читал генерал Есенина, и такая теплота была в его голосе. Без матери ему, конечно, пришлось трудно. Но еще тяжелей было каждый день сталкиваться с жалостливыми взглядами односельчан. Мальчишка не выдержал и однажды сбежал из крестьянского дома. Несколько лет он батрачил, пока не поступил в летную школу. В авиацию Нинкович пошел сознательно, ему с детства нравилось смотреть, как летали над родной деревней самолеты.

В родные края Нинкович вернулся только год назад, после того как 20 лет отлетал в небе Хорватии. Отлучение сербских офицеров от малой родины было при Тито практикой. Ставка делалась на то, что, служа вдалеке от родительского дома, в других национальных республиках, офицеры скорей позабудут традиции и верования своего народа. И кое в чем прежний режим преуспел. Ему удалось, к примеру, превратить почти весь офицерский корпус Югославии в атеистов. Теперь некоторые ура-патриоты ставят это в вину нынешним сербским генералам. Я сам слышал, как один из функционеров какого-то, считающегося национальным общества возмущался: что это за генералы, которые, считая нынешнюю войну в Боснии религиозной, называют себя атеистами, что они тогда защищают? Как я понимаю, генералы спасают свою родину от агрессии. А иначе зачем им было возвращаться после долгих лет скитаний по дальним гарнизонам в родные края, чуть ли не заново формировать войска и идти воевать.

Есть ли верующие среди летчиков, поинтересовались мы у Нинковича.

— Возможно, — услышали в ответ. — Но сам я — атеист. Вероятно, это последствия системы, в которой я жил. В моем родном краю церковь была разрушена и на моей памяти ее никогда не восстанавливали. Может, поэтому я не смог с детства вбить в себя многие церковные постулаты; школа, военные училища, академия внушали только материалистическое восприятие мира. Сейчас я ощущаю какие-то исторические импульсы, прихожу к тем вещам, которые раньше не понимал. Но я не отношусь к тем людям, которые способны перемениться за одну ночь. И не хочу этого. Я останусь атеистом. Но я еще больше буду знать культуру и историю сербского народа. Мне жалко, что вам не удалось увидеть, как наши солдаты восстанавливают теперь церкви. Они — молодые, может, у них судьба и отношения с Богом сложатся по-другому.

А много ли у нас генералов, с таким уважением относящихся к православию и желающих глубже узнать свою историю? Но о вере разговор зашел у нас уже ночью, в штабе

Нинковича, в доме же офицеров генерал вспоминал, как начиналась война.

— Я двадцать лет прослужил в Хорватии, — говорил Нинкович, — командовал подразделением тактической авиации. И все эти 20 лет хорватская сторона на наших глазах строила хорошо вооруженные бункеры. Мы видели это, но не очень сознавали: зачем это хорватам. Мы не понимали, что та сторона уже тогда готовилась к войне против нас, сербов. В 75-м году у меня убили сына лишь за то, что он был сербом. Фашизм в Хорватии...

Генерал, видимо, хотел что-то пояснить и не успел: неожиданно в зале погас свет. Оказывается, уже пробило десять вечера, а в это время в городе отключают электричество. Что поделать — идет война, здесь прифронтовая зона, приходится соблюдать режим строжайшей экономии. И пока искали свечи, генерал затянул песню. Сначала одну, потом другую. Теперь он пел по-сербски. Его песни звучали удивительно мелодично и прекрасно. Рядом со мной сидел врач, серб, большой друг России, и он, чуть слышно, чтобы, не дай Бог, не сбить генерала с ритма, переводил мне, о чем эти песни. Врач шептал: «Горит дом... Дитя плачет... Но нельзя идти домой... Борьба превыше всего...». Я еще не до конца понял, что стоит за этими словами, какая боль генерала скрыта за ними. Это открою позже, будучи в гостях у командующего, слушая его воспоминания о детстве. А врач уже пересказывал содержание другой песни: «Всякая птица в своей стае, всякая сестра ищет брата, но своего брата тяжелей искать, а вы — наши братья».

И тут не выдержал Юрий Лощиц. Он ответил старой русской песней «Солдатушки, бравы ребятушки».

Кончился вечер тем, что генерал пригласил поехать к нему в штаб. В гостиницу мы возвратились уже поздно ночью, а в свои номера пробирались при тусклом свете карманных фонариков. Но об этой бессонной ночи никто из нас не пожалел.

20 сентября

Со Златко я познакомился в селе Осич, где пока временно размещается штаб 1-го корпуса Краины. Полгода назад в Боснии прошла всеобщая мобилизация мужского населения. Вчерашний выпускник Сараевского университета, не успевший и года проработать в сельской школе, Златко очутился в армии, получил звание рядового, стал связистом. Комкор вызвал его на всякий случай, как переводчика, по русскому языку Златко защищал университетский диплом. А штаб по воле случая разместился в школе. Конечно, для Златко непривычно в классной комнате видеть не малышей, разучивающих азбуку, а генералитет; школа должна учить жить, читать, писать, но не воевать.

— Больше тысячи ребятишек в Осиче уже целый месяц не могут начать занятия, — горевал Златко. — Не ходят сейчас в школу и в моей деревне. Наверное, это естественно: все учителя в армии, идут бои. Но не естественна сама война. Если не удастся достичь мира, мы потеряем еще одно поколение, которое не будет знать ни истории сербов, ни культуры своего народа, но зато получим новых циников.

До войны Златко не раз бывал в России. Он очень ценит нашу литературу девятнадцатого века. Какого-то одного любимого писателя у него нет. Ему интересен весь век: от Пушкина до Чехова. И абсолютно холоден он к современной русской прозе. Двадцатый век, считает Златко, — это кровь, которая обрызгала и мир, и литературу, а это Златко принять не может.

Конечно, воевать у него никакого желания нет. Златко тянет к книгам. Ему интересно сравнить Иво Андрича в подлиннике с русскими переводами. Имя Андрича сейчас мало звучит, ведь он по национальности хорват. Но кто сказал, что все хорваты — враги? Романы Андрича были далеки от апологетики войны и насилия. Может, поэтому пафос книг выдающегося писателя современности всегда отталкивал правящую верхушку Хорватии. И сегодня Андрич, как считает Златко, должен стать еще ближе сербам, чем их противникам. Правда, с исследованиями переводов придется подождать.

— Я не виноват, что серб, — говорит Златко. — Сейчас мы или выстоим как народ, и тогда я смогу вернуться в школу к своим первоклассникам, перелистать страницы русской классики, закончить начатую еще в университете работу по Андричу, или погибнем. Янычаром я быть не хочу.

А мне остается только надеяться на то, что сербы уцелеют, минуют пули и Златко и что после воцарения мира я еще услышу уже в России его замечательный русский язык.

КИРИЛЛИЦА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВЕКОВ

Югославский конфликт зашел так далеко, что многие вопросы культуры сегодня принимают в Сербии политический характер. Это касается прежде всего кириллицы. Как известно, сербский язык — единственный из европейских языков, кроме цыганского, который использует два алфавита — кириллицу и латиницу. Это обстоятельство последние полвека постоянно использовалось против сербов.

Кириллицу всячески вытесняли. Некоторые политики и услужливые ученые договорились даже до того, что кириллица — несовершенное письмо, остаток византийской культуры. Они утверждали, что будто все прогрессивное человечество использует латиницу и почему сербы должны быть хуже. В защиту письменных традиций своего народа выступили сербские патриоты. Национально мыслящая интеллигенция считает, что вопросы будущего кириллицы тесно связаны с проблемой сербского этнического самосознания. Об этом еще в Москве мне говорил профессор Белградского университета Радмило Маровенч. Его книга «Кириллица на перекрестке веков» недавно появилась на книжных прилавках Белграда.

— Изучая проблемы сербской письменности и культуры, — говорил Мароевич, — я обнаружил, что на протяжении многих веков сербское этническое и культурное самосознание упорно вытеснялось среди католического населения. Особенно ярко это прослеживается на примере древнего Дубровника и бывшей Дубровницкой республики. В далеком прошлом жители Дубровника именовали себя скорей всего по локальному признаку дубровчанами, а свой язык часто называли «словинским», т. е. славянским (это уже более широкое определение). Но имеется несколько тысяч памятников, свидетельствующих о том, что жители Дубровника называли свой язык, свою живую речь еще и по-другому — сербским. И вдруг католическая церковь решила всех католиков среди южных славян называть хорватами. Так славянский мир столкнулся с серьезнейшей проблемой, которая не только никак не решается, но еще больше — вы увидите это во время своей поездки по сербским землям — обостряется. Если еще в девятнадцатом веке католическое население Дубровника и Далмации, говорящее по-сербски, называло себя сербами, то теперь большинство людей под влиянием католической пропаганды называет себе хорватами. Хотя собственно хорваты живут в Истрии и на островах северной и средней Далмации. О том, как специфически выражается этническое культурное самоназвание сербов, в свое время писал крупнейший сербский поэт Петр Негош. В поэтической форме он высказал такую мысль, что сербы — самый несчастный народ, так как с переходом в другую религию вынужден терять даже сербское название. Кстати, если вы не знаете, могу вам сказать, что в историческом развитии сербского народа сербы-мусульмане стали именовать себя турками (у нас живут так называемые потурченцы), а переход в мусульманскую религию называли глаголом «турчиться». Сейчас для сербов как народа характерно выражение своей этнической принадлежности уже более широким или более узким названием. С одной стороны, они называют себя славянами или славинами, или славонцами (еще вчера многие сербы называли себя по национальному признаку югославянами или югославами). А с другой — сильное влияние оказывает религиозная принадлежность. Многие сербы в качестве национальной принадлежности выбирают религиозные имена, среди православ-

ных — это в последнее время черногорцы, среди католиков — далматинцы, дубровчане, буневцы, шокцы, среди сербов-мусульман — горанцы, а теперь вот возрождается среди мусульман Боснии и Герцеговины и самосознание босняков.

Решаемы ли эти проблемы в нынешних условиях? Безусловно. Права сербского языка и кириллицы уже зафиксированы в новой Конституции Сербии и в Законе об употреблении языка и алфавита. В Белграде и других городах Сербии параллельно имеющимся вывескам, исполненным латиницей, появляются надписи на кириллице. Учеными-патриотами предложены с учетом реалий сегодняшнего дня и серьезные реформы самой сербской кириллицы.

21 сентября

Вернувшись в Белград, мы с Борисом Земцовым из еженедельника «Русский вестник» решили обязательно заглянуть в храм Николая-Угодника. День у отца Василия получился очень тяжелый. С утра служба, потом хлопоты по министерствам, после обеда — крещение ребенка, а буквально перед нами он принимал потомков русских эмигрантов, живущих в Сербии. Может, отложить разговор на утро? Отец Василий стал возражать: «Нет, нет, садитесь». А тут и Юрий Лощиц подошел. И только мы достали свои блокноты, в дверях церкви — новые посетители, двое молодых ребят. Называется, поговорили.

Конечно, ребят интересует, когда служба. Но за границей свои порядки, вечерняя служба в церкви бывает не каждый день. Ребята разочарованы. Но уже и отцу Василию интересно, кто они, откуда. «Из России». «Это понятно, у вас на лицах это написано. Сами откуда? Из Дунайской флотилии?» «Нет». Ребята мнутся, не знают, как отвечать дальше. Но слово — за слово, и выясняется, что Александр и Евгений — так зовут этих ребят — русские добровольцы, тоже только приехали из Боснии, но на один день — посмотреть Белград, а уже утром им надо быть в своей части.

Почему парни в Сербии, как добирались они до фронта, ребята молчат или отделываются общими рассуждениями, чтобы никого не подвести. Но постепенно, кажется, находятся и точки сближения. Недоверие исчезает. А как иначе — ведь встретились мы в церкви. Юрий Лощиц дипломатично вспоминает о своей поездке в Афганистан. Он уже понял, что Александр — из бывших «афганцев» и наверняка в прошлом офицер. Но подтверждений не просим: ясно, что ребята не хотят никого, как говорят в армии, «засвечивать». Назовешь свою фамилию, укажешь батальон, перечислишь других добровольцев, а завтра явится в часть представитель ООН, назовет всех наемниками и потребует в 24 часа убраться восвояси. Поэтому мы интересуемся другим: отношением сербов к нашим добровольцам, военными успехами и поражениями, прогнозами. Но ответы — далеко не самые утешительные.

У ребят до сих пор нет никаких документов: ни паспорта, ни удостоверения личности, ни карты гостя. Местная полиция в любую минуту их может обвинить в нелегальном проживании и арестовать. Такие перспективы наших добровольцев, понятное дело, не радуют.

Не дают пока ребятам постоянно носить и оружие. Хотя сербы уже и в походах наших парней не раз проверили, и не в одном сражении они побывали, и, кстати, не одну жизнь спасли, тем не менее автоматы им доверяют только на время боя. Надо и село отлучиться за продуктами, просто в разведку сходить — оружие сдают. Это наших добровольцев обижает.

Сербы уже не раз убедились в профессиональном мастерстве и Александра, и Евгения, но младшие офицеры прислушиваться к их советам не торопятся. Наши ребята считают, что значительная часть сербских солдат плохо обучена. В какой-то мере это объяснимо. Многие раньше в армии не служили, взять в руки автоматы их заставила всеобщая мобилизация. Но теперь самое время организовать обучение вчерашних крестьян воинскому делу, научить их отрывать окопы в полный рост, ходить в атаку, нести караульную службу. Однако командиры своего согласия на это пока не дают. Там, куда попали Александр и Евгений, до сих пор царят шапкозакидательские настроения. Даже многочисленные жертвы, которых, по убеждению наших парней, можно было бы избежать, ничему местную власть не научили.

На взгляд добровольцев, слабо сербские вооруженные формирования используют в своей борьбе и погодные условия. Некоторые солдаты полагают, что зимой надо отдыхать, а наступать — летом. Но такая тактика — только на руку противнику. Ведь очевидно, что зимой мусульманские экстремисты к активным боевым действиям не способны. Так почему бы сербам это обстоятельство не использовать как средство давления для заключения мира в Боснии? Иначе другая сторона получит время для передышки и на перегруппировку своих сил, и тогда уже сербам отражать агрессию исламских фанатиков и усташских фашистов будет куда сложней.

Конечно, можно после этого встать в позу и вернуться в Россию. Но наши ребята делать этого не собираются.

— Нас, сербов и русских, последние десятилетия отлучали друг от друга, — поясняет Александр. — Теперь нужно время, чтобы и они, и мы поняли, что у нас в этом мире одна судьба. Не спасем сейчас Сербию, вряд ли тогда удержится Россия.

«БЕЛЫЕ ПЯТНА»

Что существенно мешает нам глубоко понять югославскую драму и ее последствия для России, это плохое знание современной истории наших народов и отношений между нашими странами. В России почти ничего не знают о том, какому геноциду подверглись сербы в ходе второй мировой войны. Советские учебники сообщали, что в Югославии погибло 1,7 миллиона человек. Но кто они, историки или стыдливо молчали, или уклончиво называли жертвы жителями Югославии. Нигде не делался акцент на то обстоятельство, что 90% жертв, которые понесла Югославия в ходе второй мировой войны, были сербами по национальности. Особенно много сербов погибло в Ясеноваце, где фашисты устроили самую настоящую «фабрику смерти». Но об этом наша печать рассказывала весьма скупо. Оболгано было историками и движение четников.

Извращенно наша, как, впрочем, и сербская печать, освещала роль союзников на Балканах. Когда же к этой теме прикоснулся сербский историк Веселин Джуретич, он тут же был изгнан из родной страны. Ни Тито, ни нашим правителям правда была не нужна. Даже сейчас, когда монография Джуретича обошла весь мир, читающей Росии выводы сербского историка остаются неизвестными.

А что мы знаем о «голом острове», где режимом Тито был создан концлагерь для инакомыслящих и где томились в основном сербы. Об этом лагере сейчас написал книгу сербский писатель академик Исакович. Когда мы встретились с ним в парламенте, он говорил, что сейчас Сербия — один «голый остров». По его словам, создатели «нового мирового порядка» избрали Сербию в качестве примера, который должен показать другим народам, какая участь их ждет, если они не будут слушать новых правителей. Россия — на очереди. Правда, Исакович видит одну, но весьма существенную разницу в отношениях к «новому мировому порядку» Сербии и России. Как он полагает, создателям «нового мирового порядка» гораздо легче найти своих людей, через которых они стремятся проводить определенную политику, в российском правительстве, нежели в сербском. Исакович не отрицает, что и в структурах власти Сербии можно найти проводников так называемого «нового мышления», но это буквально единицы. А у нас их сколько?

Примеры нашего незнания можно приводить до бесконечности, но надо ли? Может, просто нам надо почаще обращаться

к прошлому и не мешает иногда проявлять хотя бы элементарную любознательность.

22 сентября

Сегодня Драгощу Калаичу передали для нас письмо от Биляны Плавшич. Мы познакомились с ней в Боснии. Еще год назад она преподавала в Сараевском университете. Когда в Сараево между мусульманскими экстремистами и православными славянами вспыхнула война, Плавшич вынуждена была, как и десятки тысяч сербов, в спешке покинуть город, оставив свой дом на разграбление. В горах ее непокоренные соратники провозгласили создание Сербской Республики, а сама Плавшич вошла в руководство правительства национального сопротивления. Я помню, с какой гордостью она поставила на столик, за которым проходила в Яхорине наша встреча, флажок с символами новой республики: пусть все видят, что сербы не сломились и, пока живы, будут отстаивать право на свою государственность.

Говорить с нами Плавшич было тяжело. Она всегда верила в Россию. С детских лет ей говорили, что если сербы когда-либо столкнутся с очередной угрозой геноцида, русские не оставят своих братьев в беде. Поэтому естественно, когда в руках Плавшич оказались неопровержимые доказательства появления на территории Боснии и Герцеговины первых концлагерей, в которых ее соотечественников подвергали нещадным пыткам, она обратилась за помощью прежде всего в российское посольство. Но вместо помощи — по миру пошла гулять «утка» о концлагерях, созданных якобы сторонниками президента Сербской Республики Караджича (кстати, сейчас в Боснии и Герцеговине, по данным сербского командования, расположено 50 лагерей, в которых томится 50 тысяч сербов). Разведка сербской армии установила точные адреса открытых в Сараево мусульманскими экстремистами публичных домов, в которых ежедневно надругаются над православными сербками, и частных тюрем, где пытают сербских патриотов, но московское правительство предпочло отмолчаться по этому поводу. Сербам оставалось надеяться только на то, что нынешнее правительство России не является выразителем общенародного мнения.

«Дорогие братья! — на ходу взялся перевести письмо Плавшич Илья Числов. — Лишь после вашего отъезда мы поняли в полной мере, сколь значительны были те короткие часы, что мы провели вместе, для истории наших народов. Целый год ожидали мы такой встречи, думая в тревоге, вспомните ли вы о нас, поймете ли, насколько тесно связаны мы друг с другом. Мы оплакивали вас в прошлую войну, когда вы были окружены в блокадном Ленинграде, нас бросали в тюрьмы за то, что мы не хотели вас предавать, мы любили вас, как никто на свете...

Поэтому уже теперь мы писали письма в ваше посольство, заклиная мать Россию не голосовать против сербов, не прерывать наших кровных связей...

И мы знали, что вы придете. Месяцами мы звали вас в душе, молили Бога о том, чтобы он снова соединил наши народы, и Господь наконец-то услышал эти молитвы.

Простите мне эти эмоциональные слова, не уместные, может быть, в официальном письме, но сейчас, когда вы уехали, я поняла, что так и не успела вам высказать этого.

Ваше предложение быть с нами в этой борьбе — луч света на нашем горизонте.

Мы так долго были одиноки, так долго обречены противостояли врагам, в тысячу раз превосходящим нас численно, но мы готовы сражаться до последнего человека, лишь бы никогда снова не испытывать обмана и унижения.

Вы пришли к нам на помощь. Мы кланяемся до земли за ваше предложение — теперь ваши герои станут сынами наших матерей, каждая из них отныне будет иметь еще одно родное существо, о котором надо заботиться, ежедневно содрогаясь от мысли: жив ли он, не ранен ли, не замерз ли...

Радостную весть о том, что вы пришли в наши братские объятья, от нас сразу же узнает весь наш народ. Вам же за это — поклон до земли, и пускай Господь и Божья Матерь дарует вам свое благословение за все добро, которое вы делаете для нас».

Спасибо, Биляна, за то, что вы сохранили веру в Россию и русский народ. Бог даст, мы еще встретимся в независимой Сербии и в свободной России.

Геополитика

ДРАГОШ КАЛАИЧ

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

С точки зрения нашего взгляда на мир, за все более распространенным предчувствием или уверенностью, что Третья мировая война уже на пороге, скрывается одна чисто арифметическая, но тем не менее существенная неточность. Из виду упущен тот неопровержимый, вселенского масштаба факт, что Великая мировая война, начавшаяся в 1914 году, в сущности, никогда и не кончалась и до сих пор полыхает, разгораясь до последнего предела, на рубеже веков, на закате второго тысячелетия христианской эры и третьего, западного цикла европейской цивилизации.

Войну эту ведут силы «атлантизма», стремящиеся навязать человечеству «новый мировой порядок» и рабский статус экономических животных. Сам термин «атлантизм», наличествующий в словаре русской и немецкой школ «евразийского» геополитического мышления, позволяет нам наиболее точно обозначить псевдоимперскую природу западной цивилизации, так как вскрывает в первую очередь военные истоки ее могущества, начиная с владычицы морей Британии, заложившей фундамент вселенской мощи интернационального капитала. После того как «в результате первой мировой войны» был разрушен органон европейских христианских империй, плутократический интернационал перенес свой центр на противоположный берег Атлантики, стремясь к более прочной континентальной основе и много большей военно-политической силе для завоевания планеты.

Евразийский континент, скрывающий в себе разум и сердце мира, является а свете метагеографического символизма главной целью захватнических поползноаений «атлантистов». При этом очерченные нами границы конфликта могут служить лишь теоретическими или идеологическими ориентирами, поскольку в действительности проходят сквозь данное пространство вертикально, пронзая континенты и государства, народы и человеческие сердца. Ярким примером подобного расхождения теории с исторической реальностью стал самоубийственный выбор царской России, выступившей на стороне «атлантистского» союза против идеологически родственных и геополитически близких европейских империй: Германии и Австро-Венгрии. К слову сказать, Сербия, а затем и Югославия также были постоянными проводниками военной экспансии врагов Европы благодаря бездумной, если не предательской политике правящей псевдоэлиты, неизменно служившей то масонскому, то коммунистическому, то либерал-капиталистическому интернационалу «атлантистов».

Вероятно, нет смысла лишний раз говорить о том, что в сегодняшней войне сербский народ платит страшную цену за свое долголетнее, сознательное или бессознательное служение амбициям стратегов «нового мирового порядка». В принципе, это только один трагический пример в бесконечном ряду его подобных, пример, вскрывающий всю подлость поджигателей войны, что уничтожают свободу и саму возможность существования народов евразийского континента и их культуры, провоцируя междоусобицы и действуя по старой формуле «разделяй и властвуй», нашедшей сегодня свое выражение в войне между сербами и хорватами, православием и католицизмом.

ДЕНЬГИ ВЕРТЯТ МИРОМ, УНИЧТОЖАЯ ЕГО

Главной движущей силой «атлантизма», а стало быть, и «нового мирового порядка» является экономический демонизм, избавленный от всех ограничений и видов контроля со стороны человека в результате буржуазных революций и смещения естественной шкалы ценностей. Как показали еще исследования Вернера Зомбарта и Макса Вебера, своими корнями он уходит в Ветхий завет и иудейско-протестантскую религию, в основе которой лежит концепция отношений человека с Богом, построенная на принципах купли-продажи. Знамением Божьей милости и, соответственно, признаком религиозного рвения является здесь материальное богатство, сокрушающее все культурные, этические и моральные преграды на пути алчущего экономического животного, пробуждаемого подобной «верой» в человеке.

Не случайно политико-экономическая мощь первой масонской псевдоимперии — Соединенных Штатов Америки зиждется на гегемонии доллара, позволяющей скупать за ничем не обеспеченные бумажки труд, богатства и энергию «остального» человечества. Сия искусственная гегемония поддерживается и удерживается лишь при помощи военной силы, точнее насилия, а также коррумпированных псевдоэлит, правящих в мире, подвластном «атлантистам», и навязывающих ему противоестественный, извращенный порядок, при котором люди, их собственность и энергия втиснуты в прокрустово ложе системы «ценностей», превозносимых жрецами и прихожанами бога Маммоны, поклоняющимися количеству денежной массы. Иными словами, речь идет об «атлантистской» или западной **количественной** цивилизации с ее вульгарным материализмом, возобладавшей над цивилизацией **качественной** и аристократическим духом. Поэтому либерал-капитализм и реал-социализм суть две якобы антагонистические, а на деле абсолютно комплементарные системы, вышедшие из недр одной и той же количественной цивилизации, стремящейся уничтожить в человеке и окружающем его мире все благородное, божественное и высокое.

Как давно и верно подметил В. Зомбарт, средний американец — первый и наиболее типичный продукт количественной цивилизации — никогда не задается вопросом, что он может подарить жизни и каков его долг перед ней, но обеспокоен исключительно отмеренными ему правами и возможностями. Главная, навязчивая цель подобного ущербного существования наиболее ярко выражена девизом american way of life (американского образа жизни), что на самом деле есть american way of death (смерть по-американски): «to make money» ("делать деньги"). Она мобилизует энергию масс, подчиняет себе их время, начиная с повседневных человеческих отношений, опутанных отныне сетью материальных интересов, и кончая массовой субкультурой made in USA, представляющей в качестве образцов «человечности» разнообразные типы стяжателей: банкиров и гангстеров, биржевых дельцов и спекулянтов, сводников и мафиози.

В мире американской субкультуры классическим примером дуализма ("атлантистский" дегуманизм и гуманизм европейцев) являются голливудские киносериалы, посвященные Второй мировой войне, где в роли героев почти всегда выступают банды коммандос, состоящие из воров, жуликов, всевозможных маньяков и прочего криминогенного сброда. Они регулярно побеждают нацистов, которых голливудские сценаристы не без задней мысли изображают как людей абсолютно неподкупных и беззаветно преданных сверхчеловеческой метафизической Идее. Итак, согласно извращенной логике Голливуда, все низменные черты человеческого характера заслуживают восхищения и массового подражания, в то время как аристократическая доблесть — ненависти и неприятия. Ибо приписывается побежденному врагу, а посему осуждена на историческое поражение.

ЛЕВИАФАН ПРОТИВ ОТЧИЗНЫ

На нашу долю выпало редкостное счастье (или несчастье) жить в период небывалого разгара Великой мировой войны денег против крови, плутократического порядка против аристократической системы ценностей, низменного против высокого. Выражаясь языком мифологии, вобравшей в себя бесценные сокровища знания и опыта, это война «атлантистского» Левиафана против евразийских отчизн. Поэтому отнюдь не случайностью, а метаисторической закономерностью можно объяснить тот факт, что свое вторжение на евразийский континент во время Второй мировой войны США начали с 12-тысячного десанта, размещенного на захваченном у немцев корабле «Vaterland» ("Отчизна"), переименованном ими в «Левиафан».

В сущности, слово «отчизна» непереводимо на английский язык. Наткнувшись на него, переводчики обычно выходят из положения с помощью безликих форм типа «country», «country of origin» или «native country» ("страна", «страна происхождения», «страна, где родился»)[1]. Отсутствие таких понятий, как «отчизна» и «пережитое», в языке англосаксонских народов есть малозаметный, но серьезный симптом негативных потенций, что в конечном счете выражается в бескрайней, простирающейся до самого горизонта пустоте, отличительными чертами которой являются, с одной стороны, пресечение силы культурного укоренения и самобытности, с другой же — недостаточная метафизическая приверженность европейскому духу и полное непонимание его сущности. К аналогичной группе симптомов вырождения относится и последовательное вымывание слов «нация» и «джентльмен» из словаря американцев. Как верно заметил Томас Мольнар, «уже в конце прошлого столетия в англиканских церквах Америки формула молитвы «Господи Боже, благослови нашу нацию» была отвергнута и заменена новой: «Господи Боже, благослови Соединенные Штаты Америки», поскольку слово «нация» подверглось осуждению, как выражение единства, препятствующего проявлению индивидуальной свободы и максимальной открытости по отношению к другим народам, прежде всего тем, кто уже принял американскую веру».

Преисполнившись самоуверенности вследствие видимого могущества количест-

Драгош КАЛАИЧ, известный сербский публицист, художник, мыслитель. Родился в 1943 году в Белграде. Учился в белградской Академии изобразительных искусств, затем в Италии. Выпускник римской Академии изящных искусств (1966). Широкую известность принесла ему его книга "Точка опоры" (1971), явившаяся первым сербским ответом с позиций Третьего Пути на вызов "современного мира иллюзий". Мгновенно изъятая с прилавков книжных магазинов идеологами "социализма с человеческим лицом", она столь же стремительно стала символом нового правого взгляда на мир в сознании патриотически настроенной интеллигенции, попыткой найти свой собственный путь в пучине мировых катаклизмов, минуя и Сциллу реал-социализма и Харибду либерал-капитализма. Сегодня Калаич является автором ряда книг и многочисленных исследований, посвященных самым различным вопросам: от работ по современному искусству до анализа тайной деятельности масонства. Живет в Белграде.

[1]Ср. выражение «эта страна», неоднократно звучавшее из уст Е. Гайдара по адресу России. — Здесь и далее примечания переводчика.

венной цивилизации с ее нигилистическими «достижениями», — разрушать и уничтожать жизнь, как известно, проще, чем строить и созидать ее, — жрецы «нового мирового порядка» стараются распространить свою зияющую пустоту до масштабов всей планеты, повсюду подавляя чувство принадлежности к нации и отчизне, благородные порывы и высокие стремления. С точки зрения психологии, столь рьяный и страстный нигилизм «атлантистов» можно объяснить на примере известных из истории случаев недочеловеческой зависти к здоровым людям со стороны прокаженных. Последние часто стремились заразить первых и таким образом добиться «равенства». Впрочем, и более свежий опыт свидетельствует, что особи, обделенные любовью к добру, красоте и истине, видят спасение от собственного недуга в уничтожении добродетели и культурных ценностей.

Видение современного «атлантистского» человека полностью совпадает с «левиафановым», иными словами, соответствует взгляду островитянина или аэронавта на карту мира. Ему ненавистно и недоступно богатство разнообразия, пестрота расовых и этнических, культурных и цивилизационных, религиозных и духовных форм жизни. Все предметы и явления живой и неживой природы оно стремится подвергнуть «универсальной», монетарной оценке, дабы открыть для своей алчности самые простые, прямые и скорые пути к наживе. Хрестоматийным примером насилия подобного рода политики над реальностью служат политические карты первых континентов, захваченных силами «атлантизма», — Северной Америки и Африки — с их абсолютно произвольными и абсурдными границами, установленными в соответствии с законами масонской геометрии.

Опираясь на мощь таких институтов, как ООН, СБСЕ, МВФ и Всемирный банк, и столь же расплывчатые догмы («интеграционный процесс», «свободный рынок», «демократия», «права человека»), стратеги «нового мирового порядка» пытаются сегодня уничтожить остатки государственных суверенитетов, стереть последние следы национальной самобытности. Первыми принимают на себя удар оборонительные рубежи государств, разрушаемых «атлантистами» извне при помощи «интеграционных процессов», а изнутри — путем стимулирования сепаратистского движения меньшинств, которым догма «прав человека» дает огромные привилегии по сравнению с большинством населения. Одновременно стратеги «атлантизма» стремятся увековечить административные границы внутри бывших СССР и Югославии, придав им статус государственных, именно потому, что границы эти произвольны и установлены в ущерб интересам русских и сербов, главных носителей державного начала на данной арене.

Сейчас уже всем ясно, что «новый мировой порядок» не желает останавливаться на границах России и Сербии, поскольку его конечная цель — расчленить обе державы на карликовые псевдогосударства, иначе говоря, на политические автономии, подаренные нацменьшинствам. Сербия сегодня служит стратегам тотального нигилизма своеобразным полигоном для создания правовых прецедентов. Завтра подобная тактика будет применена против России, послезавтра — против стран Европейского сообщества и остального мира. В свете рассмотренных нами религиозных корней «атлантизма» и «нового мирового порядка» хорошим уроком для недоверчивых станут недвусмысленные слова Уильяма Кулдена Денниса, приведенные в его памфлете «Протестантизм как основа американского консерватизма»: «С учетом того, что нас отличил Бог, мы вправе требовать от других народов покориться нашей воле!»

НОВЫЙ МИРОВОЙ ХАОС

Чего же хочет сия воля от народов мира? Год назад тогдашний генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр поведал свету, что хотя проект «нового мирового порядка» еще «недостаточно ясно сформулирован», лично он видит «лишь один возможный порядок в мире: демократический, т. е. такой, при котором не будет больше ни директории, как в прошлые столетия, ни биполяризма, ни тем паче монополизма». С той же трибуны президент США Буш сладкоречиво заверил, что «новый мировой порядок» станет гарантом всеобщей свободы и независимости: «Ни одному народу не придется поступиться даже крупицей своего суверенитета». Но сегодня и слепому видно, что оба государственных деятеля бесстыдно лгали нам, ибо «новый мировой порядок» утверждается в наши дни как ничем не прикрытая тотальная монополия американской псевдоимперии, несущая гибель всем уцелевшим суверенитетам.

Впрочем, давнюю мечту интернационального капитала навязать миру свое сверхправительство и тотальную систему управления подтверждают и многие документы из прошлого. Еще в 1950 году, выступая перед американскими сенаторами, небезызвестный Джеймс Варбург откровенно поведал им о конечной цели жрецов бога Маммоны: «Нравится вам это или нет, но мы создадим мировое правительство. Не кнутом, так пряником». Следует помнить, что угроза прозвучала не просто из уст влиятельного представителя рокфеллеровского «Совета по международным связям», но и отпрыска банкирской семьи, финансировавшей Октябрьскую революцию с целью уничтожения Великой православной империи и последующего геноцида русского народа.

В этом месте нашего изложения уместно будет сделать небольшое отступление и привести одно верное замечание Энтони Саттона, вообще-то довольно робкого и поверхностного исследователя связей большевиков-русофобов с воротилами Уолл-стрита: **«Чем был мотивирован союз между капиталистами и большевиками? Лучше всего это можно объяснить усилением глобальных империалистических амбиций у финансистов с Уолл-стрита. Несколько крупнейших банковских магнатов, возглавляющих американские мега-корпорации, всегда стремились приспособить для своего обслуживания огромный русский рынок, превратить его в некую разновидность колониального придатка, технологически отсталого и зависимого. Были ли эти банкиры в душе большевиками? Конечно, нет. Тузы финансового интернационала не исповедуют ни одну политическую идеологию. Их действия мотивированы исключительно жаждой безграничной власти над всеми и вся, а посему они готовы использовать любые политические средства для достижения своей цели... Государственную власть всех стран необходимо социализировать, чтобы затем установить над нею сверхконтроль со стороны международных финансистов».**

О сверхвластных амбициях интернационального капитала предельно кратко поведал и директор Английского банка Монтегю Норман: **«Гегемония мировых финансистов призвана управлять миром. Как единственный наднациональный контрольный механизм».** Вероятно, нет нужды пояснять, что словосочетание «контрольный механизм» означает как раз бесконтрольную, ничем не ограниченную власть интернационального капитала, позволяющую беспрепятственно грабить мировые богатства.

В мае 1974 года на страницах вестника уже упомянутого «Совета по международным связям» (формативного и информативного внешнеполитического органа американской администрации) — «Foreign affairs» — один из главных гуру рокфеллеровского детища Ричард Гарднер предложил свой проект основной стратегии по навязыванию миру «нового мирового порядка», заключавшейся в «создании обруча частичной или полной эрозии вокруг понятия национального суверенитета, что должно обеспечить гораздо больший эффект, чем устаревшая тактика фронтальных атак». По Гарднеру, особая роль в данной стратегии отводится Международному валютному фонду (МВФ), «который должен диктовать политику накопления интернациональных ресурсов, равно как и оказывать мощное воздействие на экономические решения всех иностранных правительств в свете валютной и финансовой политики».

Сегодняшние потуги «атлантистов» воскресить авторитет и мощь ООН, как высшего политического средства утверждения «нового мирового порядка», возвещают о крахе всех надежд, связанных с самозваным мировым правительством, известным как «Трехсторонняя комиссия». Напомним, что интернациональный финансовый капитал, предводимый Давидом Рокфеллером, основал «Трехстороннюю комиссию» именно как альтернативу сходящей на нет роли ООН, о чем свидетельствует, в частности, и высказывание ее апологета Джереми Новака в июльском номере «Atlantic monthly» за 1977 год: **«Уже третий раз за нынешнее столетие группа американских ученых, предпринимателей и государственных деятелей стремится установить Новый мировой порядок. Разочарованные непригодностью ООН и хаосом, царящим во всех институтах, созданных в Брейтон-Вуде (МВФ и Всемирный банк), крайне обеспокоенные все большим ослаблением могущества США, они пытаются создать сегодня некое «сообщество развитых стран» ради согласования вопросов мировой политики и экономики».**

Аналогичные или схожие мысли содержатся и в официальных документах американской политики, таких, как «Памятка всемирного торгаша», составленная ветераном «Совета по международным связям» Харлендом Кливлендом и изданная сенатской комиссией иностранных дел в сборнике трудов, посвященных роли ООН. **«Надеюсь, что сенат и его комиссия иностранных дел уяснят разницу между будущим ООН и будущим всего мирового порядка и сделают из этого должные выводы. Сегодня на повестке дня стоит вопрос, требующий длительных творческих усилий, сложный вопрос об эффективности международных акций, именуемых некоторыми из нас «всемирным торгашеством». С учетом вышесказанного наша сегодняшняя инициатива может быть расценена как третья попытка установить глобальный мировой порядок после того, как отмерла Лига Наций, а ООН оказалась бессильной решать текущие мировые вопросы».**

Уже тогда, в далеком 1976 году, решение всех «мировых проблем» Х. Кливленд видел в ряде элементов «нового мирового порядка», от «создания и ввода в оборот мировых денег» до «создания всемирного полицейского аппарата для сохранения мира и порядка, а также восстановления их в случае необходимости». Не надо обладать большими экономическими знаниями, чтобы предугадать всеграбительскую роль таких «мировых денег», предполагающих также и создание всемирного Центрального банка, который стихийными выбросами никем не контролируемой, ничем не ограниченной и ничем не обеспеченной денежной массы опустошал бы мировые хранилища человеческого труда, богатства и энергии. Речь идет ни о чем ином, как о модели тоталитарной гипертрофии сегодняшней паразитической гегемонии доллара. Излишне подчеркивать, что существенная роль в данном проекте отводится «мировому полицейскому аппарату», призванному обеспечить псевдоимперское планетарное всевластие интернационального финансового капитала и удушение любых попыток недовольства.

Итак, после краха надежд и амбиций, связанных с «Трехсторонней комиссией», явившегося прямым следствием углубившегося антагонизма между различными звеньями интернационального финансового капитала — Японией, США, Европейским сообществом, — сегодня предпринимается четвертая попытка установить «новый мировой порядок». Вновь под эгидой ООН, где голоса совести и протеста заглушаются угрозами или же сдерживаются коррупцией. Не кнутом, так пряником.

Наш краткий обзор типичнейших заявлений в духе «нового мирового порядка» мы завершим обещанием Джимми Картера бороться на посту президента США за установление во всем мире «нового, правового и миролюбивого порядка»: «Мы должны безоговорочно отбросить в прошлое политику баланса между мировыми силами и заменить ее политикой мирового порядка. Новейшим вызовом американской внешней политике является сегодня ее первостепенная задача по захвату лидерства во всех сферах усилий, направленных на объединение народов мира во имя совместного построения более стабильного в правовом отношении международного порядка». Что ж, яснее не скажешь.

К счастью для нашего разума, мы обладаем достаточным трагическим опытом, почерпнутым из истории, чтобы легко распознать за посулами сильных мира сего, переполненных обещаниями правды, стабильности и всеобщего благоденствия, злонамеренную ложь. Прекрасный образец упомянутой выше сис-

темы обмана продемонстрировал в свое время еще Ленин. В меморандуме, направленном в 1921 году своему министру иностранных дел, он писал следующее: «Неправда и убедительная ложь служат для революционера не только признаками его интеллектуального превосходства, но и стимулами к расширению революционных целей. Это — главное. Все, что расширяет и углубляет наши идеологические цели, становится истиной, все же, что препятствует их осуществлению, — ложью».

Анализируя последние стратегические решения Пентагона, одобренные специалистами из госдепартамента и Совета по национальной безопасности, видный обозреватель «Le Monde diplomatique» Поль Мэри де ля Горс приходит к выводу, что «США отнюдь не стремятся к демократическому управлению нашей планетой, но — лишь к усилению своей гегемонии. Любым способом». Вся вашингтонская говорильня о «демократии» и «правах человека» служит единственной цели: одурачить простаков и скрыть явные следы систематического попрания какой бы то ни было демократии и прав человека. Впрочем, почти все основатели США, начиная с Томаса Джефферсона, подписавшие «Декларацию независимости»[2], в которой высокопарно утверждается, что люди рождаются свободными и равными, и осуждается рабство, были рабовладельцами. Итак, речь идет о двухвековой и уже врожденной «традиции» обмана, практикуемой в верхах.

ВОЙНА КАК СИНОНИМ ПРОЦВЕТАНИЯ

Раскрыв тайные планы поджигателей «Третьей мировой войны» на страницах одноименной книги, посвященной «истории будущего» (The Third World War, London, 1978), сэр Джон Гаккет, натовский генерал на пенсии, назвал и год, в котором планировалось осуществить захват «второй Европы»: 1985. Сегодня мы уже знаем, что «атлантисты» прибегли к мягкому варианту под названием «перестройка», воспользовавшись посредническими услугами Горбачева, пришедшего к власти в том же, 1985 году. Подобная стратегия, надо признать, во многом себя оправдала. Чего стоит хотя бы один развал Югославии: «Просоветский комитет защиты Югославии осуществил безуспешное нападение на Словению, способствовав тем самым дальнейшему углублению конфликта между словенской республиканской властью и федеральным правительством в Белграде». С другой стороны, ряд признаков свидетельствует, что жрецы «нового мирового порядка» все еще не отказались от военного варианта уничтожения Европы — и в первую очередь России — ради стяжания баснословных прибылей, которые сулит новая братоубийственная бойня евразийских народов.

Влиятельный французский аналитик Софи Жерарди совершенно справедливо заметила в связи с операцией «Буря в пустыне», что все свои экономические кризисы США разрешают путем провоцирования и (или) развязывания крупномасштабных войн, из которых регулярно выходят разбогатевшими и экономически окрепшими. Отсюда и вывод, принимвемый нами безоговорочно: «В американской истории XX века присутствует постыдное и негласное правило, согласно которому война есть синоним процветания».

И действительно, даже беглого взгляда, брошенного сегодня на североамериканский континент, пораженный депрессией и классово-расовыми противоречиями, достаточно, чтобы заметить нарастающие симптомы подобного рода кризиса, чье приближение обычно побуждает жрецов Маммоны с Уоллстрита искать спасение на тропе войны. Дефицит госбюджета США уже приблизился к отметке в 5000 млрд. долларов. Рост застойных явлений едва сдерживается искусственными вливаниями за счет займов, биржевыми манипуляциями и пропагандой усиленного оптимизма. Сегодня американский melting-pot (плавильный котел) характеризуется относительным затишьем перед бурей социально-расовых потрясений, чье приближение Америка лихорадочно пытается отдалить, беря на полное содержание «бросовые меньшинства» и подвергая так называемой «позитивной дискриминации» и без того нещадно обираемое белое «тихое большинство», которое, судя по всему, уже через поколение станет меньшинством на земле «своих предков» в результате афро-демографического взрыва, вызвавшего неудержимый рост популяции цветных.

Ненасытный паразит планеты, Америка поглощает сырьевые и энергетические ресурсы всего мира, загрязняя Землю до недопустимых пределов и отвергая какие бы то ни было обязательства по самоконтролю. «Коэффициент» ее прожорливости вкупе с наносимым природе ущербом способен ужаснуть кого угодно, и, что самое страшное, он неуклонно растет. По официальным и, по всей видимости, заниженным данным вашингтонского Йorld Йatch Institute за 1990 год, США расходуют почти половину запасов сырья и 26% производимых в мире нефтепродуктов, выбрасывая в атмосферу соответственно 26% вредных отходов, в том числе 22% общемировых выбросов диокиси углерода. Кроме того, США распылили по планете 290 млн. тонн отравляющих веществ. Один лишь американский госдепартамент произвел в 1990 году 273 750 тонн административно-пропагандистского бумажного мусора, на что ушло 4 700 000 стволов мирового лесного богатства. Чтобы в полной мере представить себе ужасающие масштабы американской алчности, следует помнить, что население США составляет едва 5% от общего числа жителей земного шара.

США и навязываемый стратегами «нового мирового порядка» либеральный капитализм толкают человечество в пропасть всемирной экологической катастрофы. Потому-то american Йay of life и есть на деле american Йay of death. Уже сам факт, что правящие круги американской псевдоимперии вынуждены удерживать свое положение мирового лидера путем уничтожения мира и вовлечения человечества в широкомасштабные войны, достаточно убедительно свидетельствует о ее античеловеческой природе. В свете вышесказанного гораздо более глубоким, чем принято думать, является и знаменитое высказывание аятоллы Хомейни, назвавшего США «великим Сатаной».

[2] Весьма ценимую Марксом, считавшим ее важным завоеванием в области «прав человека».

ТЯГА К «КОНЦУ ИСТОРИИ»

Но иногда с вершины масонской пирамиды, из самого центра американской псевдоимперии, раздаются и голоса отчаяния, подобные искреннему признанию известного банкира Феликса Раотина: «Еще ни одна сила в мировой истории не просадила так быстро свои властные капиталы». Одна из основополагающих причин сего уникального выкидыша всевластия объясняется столь же неповторимой идеологической пустотой или бесплодием. Со времен «Декларации независимости», перегруженной общими местами масонских банальностей и идиотскими самообманами, американская культура, точнее субкультура, не породила ни единой релевантной политической идеи, тем более — доктрины.

Об этом двухвековом интеллектуальном бесплодии весьма симптоматично свидетельствуют сегодня и страстные усилия американских информационных служб, настойчиво пропагандирующих «во всем просвещенном мире» книги «американского японца» Фрэнсиса Фукоямы о «конце истории», основной тезис которых следующий: история, понимаемая как борьба сил и идеологий за мировое господство, завершилась, поскольку на мировой арене осталась единственная сила — победительница (США) и соответственно единственная торжествующая идеология (либеральный капитализм). По Фукояме, сегодня на нашем горизонте нет (как и не будет в дальнейшем) признаков появления какой-либо новой силы или идеологии, а посему нам не остается ничего иного, как смириться со своей участью данников США и жертв либерального капитализма.

Было бы излишне занимать эти страницы, доказывая нелепость и безосновательность выводов Фукоямы; между тем они обладают исключительной ценностью именно как симптом, позволяющий выявить патологию «нового мирового порядка». Ибо уже сама эйфория его стратегов по поводу тезиса «конца» есть ярчайшее свидетельство их панического страха перед силами и судом истории. Подобно картежнику, которому после ряда крупных выигрышей начнинает изменять фортуна и который в силу этого стремится поскорее покинуть игру, лишая партнеров возможности взять реванш, стратеги «нового мирового порядка» пытаются посредством пропаганды идей о «конце истории» объявить всему миру об окончании партии, носящей название «история», страхуясь таким образом от возможного отпора со стороны свежих сил и новых идей.

Идеология «атлантизма», носящая название «либерал-капитализм», предписывает своим адептам или подданным полный отказ от всех человеческих потребностей, выходящих за рамки экономики. В связи с этим достаточно характерно одно замечание Фукоямы, сделанное им на страницах своего второго бестселлера «Конец истории и последний человек» (The End of History and the Last Man): «Изменения в обществе, вызванные его индустриализацией и, в особенности, развитием, высвобождают также и известные потребности в признании (человеческого статуса. — *Д. К.*), отсутствовавшие у прежних, более бедных и менее образованных популяций. Как только люди становятся богаче и образованней, приобретая вследствие этого более открытый взгляд на мир, они уже не ищут лишь преимуществ богатства, но требуют и признания своего статуса. Именно этим, абсолютно не экономическим и не материальным порывом можно объяснить требования, предъявляемые народами Испании, Португалии, Южной Кореи, да и Китая не только к рыночной экономике, но и к свободе собственности со стороны нации и в интересах нации».

Подобные неэкономические и нематериальные порывы и запросы человека и являются главной проблемой для стратегов «нового мирового порядка», так как противоречат проекту заключения человеческого элемента в рабскую оболочку экономического и вульгарно-материалистического животного. Поэтому устами Фукоямы их провозглашают «иррациональными», т. е. не подлежащими узаконению и de facto попадающими под запрет. Отсюда и яростное негодование «тузов» и стратегов «нового мирового порядка» по поводу любых проявлений жизнестойкости и неистребимости человеческих потребностей, связанных с сохранением и развитием национальных и расовых, культурных и духовных ценностей и добродетелей, со свободой и независимостью соответствующих государств и отечеств.

Отрекомендовавшись читателям последователем Гегеля, с чьей теорией, как известно, он знаком лишь по втористочникам, а именно — по превратной интерпретации Кожева, Фукояма стремится представить «новый мировой порядок» воплощением гегелевской мечты об «универсальном государстве», которое должно стать также последним государством в истории человечества, удовлетворяя любые рациональные потребности любых людей. Согласно Кожеву (и Фукояме), либеральная демократия удовлетворяет все рациональные потребности человека по признанию его достойного статуса, поскольку синтезирует мораль раба и господина, преодолевая классовые различия между ними, сохраняя одновременно особенности обеих форм экономического и общественного существования. Тут бы впору и точку ставить, одно слово: «конец истории».

Выражаясь языком физики, нигилистический процесс навязывания миру «нового мирового порядка» тяготеет к критическому состоянию, известному из Второго закона термодинамики как «тепловая смерть», наступающая в результате выравнивания температур всех молекул определенной системы. «Тепловая смерть» человечества и есть конечная цель интеграционного проекта под названием melting-pot, который наиболее кратко сформулирован в масонском девизе США, начертанном на однодолларовом банкноте: «Из Множества — Одно». Речь идет о негативно-расистском проекте полного смещения рас, народов и этносов до безликого и бесформенного месива, «серой расы». Нигилистический процесс стремится к уничтожению хранилищ генетической и культурной памяти о доблестях и ценностях, дабы жрецы «нового мирового порядка» могли легче управлять обесчеловеченными массами, покорными потребителями суррогата выкорчеванных культур и умерщвленной духовности и еще более покорными исполнителями распоряжений о «рациональном» прозябании.

СЕРБИЯ НА СТРАЖЕ ЕВРОПЫ

Как известно, самым эффективным средством навязывания «нового мирового порядка» была бы мировая война между народами евразийского континента. Если произвести футурологический анализ геополитической карты возможного театра военных действий, можно с легкостью установить, что Армения обладает идеальными условиями для первого взрыва. Об этом свидетельствует и соответствующая политика Вашингтона, одновременно восстанавливающего и вооружающего Армению против Азербайджана, в Турцию против Армении. Стремление американского вассала Турции распространить свое псевдоимперское влияние «от Китайской стены до Адриатики» встречает на востоке препятствие в лице Армении, преграждающей ей выход к исламско-тюркским республикам бывшего СССР. Если Турция нападет на Армению под предлогом оказания военной помощи Азербайджану, — а подобные намеки содержатся в заявлениях ряда турецких официальных лиц, — Россия вынуждена будет вступить в войну против Турции, чтобы защитить своего военного союзника в соответствии с заключенным между ними договором. В этом случае силы НАТО должны будут начать военные действия против России на стороне Турции, участницы пакта.

Россия, ее неисчислимые богатства и являются главной целью захватнических устремлений стратегов «нового мирового порядка», чьим интересам верой и правдой служит состоящее из инородцев и русофобов правительство Российской Федерации, единственный русский в котором — марионетка, отзывающаяся на фамилию Ельцин. Подобное правительство держится у власти лишь благодаря обещаниям и угрозам, сплаву тоталитарной индоктринации и большевистского террора. Оно использует все возможности своей неограниченной власти, от масс-медиа до средств из военного арсенала. Геноцид русского народа продолжается. Саботаж в Чернобыле, поразивший десятки миллионов людей, сменяется последовательным физико-биологическим уничтожением посредством голода и «белой чумы». Все эти изощренные формы имеют своей целью одно: окончательно подорвать последние силы русского народа перед вторжением грабительских орд интернационального капитала.

В плане же политическом стратеги «нового мирового порядка» намечают расчленить Россию на ряд «автономий» для неславянских, главным образом мусульманских меньшинств; иными словами — на ряд карликовых псевдогосударств, — согласно масонской формуле solve-coagula (растворение-объединение[3]) — чтобы в дальнейшем сей аморфный конгломерат был более податлив для различного рода условностей. Поскольку хроническая нищета реал-социалистической системы спасла в свое время Россию (и Восточную Европу) от нашествия иммигрантов из стран третьего мира (которые, можно сказать, завоевали Западную Европу), стратеги «нового мирового порядка» планируют сегодня направить волны иммиграции прежде всего к ее (и Восточной Европы) берегам. Не так давно известный русский экономист А. Кузьмич опубликовал в ряде патриотических изданий документы, свидетельствующие о намерениях стратегов «нового мирового порядка» расселить на необозримых просторах России сотни миллионов выходцев из различных регионов мира. Это стоило ему жизни. А. Кузьмич был подло убит преступниками-русофобами. Впрочем, враги русского народа не останавливаются перед убийством и куда более безобидных своих противников, таких, как певец Игорь Тальков, вся вина которого состояла в том, что американский патент на оживотнивание человека под названием «rock and roll» он использовал в прямо противоположных целях — для пробуждения русского патриотизма.

Как мы уже неоднократно подчеркивали, Сербия и Югославия привлекают стратегов «нового мирового порядка» именно как идеальные зоны для многократного злоупотребления: от испытания в экспериментальных условиях техники провоцирования братоубийственных войн и компрометации национальных движений — до создания правовых прецедентов для последующего завоевания России и остальной Европы посредством расчленения государств на политические автономии для нацменьшинств. Одна из их главных задач заключается в том, чтобы обкорнать Сербию до размеров «белградского пашалука» и тем самым создать условия для турецкой политической и миграционной экспансии и гегемонии. Сфера влияния Турции, согласно замыслу авторов данного проекта, должна распространяться на сегодняшних вассалов американской политики на Балканах, Болгарию и Македонию, а также территории Косова и Санджака, вплоть до западной границы Боснии и Герцеговины.

Стратеги «нового мирового порядка» уже решили, что вся территория Боснии и Герцеговины должна стать областью турецкой гегемонии, поэтому их агенты и постоянные трибуны, — такие, как Джеймс Бейкер, — неизменно и яростно отстаивающие суверенитет и целостность этого «исламского государства», столь же яростно отрицают право сербского и хорватского народа на самоопределение и соответствующие территории. Поэтому-то и малейшие признаки сербско-хорватского взаимопонимания каждый раз вызывают истерическую реакцию со стороны производителей «общественного мнения» Запада, находящихся на содержании у «нового мирового порядка».

Но если сербский народ выстоит в противоборстве с «новым мировым порядком», это может положить начало обратному процессу. Вооруженная агрессия против Сербии и новой Югославии способна стать детонатором великого восстания русского народа против его продажных правителей и двигателем спасительного переворота в русской армии. Приведенные нами возможности сербского сопротивления придают глубокий смысл недавнему заявлению президента Буша, где говорится, что Сербия представляет страшную угрозу для безопасности США, их политических и экономических интересов. Никогда еще за всю свою историю сербский народ не удостаивался большей похвалы, не играл большей роли. Ибо со времен деспота Стефана Лазаревича и до сего дня роль сербов в истории Европы была достаточно печальной, если не сказать постыдной. К сожалению, и сейчас на сербской политической сцене ключевые «позиции», в том числе и в «оппозиции», занимают люди, не способные подняться на высоту поставленной задачи. Речь, как правило, идет о мелких, ничтожных людях, можно сказать, пигмеях, в то время как вызов на данном участке мировой арены поистине гигантский. Отсюда и отсутствие представления о подлинных масштабах и целях брошенного вызова.

Принимая на себя жестокие удары нигилизма, направляемые стратегами «нового мирового порядка», сербы могут утешиться лишь тем, что и другие европейские народы переживают сегодня аналогичный процесс уничтожения своей свободы и независимости, человечности и самобытности. Народы Западной Европы сами давно уже катятся в бездну растворения и исчезновения, и единственное различие между ними и сербами заключается в ощущаемой боли. Они ее практически не чувствуют, поскольку живут под мощным наркозом так называемого «государства изобилия». Что же касается сербов, то сейчас они являются не просто мишенью, но главной мишенью концентрированных атак «нового мирового порядка», что дополнительно увеличивает их страдания. Однако в испытываемой боли скрывается и известное преимущество, ибо старая мудрость учит нас, что нет худа без добра. Подобный трагический опыт может послужить драгоценным средством по сохранению бодрствующего сознания, жизненной силы и энергии, необходимых для сопротивления, восстания и победы.

Сему бодрствующему сознанию открывается сегодня глубокий смысл знаменитого высказывания Димитрие Лётича: **«Лишь когда все народы будут счастливы, будет счастлив и сербский народ».** В словах этих заключено гораздо больше, чем, вероятно, предусматривалось православным учением о любви. Борясь за свою свободу и независимость, сербский народ борется за свободу всех народов мира, вновь стоит на страже Европы. Сегодня Сербия — передовой край Мировой войны, в которой решается судьба человечества.

Перевод с сербского И. ЧИСЛОВА

[3] Имеется в виду старая алхимическая формула (буквально: растворение-сгущение), взятая на вооружение масонами.

ВОСПРЯНЕТ РУСЬ — ВОСПРЯНЕТ И СЛАВЯНСТВО!

По страницам сентябрьского номера журнала «Культурно-просветительная работа» ("Встреча")

По сложившейся в редакции традиции каждый номер мы собираем «вокруг идеи», которую в виде девиза выносим на обложку журнала. На сей раз таким девизом нам послужили обращенные к славянам стихи поэта и философа Алексея Хомякова:

Хоть вспомним ли, что это слово — братья —
Всех слов земных дороже в святей?

Самое время вспомнить! Поводов сколько угодно. Ну хотя бы вот этот. Сербский прозаик Добрица Чосич, нынешним летом ставший президентом новой Югославии, в белградских «Новостях» обронил такое «безобидное» замечание: «Россия Ельцина по-карамазовски отплатила нам за верность и жертвы, которые мы понесли, сражаясь за нее с июля 1941-го по май 1945 года. Рушится — и, вероятно, окончательно — еще одно сербское национальное заблуждение: вера в славянскую и православную Россию».

Какие горькие слова! Но справедливы ли они по отношению к православной России, к русским? Нет и нет! Во-первых, не «Россия Ельцина», а он и его правительство, во-вторых, далеко не только за Россию сражались сербы в означенное время, а в-третьих, право слово, кощунственно называть нашу общую святыню, коей является проверенное в веках братство сербов и русских, заблуждением. И, наконец, в-четвертых, коли уж говорить о политике российского правительства, то скорее не по-карамазовски оно «отплатило» Югославии, выступив на стороне так называемого «мирового сообщества», а чисто по-смердяковски, как, впрочем, выступает и против собственного народа.

Какие «мировые мудрецы» и «прогрессисты» руководят нынешними Смердяковыми, теоретически обосновывают и подогревают их интернациональное презрение к тысячелетнему отечеству? Каково подлинное отношение русских к сербам и, наоборот, сербов к русским? Вот проблемы, которые легли в основу нашей беседы (в ней участвовала вся редакция) с председателем Сербского фонда славянской письменности и культуры, профессором Радмило Мароевичем и с секретарем Общества Русско-Сербской дружбы Михаилом Числовым. Привлечет также внимание статья известного журналиста-международника Драгоша Калайча «Кто правит Россией?».

Однако сегодня — «Легко ли быть русским?». Так озаглавлена статья доктора юридических наук Галины Литвиновой. «Как случилось, — спрашивает автор, — что нищим и обездоленным во всех отношениях оказался народ богатейшей страны, из недр которой ежегодно выкачивают и пускают на мировую распродажу по бросовым ценам сотни тонн золота, миллионы тонн нефти, миллиарды кубометров газа и леса? Ответ следует искать в идеологии противопоставления русских нерусским». Кто же создает и использует эту идеологию? Есть, есть над чем нам, русским, хорошенько подумать!

Достойна глубокого осмысления статья нашего выдающегося писателя Валентина Распутина «Что дальше, братья-славяне?».

Из исторических материалов, как пример русского патриотизма, мы сочли своевременным опубликовать «Речь Козьмы Минина перед гражданами Нижнего Новгорода в грозный для России год великой смуты».

Поместили мы в этом номере и некогда знаменитое обращение русских славянофилов «К сербам. Послание из Москвы», написанное А. С. Хомяковым. Вдохновенная проповедь, в которой ярко и сполна выразилась нравственная и политическая позиция русских славянофилов, актуальна поныне и, по сути дела, является духовным завещанием славянству. В самом деле, славяне, вслушайтесь и «сложите в сердце слова сии: «Бог устроил современные нам судьбы мира так, что лучшая из человеческих добродетелей, — братолюбие, — есть в то же время единственное спасение для славян и единственная сила, могущая освободить их от врагов и утеснителей, которых, вы сами знаете, и называть не нужно. (...) Сохраняйте же и развивайте у себя все добрые начала! Будьте верны православию и едины в просвещении духовном!».

Геополитика

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ

РОССИЯ И ЮГ: геостратегическая проблема

В геостратегическом понимании Юг включает в себя обширную территорию на стыке Европы и Азии. В него принято включать государства Ближнего и Среднего Востока — от Египта до Индии, новые государственные образования Закавказья и Средней Азии, Синьцзян и Западный Тибет. В прошлом Советский Союз занимал значительную часть Южного региона.

Процесс перестройки в конце 1991 года вылился в разрушение системы управления СССР и его государственной системы. Попытка «обновления» Союза на базе организации национальных государств на данном этапе привела к разъединению ранее существовавших административно-территориальных единиц — бывших союзных республик. Таким образом на территории Юга возникли девять новых «независимых» государств.

Эти государственные образования оказались в сложнейшем положении. Единый геополитический организм, именовавшийся до конца 1991 года Союзом ССР, продолжает существовать и функционировать в экономической, военной, социальной и культурной областях на базе этно-социального, культурного и даже, как ни странно это сейчас звучит, правового и мировоззренческого единства, достигнутого за сотни лет. Плодом жизнедеятельности этого организма являлись и бывшие союзные республики. Поэтому усилия их правящих группировок, направленные (субъективно и объективно) на формирование национальных государств, неизбежно ведут к разрушению единого силового поля постсоветского региона, а тем самым и к разрушению ныне существующих суверенных государств.

Ситуация осложняется искусственностью самих этих государств. Так, историческая Грузия фактически прекратила свое существование еще в средневековье и была близка к ликвидации как культурно-историческая общность, когда Российская империя законсервировала этот процесс. В годы Советской власти усиленно сколачивалась грузинская нация из картлийцев, кахетинцев, имеретинцев и других. Что касается Армении, то ведь Армения историческая осталась за Саганлугом, в Турции, а сейчас название Армении носит территория, планомерно заселявшаяся армянскими беженцами и эмигрантами с начала XIX века. Азербайджан, Казахстан и республики Средней Азии как таковые государства вообще не имеют корней в истории.

Все делалось просто в 20-е годы — в мозаике этнических образований выбирались те, которые казались наиболее перспективными в плане создания базы для слияния наций, и объявлялись нациями, а все прочие народы, проживавшие на той же территории, административным порядком включались в их состав. Сейчас эти этносы начинают расплачиваться за то, что поддались соблазну поиграть в имперские народы, не имея для этого должных ресурсов и понадеявшись, что культурное, социальное и технологическое превосходство им заменит донорство России.

Процесс распада начался прежде всего в Закавказье, но его черты достаточно ясно видны на всей советской части Южного региона. Уже фактически распался на три государства Азербайджан, принимает необратимый характер выделение Абхазии, Южной Осетии и Аджарии из охваченной гражданской войной Грузии. В Северокавказском регионе Российской Федерации спешно формируются государства адыгейской, чеченской, ингушской, кумыкской, лезгинской

МОРОЗОВ Евгений Филиппович — полковник Российских Вооруженных Сил, преподаватель Военной академии имени М. В. Фрунзе, специалист по театрам военных действий (всего таких специалистов девять: пятеро — в ВА им. Фрунзе и четверо — в Генштабе). Как военный географ (военное театроведение — раздел военной географии) является одним из девяти наследников русской школы геополитики, уничтоженной в 1934 году, но частично сохранившейся в Академии имени М. В. Фрунзе. Отсюда участие автора в геополитических и геостратегических штудиях современной общественности. Текст статьи представляет собой несколько видоизмененный текст доклада автора на конференции Международного геополитического института.

и ногайской национальностей. Эти народности в союзе с Абхазией пытаются создать кавказское сообщество для противопоставления мощнейшему геополитическому влиянию России и для разгрома единой Осетии, союзной России и формирующейся в настоящее время из северного и южного осетинских государственных образований.

Правящая элита вновь создаваемых государств пытается преодолеть трудности данного этапа (для большинства этих государств непреодолимые принципиально) путем внесения в массы идеологии национал-шовинизма, крайних форм русофобии, панисламизма. В политическом плане это выливается в укрепление позиций «национальных» элит (название условно, ибо состав и цели этих элит транснациональны) за счет переключения социальной энергии населения на борьбу с внешними противниками (чаще всего создаваемыми искусственно). Отсюда армяно-азербайджанская война, военный конфликт Грузии с Абхазией и Осетией, военный конфликт Чечни и Ингушетии с Осетией, втягивание горских народностей в вооруженный конфликт с Россией, гражданская война в Таджикистане и пр. Эта же политика дала широкие возможности для ведущегося ныне поспешного развертывания инфраструктуры партизанской войны в Средней Азии силами афганских повстанцев.

В Закавказье процессы распада развиваются быстрее, чем в Средней Азии, в силу остроты геополитического противостояния в нем. Быстрее разрушились в нем и режимы, осуществлявшие первый этап перестройки. Однако развитие событий не оставляет сомнений в том, что Средняя Азия идет тем же путем, что и Закавказье, несколько отставая во времени.

Следует отметить, что давление России в данном регионе определяется отнюдь не политикой правительства Российской Федерации, но комплексом прочих причин: крайняя слабость или полное отсутствие национальных экономик в формирующихся государствах; высокий процент в них русского населения, исторически занимающего весьма значимые позиции в технологической, культурной и административной сферах; контроль Российской Федерации над системами финансов, транспорта и связи; дислокация в данном регионе российских войск; подъем общественной активности русского населения Северного Кавказа и Северного Казахстана, выразившийся в казачьем движении.

Можно видеть, что широко декларированное упразднение Советского Союза не привело к его фактическому исчезновению. Реальное существование геополитического организма выражается в сохранении его влияния на ситуацию на Юге. При этом, поскольку для геополитического влияния в ряде случаев необходимо наличие государственных органов, роль таких органов переходит силою вещей к правительству Российской Федерации.

Наряду с Россией геополитику Юга формирует влияние США. Соединенные Штаты настойчиво проводят в жизнь давний план блокирования стран, способных составить им конкуренцию в политическом, экономическом и военном отношении, — КНР, Индии и «бывшего» СССР. Охватывая их с запада цепью своих баз и союзов от Гренландии до Диего-Гарсии («правая рука»), США стремятся сомкнуть эту «руку» с «левой рукой» (цепь баз и союзов от Аляски до Сингапура) в Южной Азии, опираясь на союзный Пакистан. Это позволило бы им контролировать три вышеназванные страны в экономическом, военном и, в конечном счете, политическом отношении.

С этой целью вот уже полвека США ведут борьбу за установление контроля над Ближним Востоком. Именно для достижения данной цели они перехватили у Великобритании процесс создания Израиля и с тех пор фактически финансируют не только военную мощь, но в значительной степени и всю жизнедеятельность этого государства, имеющего такой же искусственный характер, как и государства постсоветского региона. Израиль, созданный на скрещении важнейших коммуникаций Ближнего Востока, разделил арабский мир на три части: страны Северной Африки, Аравийского полуострова и передней Азии.

Это геостратегическое раздробление дало возможность Соединенным Штатам взять под контроль ряд государств региона, навязать им финансовую и военную помощь (по сути зависимость), подчинить экономически и оформить военные союзы, помимо Турции и Пакистана, с Саудовской Аравией, Оманом, Кувейтом, Бахрейном, Катаром и ОАЭ. Война против Ирака еще более усилила американское военное проникновение на Аравийский полуостров. Этот район становится военной базой США, нацеленной против постсоветского региона, Ирана и в значительной мере — Индии.

Сирия, после поражения Ирака в феврале 1991 года, от твердой антиимпериалистической политики перешла к лавированию между своими национальными целями и действующими в регионе силами. Таким образом, ослабление давления СССР привело к постепенной ликвидации известного «плана Огаркова», сводившегося к формированию барьера на путях доступа Запада к нефтяному району Персидского залива — наиболее чувствительному в геостратегическом отношении для Запада району Евразии.

Современная ситуация в постсоветском пространстве дает для США богатые геополитические возможности. Прежде всего это возможность перейти к тесному окружению Китая и Индии, используя территорию современных государственных образований «бывшего» СССР.

Одно из направлений этой деятельности — строительство геополитической оси: Южная Европа — Турция — Армения — Азербайджан — Средняя Азия — Синьцзян. Кроме контроля над Западным Китаем и Северной Индией, выстраивание этой оси обеспечит США контроль над формирующейся исламской империей и надежный барьер для деятельности России на Ближнем и Среднем Востоке — геостратегически чрезвычайно важном для России регионе.

С этой целью в данный момент ведется деятельность по установлению контроля над Арменией и Азербайджаном с использованием карабахского кризиса. Закавказье фланки-

руется формированием проамериканского режима в Грузии и подчинением ему курдского национального движения на общей антииракской и антииранской основе.

Через развитую армянскую диаспору Запада Армения все более попадает в руки атлантистов. Опираясь на Израиль и Армению, США берут в клещи весь Ближний Восток. Российское правительство принимает участие в игре, отталкивая Азербайджан.

Окружение Армении мусульманскими государствами срывается предоставлением ей выхода к Черному морю через Грузию. Это неизбежно толкает Азербайджан в объятия Турции, которая связана пока с НАТО. Но баланс сил в самой Турции неизбежно нарушается — с разрушением равновесия на Юге «бывшего» СССР к власти в Турции скорее всего придут националисты, которые немедленно порвут с НАТО и приступят к выполнению своей геополитической программы — строительству протурецкой системы от Армении до Алтая, то есть в том же направлении, в котором сейчас действуют США и НАТО.

Деятельность США на Юге встречает сопротивление в первую очередь исламского фактора. Так принято именовать процесс формирования на единой культурно-религиозной и во многом единой этнической базе единой политической системы — исламского мира или исламской империи (империи в геополитическом смысле).

Исламский мир — чрезвычайно динамичная система, возникшая из политического небытия после первой мировой войны и за 70 лет проделавшая огромный путь развития. Постоянно раздробляемый силовым воздействием великих держав, исламский мир тем не менее ведет борьбу за политическое единство всех мусульманских стран — от Атлантики до Филиппин и от Бенгалии до Татарии. Ослабление геополитического давления СССР предоставило исламскому фактору редкостную возможность развития активных действий в Средней Азии и Казахстане.

Окончательное оформление исламской империи может произойти в тот момент, когда Китай и США вступят в войну на Тихом океане, признаки приближения которой становятся все явственнее. Китай, учитывая этот момент, активно осуществляет свое проникновение в исламский мир прежде всего путем широкой торговли оружием.

В исламском мире в настоящее время сложились шесть центров силы — Египет, Турция, Ирак, Иран, Пакистан и Саудовская Аравия. В то время как Египет и Ирак временно сосредоточились на внутренних проблемах, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия пытаются разрешить свои геополитические стремления в русле политики США. Только Иран проводит активную антиимпериалистическую политику. В результате происходит столкновение векторов приложения сил. Целью этих держав является в настоящий момент распространение влияния на Среднюю Азию. Именно в ней создается конфликтная зона между Турцией и Ираном, влияющими на ситуацию через Азербайджан (где тем самым возникает дополнительный очаг напряженности), а Пакистан проводит свою политику через Афганистан. Соревнование трех держав за преобладание в Средней Азии может вылиться в объединение их усилий для нейтрализации влияний США и России.

Особую роль в регионе играет Индия, как региональная сверхдержава. Блокируя с фланга Пакистан и постепенно ликвидируя его мощь, Индия тем самым борется с американским проникновением на Средний Восток. После изменений в политике СССР Индия начала процесс сближения с Китаем, чтобы противостоять тотальному натиску США.

Все эти геополитические взаимодействия привели к крайней нестабильности на Юге. Кроме упоминавшихся войн в Грузии и Таджикистане, в Южной Осетии и Нагорном Карабахе, на Юге развивается большое количество вооруженных конфликтов. Наибольшее значение — не только в региональном, но и в мировом масштабе — имеют гражданская война в Афганистане, арабо-израильский и индо-пакистанский конфликты.

Арабо-израильский конфликт, осложняемый вытеснением из Палестины ее коренного населения и как следствие этого процесса массовой кампанией гражданского неповиновения палестинцев (т. н. «интифада»), в любой момент может стать причиной региональной войны на Юге (возможно, ядерной). Усиление сотрудничества США на Ближнем Востоке с проамериканскими арабскими режимами (за счет даже некоторого ослабления связей с Израилем) не стабилизирует обстановку, но, напротив, усилит попытки арабов силой оружия удалить евреев с оккупированных ими территорий и даже может воскресить стремление арабов ликвидировать Израиль. При таком повороте событий высока вероятность участия США в этой войне на стороне Израиля.

Афганский конфликт, в котором активно участвует Пакистан, несмотря на удаление Наджибуллы, имеет тенденцию к распространению на территорию Средней Азии, в той же форме, в которой он ведется в настоящее время. С этой войной непосредственно переплетаются пуштунский и белуджский вооруженные конфликты в самом Пакистане. Быстро растет вероятность конфликта и в Афганистане между пуштунами и прочими национальностями по сценарию 1929 года, но с иными результатами.

Индо-пакистанский конфликт в настоящий момент идет в сравнительно скрытой форме — в виде вооруженных столкновений на территории Индии (в Пенджабе и Кашмире). Как и арабо-израильский, он имеет тенденцию перерастания в региональную войну, возможно, с применением ядерного оружия и с участием США на стороне Пакистана.

Все эти конфликты при их развитии могут стать зародышами мировой (в том числе и ядерной) войны.

Большую опасность для развития ситуации на Юге представляет и конфликт в районе Персидского залива, приглушенный поражением Ирака в феврале 1991 года, но далеко не ликвидированный. Он чреват опасностью новой региональной войны, на сей раз с возможным участием Ирана и вероятным применением ядерного оружия. С ним связаны курдский вооруженный конфликт и повстанческие действия в Южном Ираке. Возможность развертывания их в мировую войну также достаточно велика.

Кроме названных, развиваются региональные вооруженные конфликты на национальной почве в Индии и Шри-Ланке.

Открываются (но не используются) широкие возможности для укрепления позиций России в Южном регионе. Во-первых, параллельное консолидации исламского мира создание под протекторатом России тюркского объединения, чему способствуют весьма существенные отличия тюркской этнокультурной общности от арабско-иранской. Во-вторых, использование трудноразрешимых противоречий арабской и иранской политических моделей для создания геополитической оси: Россия — Азербайджан — Иран (в блоке с Афганистаном).

В-третьих, сотрудничество России с Китаем и исламским миром на базе совместного противостояния США.

Вместо этого правительство России, следуя в фарватере американской политики, постепенно отходит от союза с государствами Средней Азии, Казахстаном и Азербайджаном, поддерживая Армению и Грузию. Россия участвует в направленной против нее же (а равно Китая и Индии) оси: Южная Европа — Турция — Армения — Азербайджан — Средняя Азия — Синьцзян.

Неопределенность развития политической обстановки в России заставляет предположить два варианта российской политики на Юге. Следование в фарватере политики США приведет в конечном счете к тотальному военному противостоянию России и исламского мира. Началом могут стать военные действия в Армении и Грузии против турецких, иранских и, возможно, азербайджанских войск, контрпартизанские действия (по типу афганского конфликта) на Кавказе и в Средней Азии, а также крупномасштабная межнациональная война в Казахстане.

Напротив, противостояние политике США в союзе с исламским миром может означать для России участие (в различной степени) в региональных конфликтах на Юге примерно в тех же формах, какие использовал СССР в 60 — 80-х годах — от предоставления займов, советников и вооружения до участия войск в операциях.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Отечественный архив

«ПОСУЛИЛА ЖИЗНЬ ДОРОГИ МНЕ ЛЕДЯНЫЕ...»

(«ДЕЛО» ПАВЛА ВАСИЛЬЕВА 1937 ГОДА)

Павел Васильев за свою недолгую жизнь арестовывался четырежды: первый раз, как вспоминала Елена Вялова, в результате мальчишеской выходки — перехода китайской границы в конце 20-х годов. Второй раз — по «делу» «Сибирской бригады» (материалы этого «дела» опубликованы в № 7 «Нашего современника»), третий раз — в 1935 году, когда, после драки с Джеком Алтаузеном, в «Правде» от 24 мая 1935 года появилось письмо за двадцатью подписями с требованием «принять решительные меры против хулигана Васильева, показав тем самым, что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдет безнаказанным». По этому «делу» П. Васильев получил три года заключения в ИТЛ. Благодаря хлопотам своего шурина И. Гронского — главного редактора «Нового мира», вхожего в самые высокие правительственные сферы, и ходатайству его перед Молотовым, поэт был досрочно выпущен на свободу.

Еще в Бутырках он написал пронзительное стихотворение «Прощание с друзьями», в котором, слишком хорошо зная, что его ожидает, предчувствовал свою дальнейшую нерадостную судьбу.

На далеком, милом Севере меня ждут,
Обходят дозором высокие ограды,
Зажигают огни, избы метут,
Собираются гостя дорогого встретить, как надо.

А как его надо — надо его весело:
Без песен, без смеха, чтоб ти-ихо было,
Чтобы только полено в печи потрескивало,
А потом бы его полымем надвое разбило.

Чтобы затейные начались беседы...
Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны.
Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие, со мной, — я еду
Собирать тяжелые слезы страны.

Предчувствие обмануло поэта. Он не доехал до «далекого, милого Севера», освободившись менее чем через год. Но ему недолго пришлось жить жизнью вольного человека.

В ноябре 1936 года был арестован прозаик Михаил Карпов. Именно с его ареста (если не считать арест и последующую ссылку Николая Клюева в 1934 году) началось поголовное уничтожение крестьянских писателей. Помимо того, что в них всегда видели потенциальных «врагов» и «террористов» (а после проведения коллективизации подобное отношение к ним считалось само собой разумеющимся), их судьбы осложнялись еще одним обстоятельством. Некоторые из них (в частности, тот же Карпов) находились если не в приятельских, то в товарищеских отношениях с Бухариным, на которого усиленно собирался компромат. Тактические расхождения Бухарина со Сталиным были выданы последним за непримиримое противостояние, несмотря на то, что эти деятели были, по сути, одним миром мазаны.

Вот имена деятелей НКВД, принявших самое активное участие в уничтожении крестьянских писателей: начальник 6 отделения 4 отдела НКВД капитан госбезопасности А. С. Журбенко, лейтенант госбезопасности Г. С Павловский, оперуполномоченный 6 отделения 4 отдела ГУГБ Шевелев, помощник начальника 6 отделения лейтенант госбезопасности И. И. Илюшенко. Отдел курировался заместителями наркома внутренних дел СССР Я. Аграновым и М. Фриновским.

28 декабря 1936 года на допросе Михаил Карпов сознался и в том, что было, и в том, чего не было, давая показания на Ивана Макарова, Василия Наседкина, Павла Васильева.

Из протокола допроса Михаила Карпова.

«Вопрос: Сообщите следствию, при каких обстоятельствах вы были вовлечены в контрреволюционную организацию?

Ответ: Сталкиваясь с Макаровым с 1929 года при встречах, мы обычно вели разговоры на политические темы, обсуждали политику ВКП(б), положение в стране с контрреволюционных позиций...

Летом 1933 года во время моей работы над пьесой «Танец обороны» я жил вместе с Макаровым в деревне Н. Лукино Спировского района Калининской области. Это обстоятельство нас еще больше сблизило и, встречаясь повседневно, Макаров обрабатывал меня, укреплял во мне враждебное отношение к партии в целом и к ее руководству — в особенности. Макаров, выражая свои тенденции к борьбе, заявлял о том, что в этой борьбе необходимо следовать примеру правых, опираться на крестьянство, так как оно «будучи крайне озлобленным против советской власти, явится массовой опорой. Надо зажечь восстание бунта в деревне — это заставит партию и Сталина сдать позиции»...

Вопрос: Что вам еще известно о контрреволюционной деятельности Макарова?

Ответ: Репрессии, направленные против троцкистов и зиновьевцев, вызвали среди нас еще большую злобу против ВКП(б) и, главным образом, против Сталина. Макаров приходил к выводу, доказывая мне, что теперь единственным средством борьбы является террор против руководителей и членов советского правительства.

В конце июня или начале июля месяца 1936 года он пригласил в ресторан-бар (Театральный проезд), передал мне о том, что такую же злобу против ЦК ВКП(б) и Сталина питает и Бухарин. Он мне заявил, что Бухарин ненавидит настоящее руководство ВКП(б) и, в особенности, Сталина, что сейчас Бухарин завоевал доверие в партийных массах, продолжает возглавлять организацию «правых» и руководить ее борьбой против партии.

Кроме того, он мне сообщил о состоявшемся между ним и Бухариным разговоре, указав, что, по мнению Бухарина, наиболее действенным средством борьбы против партии и Сталина является террор, что он, Макаров, эту директиву Бухарина о терроре целиком разделяет и готов сам лично принять участие в ее практическом осуществлении. Здесь же он рассказал мне о том, что физическим исполнителем террористического акта против Сталина намечен поэт Павел Васильев, привлеченный к этому делу лично Макаровым на основании указания Бухарина, который знает его террористические намерения из личных бесед.

Вопрос: Из каких соображений намечен как исполнитель террористического акта Павел Васильев?

Ответ: Макаров во время этого же разговора сообщил мне о том, что выбор пал на Павла Васильева именно потому, что он весьма озлоблен против ВКП(б) и Сталина и изъявил личное согласие на совершение террористического акта. Бухарин одобрил этот выбор. Вместе с этим Макаров заявил, что П. Васильев, будучи беспартийным, наиболее подходит для роли исполнителя террористического акта против Сталина, так как при этом удастся зашифровать участие «правых» в террористическом акте и в случае его провала организация «правых» не будет разгромлена.

Выбор Васильева мотивировался и тем, как утверждал Макаров, что «убийство Сталина поэтом, вышедшим из среды крестьян, то есть всего народа СССР, и за границей будет ясно говорить о том, что это убийство не является результатом ущемленности отдельного представителя какой-либо политической группировки, претендующей на портфель. Это будет воспринято как результат гнева народного против ВКП(б) и ее политики. Все будут говорить, что диктатора убил талантливейший поэт эпохи».

Вопрос: Как практически намечалось осуществление террористического акта?

Ответ: Макаров на мой вопрос в этой плоскости ответил, что Васильев, «в силу родственной близости к Гронскому И. М., редактору журнала «Новый мир», имеет большие связи, через которые можно добиться личного приема у Сталина якобы для разрешения вопроса о его положении в литературе (было известно, что Сталин беседует с писателями), и при этом тем или иным способом осуществить террористический акт».

О других подробностях он мне не сообщал.

Вопрос: У Васильева Павла было оружие?

Ответ: Относительно того, есть ли оружие у Павла Васильева, я ничего показать не могу, не знаю, но у Макарова было оружие.

Вопрос: Что говорил Макаров о его взаимоотношениях с П. Васильевым?

Ответ: Макаров давно подчинил себе идеологически Павла Васильева. Он не прекращал связи с ним и оказывал материальную поддержку даже тогда, когда Васильев находился в заключении в ИТЛ (в 1935 году). Макаров мне прямо заявлял о том, что Павел Васильев ему очень многим обязан, так как он принял горячее участие и меры к его досрочному освобождению из ИТЛ...»

После того как следователи выколотили (в буквальном смысле) все это из Михаила Карпова, настал черед Ивана Макарова и Павла Васильева.

На основании показаний Карпова была составлена справка на Васильева, в которой указывалось, в частности, следующее.

«Васильев Павел Николаевич, 1909 года рождения, сын крупного кулака из Павлограда (Казахстан), беспартийный, поэт, в 1932 году арестовывался по делу группы литераторов и был условно приговорен к трем годам высылки. Период времени с 1932 по 1935 год отмечен целым рядом публичных скандалов, драк и дебошей, организовывавшихся Павлом Васильевым. За непристойное поведение, компрометирующее звание советского писателя, П. Васильев был исключен в 1935 году из членов Союза советских писателей. А в июне 1935 года нарсудом Краснопресненского района был приговорен к трем годам заключения за хулиганство. Освобожден досрочно в марте 1936 года.

Четвертым отделом ГУГБ НКВД СССР ликвидируется террористическая группа из среды писателей, связанных с контрреволюционной организацией «правых». Участники группы ставят перед собой цель совершить террористический акт против вождя ВКП(б) товарища Сталина. По делу арестован писатель Карпов М. Я., полностью признавший себя виновным в террористических намерениях и враждебности к ВКП(б) и показавший, что в контрреволюционную организацию его завербовал писатель Макаров. В дальнейшем, по показаниям Карпова, Макаров его осведомил о том, что организация «правых» готовит совершение террористического акта против товарища Сталина и что Макаров завербовал в качестве исполнителя поэта Васильева Павла Николаевича...

На основании вышеизложенного просим вашей санкции на арест Васильева Павла Николаевича, 1909 года рождения, беспартийный, поэт, проживает без прописки у Вяловой Е. А. на Палихе, дом 7, кв. 158.

Начальник 6 отделения 4 отдела ГУГБ капитан государственной безопасности Журбенко».

6 февраля Павла Васильева арестовали прямо на улице. Торопились до такой степени, что даже не заготовили заранее ордера на арест, который был оформлен задним числом, 8 февраля. В тот же день был произведен обыск на квартире Е. Вяловой и в двух других квартирах, где останавливался Васильев, а на поэта было заведено «дело» за № 11245.

«В народный комиссариат внутренних дел, Главное управление государственной безопасности.

Ордер № 192, февраля 8 дня 1937 года

выдан лейтенанту Главного управления государственной безопасности НКВД Заблоцкому на производство ареста и обыска Васильева Павла Николаевича, Новинский бульвар, № 16, квартира № 22, Палиха, дом 7, квартира 158, Тверская-Ямская, дом 26, квартира 10.

Подписи: народный комиссар внутренних дел СССР, комиссар государственной безопасности первого ранга Агранов.

начальник 2 отдела ГУГБ комиссар государственной безопасности третьего ранга *(подпись неразборчива)*

Протокол

На основании ордера Главного управления государственной безопасности НКВД СССР за № 192 от 8 февраля месяца 1937 года произведен обыск у гражданина Васильева П. Н. в доме № 26, квартира № 10 по улице Четвертой Ямской-Тверской. При обыске присутствовала Вялова Елена Александровна.

Согласно данным указаниям задержан гражданин Васильев П. Н. Взято при составлении в Главное управление государственной безопасности следующее: разные рукописи, разная переписка.

Обыск производили комиссар Заблоцкий, Русинов.

Неправильностей, допущенных при обыске, — нет.

Вещественных доказательств, не внесенных в протокол, — нет».

В те же дни, сидя в Бутырской тюрьме, П. Васильев написал последнее из дошедших до нас стихотворений.

Снегири взлетают красногруды...
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом северном краю.

Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьет.

Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листье,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши все...»

Поэт ошибся еще раз. Он не доехал до «нелюдимого северного края» тогда, когда прощался с друзьями — вышел на свободу. Теперь же ему была уготована совсем другая участь. Он еще не знал, что не суждено ему живым перешагнуть порог Лубянки, куда его в конце концов увезли на заседание Верховного суда.

Васильева «взял в работу» его старый знакомый — следователь И. И. Илюшенко, который уже допрашивал поэта в 1932 году по делу «Сибирской бригады». Опытный следователь уже знал, как вести себя с Васильевым, и ему ничего не стоило сломать поэта еще раз, даже не применяя «незаконных методов следствия». Достаточно было серии угроз — Васильев быстро сломался, как и тогда, в 1932-м.

И тут в «деле» есть одна странность. Протокол допроса от 14 февраля 1937 года изъят. Чем это вызвано, сказать трудно, но можно предположить: этот протокол чем-то очень не понравился высокому начальству. Можно сделать вывод, что оно было не слишком довольно работой Илюшенко. Отсутствие протокола подтверждает в какой-то мере его оправдания на допросе, который состоялся уже в 1956 году. С ним мы еще познакомимся. А сейчас послушаем Павла Васильева. Второй допрос состоялся через пять дней после первого — 19 февраля.

«Протокол допроса обвиняемого Васильева Павла Николаевича, 19 февраля 37 года.

Вопрос: На допросе 14 февраля 37 года вы показали, что обрабатывались в контрреволюционном духе со стороны ряда антисоветски настроенных писателей. Назовите фамилии этих лиц и дайте подробные показания об их контрреволюционной деятельности.

Ответ: Как мною уже было показано, писатели Прнблудный, Наседкин, Уткин, Макаров обрабатывали меня в контрреволюционном духе и прививали мне ненависть к руководству ВКП(б) и совправительства. Из известных мне фактов контрреволюционной деятельности этих лиц могу привести следующие:

Первое. Наседкин Василий, поэт. В настоящее время работает в журнале «Колхозник». Наседкин при встречах со мной высказывался всегда в антисоветском духе... Он был обижен своим положением и недоволен существующим в литературе положением.

Из наиболее ярких к/р фактов его к/р деятельности я вспоминаю следующие. В начале 1935 года или в конце 1934 года, идя к Дому Правительства, где я тогда жил у Гронского, я встретился с Наседкиным. В процессе беседы с ним Наседкин мне стал читать написанные им стихи террористического характера, смысл которых сводился, насколько я помню, к тому, что крестьянство восстанет против гнета совластей и уничтожит руководство совправительства и ВКП(б).

Стихотворение было резко контрреволюционным, и на вопрос, как он мог написать такие стихи, Наседкин замялся и просил никому об этом не рассказывать.

В сентябре 1936 года я встретил Наседкина в редакции журнала «Колхозник» и сказал ему, что хочу написать стихи, осуждающие троцкистскую деятельность. На это мне Наседкин ответил: «Постыдился бы писать такие стихи. Ты знаешь, каких людей расстреляли — лучших учеников Ленина».

После этого разговора я Наседкина встречал только мельком, один раз, и больше с ним не разговаривал.

Второе. Приблудный Иван Петрович, поэт. Злобно настроенный к совласти человек. Говорил, что я в существующих условиях гибну. После освобождения меня из заключения в марте 1936 года было радостное сообщение, что я освобожден руководством ВКП(б). Приблудный клеветнически говорил, что мое освобождение — это барский жест и что я ЦК ВКП(б) не нужен.

В общем, не было ни одного вопроса о советской действительности, о котором Приблудный бы не отозвался злобно и клеветнически [1].

Третье. Уткин Иосиф Павлович, поэт. С ним я близко встречался до начала 1935 года, после чего я видел его только в Гослитиздате и никаких дел с ним не имел среди моих встреч с ним до 1935 года.

Уткин не раз высказывался издевательски по отношению к руководству ВКП(б), в частности, высмеивал Сталина и распространял против него клевету. Уткин всячески восхвалял Раковского и говорил, что он умный и дальновидный политик и что ЦК ВКП(б) его жестоко загнал. Мне хорошо известно, что по возвращении из ссылки Раковский остановился на квартире Уткина.

Вопрос: Вы не назвали всех известных вам контрреволюционно настроенных писателей, не показали о вашей контрреволюционной деятельности.

Ответ: В 1934 году кто-то мне говорил, что Артем Веселый написал или сказал следующее: «Я могу поставить пушку на Красной площади и стрелять в упор по Кремлю». Однажды в том же 1934 году я разговаривал с Артемом Веселым, обращался к нему и спросил — правда ли, что он говорил такую фразу. Артем Веселый мне это подтвердил, сказав: «Да, это когда-то было». Кроме того, Веселый являлся участником нелегального собрания писателей в 1933 году.

Вопрос: О каком нелегальном собрании идет речь?

Ответ: В конце 1933 года меня встретил писатель Георгий Никифоров и пригласил меня к себе на квартиру. Придя к Никифорову я увидел писателей: Новикова-Прибоя, Низового, Сейфуллину, Артема Веселого, Смирнова, Никифорова, Перегудова и еще несколько человек, фамилии которых я забыл. Когда я пришел, кто-то спросил: «А почему нет Правдухина?» — у Сейфуллиной. Сейфуллина ответила: «Если узнают о нашем собрании, то мы легко отделаемся, если здесь будет Правдухин, то ему несдобровать».

После этого встал Никифоров и говорил, приблизительно, следующее: «Русских писателей угнетают. Литература находится в руках разных Габриловичей, Файвиловичей и других еврейских писателей. Все в руках евреев. Нам нужно противопоставить себя этому и выдвигать своих русских писателей и поэтов. Нам нужно захватить в свои руки какой-нибудь литературный журнал и через него влиять на литературу, мы должны встречаться и обсуждать следующие вопросы: вот, например, Павла Васильева мы должны выдвинуть в качестве русского поэта, выступать все вместе за него, писать статьи о нем и о каждом из нас. Под видом статьи показать лицо русской литературы и спасти ее от еврейского засилия». В таком же духе высказался

[1] Эта фраза зачеркнута, очевидно, самим П. Васильевым

Артем Веселый и Сейфуллина при одобрении всех присутствующих. После ужина все разошлись.

Вопрос: На других нелегальных собраниях вы присутствовали?

Ответ: Нет, больше меня не звали. Были ли собрания потом, я не знал».

Эти протоколы, увы, неотъемлемое свидетельство истории русской литературы двадцатого столетия. Литература, как и ее история, пишется не только «кровью чувств», но и кровью натуральной. Единственно как можно прокомментировать сей документ — обратясь к совсем недавнему прошлому.

Помните эти соловьиные трели наших «историков литературы»? «Они не были ни в чем виноваты!» «Они наговаривали на себя и других!» «Они подписывали все, что им давали!» Но, во-первых, не все подписывали все, что давали (вспомним Ивана Приблудного). Во-вторых, если был примитивный оговор, то здесь явственно различима рука следователя, ведшего допрос. Ну, а там, где человек не лжет, это всегда видно.

Не был ложью и этот рассказ о собрании у Никифорова. Все реплики участников — подлинные. Другое дело — стоило ли с такой готовностью «колоться», выкладывать перед следователем все, как на блюдечке? Пусть на этот вопрос ответит тот, кто считает себя вправе на него отвечать. Я не берусь.

Только думаю, что не зря Васильева больше не приглаcилн ни на одно собрание. Его знакомые литераторы хорошо знали Павла, как талантливейшего поэта и абсолютно не выдержанного человека с ощутимыми растиньяковскими черточками. В литературной Москве он держался с уверенностью завоевателя столицы, при этом сплошь и рядом срывался, позволяя себе публичные высказывания самого резкого характера и в то же время публично каялся и бил себя в грудь («дело» «Сибирской бригады» и переписка с Горьким дают об этом достаточное представление). Рассчитывать на его выдержку и надежность здесь было невозможно — друзья знали это.

4 марта 1937 года Васильева привлекли по ст.ст. 58-19 и 58-11 УК РСФСР. А 23 марта допрашивали Ивана Макарова, арестованного почти одновременно с Васильевым.

«Из протокола допроса Макарова Ивана Ивановича от 23 марта 1937 года.

Макаров Иван Иванович, 1900 года рождения, беспартийный. В 1929 году исключен из ВКП(б), как морально разложившийся. Писатель. Член ССП.

Вопрос: Установлено, что вы до последнего времени высказывали враждебность к политике ВКП(б). В этом вы уличаетесь показаниями ряда лиц, которым вы высказывали свои контрреволюционные взгляды.

Ответ: Я решил давать откровенные показания. Будучи исключен из ВКП(б) за мелкобуржуазные настроения и моральное разложение, начиная с 1929 года я стал на контрреволюционный путь и высказывал резко выраженные контрреволюционные настроения. Беседуя с окружающими, я неоднократно утверждал, что партия ведет политику, рассчитанную на уничтожение чисто русского экономического уклада страны, единоличного хозяйства. Я же считал, что Россия должна быть аграрной страной, был противником проводимой партией политики. Исходя из этих же контрреволюционных позиций, я высказывал, что в СССР осуществляется не социализм, а голая неприкрытая эксплуатация трудящихся. Город жиреет за счет деревни, за счет гибели мужика — вот контрреволюционный смысл моей тогдашней установки.

Свои контрреволюционные позиции я сохранил до самого последнего времени, утверждая, что политика партии приводит страну к гибели и что коллективизация является лишь орудием в руках партии для выколачивания средств из крестьянства и ведет к разорению страны.

Контрреволюционные позиции, на которых я стоял, объясняются в значительной мере и моими шовинистическими взглядами. До самого последнего времени я неоднократно в присутствии писателя Незлобина и других утверждал, что в СССР русская нация попирается, власть принадлежит евреям и другим национальностям, которые не заинтересованы в развитии русского народа...

Будучи враждебно настроенным к ВКП(б), я зачастую до самого моего ареста заявлял писателям Незлобину, Карпову, Васильеву Ив., что партия оторвалась от масс, что она не осуществляет интересов русского народа. Я обвинял ВКП(б) в том, что она осуществляет эту политику путем полицейского террора, превращая Россию в николаевскую казарму...

Вопрос: Вы высказывали враждебность, террористические взгляды против товарища Сталина не только в разговоре с Незлобиным, но и в присутствии других лиц.

Ответ: Да. Летом 1936 года я беседовал с Карповым в баре на Театральной площади, развивал ему свои литературные замыслы. При этом я заявил, что во второй части своего романа «Голубые поля» убью кого-либо из вождей и что для этого я приготовил уже трех людей. На это Карпов мне ответил: «Почему кого-либо? Ты вали прямо Сталина. Да возьми и меня для этой цели. Ведь мне теперь терять нечего», намекая при этом на свое положение в связи с исключением из ВКП(б) и Союза советских писателей.

Вопрос: Во время этого разговора у вас шла речь не только о литературных замыслах. Вы при этом прямо показывали Карпову свои террористические намерения. Признаете это?

Ответ: Действительно, после того, как наш разговор принял ярко выраженный контрреволюционный характер, не связанный с литературой, Карпов открыто при этом выразил свои контрреволюционные намерения. Я также высказывал резкие террористические взгляды. В развернувшейся далее откровенной беседе мы с Карповым пришли к выводу, что Сталин осуществляет диктатуру в стране, превратил партию в «запуганное стадо», репрессируя всех мало-мальски не согласных с ним, и что пока Сталин является секретарем ЦК, изменения в политике ВКП(б) невозможны. По нашему мнению, единственный способ изменить политику — это совершение террористического акта против Сталина. При этом я и Карпов считали, что после убийства Сталина к власти должен прийти Бухарин, так как он является сторонником Ленина, имеет глубокие корни в стране как продолжатель дела Ленина, защитник интересов крестьянства и боровшийся с партией против коллективизации. Он, как мы говорили, кроме того, широко известен на Западе как бывший руководитель Коминтерна. Приход его к власти коренным образом изменит положение в стране и Россия расцветет.

Вопрос: В какой связи вы говорили с Карповым о поэте Васильеве П. в этой беседе?

Ответ: Когда разговор принял откровенно террористический характер, я упоминал о Павле Васильеве как о человеке, способном совершить террористический акт в силу его крайней озлобленности к ВКП(б). При этом Васильев характеризовался как поэт, вышедший из народа, представляющий собой гнев народный против диктатора Сталина.

Вопрос: Из чего вы заключаете, что Васильев террористически настроен и способен совершить террористический акт против товарища Сталина?

Ответ: Васильев неоднократно арестовывался НКВД за контрреволюционную деятельность, находился в концлагере и поэтому крайне озлоблен против ВКП(б). Кроме того, писатель Петр Воробьев как-то сообщил мне, что Васильев ранее, в 1930 — 1931 годах, являлся участником террористической организации под названием «Памир», в которую

входили поэты Сергей Марков, Анов-Иванов и другие, впоследствии арестованные.

Из разговора с Васильевым я также знал о его ненависти к совласти. Он часто читал написанные им антисоветские поэмы, а во время читки одной из них в январе 1937 года у Бобунова, проживавшего на Тестовском переулке (Бобунов возглавляет строительство Союза советских писателей), Васильев со злобой заявил: «Если под пули стать придется, я и пули не боюсь».

Летом 1936 года в ресторане напротив здания телеграфа, где часто собираются писатели, мы, то есть Васильев П., Олеша Ю., Санников и еще кто-то, сидели за столиком. Олеша обратился к Васильеву П. за просьбой прочитать написанные им террористические стихи под названием «Джугашвили». Васильев отказался, заявив, что здесь неудобно.

Должен признать, что в разговорах с Васильевым П. я высказывал прямые контрреволюционные взгляды, озлобляя этим его против Сталина. Так, в 1936 году разговор с Васильевым П. я ему рекомендовал написать поэму «Иосиф Ненстовый», в которой предложил описать гибельную для крестьянства политику Сталина к кулачеству.

В о п р о с: В своей контрреволюционной деятельности вы ориентировались на политику «правых» и, видимо, на Бухарина?

О т в е т: Мои контрреволюционные взгляды полностью соответствовали политике «правых». Я уже выше показал, что говорил с Карповым о Бухарине как человеке, продолжающем вести борьбу с ВКП(б). С Карповым мы беседовали о Бухарине и ранее, причем я высказывал предположение, что Бухарин с линией ВКП(б) не примирился и остался на своих старых позициях. Этот разговор имел место в 1934 году.

Я знаю, что не только я ориентировался на Бухарина в своей контрреволюционной деятельности, но что известная часть писателей также ориентировалась на него. Так, в конце лета при встрече с поэтом Наседкиным В. Ф., резко враждебно настроенным к совласти, мне стало ясно, что он ориентируется на Бухарина. Во время этого разговора, имевшего место в закусочной на Арбате, Наседкин заявил, что Бухарин — представитель всего лучшего, что есть в русском народе, охарактеризовал его как человека, стоящего на защите интересов крестьянского единоличного хозяйства, и как человека, немирящегося с политикой, проводимой Сталиным. В СССР, по его словам, сейчас установлено казарменное положение для русского народа. При этом Наседкин добавлял, что только при Бухарине можно будет свободно вздохнуть и что только Бухарин, придя к власти, обеспечит процветание России.

В о п р о с: Что вам еще известно о контрреволюционной деятельности Наседкина?

О т в е т: Кроме вышеупомянутого разговора Наседкин при встречах со мной в 1936 году высказывал по существу фашистские взгляды: «русская нация попирается, власть захвачена иноземцами» — и тому подобные контрреволюционные взгляды. Наседкин читал мне свои контрреволюционные поэмы. Так, в одном из стихотворений под названием «Буря» он рисует положение в СССР в явно клеветническом духе. «Ни огня, ни темной хаты, такая глушь, такая мгла, что надо бить в колокола, чтоб вывесть путника на свет, но даже колокола нет»...»

Допрашивался в это время не только Иван Макаров. Показания брали и у Ивана Васильева, так же включенного в группу «террористов». Его показания, как и показания Ивана Макарова, представляют большой интерес для историка. Картина, развернутая в них, сама по себе служит достойным опровержением злобной сплетни (называть ее высоким словом «легенда» или «миф» не представляется возможным!) о якобы поголовной вере писателей-выходцев из крестьянской среды в «Сталина-батюшку».

Из протокола допроса Васильева Ивана Михайловича от 26 апреля 1937 года.

«Васильев И. М., 1902 года рождения, уроженец Калининской области, русский, гражданин СССР. Образование — высшее, с 1919 по 1921 год состоял в ВЛКСМ, выбыл как оторвавшийся от организации. Писатель. Кандидат в члены ССП. Проживает в Москве.

В о п р о с: Кем вы были вовлечены в контрреволюционную группу?

О т в е т: В контрреволюционную группу я был вовлечен писателем Макаровым Иваном, с которым я познакомился в 1930 году во время работы в журнале «Земля Советская». В 1930 году же относится мое знакомство и сближение с Макаровым И. и Карповым М. не только как с писателями, но и как с людьми, настроенными контрреволюционно и враждебно по отношению к ВКП(б) и к руководителям партии и правительства...

В 1932 году я временно поселился в квартире Макарова на даче, в поселке Ильинском по Казанской железной дороге. В это время между нами довольно часто имели место беседы контрреволюционного характера о деревне, о колхозах. И мы оба сходились на том, что если даже колхозы станут зажиточными, то колхозная жизнь все равно не даст душевного удовлетворения крестьянину и что задача настоящего писателя является отразить эту духовную скудость колхозной жизни.

Результатом этих разговоров и был рассказ Макарова «Последний обед», напечатанный в журнале «Земля Советская». Более откровенные и резкие контрреволюционные разговоры между мной и Макаровым относятся к 1935 году в связи с заметкой о нем в «Правде», об его неэтичном поведении и долге колхозу «Красный луч» в деревне Новое Лукино, куда он приезжал. Макаров этой заметкой был страшно возмущен. Он ругал райком партии и политотдел за то, что они не поддерживают его, честного писателя. Говорил также, что в этом деле травли виновато МК ВКП(б) и Каганович, потому что в прошлом году он, Макаров, протестовал против безобразий, творимых в деревне по поводу заготовок льноволокна. В связи с этим Макаров озлобленно заявлял о засилии в литературе людей, пресмыкающихся перед партией, и евреев, хозяйничавших, по его мнению, в литературе.

О партии Макаров с раздражением говорил, что партия кишит трусами и холуями, что она вместе со Сталиным давно оторвалась от народа и с такой партией ни к какому социализму не придешь. С этим руководством партии, и в первую очередь со Сталиным, нужно повести решительную борьбу.

Должен признать, что я соглашался с этими контрреволюционными разговорами Макарова...

В о п р о с: Что вам известно о других участниках контрреволюционной группировки, возглавляемой Карповым и Макаровым?

О т в е т: Как участника группировки Карпова — Макарова я знаю кулацкого поэта Васильева Павла, который был настроен так же антисоветски. Васильев Павел за последнее время особенно сильно сошелся с Макаровым, часто встречался с ним в «Новом мире», вместе пьянствовали. В декабре месяце 1936 года я был в компании Макарова, Васильева, А. Ерикеева, татарского поэта, друга Васильева, писателя Коляджина. В этой компании был некто Ровнч (фамилия неточна), который открыто рассказывал анекдоты, дискредитирующие маршала Совсоюза Буденного, что находило общее одобрение всей компании.

Другим участником антисоветской группы является также писатель Климов Дм., которого я знаю с 1926 года по совместной учебе в Ленинградском госуниверситете. В то время он был членом «Северного перевала» и тогда еще враждебно относился к пролетарской культуре.

За последнее время я начал встречаться с Климовым в консультации Гослитиздата, где мы вместе работали.

Кроме встреч в консультации был также один раз у него на квартире. Климов — человек явно озлобленный и резко враждебно настроенный по отношению к руководству партии и правительства.

Климов возмущенно, с негодованием заявлял, что сейчас «сталинщина» заполнила все и вся и всякое высказывание Сталина воспринимается как

какой-то незыблемый закон, несмотря на то, что некоторые его высказывания являются неправильными и абсурдными. Климов горячо поддерживал и мои контрреволюционные разговоры о том, что сейчас налицо разгул репрессий и людей, имевших какое-либо отношение к арестованным, преследуют, не дают работы и ставят в безвыходное положение.

Климов развивал также тему безвременья литературы в настоящее время, о загоне литературы и о том, что истинные дарования сейчас не могут писать и не пишут, так как если они будут писать то, что у них на душе, то они за это попадут в концлагерь, а подлизываться и заискивать перед «сталинцами» они не имеют в себе силы...»

Судя по «делу», 4 месяца с небольшим — с 4 марта по 10 июня — Павел Васильев не вызывался на допрос. Однако достоверно известно, что Павловский, сменивший Илюшенко, допрашивал Васильева в этот период дважды — 20 мая, но протоколы из «дела», очевидно, изымались. А может быть, были допросы, не запротоколированные, сопровождаемые побоями и издевательствами.

Как бы то ни было, но следующий допрос поэта состоялся лишь 10 июня. Протокол от этого числа — лишнее подтверждение тому, что дальше откровенных разговоров дело у писателей не шло, что они лишь отводили себе душу и никто из них не только не имел никакого реального плана захвата власти или совершения террористического акта, но и не мог иметь.

«Протокол допроса Васильева Павла Николаевича от 10 июня 1937 года.

Допросил — оперуполномоченный П а в л о в с к и й

В о п р о с: Макаров развивал перед вами конкретный план совершения террористического акта?

О т в е т: Нет, Макаров вначале передо мной высказывал свои антисоветские взгляды и затем в 1936 году высказывал свои террористические намерения и спросил меня, возьмусь ли я за совершение террористического акта. Никаких конкретных планов совершения террористического акта против Сталина после того, как я дал ему согласие, он не развивал.

В о п р о с: После этого разговора Макаров возобновлял разговор в этой плоскости?

О т в е т: Нет, Макаров больше на эту тему не говорил.

В о п р о с: А вы?

О т в е т: Дело обстояло так. Уже вскоре после этого разговора, после того, как я дал согласие Макарову, я раздумывал над его словами, откровенно говоря, испугался и не стал поднимать разговор на эту тему. Никаких конкретных планов совершения террористического акта я в соответствии с этими настроениями не разрабатывал.

10 июня 37 года

Мною прочитано, записано верно.

П а в е л В а с и л ь е в»

Слова Павла Васильева не удовлетворили Павловского, и он в очередной раз «нажал» на Макарова. 11 июня измученный писатель выложил все, что от него нужно было следователю, приписывая своим друзьям конкретные намерения совершить теракт.

На этом все было кончено. Оставалось лишь довести «дело» до логической точки.

Постановление об окончании следствия

«1937 года, июня 11 дня, я, оперуполномоченный Павловский, рассмотрев следственное дело № 11245, нашел: произведенным по делу следствием установлено, что Васильев Павел Николаевич был завербован участником террористической группы Макаровым Иваном Ивановичем для совершения террористического акта против Сталина. Васильев откровенно признал, что дал согласие на это. Аналогичные показания дали обвиняемый Макаров и Карпов М. Я., Зырянов И. А., на основании чего Васильев изобличается в преступлениях, предусмотренных статьями 58,8 и 11 через статью 18, постановил:

объявить обвиняемому Васильеву П. Н. об окончании следствия и ознакомить его со следственными материалами.

Оперуполномоченный П а в л о в с к и й

Об окончании следствия мне объявлено. По существу объявленного мне обвинения признаю себя виновным...

11 июня 37 года

П а в е л В а с и л ь е в»

Обвинительное заключение по делу № 11245 по обвинению Васильева Павла Николаевича по статье 58,8 и 11 УК РСФСР.

«В 4 отдел ГУГБ поступили сведения о том, что литератор-поэт Васильев Павел Николаевич был завербован в качестве исполнителя террористического акта против товарища Сталина. На основании этих данных Васильев П. Н. был арестован 6 февраля 1937 года. Следствием установлено, что обвиняемый Васильев на протяжении ряда лет до ареста высказывал контрреволюционные фашистские взгляды. Ранее, в 1932 году, обвиняемый Васильев П. Н. как участник контрреволюционной группы из среды литераторов был осужден к 3 годам тюремного заключения условно. В 1935 году обвиняемый Васильев за избиение комсомольца поэта Джека Алтаузена был осужден к полутора годам ИТЛ. Обвиняемый Макаров И. показал, что он совместно с обвиняемым Карповым, учитывая антисоветские настроения Васильева, его озлобленность против руководителей ВКП(б), решили завербовать его для совершения намеченного к/р террористической группой правых террористического акта против товарища Сталина

Обвиняемый Макаров И. И. показал также, что после постановки перед Васильевым П. Н. вопроса о его личном участии как исполнителя террористического акта против товарища Сталина Васильев П. Н. дал согласие на личное участие в покушении. Аналогичные показания о привлечении обвиняемым Макаровым И. И. обвиняемого Васильева как исполнителя террористического акта дали также обвиняемый Карпов М. Я. и Зырянов И. А.[2]

Будучи допрошен в качестве обвиняемого, Васильев П. Н. полностью признал себя виновным в том, что дал согласие обвиняемому Макарову принять личное участие в совершении террористического акта против товарища Сталина, а также в том, что высказывал контрреволюционные взгляды.

На основании вышеизложенного Васильев Павел Николаевич, 1910 года рождения, беспартийный, уроженец города Зайсан Семипалатинской области, гражданин СССР, в 1931 году осужден к трем годам тюремного заключения условно как участник контрреволюционной группы, в 1935 году за избиение поэта Джека Алтаузена осужден нарсудом к полутора годам ИТЛ, в 1936 году досрочно освобожден, до ареста литератор, поэт, обвиняется в том, что будучи завербован участниками контрреволюционной группы «правых», намеревавшихся совершить террористический акт против товарища Сталина, дал согласие на личное участие в совершении террористического акта, преступлении, предусмотренном статьями 58,8 и 11 УК РСФСР.

На основании изложенного подлежит суду военной коллегии Верховного суда Союза ССР с применением закона от 1 декабря 1934 года.

Оперуполномоченный 9 отделения
4 отдела ГУГБ сержант государственной
безопасности П а в л о в с к и й
Согласен. Начальник 9 отделения 4 отдела
ГУГБ капитан государственной
безопасности Ж у р б е н к о
Утверждаю. Начальник 4 отдела
ГУГБ старший майор государственной
безопасности Л и т в и н
10 июня 1937 года
Утверждаю. Прокурор Союза ССР
В ы ш и н с к и й
13 июня 1937 года»

[2] Эта фамилия в тексте обвинительного заключения зачеркнута. Что это за человек, какую роль он сыграл в описанных событиях, где протоколы его допросов, какова его дальнейшая судьба? На все эти вопросы ответа пока нет.

Через 3 недели по окончании следствия Павел Васильев в тщетной надежде спасти свою жизнь пишет заявление на имя Ежова, которое не имело и не могло иметь какого-либо влияния на исход дела. А еще через 2 недели состоялся суд, вынесший поэту смертный приговор.

«Начиная с 1929 года я, встав на литературный путь, с самого начала оказался среди врагов советской власти. Меня взяли под опеку и воспитывали контрреволюционные Клюев и Клычков, а затем антисоветская группа «Сибиряки», руководимая Н. Ановым, и прочая антисоветская компания. Этот период отражен в материалах следствия по делу группы «Снбиряки» и в последних моих допросах. Семь лет я был окружен антисоветской средой. Клюевы и Ановы изуродовали мне жизнь, сделали меня политически черной фигурой, пользуясь моим бескультурьем, моральной н политической неустойчивостью и пьянством. В 1934 году ряд литературных критиков во главе с И. Гронским прививали мне взгляды, что я единственный замечательный национальный поэт, а окружающие в бытовой н литературной обстановке враги совласти А. Веселый, Наседкин н другие подхватывалн это, прнбавляя: «Да, поэт единственный и замечательный, но вместе с тем неоцененный, несправедливо затираемый советской общественностью, советской властью».

На почве этих разговоров пышно расцветали мои шовинистические и к/р настроения и я являлся в это время рупором врагов партии н правительства.

Кроме того, в бытовом отношении я стал просто нетерпим как хулиган и дебошир. За один из своих пьяных скандалов (с Дж. Алтаузеном) я был посажен в тюрьму. ЦК ВКП(б) оказал мне величайшую честь, поверив моим обещаниям перестроить в корне свою жизнь и стать полноценным гражданином и писателем советской страны, и вернул мне свободу, возможность честно работать в литературе. Как я оправдал это доверие? Человеком, у которого я мог получить поддержку, как у моего родственника н литературного деятеля, был в моих глазах И. Гронский. Сразу же после освобождения я пошел к нему, рассказал ему про свое обещание в ЦК и просил его помочь мне на первых порах. Я сказал ему, что решил бросить пить и начать серьезно работать. Гронский сказал, что бросать пить вовсе не обязательно, что нужно пить в меру и в своей компании.

На квартире Гронского происходили регулярные выпивки и я, живя с ним вместе, мало-помалу снова атянулся в пьянство.

В меру пить я не смог и стал ходить по кабакам, а на вечеринках у Гронского среди других в своей компании стал появляться печатавшийся в «Нов. мире» террорнст и контрреволюционер И. Макаров. Мое пьянство повело за собой политическое разложение и рецидивы прежних моих настроений.

Не буду подробно останавлнваться на моем постепенном и быстром падении, на малодушестве и старании оправдать какими-нибудь объективными причинами это падение. С мужеством н прямотой нужно сказать, что вместо того, чтобы положить в основу свое обещание ЦК заслужить честь и право называться гражданином СССР, я дожил до такого последнего позора, что шайка террорнстов наметила меня как орудие для выполнения своей террористической преступной деятельности. Своим поведением, всем своим морально-бытовым н политическим обликом я дал им право возлагать на меня свон надежды. Я выслушивал их контрреволюционные высказывания, повторял их вслед за ними и этим самым солидаризировался с врагами и террористами, оказывался у них в плену и таким образом предавал партию, которая вчера только протянула мне руку помощи и дала свободу.

Тактика их по отношению ко мне, как теперь я вижу, заключалась в том, чтобы сначала исподволь, полегоньку, как бы случайно при встречах со мной проводить скользкие политические намеки, потом заходить все дальше и дальше в антисоветских разговорах. Восхвалять меня и одновременно незаметно подставлять мне черные очки, сквозь которые советская действительность видна только с их контрреволюционной точки зрения, и в конце концов окончательно подобрать меня к рукам. Однажды летом 1936 года мы с Макаровым сидели за столиком в ресторане. Он прямо спросил меня: «Пашка, ты не струсишь пойти на совершение террористического акта против Сталина?» Я подленько и с готовностью ответил: «Я вообще никогда ничего не трушу, у меня духу хватит».

Я тогда не понял, что за этим разговором Макарова, так же, как и за всеми его контрреволюционными произведениями (как, например, его предложение мне написать поэму «Иосиф Ненстовый» — про Сталина, который «губит Россию»), скрывались не просто контрреволюционные настроения, а лишь внешние проявления законченного террорнста. Теперь я с ужасом вижу, что был на краю гибели и своим морально-бытовым и политическим разложением сделался хорошей приманкой для врагов, прнмеривавшихся толкнуть меня на подлое дело — убийство наших вождей. Мне хочется многое сказать, но вместе с тем со стыдом ощущаю, что вследствие неоднократного обмана я не заслужил доверия, а мне сейчас больно и тяжело за загубленное политическими подлецами прошлое и все хорошее, что во мне было.

30 июня 37 года Павел Васильев
Верно. Оперуполномоченный 9 отделения 4 отдела ГУГБ сержант государственной безопасности Павловский».

14 июпя состоялось подготовительное заседание Военной коллегии Верховного суда в составе армвоенюриста В. В. Ульриха, членов — корвоенюриста Л. Я. Плавнека и военного юриста первого ранга Д. Я. Кандыбина, секретаря военного юриста первого ранга А. С. Костюшко, на котором дело было принято к производству. 15 июля — день закрытого судебного заседания, которое продолжалось ровно 20 минут. Павел Васильев призиал себя виновным, подтвердил свои показания на предварительном следствии и заявил, что больше дополнить судебное следствие ничем не имеет. В последнем слове он просил дать возможность ему продолжать литературную работу.

После этого был объявлен приговор: к расстрепу с конфискацией всего личного имущества.

Павел Васильев был расстрелян в один день с Михаилом Карповым, Иваном Макаровым и Иваном Васильевым. Из круга близких друзей мало кому удалось уцелеть.

Уцелепа Лидия Сейфуллина. Пальцем не тронупи Иосифа Уткина, несмотря на его контакты с Раковским. Сошли с рук все разговоры Новикову-Прибою.

Как ни оберегала Сейфуллина своего мужа Валериана Правдухина — не уберегла. Он был расстрелян 28 августа 1938 года. 8 апреля того же года расстреляли Артема Веселого. 2 апреля поставили к стенке Г. Никифорова. Судьба Д. Климова нам неизвестна.

Через 20 лет отбывшая срок вдова Павла Васильева Елена Вялова обратилась с ходатайством о пересмотре дела мужа и с личным письмом к Молотову. С подобным же письмом к нему обратился и И. Гронский.

«Первому заместителю Председателя Совета Министров СССР товарищу В. М. Молотову
от жены поэта Павла Васильева Вяловой-Марковой Е. А.

Заявление

Мой муж, поэт П. Н. Васильев в свое время мне говорил о том, что вы не только были знакомы с его поэтическим творчеством, но и неоднократно брали его под свою защиту от несправедливых и необоснованных гонений.

В феврале 1937 года мой муж, Павел Васильев,

был арестован. А через год была арестована и я как его жена. Со дня ареста мужа я не имею о нем никаких сведений. Хорошо зная всю его жизнь, я могу сказать о нем только одно — Павел Васильев был настоящим советским патриотом, что с достаточной определенностью выразилось во всем его поэтическом творчестве. Будучи глубоко убеждена в его невиновности, я и решила обратиться к вам, Вячеслав Михайлович, с ходатайством, во-первых, о пересмотре дела моего мужа, поэта Павла Николаевича Васильева, об отмене приговора суда н о полной его реабилитации. Во-вторых, об отмене приговора особого совещания прн НКВД СССР от 21 марта 1938 года, по которому я была осуждена к пяти годам заключения в ИТЛ только за то, что я была женой поэта Павла Васильева. Указаный срок я полностью отсидела. В-третьих, об издании поэтических произведений Павла Васильева.

Е. Вялова-Маркова
25 февраля 1956 года»

«В. М. МОЛОТОВУ

Дорогой Вячеслав Михайлович. Едва ли нужно говорить о поэтическом творчестве Павла Васильева. Все опубликованные в печати его произведения вы читалн. Следует сказать разве только то, что кроме опубликованных произведений у него при аресте, произведенном в феврале 1937 года органамн НКВД СССР, было взято огромное количество рукописей, в том числе множество неопубликованных, в частности, две большие поэмы «Песня о гибели казачьего войска» и «Христолюбовские ситцы».

Зная хорошо Павла Васильева, я глубочайшим образом убежден в его невиновности. В живых его, по-видимому, нет, поэтому вернуть его к творческой жизни мы уже не можем. Но реабилитировать, собрать и издать его произведения мы можем. А если мы это сделаем, то тем самым мы вернем нашему народу его замечательного певца, настоящего большого поэта, с потрясающей художественной силой отразившего эпоху первой и величайшей революции социалистического пролетариата.

С коммунистическим приветом
Ив. Гронскнй
25 февраля 1956 года»

«Протокол допроса свидетеля
14 марта 1956 года. Военный прокурор Главной военной прокуратуры майор Ожигов допрашивал нижепоименованного в качестве свидетеля с соблюдением статей 162,168 УПК РСФСР.

Фамилия, имя, отчество: Маркова-Вялова Елена Александровна

Возраст: 1909 год рождения

Место рождения: город Ассам Молотовской области

Временно не работает

Национальность: русская, образование — среднее,

происхождение — из служащих.

Была осуждена Особым совещанием при НКВД СССР в 1938 году как член семьи изменника родины на пять лет ИТЛ.

Судимость снята по амнистии.

Беспартийная.

Постоянное место жительства и точный адрес: город Москва, Боровское шоссе, дом 24, квартира 31.

По настоящему делу я могу показать следующее.

С 1932 по 1937 год я была женой поэта Павла Николаевича Васильева. Васильев П. Н. родился в 1910 году в городе Зайсане Семипалатинской области, в семье учителя. Мне известно, что он окончил школу-девятилетку и до 1928 года работал моряком во Владивостоке и на золотом прииске на Лене. С 1928 года и до ареста он безвыездно проживал в городе Москве, занимаясь литературной деятельностью, и учился в Литературном институте.

Я не могу сказать — состоял Васильев или нет членом ВЛКСМ, но членом партии он не был.

В 1932 году Васильев арестовывался за принадлежность к какой-то группе сибирских писателей. Что это была за группа, мне неизвестно.

Вскоре после ареста Васильев был выпущен на свободу.

В 1935 году за драку с литератором Алтаузеном он был вновь арестован и осужден на один год. Наказание он отбывал в городе Электросталь и в городе Рязани и от отбытия наказания был освобожден досрочно. За драку с Алтаузеном Васильев был исключен из Союза писателей СССР, членом которого он состоял с 1934 года. Впоследствии он был восстановлен в члены ССП.

Шестого февраля 1937 года Васильев был арестован при следующих обстоятельствах.

Шестого февраля 1937 года мы с ним находились в гостях у нашей общей знакомой, у Нины Матвеевны Касаткиной, по адресу: город Москва, Новинский бульвар, 16, квартира 22

Вечером с сыном Касаткиной он пошел в парикмахерскую на Арбат и оттуда больше не вернулся. Сын Касаткиной сообщил, что при выходе из парикмахерской к нему подошли двое мужчин и предложили сесть в машину, которая тут стояла. Куда был увезен Васильев и кем, мне было неизвестно.

После этого месяца полтора я искала его. Ходила несколько раз в органы НКВД, но мне всегда отвечали, что его у них нет. Месяца через полтора я пошла в Бутырскую тюрьму, чтобы выяснить, нет ли его там. Васильев в это время находился в Бутырской тюрьме и от меня приняли для передачи ему деньги. Впоследствии я в органах НКВД неоднократно справлялась о его судьбе н мне всегда отвечалн, что он осужден на десять лет дальних лагерей.

Седьмого февраля 1938 года была арестована я и мне предъявили обвинение, что я, зная о контрреволюционной деятельности Васильева, не донесла об этом. На следствии по моему делу я говорила, что контрреволюционером Васильева я не считаю и что ни о какой контрреволюционной деятельности мне не известно.

Я была осуждена Особым совещанием на пять лет как член семьи изменника родины. Дня через два после ареста Васильева в нашей квартире произвели обыск н забрали большое количество рукописей различных произведений Васильева.

Все произведения, которые он писал, я читала и в них не было ничего антисоветского, никаких антисоветских высказываний я никогда не слышала н от него самого. Об этом могут подтвердить хорошо знавшие его в тот период Гронский Иван Михайлович, Касаткина Нина Матвеевна.

В 1940 году из писем матери Васильева (где она сейчас находится, я не знаю) мне стало известно, что его отец, Васильев Николай Корнилович, 1880 - 85 года рождения, также был арестован и осужден за то, что его сын Васильев П. Н. был осужден за к/р деятельность. Подробности об этом мне неизвестны. Знаю, что он был арестован в городе Омске и умер, отбывая наказание.

С моих слов записано правильно, мною прочитано Е. Вялова»

Поначалу все было, как у всех бывших репрессированных и членов их семей. Заявление о реабилитации, пересмотр «дела», дополнительные показания... Но тут начались события, требующие отдельного разговора.

Если многие писатели все эти годы делали вид, что такого поэта не существовало в советской литературе, то это не значит, что они о нем забыли. Помнили они его очень хорошо. И для многих он оставался, как бельмо в глазу. Может быть, они опасались также и того, что посмертное возвращение поэта грозит им немалыми неприятностями. Не слишком-то приятно присутствовать при возрождении творчества поэта, к гибели которого ты приложил руку.

Был послан запрос в Правление Союза писателей СССР, где заседал Алексей Сурков. Память у него была хорошая, а с Павлом Васильевым были свои счеты. Мало того, что Сурков не мог простить никому из поэтов (и в частности Васильеву) бухаринской похвалы на I съезде писателей, когда он был вынужден ринуться в

бой, чувствуя, что его самого и его сотоварищей оттеснили в сторону. Он не мог не помнить и своей подписи в числе других под доносом в «Правде».

Порадоваться возвращению поэта? Покаяться хотя бы перед самим собой? Сурков не из таких. Он пишет в Главную военную прокуратуру отписку, из которой ясно: да, был такой в свое время, но лично я ничего не знаю и знать не желаю.

«В Главную военную прокуратуру СССР

На Ваш № 80619356 от 15 марта 1956 года сообщаем, что Васильев Павел Николаевич проявил себя в советской литературе тридцатых годов как талантливый поэт. А. М. Горький лично рекомендовал Васильева в Союз писателей. Однако Васильев П. Н., поддавшись богемным настроениям, стал допускать аморальные поступки (пьянки и дебоши), за что и был исключен в 1935 году из Союза писателей. Восстанавливался ли он после этого в правах члена Союза писателей, мы документально установить не можем, так как значительная часть довоенного архива правления СП СССР погибла во время Отечественной войны.

Секретарь правления Союза писателей СССР
А. Сурков»

И Сурков был не один такой. Сбор характеристик на погибшего поэта проходил не без сложностей. Александр Безыменский, чья подпись также красуется под доносом, отказался писать что бы то ни было. Елена Усиевич, получившая в 30-е годы немало совершенно незаслуженных ею оплеух за статьи о Васильеве, также ушла в сторону. Многие при имени Павла Васильева еще издавали зубовный скрежет в конце 50-х да и в дальнейшем[3].

Не отказались написать о поэте добрые слова Григорий Санников, Николай Асеев, Ахмет Ерикеев. Дал свою характеристику И. М. Гронский, отсидевший в лагере 15 лет, проработавший весь этот срок «придурком» на разных должностях (зав. баней и прачечной, прорабом КВЧ, пом. зав. столовой) и вышедший на свободу в 1953 г. (его уголовное дело было прекращено за недоказанностью предъявленного обвинения 18 марта 1954 года). Прочитаем эти документы в их хронологической последовательности.

«Протокол допроса свидетеля
17 марта 1956 года

Военный прокурор Главной военной прокуратуры майор Ожигов А.И. допрашивал нижепоименованного в качестве свидетеля с соблюдением статей 162,168 УПК РСФСР.

Гронский Иван Михайлович. 94 год рождения. Место рождения — **деревня Долматово Ярославской области.**

Место работы, должность и звание: **Институт мировой литературы имени Горького АН СССР, младший научный сотрудник. Женат.**

В Советской Армии с 1914 по 1919 год.

Национальность: **русский.**

Образование: **высшее.**

Происхождение: **из рабочих.**

Не судим.

Партийность: **член КПСС с 1918 года.**

Постоянное место жительства и точный адрес: **город Москва, Боровское шоссе, корпус 24, квартира 21.**

По настоящему делу я могу показать следующее. Васильева Павла Николаевича я знаю с конца 1931 года. Я в то время был председателем оргкомитета Союза писателей, редактором «Известий» и «Нового мира». Васильев П. Н. пришел ко мне, как к редактору, со своими новыми произведениями, которые после и были напечатаны в «Новом мире». Произведения его были исключительно талантливыми и бесспорно патриотичны.

После Васильев продолжительное время жил у меня на квартире. За все время нашего знакомства я знаю Васильева как глубоко преданного нашей родине и советскому народу писателя. В своем творчестве Васильев отразил нарастание революции и революцию в нашей стране. Во всех его произведениях чувствуется глубокая уверенность в победе социализма, патриотизм и глубокая вера в советский народ.

О творчестве П. Н. Васильева высоко отзывался А. М. Горький, А. Н. Толстой и другие писатели.

В 1935 году Васильев был исключен из Союза писателей СССР за то, что он был осужден народным судом за «хулиганство». «Хулиганство» его выразилось в том, что он дал пощечину писателю Джеку Алтаузену, когда тот неодобрительно отозвался о женщинах, оскорбил дочь художника Кончаловского. От отбытия наказания он был освобожден досрочно и был восстановлен в члены Союза писателей. Он был освобожден по решению ЦК КПСС. Когда в 1937 году был арестован Васильев, то все, знавшие его, были в недоумении, так как его произведения были глубоко советскими и в разговорах он никогда не допускал никаких высказываний, из которых можно было бы сделать вывод о его политической неблагонадежности или отрицательном отношении к советской власти. Наоборот, он поддерживал все мероприятия партии и отзывался на них своими патриотическими стихами и поэмами.

Я глубоко уверен, что Васильев невиновен перед партией и родиной. Его богатое литературное наследство должно быть доведено до советского народа и для этого нужно его реабилитировать.

С моих слов записано верно. Мною прочитано.
И. Гронский»

«В Главную военную прокуратуру
от писателя Николая Николаевича
Асеева

На просьбу Главной военной прокуратуры относительно характеристики поэта Павла Васильева могу сообщить следующее.

Павел Николаевич Васильев был очень талантливым поэтом, обладавшим незаурядным дарованием изображать людские страсти, природу, обычаи простого населения. При этом он обладал чувством языка в высшей степени яркого, меткого, выходящего из самых глубин народного говора, что придавало его стихам удивительную выразительность и силу.

Лично я знал поэта П. Н. Васильева мало... Он относился ко мне как к поэту старшего поколения, с мнением которого он считался и суждениями моими о его стихах он, очевидно, дорожил. У меня он бывал раза два или три, читал свои произведения. Когда я отмечал удачные и неудачные места в этих произведениях, то он прислушивался к моим мнениям и если и возражал, то лишь с точки зрения их местного отличия от говора и обычаев разных краев нашей страны.

Политических взглядов он мне никогда не высказывал, оставляя их как бы неразделимыми и неотделимыми от взглядов и убеждений большинства народа. Связью своей с народом очень дорожил и часто давал мне понять, что он именно представитель народной речи, народных вкусов, народных желаний и чаяний. Но это не было каким-то отдельным пафосом народности. Он так думал и так был убежден в своей принадлежности к народным глубинам.

Характер его был неуравновешенный, быстро переходящий от спокойного состояния к сильному возбуждению. Впечатлительность повышенная, преувеличивающая все до гигантских размеров. Это свойство поэтического восприятия мира, нередко наблюдаемое у больших поэтов и писателей, как, например, Гоголь, Достоевский и Рабле. Но все эти качества еще не были отгранены до полного блеска той мятущейся и не нашедшей в жизни натуры,

[3] Подробнее о возвращении творчества Павла Васильева к читателю см. статью «Уроки одной судьбы» в № 3 журнала «Москва» за 1990 год.

которую представлял из себя Павел Васильев. Отсюда его самолюбивые порывы, обидчивость на непризнание его полностью и даже некоторая, я бы сказал, озлобленность на быстрые и незаслуженные успехи других поэтов, менее даровитых, но более смышленых и приноравливающихся к обстоятельствам времени.

Меня он привлекал к себе главным образом той непосредственностью таланта, которая сквозила во всех проявлениях его характера. Даже его выходки и бравады против меня были доказательством его непосредственной заинтересованности в поэзии. Я, как мог, доказывал ему, что линия Маяковского в поэзии — единственная правильная и приемлемая для советского поэта. Он слушал меня, противопоставляя свое знание народного быта, коренного уклада жизни, не изменяющегося в течение долгих сроков и не могущего измениться сразу. Маяковский, да и я казались ему чересчур поспешными людьми, старающимися изменить бытовой идиотизм деревенской жизни без точного знания его уклада. В этом были наши с ним расхождения. Но его позиция в этих вопросах все же была не твердокаменна и не безусловна. Он иногда задумывался над тем, что я ему говорил. В ответ на эти разговоры, как мне кажется, были написаны его строчки, в которых он отстаивал свое право на революционность своей поэзии. Не помню теперь точно, как они звучали в подлиннике, но привожу их по памяти: «Еще время не решило, чей справедливей путь. Мы еще посмотрим, кому Ворошилов приколет красный орден на грудь». Две последние строчки я твердо запомнил. Они, по-моему, свидетельствуют о понимании Васильевым и своего значения, и своей роли как поэта и гражданина больше, чем какие бы то ни было умозаключения о его настроении.

Не знаю, что с ним случилось потом и какими путями пришел он к своему печальному концу. Но все, что мною здесь изложено, является действительными впечатлениями от моего кратковременного знакомства с П. Н. Васильевым.

Писатель Николай Николаевич Асеев
27 марта 1956 года »

«Протокол допроса свидетеля

28 марта 1956 года военный прокурор Военной прокуратуры майор юстиции Ожигов допрашивал:

Фамилия. Имя. Отчество: **Ерикеев Ахмет Фазлыевич.**

Возраст: **1902 год рождения.**

Место рождения: **Башкирская АССР, село Улькунды.**

Член Союза писателей СССР.

Женат.

В Советской Армии с 1942 по 1945 год.

Национальность: **татарин.**

Образование: **высшее.**

Происхождение: **из крестьян.**

Не судим.

Партийность: **член КПСС с 1924 года.**

Васильева П. Н. я знаю с 1932 года. За период нашего знакомства с ним я знал его, как талантливого поэта. Во время встреч и разговоров с ним я ни разу от него не слышал никаких антисоветских высказываний и при мне он также никогда не читал своих стихов, которые можно было бы расценить как антисоветские.

Большим недостатком Васильева было то, что он часто выпивал. И будучи пьяным, устраивал скандалы. За хулиганство в 1935 году он был осужден народным судом и некоторое время находился в заключении. Если бы не этот недостаток Васильева (пьянство), то он мог бы принести большую пользу и сделать большой вклад в советскую литературу.

Будучи близко знаком с Васильевым и зная его жизнь, его творчество, я всегда его считал вполне советским человеком.

С моих слов записано правильно. Мною прочитано.
А. Ерикеев»

«В Главную военную прокуратуру

В ответ на просьбу представителя прокуратуры высказаться о советском поэте Павле Васильеве сообщаю.

Литературная деятельность Павла Васильева была немноголетней — с 1929 по 1936 год, но заметной в те годы и, я бы сказал, выдающейся. Это был безусловно талантливый поэт, создавший ряд интересных стихотворных произведений, выразительных по образности и ярких по языку.

В идейном отношении в них отразилась эволюция поэта от позиции попутничества на позиции подлинно советского творчества.

Поэтической работе Павла Васильева с первых шагов сопутствовал большой успех. О нем писались литературоведами статьи в журналах. Многие писатели и деятели литературы называли его самым талантливым поэтом, сравнивали его с Сергеем Есениным и объявляли продолжателем есенинского пути в литературе.

Но вместе с творческими успехами молодого поэта все больше и больше возникали в те годы в литературной среде разговоры о вызывающем поведении поэта, о каких-то его пьяных выходках и оскорбительных суждениях по адресу некоторых литераторов. Говорили, что он «закатил пощечину» Алтаузену и что кто-то из поэтов, по-видимому, друзей Алтаузена, собирали подписи под ходатайством об изоляции Павла Васильева. Помнится, что в одной из московских газет в начале тридцатых годов было опубликовано открытое письмо М. Горького, в котором Горький, называя П. Васильева талантливым поэтом, предостерегал его от хулиганства.

Не знаю, что послужило причиной, но в начале 30-х годов Павел Васильев был на некоторое время изолирован. Из заключения он вернулся с новыми произведениями, которые печатались в московских журналах и убедительно говорили о росте его незаурядного поэтического таланта.

В 1935 и 1936 годах, работая в редакции журнала «Новый мир», я часто встречался с Павлом Васильевым как одним из авторов журнала. Он приходил в редакцию со своими произведениями, читал их, выслушивал замечания и затем дорабатывал эти произведения для печати. Заходил и просто так, побеседовать. Молодой, жизнерадостный, остро реагирующий на каждую литературную новинку, прямой, иногда резкий в суждениях по адресу некоторых литераторов, взыскательный к себе и другим, он бывал необычайно интересным собеседником (даже в таких беседах проявлялся его незаурядный талант и его одаренность). Выступал он и на литературных собраниях в редакции журнала.

За эти два года общения с ним я не видел ни одного хулиганского поступка с его стороны и вообще ничего хулиганского в его поведении. Я видел поэта, полного творческих замыслов, отличавшегося необычайной работоспособностью, общительного, приветливого, энергичного, поэта, который в своем творчестве с каждым произведением все шире и глубже охватывал жизнь и все настойчивее овладевал методами социалистического реализма.

Некоторые его произведения остались неопубликованными. Возможно, в первые годы его поэтической работы, когда успех кружил ему голову, когда он мнил себя продолжателем Есенина, и было что-либо вызывающее в его поведении. Но думается мне, что многое было преувеличено и раздувалось некоторыми литераторами с оскорбленным самолюбием и различного рода недоброжелателями и завистниками. Я не верю, что поэт Павел Васильев был контрреволюционером, шпионом и т. п. Вся жизнь поэта, весь его гражданский путь, все его настроения и раздумья выпукло отразились в его творчестве. Не сомневаюсь, что органы прокуратуры разберутся в его «преступлениях», реабилитируют посмертно Павла Васильева и тем самым создадут возможность пополнить сокровищницу русской советской поэзии избранными образцами творческого наследия одного из ярких советских поэтов конца двадцатых и начала тридцатых годов.

29 марта 1956 года.

Григорий Санников. Член КПСС с марта 1917 года, член Московского отделения Союза советских писателей»

Так была собрана исчерпывающая информация для подготовки документов на реабилита-

цию... А как же сложилась судьба палачей поэта? Где они все — следователи, замы наркомов, военюристы, посылавшие своими приговорами «к стенке» сотни и тысячи людей?

Судьба Агранова и Фриновского известна. «Железный рыцарь» НКВД, капитан госбезопасности Журбенко в конце концов пал жертвой кровавой свары между «ежовцами» и «бериевцами» в конце 30-х годов. 28 ноября 1938 года он был арестован, а 15 февраля 1940 года приговорен к расстрелу, когда Берия по распоряжению Сталина расстреливал наиболее прославившихся в 37 — 38 гг. палачей, замывая следы. В последнем слове он только и смог пролепетать: «Я признаю себя виновным в том, что работал три с половиной месяца под руководством Ежова, беспрекословно выполняя его указания, ибо я верил ему».

Судьба Павловского и Шевелева нам неизвестна. Также не можем сказать — где, как и когда кончили свою жизнь Кандыбин, Плавнек, Костюшко, Рогинский и им подобные. Армвоенюрист Ульрих был уволен на пенсию и в почете и холе отдал концы в 1951 году.

А Илюшенко...

30 марта 1956 года майору Ожигову довелось встретиться и побеседовать с этим человеком. Илюшенко во время допроса все время пытался сгладить острые углы и выгораживал себя, как мог. И все же протокол его допроса настолько интересен, что мы полностью предлагаем его вниманию читателей.

«Протокол допроса свидетеля
30 марта 1956 года.

Военный прокурор отдела Главной военной прокуратуры майор Ожигов допрашивал

Фамилия. Имя. Отчество: **Илюшенко Илья Игнатьевич**

Возраст: **1899 год рождения.**

Место рождения: **город Стародуб, Орловской области.**

Пенсионер. Подполковник запаса.

Женат. В Советской Армии с 1919 по 1922 год, с 1926 по 1946 год.

Национальность: **еврей.**

Образование: **незаконченное высшее.**

Происхождение: **из мещан.**

Не судим.

Партийность: **беспартийный. Был член с 1931 по 1941 год. Был исключен заочно с формулировкой «за невыполнение оперативных указаний руководства».**

Москва, Бобров переулок, дом 3/А, кв. 66. Телефон Б-8-46-17.

По настоящему делу я могу показать следующее. С 1926 до мая 1941 года я работал в органах ОГПУ НКВД. Из органов я был уволен за невозможностью использования.

За время работы в органах ОГПУ НКВД мне дважды приходилось вести расследование дел на Васильева Павла Николаевича, обвинявшегося в контрреволюционных преступлениях. Первый раз дело на Васильева и других, проходящих вместе с ним, я вел в 1932 году. Васильев тогда обвинялся в принадлежности к антисоветской группе литераторов «Сибиряки» и в распространении стихов антисоветского содержания. Осуждение его в 1932 году было правильным, так как у него были изъяты стихи антисоветского содержания и существование группы «Сибиряки» подтвердилось в ходе следствия. Исходя из того, что Васильев был очень талантлив и желая сохранить его для советской литературы, он тогда Коллегией ОГПУ был осужден условно.

Второй раз, в 1937 году, мне дали вести следствие по делу Васильева. Он был арестован за намерение совершить теракт против Сталина на основании показаний Карпова или Макарова — точно сейчас не помню. Васильев, когда я вел следствие по его делу, находился под стражей во внутренней тюрьме. В процессе следствия я неоднократно вызывал Васильева на допросы. На допросах он отрицал предъявляемые ему обвинения совершить теракт и участие в какой бы то ни было антисоветской организации. Он показывал, что часто выпивал и в пьяном виде иногда допускал антисоветские высказывания.

Следствие по его делу я вел с соблюдением социалистической законности и никаких мер физического воздействия не применял. Видя мое гуманное к нему отношение, Васильев мне говорил, что он готов дать любые показания, чтобы его только не били. Он говорил, что другие заключенные в камеру возвращаются избитыми, а он не хочет, чтобы и его били. Никаких показаний, которые бы уличали его в террористической деятельности, я от Васильева не требовал, так как он мне говорил, что ни от кого и никогда он не получал никаких заданий совершить теракт и никогда ни к какой к/р организации не принадлежал. Я верил Васильеву, верил в его невиновность и несколько раз докладывал начальнику СПО Литвину. Мною также проверялись и имеющиеся показания на Ввсильева. Я уже сейчас точно не помню, чьи это были показания — Карпова или Макарова. При проверке этих показаний я беседовал с Карповым, а может быть с Макаровым, о достоверности его показаний. При беседе он мне сказал, что эти показания являются неверными, так как даны им под воздействием следователя. Он мне также заявил, что если его вновь будут бить, то он даст любые показания не только на Васильева Павла, но и на других, на кого от него потребуют.

После этого мною был написан рапорт на имя Литвина, в котором я писал, что Васильева считаю невиновным, а показания на Васильева не соответствующими действительности. Это было в конце апреля или в начале мая 1937 года.

На очередном оперативном совещании Литвин «прорабатывал» меня за это и говорил, что я не верю в их дело, то есть в борьбу с контрреволюцией. От следствия я был отстранен и дело Васильева было передано Павловскому. Как вел следствие Павловский и какие ему Ввсильев давал показания, мне неизвестно. О том, что Павловский недобросовестно относится к следствию, говорит хотя бы тот факт, что на одном из оперативных совещаний он с цинизмом говорил о том, что при ведении следствия от подследственных в показаниях он «меньше двух иностранных разведок и меньше тридцати участников в контрреволюционной организации не берет». Я также знаю, что Павловский к заключенным применял меры физического воздействия и этим способом от заключенных добивался нужных ему показаний.

В декабре 1937 года я был арестован. Мне было предъявлено обвинение по делу 58,8 УК РСФСР, будто бы я готовил теракт против Сталина и Ежова. При допросах мне также ставили в вину то, что я не боролся с контрреволюционерами и в качестве примера приводили дело Васильева Павла. На предварительном следствии я виновным себя не признал, а доказательств моей вины у следствия никаких не было и 12 марта 1938 года я был освобожден и направлен на работу в оперативный отдел норильского лагеря.

В о п р о с: Вы показали, что от Ввсильева не требовали никаких показаний о его антисоветской деятельности. В протоколах допроса Васильева от 19 февраля 1937 года и от 7 марта 1937 года указано, что он обрабатывался в к/р духе со стороны писателей и дал на некоторых из них показания в контрреволюционной деятельности. Чем объяснить это?

О т в е т: Эти вопросы, по-видимому, я задавал Васильеву на основании имеющихся на него показаний, а возможно, и агентурных данных. Я хотел этими его показаниями отвести от него обвинение в террористической деятельности и сохранить его для литературы. Павла Васильева я считаю крупным талантливым поэтом и никаким террористом он не был. А показания Карпова или Макарова, точно не помню, о том, что Васильев хотел совершить теракт против Сталина, являются вымышленными или данными под физическим воздействием следствия, ибо в тот период этот метод получения показаний от арестованных широко практиковался».

Будет вам помилование, люди, будет.
Про меня ж, бедового, спойте вы!

П а в е л В а с и л ь е в

Публикация, подготовка текста и комментарии С.ВОЛКОВА.

ВАДИМ КОЖИНОВ

ИСТОРИЯ РУСИ И РУССКОГО СЛОВА

Как было показано выше, в VII — VIII веках Хазарский каганат находился в тесном союзе с Византийской империей, но к концу VIII века они разрывают длительные прежние отношения. Этот разрыв, несомненно, был обусловлен превращением Каганата в иудаистское государство, что стало явным, по всей вероятности, уже в 780-х годах. Правда, позднее, к началу 830-х годов, союзнические отношения Империи и Каганата так или иначе восстановились, хотя и на очень краткое время. В 834 году византийцы по просьбе хазарских властей руководят строительством мощной крепости Саркел — важнейшего пункта в излучине нижнего Дона, через который шел, в частности, торговый путь от портов Черного моря в Итиль.

Примирение произошло, надо думать, раньше самого этого строительства, — при императоре Михаиле II, правившем с 820 до 829 года. Византийская хроника, составленная в X веке, дает очень весомое объяснение хазарских — то есть иудейских — симпатий Михаила II:

«На свет его произвел город нижней Фригии (византийская провинция на территории современной Турции. — **В. К.**) по названию Аморий, в котором издавна проживало множество иудеев... Из-за постоянного общения и тесного с ними соседства возросла там ересь нового вида и нового учения, к которой, наставленный в ней с детства, был причастен и он. Эта ересь позволяла, совершая обряд, приобщаться спасительной Божьей купели, которую они признавали, остальное же блюла по Моисееву закону, кроме обрезания. Каждый, в нее посвященный, получал в свой дом учителем и как бы наставником еврея или еврейку, которому поверял не только душевные, но и домашние заботы и отдавал в управление свое хозяйство... Этого учения он (Михаил II. — **В. К.**) придерживался и, войдя в зрелый возраст, будто виноградная лоза от усов, не мог избавиться... Чем дольше владел он царской властью, тем с большей жестокостью и природной злобой раздувал Михаил пламя войны против христиан... Христову паству он притеснял и истреблял, словно зверь дикий, а вот иудеев освобождал от налогов и податей, и потому любили они его и почитали больше всех на свете... Он дошел до вершин нечестия: приказал поститься в субботу... не верил в грядущее воскресение»[1].

Издатель этой хроники, видный современный византолог Я. Н. Любарский, так комментирует эти сведения: «О «еврейских корнях» Михаила сообщают и другие авторы. Скилица (византийский историк XI века. — **В. К.**) утверждает, что учителем Михаила был еврей... По Михаилу Сирийцу (историк, патриарх Антиохийский в XII веке. — **В. К.**), Михаил был внуком крещеного еврея» (цит. соч., с. 273).

После смерти Михаила в октябре 829 года на престол взошел его сын Феофил, который, «хотя и держался, как он утверждал, веры в Бога и Пресвятую Его Матерь, держался и полученной от отца мерзкой ереси... Ею морочил он свой благочестивый и святой народ» (с. 41). И потому было вполне естественным, что «хаган Хазарии и пех (бек. — **В. К.**) отправили к самодержцу Феофилу послов с просьбой отстроить им крепость Саркел... на реке Танаис» (Дон), и император «приказал выполнить просьбу хазар» (с. 56). По всей вероятности, восстановление союза с Каганатом было осуществлено еще при Михаиле II, столь расположенном к иудаизму, а Феофил продолжил дело отца.

Но после смерти Феофила в январе 842 года начинается быстрое восстановление, возрождение византийского христианства. Дело в том, что императрица Феодора, которая стала править Империей (сыну и наследнику Феофила Михаилу III было всего два года), ни в коей мере не разделяла убеждений своего супруга, в чем ее поддерживала имевшая большое влияние ее семья — прежде всего ее брат Варда, имевший титул кесаря (в сущности, второе лицо в государственной иерархии), и дядя Мануил. Сестра императрицы Феодоры Ирина состояла в браке с представителем знатного рода Сергием, и после смерти Феофила большую роль в политике, особенно церковной, стал играть ее сын — то есть племянник императрицы — Фотий, который позднее был возведен в сан патриарха. Причисленный впоследствии к лику святых Фотий — один из наиболее выдающихся деятелей Империи за всю ее историю.

В 843 году устои христианства были полностью восстановлены, и с этого времени отношения Империи и Каганата приобретают заведомо враждебный характер вплоть до конца существования последнего. Так, в 860 году, как явствует из «Жития» св. Кирилла, хазары осаждают

Продолжение. Начало в №№ 6—10 за 1992 год

византийский Херсонес в Крыму, а также натравливают на крымские владения Империи союзных с ними венгров.

Вместе с тем нельзя не отметить, что Каганат вел достаточно сложную дипломатическую игру и, в частности, почти не вступал в прямую, открытую борьбу с Византией, предпочитая натравливать на нее другие народы и прежде всего Русь (ниже эта тема еще будет освещена). Но противостояние, ясно обнаруживающееся в событиях 787 года в Абхазии и Крыму, сохранилось (за исключением времени правления Михаила II и Феофила). Поэтому необходимо разграничивать два совершенно, даже несовместимо различных периода хазарской истории: до конца VIII века и последующий.

В связи с этим необходимо сказать и о широко распространенном историографическом мифе, согласно которому Хазарский каганат якобы сыграл великую роль, не допустив распространения арабских завоеваний на территорию Восточной Европы и, следовательно, также Руси. Эта явно несостоятельная концепция характерна для западной историографии хазар и выразилась, в частности, в наиболее чтимых трудах американских востоковедов Д. М. Данлопа и П. Б. Голдена[2]. Повлияла она, увы, и на отечественных исследователей. Так, С. А. Плетнева утверждает, что «Хазария сыграла большую роль в истории восточноевропейских стран — она явилась щитом, заслонившим их от арабов, щитом, выдержавшим атаки непобедимых арабских армий, возглавляемых полководцами, перед именами которых трепетали другие народы»[3].

Между тем достаточно взглянуть на карту, демонстрирующую пределы арабских завоеваний, дабы убедиться: Халифат вовсе не стремился распространять свою власть к северу. Так, в Средней Азии арабы почти не продвинулись дальше линии городов Мерва и Самарканда, сделав исключение только для культурнейшего и богатейшего Хорезма в нижнем течении Аму-Дарьи. Нет сомнения, что их ни в коей мере не привлекали и земли, расположенные севернее Кавказского хребта.

Как ни удивительно, С. А. Плетнева на той же странице своей работы, где она говорит о хазарском «щите», сообщает о походе грозного арабского полководца Мервана, который в 737 году решил полностью разгромить постоянно нападавших на закавказские владения Халифата хазар и преследовал их войско на их территории, то есть севернее Кавказа: «Арабы... не захотели остаться в стране, им не понравилась холодная и мрачная северная земля» (там же). Как же можно одновременно утверждать, что хазары будто бы защитили от арабского завоевания эту самую не привлекшую арабов землю?

А. П. Новосельцев, убедительно полемизируя с суждениями С. А. Плетневой, заметил, что даже и вообще «вряд ли верно ставить вопрос об арабской угрозе, от которой якобы спасли Восточную Европу хазары... нет признаков того, чтобы арабы намеревались захватить страны Восточной Европы». И — более того — Хазария «не могла спасать Восточную Европу от арабов также потому, что сама выступала в отношении и народов Кавказа (алан и др.), и славян, и Волжской Булгарии как поработительница, все эти народы боролись за свое освобождение от власти хазар»[4].

Итак, речь должна идти не о том, что хазары явились «щитом», спасшим Восточную Европу и в том числе Русь от арабского ига, но только о ряде их разорительных набегов на закавказские владения Халифата, которые они совершили в VII — первой половине VIII века в качестве союзников Византии (очевидно, как-то «оплачивавшей» их помощь).

Но уже в середине VIII века внешнеполитическая позиция Хазарского каганата начинает изменяться: около 760 года тогдашний хазарский каган Багатур выдал свою дочь Хатун за вроде бы заклятого врага — арабского правителя Армении Язида ас-Сулами, который, кстати сказать, вместе с Мерваном совершил победный поход на хазар в 737 году. Правда, вскоре Хатун и двое рожденных ею сыновей скончались (вероятнее всего, от инфекционной болезни), и это привело в 763 — 764 годах к акции «возмездия» со стороны кагана, полагавшего, что его дочь и внуки были умерщвлены, и отправившего войска в Закавказье.

Тем не менее впоследствии, в 798 или 799 году, новый каган (имя его не дошло до нас) снова выдает свою дочь Субт за арабского правителя всего Закавказья ал Фадла ибн Яхья. В силу рокового совпадения и Субт также вскоре умирает, будучи беременной, и опять следует хазарский поход возмездия[5]. Но это было последнее п р я м о е столкновение Каганата с арабами и к тому же, по-видимому, уже никак не связанное с союзническими отношениями с Византией, которые к тому времени были фактически разорваны.

Таким образом, начиная по меньшей мере с середины VIII века в Хазарском каганате происходят коренные изменения, и на рубеже VIII — IX веков он предстает уже как совсем иное явление; именно в это время господствующей религией Каганата становится иудаизм.

* * *

Да, не будет преувеличением утверждать, что Хазарский каганат до конца VIII века и в позднейшую эпоху — это совершенно разные исторические феномены, хотя, разумеется, переход от одного к другому совершился не мгновенно, а подготовлялся в течение целого ряда десятилетий (по всей вероятности, начиная еще с 710-х годов).

С. А. Плетнева в своей известной краткой монографии назвала главу, посвященную истории Каганата после рубежа VIII — IX веков, «Новая география Хазарии». Но это не вполне удачное определение; вернее было бы говорить о новом г е о п о л и т и ч е с к о м статусе и значении Каганата. Начать с того, что центр его переместился почти на полтысячи километров к северу, в город Итиль в низовьях Волги, а «объектом» активнейшей политики стали не только Кавказ и Крым, как ранее, но вся Восточная Европа от Урала до Дуная.

Перемещение центра Каганата на Волгу нередко объясняют стремлением уйти подальше от «арабской опасности». Но для этого объяснения нет сколько-нибудь серьезных оснований, ибо последний поход арабов на земли севернее Кавказского хребта состоялся в 737 году. Правда, ряд историков и датирует перенос столицы Каганата на Волгу именно этим временем. Но в

новейшем труде о хазарах ясно показано, что сведения о волжской столице хазар относятся ко времени не ранее IX века, причем ее называют сначала Хамлых — словом, которое, по-видимому, является «искаженной (немного) формой древнееврейского «ха-малех» ("царь")»[6].

А. П. Новосельцев основательно опровергает мнение некоторых хазароведов, считающих, что арабы под руководством Мервана будто бы дошли в 737 году до столицы Хазарского каганата на Волге (в действительности этой столицы тогда еще просто не было), которая имела название ал-Бейда (или ал-Байда). На самом же деле ал-Бейда — это, по всей вероятности, арабский перевод названия ранней столицы Хазарского каганата — Самандара, располагавшегося в районе современной Махачкалы (см. А. П. Новосельцев, с. 122 — 130). На Волгу же столица Каганата была окончательно перенесена не раньше второй половины IX века (об этом свидетельствует тот факт, что посланец Константинополя к хазарскому кагану святой Кирилл в 861 году прибыл в Самандар, а не в Итиль — о чем ниже) и первоначально называлась Хамлых (Хамлидж): само это древнееврейское название свидетельствует, что Хазарский каганат уже стал тогда иудаистским. М. Г. Магомедов, опираясь на исследования М. И. Артамонова и С. А. Плетневой, доказывает, что волжская столица «как город складывается в середине IX века»[7]. И в самом деле: об ал-Хорезми, великом ученом первой половины IX века, тогдашнем лучшем знатоке географии, известно, что «названия Атиль или Итиль, распространенного у позднейших арабских географов... ал-Хорезми не знает»[8].

Позднее, с X века, появляется название Итиль (или Атиль) — от Волги, на берегу которой был расположен город и которая называлась народами среднего и нижнего Поволжья словом Итиль (финно-угорское «река»). Город этот в течение IX века превратился в громадный по тем временам центр — военный и, что не менее важно, торговый, поскольку через него проходил тогда путь «из варяг в арабы» (по Волге и Каспию) и «Великий шелковый путь» из Китая через Среднюю Азию в Византию и, далее, в Испанию (караванный, а от кавказских портов — морской)[9]. Власти Итиля брали себе десятую часть стоимости провозимых товаров, что приносило, понятно, огромный доход, на который содержалась, в частности, внушительная наемная гвардия Хазарского каганата.

Исключительным, способным поразить воображение деянием Каганата было заселение степи и лесостепи, расположенных южнее Руси, человеческой массой из различных к о ч е в ы х народов — алан, болгар, узов и т. д. Поразительна здесь быстрота, с которой чисто кочевое население превращалось в оседлое. В трактате С. А. Плетневой «От кочевий к городам» (существенно уже само это заглавие) хорошо показан этот «сверхъестественно» стремительный переход. Исследовательница говорит о трех основных стадиях истории кочевых народов: «1. Все население кочует круглый год, не имея постоянных жилищ и не задерживаясь подолгу на одном месте (таборное кочевание). 2. Все население кочует с весны до осени, а зимой возвращается на постоянные зимовища. 3. Одна часть населения кочует, другая — живет оседло и занимается земледелием» (с. 180).

Еще в начале VIII века, показывает С. А. Плетнева, основное население Хазарского каганата находилось на стадии «таборного кочевания», а в IX веке оно предстает как перешедшее даже через третью стадию, — оседлое, занятое земледелием и ремеслами и обитающее в стабильных и нередко очень больших поселениях, состоящих из скопища полуземлянок и наземных жилищ из глины, дерева и камыша. Рядом с поселениями располагаются обширные могильники, которые дополнительно подтверждают оседлость, постоянность пребывания населения в данном месте.

В некоторых из таких поселений (о чем уже говорилось) были воздвигнуты мощные крепости; исследования показали, что их создание относится, в основном, ко второй трети IX века — то есть именно ко времени, когда разгоралась борьба Хазарского каганата с Русью. Население (это также отмечалось выше) было не только оседлым, но и всецело «военизированным», — притом не только мужское, но даже и женское.

Весьма интересное и характерное явление, открытое при изучении «инвентаря» погребений в этих военно-хозяйственных поселениях, — система воинских отличий или наград. Речь идет о находимых в могилах в о и н с к и х п о я с а х с разным количеством и набором «бляшек»: «Различия в количестве бляшек и их подборе, — доказывает С. А. Плетнева, — означали разное общественное (в основном военное) положение погребенного... подавляющее большинство поясов принадлежало возмужалым и зрелым воинам... У юных воинов наборы значительно скромнее», хотя одно из захоронений юноши — «с роскошным полным набором», ибо он, «видимо, превзошел доблестью всех»; «как и мужчины, наиболее богатые (полные) пояса носили пожилые женщины, видимо, испытанные в походах бойцы»[10].

Эта система наград или отличий ясно говорит о высокой степени организации военных поселений Хазарского каганата. И столь же ясно, что для создания из кочевых племен на территории от Дона до Днепра такого, в сущности, гигантского военно-хозяйственного лагеря, состоящего из сотен селений (только в регионе Подонья он занимал, по подсчету С. А. Плетневой, 100 000 квадратных километров!), необходима была исключительно властная и конструктивная организаторская деятельность правительства Каганата.

Известнейший исследователь кочевых народов Руси Г. А. Федоров-Давыдов констатировал как бы даже не без удивления: «В то время как в салтовских (то есть хазарских. — В. К.) поселениях представлены гончарное, железоделательное и другие ремесла, у печенегов, торков и половцев следов ремесла почти нет»[11]. То есть другие близкие к Руси кочевые народы, чья история разворачивается п о з ж е, чем «салтовская», ни в коей мере не достигли того технического «прогресса», который характерен для кочевников, оказавшихся под властью Хазарского каганата.

Громадный военный лагерь, расположенный у юго-восточной границы Руси, был «самообеспечивающим» себя продовольствием, предметами быта и, что особенно важно, оружием. В новейшем обобщающем труде об этом лагере, труде, подводящем итоги многолетних изысканий автора, В. К. Михеева, и его археологического отряда, показано, в частности, высокое развитие

металлургии и металлообработки, которыми занимались в IX — X веках в десятках селений Подонья на основе донских рудных месторождений:

«Качество металла... было высоким. Микроисследования зубил и режущих концов ножниц для резки металла показали, что они подвергались термообработке на мартенсит (то есть изменение микроструктуры металла. — В. К.). ...О высоком уровне металлообработки свидетельствует производство оружия: сабель, боевых топоров, наконечников копий и дротиков, наконечников стрел, боевых ножей и кинжалов, кистеней... Металлографический анализ образцов сабель и их обломков из Верхнего Салтова, Правобережного Цимлянского городища и Маяков (это три из важнейших военных поселений. — В. К.) показал, что они были цельностальными с высоким содержанием углерода»[12].

Забегая вперед, отмечу, что некоторые виды оружия, например, сабли и кистени[13], как доказывают исследователи, были заимствованы Русью у своего хазарского противника.

А вот результаты исследования хазарских крепостей в Подонье: «Добыча камня, его доставка к месту строительства и обработка являлись трудоемкими процессами... Особенно трудоемкой была добыча известняка, который широко использовался для возведения белокаменных крепостей. По нашим подсчетам, для возведения стен Верхнесалтовского городища понадобилось приблизительно 7 тыс. м^3, Маяцкого — 10 тыс. м^3, Правобережного — 12 тыс. м^3 и Мохначевского — 14 тыс. м^3 камня. Каменные блоки различных размеров обрабатывались с помощью долот и зубил» (там же, с. 76 — 77).

Можно было бы привести множество других подобных фактов, но, полагаю, и так ясно: Хазарский каганат был в IX — X веках государством, обладающим громадными «цивилизаторскими» возможностями. Естественно встает вопрос о причинах «цивилизованности» Хазарского каганата в его иудаистскую эпоху.

Следует отметить, что существует безосновательное мнение, согласно которому еще до возвышения иудаизма в Хазарском каганате имелись, скажем, крупные «цивилизованные» города. Между тем один из виднейших современных «хазароведов» А. В. Гадло, исходя из достоверных источников, писал о крупнейшем хазарском «городе» (на Северном Кавказе) доиудаистского периода: «Баланджар вовсе не был городом в обычном понимании этого термина. Это был большой лагерь, для защиты которого был применен традиционный в военной практике кочевников способ. Его территория была ограждена связанными повозками (3 тыс. штук), за которыми укрылись защитники»[14].

Но вместе с установлением господства иудаизма создается и охарактеризованная выше цивилизация Каганата. И теперь перед нами встает задача понять, как и почему это совершилось.

* * *

Общепризнано, что на рубеже VIII — IX веков государственной религией Хазарского каганата стал иудаизм, хотя процесс его утверждения, конечно же, начался раньше.

В одной из самых ранних русских работ о хазарах, принадлежащих одному из основоположников отечественного востоковедения В. В. Григорьеву (1816 — 1881), говорится следующее: «Евреи, притесняемые в Греции (то есть в Византийской империи. — В. К.), удалились к хазарам и, видя простоту этого народа, предложили ему свою веру — и хазары, находя ее лучше собственной, приняли охотно»[15].

К сожалению, это представление, по своей «простоте» близкое декларированной в нем «простоте» хазар, в той или иной форме, но достаточно широко распространено еще и сегодня. Между тем в позднейших исследованиях было со всей убедительностью показано, что в этом рассуждении неверны буквально все его стороны. Во-первых, евреи, определившие резкое изменение самой сути Каганата, пришли не из Византии, а с арабского Востока (хотя позднее появились и эмигранты из Византии); далее, хазары в своем абсолютном большинстве вовсе не принимали в качестве своей религии иудаизм; наконец, утверждение иудаизма в качестве господствующей религии отнюдь не было «охотным», добровольным, а также и быстро осуществившимся.

Многое здесь вполне доказательно выяснено уже в трактате М. И. Артамонова «История хазар» (1962). Но следует знать, что эта книга испытала очень трудную судьбу. Она была, в общем и целом, создана еще в 1930-х годах. Однако, как свидетельствует автор позднейшей монографии о хазарах, вышедшей в 1990 году, «фундаментальную работу Артамонова и в 60-е годы опубликовать стало возможным только в Ленинграде, где Артамонов в то время занимал пост директора Эрмитажа, в издательстве которого монография и увидела свет»[16]. Между тем по своему профилю «История хазар» никак не «вписывалась» в программу этого музейного издательства. И едва ли случайно М. И. Артамонов через год после выхода его «Истории» был освобожден от должности директора Эрмитажа и в дальнейшем стал заниматься, в основном, не «опасной» историей древних скифов...

Нельзя не сказать здесь и о судьбе другой книги, также во многом посвященной хазарской проблеме, — трактате ученика М. И. Артамонова (правда, позднее пересмотревшего многие стороны концепции последнего) — Л. Н. Гумилева. Трактат был, в общем и целом, написан еще в 1970-х годах, но смог выйти в свет только в 1989-м[17]. Расскажу об известной мне, как говорится, из первых уст попытке издать часть этой книги в 1980 году. Замечательный русский публицист и гражданин Ю. И. Селезнев (1939 — 1984) обратился тогда к Л. Н. Гумилеву с предложением опубликовать любую его работу о Хазарском каганате. Л. Н. Гумилев прислал ему рукопись, к которой приложил высокоположительный отзыв одного очень чтимого и влиятельного филолога. Руководящий сотрудник, от которого зависело окончательное решение судьбы рукописи (издавать или не издавать), предложил Ю. И. Селезневу испросить у этого филолога разрешение опубликовать его отзыв в качестве предисловия или послесловия к работе Л. Н. Гумилева; в этом случае работа тут же была бы напечатана. И Ю. И. Селезнев немедля

поехал к сему филологу и долго — несколько часов, — но безуспешно уговаривал его согласиться на публикацию его отзыва. В конце концов филолог, так сказать, не выдержал и напомнил Ю. И. Селезневу, что не так давно некий человек напал на него в подъезде его дома и нанес ему тяжкий удар в область сердца, — напомнил и нервно воскликнул: «Вы, что ли, не понимаете различия между письменным и печатным отзывом?! Если мой отзыв будет опубликован, меня попросту убьют!..» И работа Л. Н. Гумилева так и не была тогда опубликована[18].

Со многим из того, что высказано в книге Л. Н. Гумилева «Древняя Русь и Великая степь», я безусловно согласен. Но в то же время я исхожу в своем представлении о Хазарском каганате из существенно иных методологических и источниковедческих оснований. Так, в гумилевской концепции «пассионарности» я вижу яркий, но, скорее, эстетический, или художественный, нежели научный смысл. Или другая сторона дела: Л. Н. Гумилев, на мой взгляд, недостаточно опирается на новейшие археологические исследования и открытия.

Однако я не имею намерения полемизировать с Л. Н. Гумилевым; его трактат имеет свою внутреннюю логику и своего рода самооправдание. Поэтому, ссылаясь в дальнейшем на некоторые положения этого трактата, я вместе с тем усматриваю свою главную задачу в том, чтобы выдвинуть представляющиеся мне основательными фактические сообщения и выводы общего характера; читатели же имеют возможность сопоставить их с содержанием трактата Л. Н. Гумилева и ясно увидеть, в чем я присоединяюсь к этому трактату и в чем с ним расхожусь.

Что же касается артамоновского трактата о хазарах, в нем есть немало различных противоречий и недоговоренностей. Ученый писал во «Введении» к трактату: «Не менее 25 лет (то есть с конца 1930-х годов. — В. К.) этот труд лежал на моем рабочем столе. Время от времени я возвращался к нему, исправлял, дополнял, перестраивал. Все это не могло не отразиться на характере изложения. Мне, вероятно, лучше, чем кому-либо другому, известны недостатки моей работы...» (указ. соч., с. 39).

Да, в работе М. И. Артамонова много взаимоисключающих суждений. Но в то же время в ней четко сказано, что утверждение господства иудаизма вовсе не было добровольным, «охотным», а, напротив, вызвало, по определению М. И. Артамонова, «беспощадную» гражданскую войну в Каганате (глава 17 «Истории хазар» так и названа — «Гражданская война в Хазарии»).

С другой стороны, М. И. Артамонов писал: «Иудаизм — национальная религия; дух и буква иудейского закона не допускают прозелитизма (то есть принятия с свое лоно «инородцев». — В. К.); хотя в древности наблюдались факты обращения иноплеменников, но это противоречило принципу «избранного народа». В средние века обращение в иудаизм могло совершиться лишь в том случае, если неофит имел предка еврея; не исключалась возможность того, что предок был вымышленным» (с. 264). И иудаистская религия «стала религией хазарского правительства и части хазарской знати, но она никогда не превращалась в религию хазарского народа, точнее, тех племен, которые входили в состав Хазарии. Иудейская религия не вытеснила ни старого язычества, ни христианства, ни мусульманства» (с. 266).

Итак, М. И. Артамонов опровергает два положения из процитированной выше давней работы В. В. Григорьева: народы Каганата вовсе не подчинились иудаизму «охотно», и, во-вторых, иудаизм приняло лишь крайне незначительное количество хазар. Правда, М. И. Артамонов как бы присоединяется к третьему положению В. В. Григорьева, утверждая, что евреи, установившие господство иудаизма, пришли в Хазарию, в основном, из Византии и ее провинций.

Но прежде чем говорить об этом, необходимо рассмотреть другие весьма популярные «мифы» о хазарском иудаизме, — мифы, возникшие давно, но в последнее время оживившиеся. Первый из них основан на совершенно бездоказательном мнении о массовом или даже всеобщем принятии иудаизма населением Хазарского Каганата, которое-де после разгрома этого государства Святославом переместилось на запад, особенно в Польские земли, и стало затем основным компонентом всего иудейства Европы; из этого следует, что подавляющее большинство современных людей, считающихся евреями, на самом деле — потомки не древнего семитского народа, но тюрков-хазар, принявших иудаизм.

Едва ли ни первым эту «концепцию» выдвинул популярнейший тогда французский историк-семитолог, публицист и писатель Ж. Э. Ренан в своем сочинении «Иудаизм как раса и как религия» (1883). Те же взгляды выразились в записке польского автора М. Гумпловича «Начало еврейской веры в Польше» (1903); в более развернутом виде изложена эта точка зрения в вышедшем в 1909 году в Вене сочинении фон Кучеры «Хазары. Исторический этюд».

«Концепция» вновь ожила после второй мировой войны, когда в США вышла книга Б. Х. Фридмана «Правда о хазарах» (1954). И особенно большую роль сыграло изданное в 1978 году в Лондоне сочинение широко известного автора — А. Кестлера (выходца из Австро-Венгрии, проделавшего весьма типичную эволюцию: коммунист — антикоммунист — сионист) «Тринадцатое колено (в смысле «племя». — В. К.). Хазарская империя и ее наследие». Книга имела всемирный резонанс, и многие уверовали в то, что основная масса современных евреев — потомки хазар.

Однако эта «концепция» совершенно не выдерживает сопоставления с реальностью и, в сущности, абсурдна. Дело уже хотя бы в том, что в многочисленных исторических источниках (главным образом арабских), содержащих сведения о Хазарском каганате, его население характеризуется не по национальной, племенной, а по религиозной принадлежности, и все эти источники согласно свидетельствуют, что приверженцы иудаизма составляли весьма незначительное меньшинство населения Каганата (и даже самой его столицы) — меньшинство, не превышающее нескольких тысяч человек[19]. А хорошо известно, что в X — XIX веках рост населения был довольно медленным; так, с X по XVII век тот или иной народ мог вырасти по численности не более чем в два раза, а в течение XVII — XIX веков — не более чем в три раза; то есть за все это тысячелетие — в шесть раз[20]. Таким образом, потомки нескольких тысяч хазарских иудеев к началу XX века могли составить всего лишь несколько десятков тысяч. Поэтому действительно достоверна точка зрения, согласно которой потомками этих «хазар»

были исповедующие в той или иной форме иудаизм группы населения Крыма, Кавказа и Литвы, имеющие названия «крымчаки», «караимы» и «таты»; к концу XIX века эти группы насчитывали именно несколько десятков тысяч человек. Между тем насчитывавшее к концу XIX века несколько миллионов человек собственно еврейское население Восточной Европы в ее целом никак ие могло бы «вырасти» из нескольких тысяч хазарских иудеев X века.

В действительности еврейское население Восточной Европы переселилось туда из Ирана через какое-то время после завоевания его арабами (в VII веке). В Иране к VII веку была огромная по тогдашним масштабам еврейская община — более 600 тыс. человек[21] и, как свидетельствует средневековая иудейская хроника «Emek ha-Baka», «спаслись бегством многочисленные евреи из страны Парас (Персия), как от меча, и двигались они от племени к племени, от государства к другому...»[22]

Второй, всплывающий подчас и сегодня (ранее он господствовал), миф — утверждение некой уникальной веротерпимости в Хазарском каганате, где, мол, самым мирным образом сосуществовали иудаизм, христианство, мусульманство и идолопоклонничество. М. И. Артамонов недвусмысленно заметил: «Прославленная веротерпимость хазар была вынужденной добродетелью, подчинением силе вещей, справиться с которой Хазарское государство было не в состоянии» (цит. соч., с. 334). Поскольку иудаизм — принципиально племенная, национальная религия, которая никак не могла принять в себя разноплеменное население Каганата, и поскольку тысячу лет назад немыслимо было заставить людей вообще отказаться от религии ("прогресс" дорос до этого на территории России лишь в XX веке...), правители Каганата «мирились» с существованием иных религий. Но мирились только до того момента, когда другая религия могла представлять для них прямую опасность. Так, совершенно точно известно, что в 932 году власти Каганата силой заставили алан отречься от христианства (к которому аланы — будущие осетины — вернулись позднее, после разгрома Каганата Святославом).

Впрочем, подчас правителям Каганата приходилось все же волей-неволей умерять свою борьбу с иной религией. Арабский посланец в Волжскую Булгарию Иби-Фадлан, посетивший Итиль в 922 году, рассказал, что в это самое время «дошла весть до царя хазар... что мусульмане разрушили синагогу, бывшую в усадьбе аль-Бабунадж (Б. Н. Заходер полагал, что речь идет, вероятнее всего, о местности в Хорезме[23], к востоку от Каспия. — В. К.)... он приказал, чтобы минарет (соборной мечети Итиля. — В. К.) был разрушен, казнил муезинов и сказал: «Если бы, право же, я не боялся, что в странах ислама не останется ни одной синагоги, которая не была бы разрушена, обязательно я разрушил бы мечеть»[24]». Кстати сказать, арабский историк и географ Масуди писал через двадцать лет после Ибн-Фадлана, в 943 году, что в Итиле «есть соборная мечеть с минаретом, который возвышается над царским замком»[25], — то есть минарет уже был восстановлен, чтобы не раздражать мусульман, и, возможно, в порядке «компенсации» сделан очень высоким.

Но обратимся непосредственно к вопросу о том, каким образом иудаизм обрел господство в Каганате. М. И. Артамонов, к сожалению, ответил на этот вопрос в духе самых ранних работ о хазарах. Он исходил из того, что «евреи издавна (то есть еще до прихода хазар из Средней Азии. — В. К.) жили в некоторых областях, вошедших в состав Хазарского каганата»; имеются в виду и Кавказ, и Таманский полуостров, и Крым. Кроме того, М. И. Артамонов придавал большое значение евреям — эмигрантам из Византии, пришедшим в Хазарский каганат в VIII — IX веках. Между тем один из наиболее осведомленных арабских авторов первой половины X века, Масуди, писал о принявшем на рубеже VIII — IX веков иудаизм хазарском царе: «Ряд евреев примкнул к нему из... мусульманских стран и из Византийской империи. Причина (последнего. — В. К.) в том, что император, правящий ныне, т. е. в 943, и носящий имя Арманус (Роман), обращал евреев своей страны в христианство силой и не любил их и большое число евреев бежало из Рума (Византии. — В. К.) в страну хазар»[26]. Император Роман правил с 919 года и, следовательно, именно к этому позднему времени, когда иудаистский Хазарский каганат существовал уже более столетия, относится крупная эмиграция евреев из Византии.

Между тем М. И. Артамонов придавал наибольшее значение именно евреям, эмигрировавшим из Византии, и заключал свое рассуждение следующим тезисом: «...таким образом евреи (имеются в виду прежде всего и главным образом византийские евреи. — В. К.) с давних пор могли проникнуть в Хазарию и в качестве грамотных и бывалых людей занять важные места при дворах кагана и хазарских князей. Они, несомненно, играли большую роль в торговле Хазарии и составляли существенную часть населения хазарских городов» (цит. соч., с. 264 — 265).

Все сказанное в принципе вполне верно, однако ведь совершенно то же самое можно сказать почти о любом государстве и народе Европы и западной части Азии того времени — VIII — X веков, — начиная с империи Каролингов, Византии, Арабского халифата; везде иудеи играли ту самую роль, о которой говорит М. И. Артамонов. Между тем ни в этих, ни в каких-либо иных странах, иудаизм не только не обрел официального господства, но даже и не выказал реального стремления к этому. И приходится сделать вывод, что в Хазарском каганате создалась некая совершенно особенная ситуация, которая обеспечила открытую победу иудаизма, — несмотря даже на предшествующее этому широкое распространение христианства в Каганате (выше говорилось, что, по всей вероятности, даже сам верховный правитель, каган, был, накануне победы иудаизма, христианином; это не столь уж странно, если вспомнить, что в 730-х годах две дочери тогдашнего кагана были или же стали христианками, ибо одна из них обвенчалась с византийским императором Константином V, а другая — с эриставом Абхазии Константином II).

Особенно существенно, что иудаизм в Каганате поначалу пришел к господству (в конце VIII века) не насильственным, а, по-видимому, вполне мирным путем (ибо никаких сведений о насилиях не имеется), и лишь позднее, уже в IX веке, началась жестокая война между новым — иудаистским — правительством и «коренными» предводителями Каганата.

Между тем хорошо известно, что в те времена иудаизм был непримиримо враждебен к христианству. Это основательно доказано наиболее выдающимся из русских историков средневекового Ближнего Востока Н. В. Пигулевской (1894 — 1970), чьи работы получили высшее всемирное признание.

* * *

Нельзя не сказать хотя бы кратко о ее судьбе, ибо эта судьба — также неотъемлемая часть отечественной истории. Прямую причастность исторического знания, историографии к самой истории необходимо понять и оценить. Нет сомнения, например, что русские летописи XI — XVII веков играли в свое время очень существенную «практическую» роль, определяя направление деятельности князей и, затем, царей, а также воевод, бояр, церковных иерархов и наиболее видных купцов и промышленников. Если учесть, что даже до нашего времени дошло более 1500 летописных текстов (их было, без сомнения, намного больше, но они гибли во время войн, восстаний, пожаров), станет ясно громадное значение историографии в жизни Руси. Но, конечно же, историческая наука являлась и является чрезвычайно важной составной частью самой истории и в позднейшие времена. Можно бы убедительно показать, что правительство России и в XVIII, и в XIX, и в начале XX веков уделяло очень большое внимание развитию историографии. И, пожалуй, еще более активно отнеслись к исторической науке те, кто пришел к власти в России в 1917 году. Это ясно видно по судьбе русских историков и, в частности, Н. В. Пигулевской.

Н. В. Пигулевская была лучшей ученицей крупнейшего русского гебраиста П. К. Коковцова (1861 — 1942; умер в блокадном Ленинграде). В 1920-х годах вышли в свет ее первые работы. Но в конце 1920-х годов она была арестована и осуждена (между прочим, в одной «подследственной» группе с М. М. Бахтиным). Это было одним из проявлений тогдашней тотальной программы уничтожения основ русской культуры; выше уже упоминалось о широкомасштабных репрессиях 1929 — 1930 годов, обрушившихся на многих виднейших представителей исторической науки во главе с академиком С. Ф. Платоновым. Сейчас начинают появляться первые «расследования» этой злодейской акции.

В июне 1929 года прямо-таки бешеную атаку на русских историков в Академии наук предприняла специальная «Правительственная комиссия» под руководством члена Президиума ЦКК (Центральной контрольной комиссии) ВКП(б) Я. И. Фигатнера; в октябре по настоянию Фигатнера, — сообщается в нынешнем «расследовании» этой атаки, — «срочно прибыли председатель Центральной комиссии по чистке Я. Х. Петерс и член президиума той же комиссин Я. С. Агранов (то есть уже из верховных кадров ОГПУ. — В. К.)... В настоящее время нам известны имена почти полутора сотен человек, арестованных в период с октября 1929 по декабрь 1930. Наверняка учтены не все... Две трети арестованных — историки и близкие к ним музееведы, краеведы, архивисты, этнографы»[27].

Президиум ЦКК — верховный орган, занимавшийся прежде всего «чистками» и организацией репрессий. В этот президиум в 1929 году входили, вместе с Фигатнером, руководящие деятели ОГПУ вроде Петерса и Павлуновского, а также печально известные Шкирятов, Ярославский (Губельман), Сольц, Яковлев (Эпштейн), Радус-Зенькович, Розенгольц, М. Каганович (брат Лазаря), Янсон, Розмирович, Ленгник, Ройзенман и др. Кто-либо может подумать, что я «тенденциозно» подобрал «нерусскне имена»; однако на русских приходилась, во-первых, только одна треть состава Президиума ЦКК (11 из 32 человек), а во-вторых, — и это особенно важно отметить — за исключением упомянутого Шкирятова, эти люди были очень мало известными (и ныне, естественно, начисто забытыми), не могшими иметь существенного влияния на ход дела (вот их имена: Гончаров, Ильин, Караваев, Коковихин, Коростелев, Коротков, Лисицын, Осьмов, Пастухов, Семков); есть все основания заключить, что их ввели в Президиум только для видимости «национальных пропорций». Решающую роль в Президиуме ЦКК играли евреи, прибалты (Петерс, Янсон, Ленгник), то есть эмигранты, и, наконец, кавказцы Орджоникидзе, Енукидзе, Десев, Назаретян, «представлявшие» только около трех сотых населения СССР (евреи «представляли» полторы сотых, а прибалты — никого...).

Очень «яркой» фигурой являлся, конечно, Матвей Шкирятов (1883 — 1954), который еше в 1921 году был назначен председателем «Центральной комиссии по очистке...» (позднее употреблялось слово «чистка»).

Если вглядеться в фотографии товарища Шкирятова, вполне уместно будет заключить, что, создавая в 1925 году своего Шарикова («Собачье сердце»), Михаил Булгаков так или иначе исходил именно из фигуры Шкирятова. В повести (категорически запрещенной, как известно, даже имевшим репутацию «либерала» Л. Каменевым и конфискованной ОГПУ) говорится о «документе» тов. П. П. Шарикова:

«Предъявитель сего... действительно состоит заведующим подотделом очистки.

— Так, — тяжело сказал Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, я и сам догадываюсь...

— Ну да, Швондер, — ответил Шариков».

Роль Швондера в реальной жизни сыграл Сольц, который, будучи в 1921 году председателем ЦКК, «устроил» Шкирятова председателем временной «комиссии по очистке», а в 1922-м — членом ЦКК, в 1923-м — членом созданного в ней Президиума, наконец, ее секретарем. Так этот Шариков получил, в частности, задание вместе с Сольцем, Фигатнером и др. «очищать» русскую культуру...

Главным «обвиняемым» комиссия Фигатнера сделала выдающегося историка С. Ф. Платонова (1860 — 1933) — ученика К. Н. Бестужева-Рюмина (1829 — 1897) и В. О. Ключевского (1841 — 1911). И напомню хотя бы несколько имен его арестованных тогда «подельников»: С. В. Бахрушин, С. Б. Веселовский, Ю. В. Готье, Б. Д. Греков, М. Д. Приселков, Б. А. Романов, Е. В. Тарле, Л. В. Черепнин. Эти люди, как и целый ряд других подвергшихся в то время аресту,

— цвет русской исторической науки. Если бы они исчезли, развитие этой науки попросту прекратилось бы (оно и в самом деле почти полностью остановилось тогда на несколько лет); новым поколениям историков не у кого было бы учиться.

Большая роль в «разоблачении» крупнейших русских историков принадлежала «новым» псевдоисторикам, этим, — как сказано в современном «расследовании» сего дела, — «..."неистовым ревнителям" типа Цвибака, Зайделя, Томсинского, Фридлянда, Ковалева»[28]. Так, Цвибак заявил в своем «докладе» во время следствия, что С. Ф. Платонов объединяет «всех мелко и крупно-буржуазных и помещичьих историков... Кулацко-крестьянская контрреволюция изнутри, иностранная интервенция извне и восстановление монархии — вот программа политических чаяний платоновской школы»[29].

Историков обвиняли, естественно, и в пропаганде русского «национализма», «шовинизма», даже «фашизма». Атмосферу следствия хорошо передает рассказ о допросах С. Ф. Платонова, которые вел начальник одного из отделов ленинградского ГПУ Мосевич: «Когда Мосевич спросил: как мог Платонов пригласить заведовать отделением Пушкинского Дома (С. Ф. Платонов был его директором с 1925 по 1929 год. — В. К.) еврея Коплана, то получил ответ: "Какой он еврей: женат на дочери покойного академика Шахматова и великим постом в церкви в стихаре читает на клиросе". После этого Коплан получил пять лет концлагеря!»[30]

Из этого ясно, что удар был направлен не против неких «шовинистов», а против деятелей русской культуры независимо от их национальной принадлежности (арестованный Е. В. Тарле, например, также был русским историком еврейского происхождения). И, казалось, дело шло к тому, что одна из основ русской культуры — историческая наука — уже перешла грань полной погибели.

Однако в какой-то последний момент в ход дела вмешалась пока до конца еще не ясная сила: «Как ни старались, однако, опорочить Платонова и его коллег, что-то застопорилось, надломилось в, казалось бы, хорошо отлаженной машине следствия...»[31] И исчезнувшие историки постепенно начали возвращаться; к 1937 — 1938 гг., когда, в свою очередь, отправились в ГУЛАГ Фигатнеры и Аграновы, Зайдели и Фридлянды, почти все арестованные в 1929 — 1930 годах уже работали; п о ч т и все, ибо несколько историков старшего возраста — в том числе и С. Ф. Платонов — скончались до «реабилитации»... Кстати сказать, иные продолжали работать и в ссылках, и даже в тюрьмах; С. Ф. Платонов 9 июля 1931 года сообщил дочерям (которые также были вслед за ним арестованы) из камеры: «...разобрал кое-что из моих бумаг... Выяснены некоторые родословные...»[32].

Вернувшиеся создавали и публиковали новые труды, работали с многочисленными учениками, готовили к изданию сочинения своих учителей и скончавшихся соратников; так, в 1937 — 1939 годах вышли в свет важнейшие работы В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова, П. Г. Любомирова (которые еще недавно оценивались как «контрреволюционные»). Многие возвратившиеся из небытия стали членами-корреспондентами и академиками, лауреатами и орденоносцами... И без этого «поворота» не было бы, без сомнения, тех достижений русской исторической науки 1960 — 1980 годов, которые осуществили ученики «реабилитированных» к 1937 году ученых.

В этом повороте выразилось то историческое движение, о котором в присущем ему заостренном стиле говорит в своем удивительном сочинении «Бесконечный тупик» (1989) наиболее яркий и глубокий мыслитель нынешнего молодого поколения России Дмитрий Галковский (родился в 1960 году). Он как бы подводит итог с точки зрения своего поколения:

«Какой год был самым счастливым за последние сто лет русской истории? Страшно вымолвить, но 1937... 37-й это год перелома кривой русской истории. Началось "выкарабкивание"... 1937 — это год смерти революционного поколения. Свиньи упали в пропасть. Конечно, прогресс после 1937 можно назвать прогрессом лишь в соотнесении с предыдущей глубиной падения. Но все же...» (с. 668 — 669).

Среди историков, вернувшихся после ареста и осуждения (в 1929 году) в науку, была и Нина Викторовна Пигулевская. Сначала она смогла (в 1934 году) поступить на работу только в далекий от ее интересов Институт истории науки и техники, но в 1937 году стала научным сотрудником Института востоковедения. В 1938 году вчерашней арестантке была присуждена (даже без защиты) степень кандидата наук, а уже в 1939 — доктора и после войны, в 1945 году — звание профессора; в 1946-м она была избрана членом-корреспондентом Академии наук. Во время ленинградской блокады Н. В. Пигулевская была заместителем директора Института востоковедения и исполняла свои обязанности с истинной самоотверженностью. С 1952 года она стала заместителем председателя (фактически руководителем) существовавшего с 1882 года Российского Палестинского общества и ответственным редактором одного из самых высококультурных ежегодников — «Палестинского сборника».

Сей экскурс в драматическую и даже трагедийную историю русской исторической науки в 1920 — 1930-х годах имеет, быть может, не вполне очевидную, но глубокую связь с той столь давней эпохой, о которой идет речь в моем сочинении.

Кто-нибудь может усомниться в том, что подобная «связь» существует, так сказать, реально, а не в чисто мистическом смысле. Здесь уместно напомнить одно творение Чехова — художника, отнюдь не склонного к мистике. Известно, что он из всего им созданного более всего ценил (и я полностью с ним согласен) свой рассказ «Студент» (1894), герой которого, студент Духовной академии, приехав на Пасху в затерянную в российском просторе родную деревню, проникается — в студеный вечер Страстной пятницы — острым сознанием нераздельной связи времен: «И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре...». Он начинает говорить двум встреченным им крестьянкам, Василисе и ее дочери Лукерье, как «Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику (Каиафе. — В. К.) и били...

Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль...»

И студент сознает, «что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям... И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого... он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Поэтому нет ничего искусственного в прямом сопоставлении событий русской истории X и XX веков...

* * *

Итак, возвратимся к временам, когда готовилось установление господства иудаизма в Хазарском каганате. Этому предшествовали совершившееся в VI веке утверждение власти иудеев в южноаравийском (на территории нынешнего Йемена) царстве химьяритов и непримиримая борьба иудаизма с христианской Византией. И эта своего рода предыстория иудаистского Хазарского каганата была раскрыта именно в трудах Н. В. Пигулевской и ее последователей.

В центре внимания Н. В. Пигулевской уже в 1930-х годах было ценнейшее, но почти не изученное у нас наследие высокой культуры раннесредневековой Сирии, которой она посвятила целый ряд своих трудов. В одной из переведенных и опубликованных ею сирийских хроник содержится сообщение (которое, кстати сказать, находит подтверждение и в византийских, и в иудейских источниках), раскрывающее крайнюю, даже, можно сказать, неправдоподобную непримиримость раннесредневекового иудейства по отношению к христианству.

Речь идет здесь о событиях 614 года, то есть о времени накануне образования Хазарского каганата (тогда еще отнюдь не иудаистского); в это время разразилась очередная война между Византией и Ираном, и иудеи всеми возможными средствами поддерживали Иран (между тем хазары в тот период — не позднее, чем с 622 года — выступали, напротив, в качестве союзников Византии). И вот это ни с чем, пожалуй, не сравнимое сообщение сирийской хроники о 614 годе: «...осадил Шахрбараз (иранский полководец. — В. К.) Иерусалим город (принадлежавший тогда Византии. — В. К.) и покорил его мечом... Иудеи же, из-за своей вражды, покупали их (христиан. — В. К.) по дешевой цене, и они убивали их»[33]. П о к у п а т ь у иранских воинов пленных христиан не для того, чтобы использовать их в качестве рабов, но для того, чтобы испытать наслаждение, убивая их, — это в самом деле нечто беспримерное даже в истории крайних проявлений религиозной вражды...

Важно добавить, что сведения об этих событиях содержатся также и в византийских хрониках, созданных Феофаном Исповедником и Георгием Амартолом, и в еврейской хронике Григория Бар-Гебрея (то есть еврея), который писал о византийско-иранской войне 614 года: «Евреи покупали христианских узников на малые деньги и со злостью убивали их» (Еврейская энциклопедия. — СПб, 1908 — 1913, т. 5, стлб. 548). Но правдивость этих источников подвергалась сомнению как равно тенденциозных: византийцы стремились, мол, опорочить евреев, а Бар-Гебрей, напротив, похвастать их упоенной жестокой местью византийцам. Сирийская хроника ценна как беспристрастный «сторонний» источник, подтверждающий, в частности, истинность византийских и еврейских хроник (впрочем, есть еще и другой «независимый» свидетель — египетский хронист начала IX века Евтихий, но его «Анналы» почти не введены у нас в научный оборот; см. о нем в том же месте «Еврейской энциклопедии»).

Итак, борьба иудеев с христианством могла доходить до невероятных крайностей. Однако при установлении господства иудаизма в Хазарском каганате подобных эксцессов, по всей вероятности, не было, ибо никаких сведений этого рода не имеется. Правда, как доказывает в своей новейшей работе о судьбе Зихской христианской епархии А. В. Гадло, эта северокавказская православная кафедра, «как и другие кафедры... VIII в., созданные с целью проповеди христианства среди населения глубинных районов Хазарии, была ликвидирована после принятия хазарами иудаизма в качестве государственной религии в начале IX в.»[34]. Но ни в одном источнике нет известий о сопровождавших этот акт насилиях и жестокостях.

Между прочим, в трактате М. И. Артамонова утверждается, что «обращение хазар в иудейство (ниже ученый уточнил, что речь идет только о немногих представителях высшей хазарской знати, а вовсе не о народе. — В. К.) — бесспорный, хотя и и с к л ю ч и т е л ь н ы й исторический факт» (цит. соч., с. 265. — **Разрядка моя. В. К.**). В действительности же он не был «исключительным», ибо имел место по меньшей мере еще один такой факт — установление господства иудаизма в Химьяритском царстве, существовавшем со II века до нашей эры и до VI века нашей эры (когда оно было присоединено к Ирану) в Юго-Западной Аравии. М. И. Артамонов не знал об этом прецеденте, ибо отечественная историография Химьяритского царства стала развиваться сравнительно недавно, и занялись ею как раз Н. В. Пигулевская и ее ученики.

Основные материалы по истории иудаизма в Химьяритском царстве были подготовлены Н. В. Пигулевской еще в 1940-х годах и должны были войти в ее изданную в 1951 году книгу «Византия на путях в Индию. Из истории торговли Византии с Востоком в IV — VI вв.». Но Н. В. Пигулевская смогла опубликовать указанные материалы только в переводе своей книги на немецкий язык, изданном в 1969 году в Амстердаме; на русском же языке эта часть ее труда была издана уже после ее кончины, в 1976 году.

В IV — V веках Химьяритское царство в Йемене стало христианским. Один из современных продолжателей трудов Н. В. Пигулевской сообщает: «В 40 — 50-х годах IV века... в Южной Аравии проповедовал Феофил Индус, посланный туда императором (византийским. — В. К.)

Констанцием (337 — 361)... Феофил обратил в христианство аравийского этнарха (правителя. — В. К.), и построил церкви... Однако значительное влияние... эта религия получила лишь в V в., после чего важнейшие политические события Южной Аравии были связаны с борьбой между иудаизмом и христианством»[35].

Необходимо пояснить, что Химьяритское царство было самым цивилизованным государством всего арабского региона: «...наиболее развитой земледельческой областью Аравии, с весьма продолжительной традицией оседлой жизни, был Йемен. Еще в I тысячелетии до н. э. ...Южная Аравия была процветавшей цивилизованной страной. В этой стране наряду с земледелием (высокий уровень которого обеспечивала сложная система ирригации) получило развитие ремесленное производство и торговля... Население древнего Йемена... создало свою оригинальную культуру, в том числе самобытную буквенную письменность... о былой высокой культуре древнего Йемена свидетельствуют развалины великолепных дворцов и храмов и остатки грандиозных оросительных сооружений»[36].

Более того, «йеменские царства участвовали в мировой политике столетиями, — доказывает известнейший американский арабист. — Они представляли собой естественный центр как сухопутной, так и морской торговли, которая осуществлялась с помощью судов, курсировавших между Красным морем и Индийским океаном. К ним вели караванные пути из Сирии и Египта»[37] и т. д.

Словом, у иудаизма были веские основания стремиться подчинить себе эту страну. И в 517 году Йусуф Зу Нувас (Масрук) — сын принадлежавшего к высшей знати химьярита и еврейки — захватил власть и объявил себя царем[38]. В работе Н. В. Пигулевской приводится его кичливое послание о победе над химьяритами — послание, отправленное союзнику Зу Нуваса — царю государства на границе с Ираном — Хиры (Хирты):

«...я воцарился над всей землей химьяритов... Я убил 280 священников, которых нашел... и я сделал их церковь нашей синагогой. Затем... я отправился в Негран, город в их государстве. Я осаждал его в течение нескольких дней и не взял. Тогда я дал им клятвенное обещание, считая, что не следует быть верным христианам, моим врагам. Я схватил их с тем, чтобы они принесли мне свое золото, серебро и имущество. И они доставили это мне, и я взял это. Я спросил относительно их епископа Павла; они сказали мне, что он умер, но я им не поверил, пока мне не показали его гроб. Смердели его останки, и я сжег их, а также церковь, священников и всех, кого нашел укрывающимися в ней. А прочих я принуждал, чтобы они отреклись от Христа и от креста (речь идет, как ясно из контекста, о химьяритской знати. — В. К.), но они не захотели, ибо они исповедовали, что он Бог и Сын Благословенного, и они избрали для себя смерть ради Него... и я приказал убить всех их знатных. Привели к нам их жен, и мы сказали им, чтобы они отреклись, видя смерть своих мужей за Христа, пожалели бы своих сыновей и дочерей, но они не захотели. Дочери Завета (монахини) стремились, чтобы сначала убили их, но жены знатных разгневались на них и сказали: нам следует умереть после наших мужей. И все они были убиты по нашему приказу, кроме Румы, жены того, кто собирался быть там царем. Мы... убеждали ее, чтобы она отреклась от Христа и осталась жить, жалея своих дочерей, и что она сохранит все, что имеет, если станет иудейкой... я всячески хитростями убеждал ее отречься от Христа, чтобы она только сказала, что Он ч е л о в е к (а не Бог. — В. К.), но она не захотела. Одна же из дочерей выбранила нас за то, что мы это говорили... Я же приказал для устрашения прочих христиан, чтобы распростерли их на земле, и ее дочери были избиты так, что кровь у них пошла изо рта. После этого была отсечена у нее голова». Свидетель этих событий химьяритский христианин сообщил, что в Негране «были убиты 340 знатных»[39], отказавшихся перейти в иудаизм.

Но Иосиф Зу Нувас смог удержаться у власти всего несколько лет. Его беспощадная акция против христиан вызвала широкое возмущение, особенно в соседствующем с Химьяритским царством сильном христианском государстве кушитов, расположенном на нынешней территории Эфиопии. В уже цитированной хронике сообщается: «После того как царь кушитов... узнал о гибели христиан и тирании иудеев, он распалился гневом, взял свои войска и выступил против тирана. Он захватил его, убил его, уничтожил его войска и всех иудеев в земле химьяритов. Он также поставил там царем ревностного христианина по имени Авраам» (цит. соч., с. 128).

Это произошло в 525 году, и нет сомнения, что в огромной тогда общине иудеев сравнительно близкого к Химьяритскому царству Ирана (она была в то время более многочисленной, чем где-либо еще) хорошо знали о событиях в этом царстве. А в конечном счете именно из Ирана (о чем пойдет речь далее) пришли те иудеи, которые сумели подчинить себе Хазарский каганат. И, быть может, именно исходя из знания истории Зу Нуваса, они избрали путь медленного и мирного — по крайней мере, внешне — овладения ключевыми позициями в Каганате.

М. И. Артамонов, чьи слова уже цитировались, утверждал, что жившие в различных местах на территории Каганата иудеи «в качестве грамотных и бывалых людей» смогли «занять важные места», а в конце концов как-то само собой стали верховными правителями. Но, повторю, иудеи жили и занимали «важные места» во множестве стран. В том же Йемене, то есть Химьяритском царстве, сообщает в уже цитированном труде М. Б. Пиотровский, «иудеи жили... по крайней мере со II в. н. э.». Есть «сообщения о частых переездах в Йемен иудейских священников из Тивернады». Наконец, «в Южной Аравии... издавна существовали иудейские торговые колонии, зафиксированные источниками, в частности, во II и IV вв. н. э.» (с. 43 — 44). Итак, казалось бы, в Химьяритском царстве были вполне благоприятные условия для перехода к иудаизму. Тем не менее попытка такого перехода, как мы видели, обернулась жестокой кровавой драмой и быстрым крахом.

Почему же в Хазарском каганате дело пошло иначе? На этот вопрос наиболее убедительно отвечает концепция талантливейшего археолога и историка С. П. Толстова (1907 — 1976), который еще в 1929 году приступил к изучению одного из самых древних и наиболее высокоразвитых государств Средней Азии — Хорезма, — и совершил целый ряд замечательных открытий, получивших мировое признание. Конечно, у С. П. Толстова были выдающиеся

предшественники и учителя — прежде всего В. В. Бартольд (1869 — 1930), К. А. Иностранцев (1876 — 1941; погиб в блокадном Ленинграде), А. Ю. Якубовский (1886 — 1953), но все же подлинное открытие Хорезма принадлежит ему.

Государственность и культура Хорезма (на нижнем течении Аму-Дарьи, вблизи Аральского моря) складываются не позднее VII века до Рождества Христова[40]. Уже в ранний период истории Хорезма создаются величественные памятники архитектуры, вобравшие в себя изваяния и фрески, и технически совершенные системы орошения, возникает оригинальная письменность (не позднее IV века до Р. Хр.) и чеканка собственной монеты (II в. до Р. Хр.).

Обладал Хорезм и военным могуществом; вполне вероятна достоверность предания о том, что сам Александр Македонский, который в 329 году до Р. Хр. вторгся в Среднюю Азию, не завоевал Хорезм, а заключил с ним союз. На протяжении 1500 лет, до VIII века по Р. Хр., Хорезм оставался суверенным государством, хотя и бывали периоды, когда он, сохраняя определенную автономию, входил в состав той или иной крупной державы, в частности, Ирана; кстати сказать, Хорезм населяли тогда восточноиранские племена.

О военной мощи Хорезма ясно свидетельствует тот факт, что хотя «арабские завоевания... шли с неслыханной для всего окружающего мира быстротой», и, вторгшись через Евфрат в Иран в 633 году, уже в 651 году «арабы заняли Хорасан, дойдя до р. Аму-Дарьи»[41] (то есть преодолев более 2000 км), все же захватить Хорезм арабы смогли только через шестьдесят лет, в 712 году, и то в силу очень «благоприятных» обстоятельств.

Первый поход на Хорезм арабы предприняли уже в 651 году[42], известны по меньшей мере два их похода в 670 — 680-х годах, но попытки эти оказались безрезультатными; «падение независимости державы хорезмшахов (таков был титул верховного правителя Хорезма. — В. К.), устоявшей на протяжении полных политическими бурями предшествующих столетий, падает на 712 г.»[43].

Что же произошло тогда в Хорезме?

Впрочем, прежде чем ответить на этот вопрос, целесообразно будет обратиться к читателям со следующим пояснением. Многим, вероятно, могло показаться, что мой рассказ слишком далеко ушел от истории Руси — ушел в страны и события, вроде бы не имеющие прямого отношения к этой истории. Но в действительности события в Хорезме и даже в дальнем Иране имеют глубинную связь с событиями на Руси; выше доказывалось, что в начальный период своей истории (IX — X века) Русь существует непосредственно на тогдашней мировой арене, как бы вбирая в себя ее атмосферу и энергию (что, в частности, ясно выразилось в судьбе и содержании русского эпоса). И не поняв хода вещей на Востоке и особенно в Хорезме накануне становления Руси, мы не сможем сколько-нибудь глубоко осмыслить само это становление.

Дабы проблема стала яснее, сообщу или, может быть, напомню читателям, что само пространство, в котором существовала и действовала Древняя Русь к XI веку, было намного более обширным, нежели позднее — в XII и последующих веках, — вплоть до XVIII века, до времени после Петра I! Так, уже в первой половине X века Русь по существу владела низовьем Днепра и какой-то частью Крыма. Авторитетный исследователь средневековой истории Крыма (Таврики) доказывает, что к середине X века «определенная территория... в Таврике или в непосредственном соседстве с ней... фактически принадлежала Руси»[44] и русские корабли господствовали в северной части Черного моря, которое еще в 943 году арабский географ Масуди определял как «море русов, по которому не плавают другие племена, и они обосновались на одном из его берегов»[45] (между тем лет за шестьдесят до Масуди, как свидетельствует арабский географ Ибн Хордадбех, Черное море называлось «море ал-Хазар»[46]). Название это удержалось до начала XII века, ибо в «Повести временных лет» сказано, что «Днепр втечет в... море жерелом (устьем), еже море словет Русское».

Далее, после похода Святослава на хазар, Руси стали принадлежать Таманский полуостров (где с конца X до начала XII века находилось Тмутороканское княжество Руси) и — правда, на краткий срок — низовья Волги (арабский географ Ибн Хаукаль около 977 года называет Волгу «Нахр ар-рус», то есть Русская река[47]).

Позднее, начиная с XII века, сосредоточившаяся на внутренних делах Русь оставляет эти территории, — притом, явно без особых «сожалений» (в частности, до XV — XVI веков не известны серьезные попытки вернуть себе утраченное). И только в период с конца XVI до конца XVIII века страна постоянно возвращается к своим древним рубежам[48].

Но это значит, что, стремясь понять «героическую эпоху» русской истории (то есть IX — начало XI века), необходимо исследовать взаимоотношения с граничившими тогда с Русью странами — и Византией (вернее, ее крымскими владениями), и кавказскими народами (в частности, абхазами), и тесно связанным с Ираном Хорезмом (чьи пределы простирались подчас до низовьев Волги).

Уместно здесь, забегая вперед, сказать хотя бы совсем коротко об очень существенном значении «иранского компонента» в истории Руси (культура Ирана была воспринята русскими главным образом через посредство Хорезма и, конечно, Хазарского каганата). Так, из шести главных богов языческого пантеона Руси (они названы в летописи в следующем порядке: Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Симаргл, Мокошь) по меньшей мере два — Хорс и Симаргл — заведомо иранского «происхождения», притом Хорс, бог Солнца, был центральным объектом поклонения в домусульманском (то есть до середины VIII века) Хорезме. Вместе с тем Хорс предстает на Руси даже в созданном много позднее, в конце XII века, «Слове о полку Игореве» («Всеслав князь... великому Хорсови волком путь прерыскаше»). С Хорсом связано такое существеннейшее русское слово, как «хороший» (филолог В. Н. Топоров утверждает, что «эта связь представляется несомненной»).

Иранские «влияния» шли на Русь в разные времена и различными дорогами, но, очевидно, наиболее существен тот факт, что в начале IX века часть хорезмийцев, находившихся до этого времени в Хазарском каганате, переселилась, вернее, эмигрировала на Русь (о чем еще будет речь), и поскольку эти переселенцы были носителями очень высокой культуры (и духовной, и

материальной) Хорезма, они смогли оказать весьма значительное воздействие на жизнь Руси[49], — в определенных отношениях более значительное, чем, скажем, норманны-варяги, культура и цивилизованность которых (кроме навыков военно-торгового мореплавания) отнюдь не превосходили русскую; характерно, что Русь, в частности, не восприняла скандинавских богов, а как раз напротив — варяги стали поклоняться восточно-славянским божествам, в том числе и «пришедшим» из Хорезма.

И без осознания существенной роли хорезмийцев в ранней истории Руси мы многого не сможем понять. Именно поэтому поистине необходимо пристально вглядываться в давнюю историю столь, казалось бы, далекого и совершенно чуждого Руси Хорезма...

С. П. Толстов замечательно сказал о существеннейшем изъяне историографии Руси: «...к сожалению, условная граница Европы и Азии, не имеющая ни географического, ни исторического, ни этнографического значения, как-то довлеет (правильнее будет выразиться «тяготеет», ибо «довлеть» — значит «удовлетворять». — В. К.) над нашими умами. Нижнее Поволжье кажется нам лишь каким-то глубоким Hinterland'ом (нем. «тыл». — В. К.) Причерноморья и Европы, за которым лежит таинственная и дикая... степная Азия. Мы забываем, что в нескольких сотнях километров от устьев Волги лежат страны древней среднеазиатской цивилизации... что Каспийское море и степи Устюрта (плато между Каспием и Аралом. — В. К.) с древнейших времен были оживленными путями экономических и политических связей, игравших огромную роль в историческом прошлом народов... Восточной Европы. В нашей литературе, за редкими исключениями (к которым надо отнести замечательные работы В. В. Бартольда и его продолжателя А. Ю. Якубовского), Средняя Азия и Восточная Европа как бы повернуты друг к другу — где-то на Волге — спинами: одна глядит лицом на юг, в арабско-иранский мир, другая — на юго-запад, в мир византийский. Историки византиноведы и русисты, с одной стороны, и ориенталисты — с другой, еще не составляют по-настоящему сомкнутого фронта...»[50].

Эта «программа» понимания истории вливается в евразийскую концепцию развития Руси и, в дальнейшем, России — концепцию, составляющую наиболее глубокую и плодотворную основу русской историософии. Без понимания изначального единства истории западной и восточной, азиатской частей Евразии невозможно понимание самой судьбы России...

С. П. Толстов в целом ряде отношений осуществил выдвинутую им программу преодоления несостоятельного «разрыва» двух регионов, которые в реальной истории пребывают в достаточно тесной взаимосвязи.

К VIII веку Хорезм представлял собой государство с исключительно высокой цивилизацией и культурой. Военное дело и торговля, строительство и разнообразнейшие ремесла, достижения ирригации, которая, помимо прочего, мощно стимулировала развитие естественных наук, и многогранное собственно культурное творчество — все это находилось на высшем для тогдашнего мира уровне. Вполне закономерно, например, что родившийся около 783 года в Хорезме, а около 820 года переехавший в столицу Арабского халифата, Багдад, ученый-энциклопедист Мухаммад ал-Хорезми был крупнейшим деятелем тогдашней мировой науки. Правитель Хорезма являлся единственным в регионе носителем высшего титула «шах» («хорезмшах»).

Востоковед П. Г. Булгаков не так давно подвел определенный итог изучения международных связей Хорезма: «Развитию экономики, культуры и науки Хорезма в значительной мере способствовало положение его крупнейших городов на торговом пути, связывавшем Поволжье и другие земли Европы с Хорасаном, Ираном, центральными и южными областями халифата... ...По берегу Амударьи и по самой реке осуществлялась связь Хорезма с Термезом и другими городами юга Средней Азии, которые, в свою очередь, были связаны с Индией и Китаем. Археологические находки свидетельствуют о наличии торговых связей древнего Хорезма с такими дальними землями, как Египет и эллинистическое Причерноморье»[51].

Словом, Хорезм был одним из узловых пунктов раннесредневековой Евразии. Хорошо известно, что в ту пору «Европу с Востоком связывала торговля, почти всецело находившаяся в руках еврейских купцов»[52] и, как доказывает виднейший швейцарский востоковед Адам Мец, до X века евреи господствовали в торговле Запада и Востока, хотя после этого времени они «уже больше не упоминаются. Подъем мусульманского торгового судоходства вытеснил чужеземных комиссионеров». В труде А. Меца собрано множество фактов о предшествующем господстве евреев в евроазиатской торговле: «..."город евреев" (Йахудийа) в Исфагане был деловым кварталом этой персидской столицы... Один еврей контролировал всю ловлю жемчуга в Персидском заливе... На Востоке их специальностью были также денежные дела... Мы располагаем сведениями о двух евреях-банкирах... Йусуфе ибн Пинхасе и Харуне ибн Имране, у которых в начале X в. везир (то есть второе, после халифа, лицо в арабском государстве. — В. К.) сделал заем в сумме 10 тыс. динаров. Оба они, по всей вероятности, основали фирму, ибо также смещенный в 918 г. везир Ибн ал-Фурат заявил, что он имеет на счету у обоих этих евреев 700 тыс. динаров». Наконец, «основной товар, поставляемый Европой, — рабы — являлся монополией еврейской торговли»[53].

Исходя из всего этого, едва ли возможно оспаривать существенную роль евреев и в ранней торговле Хорезма. Один из виднейших русских востоковедов, К. А. Иностранцев, писал[54]: «Название Хорезм применялось в древности как ко всей области по нижнему течению Аму-Дарьи, так и к главному городу, называвшемуся — по древним арабским географиям — также Кят. В среднеперсидском списке городов Ирана сообщается предание, по которому город Хорезм был основан «Нарсе, сыном еврейки...» Более того, «парсийские ученые Миночихердж и Моди передают это имя: "глава еврейской общины"...» Это «подтверждается сообщением о Хорезме... восходящим, вероятно, к истории Хорезма Бируни (крупнейший ученый-хорезмиец конца X — XI в. — В. К.)... В этом сообщении говорится, что согласно персидским официальным хроникам сасанидского времени (то есть III — VII вв. — В. К.) этой областью... овладел один из родственников сасанидского царя Бахрам-Гура (правил Ираном в 421 — 439 гг. — В. К.), главный начальник персидского войска... Этот персидский военачальник, родственник Бахрам-

Гура, не может быть никто иной, как только Нарсе, брат этого сасанидского царя, сына Иеджирда (иначе, Йездегерд; правил в 399 — 421 гг. — В. К.) и дочери «эксиларха», то есть главы еврейской общины в Персии, и его (Бахрам-Гура. — В. К.) наместник в восточных провинциях Ирана». Перед нами, заключает К. А. Иностранцев, «указание на существование в Хорезме еврейской общины». Добавим, что это мнение допустимо и a priori в виду соседства и тесных связей Хорезма с Хазарией, влиятельное положение в которой еврейской общины является известным историческим фактом»[55].

Стоит заметить, что Нарсе, имея еврейское происхождение по материнской линии, считался «полноценным» евреем и действительно мог быть главой еврейской общины в основанном им городе Хорезме-Кяте (в особенности потому, что его тесть являлся главой еврейской общины всего Ирана)[56]. К VIII веку эта община, естественно, должна была играть немалую роль в Хорезме.

В самом начале VIII века в Хорезме совершается своего рода государственный переворот. Известнейший современный узбекский историк Я. Г. Гулямов говорит о нем следующее: «...в Хорезме, по-видимому, образовалась большая и сильная социальная группировка, возглавляемая Хуразадом (иначе — Хурзад, родственник Чагана — тогдашнего правителя-хорезмшаха. — В. К.) и пользовавшаяся всей полнотой власти, в то время как власть хорезмшаха носила номинальный характер... Вероятно, смысл борьбы хорезмшаха и... Хуразада, опиравшегося на низшие слои дехкан (феодалов. — В. К.) и военнослужилое сословие, заключался в борьбе за власть, которая происходила между отживающим старым дехканством и новой системой». А к этому моменту Арабский халифат уже подчинил себе южную часть Средней Азии и не раз пытался — хотя и тщетно — захватить Хорезм. Крупнейший тогда арабский полководец Кутейба ибн Муслим в 709 г. овладел Бухарой и готовился к походу на Хорезм. Но в это время, оказавшись в безвыходном положении, «хорезмшах Чаган обратился к Кутейбе с жалобой на своего... родственника Хуразада... Кутейба с тысячью конников неожиданно явился к Чагану... Собрав войско, Хуразад принял сражение с Кутейбой, но попал в плен. Убив Хуразада, хорезмшах Чаган обратился к Кутейбе... с просьбой помочь ему расправиться с людьми Хуразада»[57]. В результате Хорезм оказался, наконец, в подчинении у Арабского халифата и, в частности, вынужден был позднее принять мусульманство, — хотя Кутейба поставил у власти (под арабским протекторатом) шаха из хорезмийской династии.

Обратимся теперь к концепции С. П. Толстова. Он прежде всего обратил внимание на сообщение великого ученого-хорезмийца Бируни (973 — 1048), который писал о подавлении переворота в Хорезме, совершенного под руководством Хурзада: «И всеми способами рассеял и уничтожил Кутейба всех... ученых, что были среди них»; эти ученые, отметил С. П. Толстов, «фигурируют под именем хабр (множ. ахбар), а это имя и в древнем, и в современном арабском имеет только одно значение — еврейский ученый, ученый раввин»[58]. Ясно, что эти самые «хабры» играли очень существенную роль в перевороте, совершившемся в Хорезме. В другой работе С. П. Толстов говорит: «Расправа Кутейбы с учеными Хорезма, беспрецедентная для этого этапа истории завоевания Средней Азии и особенно странная в связи с союзом завоевателя с местной, остающейся немусульманской династией, позволяет предполагать наличие союза между мятежными общинами и каким-то слоем местной интеллигенции, являвшейся идеологом движения». А поскольку этой «интеллигенцией» были «хабры», то есть еврейские ученые, именно иудаизм (возможно, по мысли С. П. Толстова, «не вполне "ортодоксальный", приближенный к зороастрийским верованиям самих хорезмийцев») стал «идеологией мощного социального движения, возглавленного Хурзадом... и жестоко подавленного призванными хорезмшахом арабами... И не могло ли арабское завоевание привести к массовой эмиграции хорезмийских юдаистов в Хазарию?.. Хазарско-еврейское предание Кембриджского документа[59], говорящего о воинственных иудеях-изгнанниках, делящих с хазарами боевые труды и в конце концов выдвигающих из своей среды царя-реформатора (утверждающего господство иудаизма в Хазарии. — В. К.), гораздо более вяжется с нашей гипотезой о потерпевших поражение в борьбе с арабами юдаизированных хорезмийцах-повстанцах, чем с гипотезой о еврейских купцах-миссионерах из Причерноморья или Закавказья». И далее об этих «повстанцах»-эмигрантах: «Изгнанные из Хорезма, они, опираясь на хазар, создали «новый Хорезм» на Волге в виде Итиля, может быть, на месте какой-нибудь очень старой хорезмийской колонии или фактории, на месте пересечения трех путей (двух сухопутных и одного морского) из хорезмийских владений в Восточную Европу: на волжский водный путь и на Северный Кавказ, Дон и Черноморье»[60].

Нельзя не сказать еще и о том, что, по убеждению С. П. Толстова, переворот Хурзада в Хорезме был связан с идеологическим наследием знаменитого иранского движения конца V — VI века, вошедшего в историю под названием маздакизма (от имени его вождя — Маздака)[61]. Это было «социалистическое» или «коммунистическое» по своей направленности движение, преследующее цель установления экономического равенства и общности имущества — вплоть до обращения в «коллективную собственность» женщин (поскольку богатая знать владела большими гаремами); в качестве одного из образцов «хилиастического социализма» движение маздакитов характеризуется в известном труде И. Р. Шафаревича[62].

В глазах С. П. Толстова существенное доказательство связи переворота Хурзада с маздакитской «традицией» состояло в том, что, согласно сообщению арабского историка Табари, Хурзад «расправился с хорезмийской знатью, отнимая у нее имущество, скот, девушек, дочерей, сестер и красивых жен»[63] (именно эта последняя «мера» вызвала особенное возмущение у противников маздакитов). С. П. Толстов усматривает определенное единство в целом ряде восстаний и движений «маздакитского» типа VIII — IX веков в данном регионе: помимо хорезмийских событий 712 года, речь идет о движениях Абу Муслима в Мерве (747 г.) и Сумбад-Мига в восточном Иране (с 775 г.), восстании «краснознаменных» в Горгане (с 778 г.; это едва ли ни первое в истории «обретение» красного знамени!), мятежах Муканны (с 770 гг.) в Бухаре и Бабека (с 816 г.) в Азербайджане и так далее.

Хорошо известно, что в «первоначальном» движении самого Маздака большую и очень активную роль сыграла значительная часть иранских иудеев во главе с эксилархом (главой общины) Мар-Зутрой (этот сюжет освещен в ряде исторических исследований)[64]. После разгрома движения маздакитов многие из них, в том числе и иудеи, бежали в Среднюю Азию и отчасти также на Кавказ; именно в потомках этих эмигрантов видят идеологов перечисленных выше движений VIII века Абу Муслима, Муканны, «краснознаменных» и других; притом помимо п о з д н е й ш е г о (IX век) восстания Бабека в Азербайджане, дело идет о движениях именно в С р е д н е й А з и и. И поэтому едва ли прав Л. Н. Гумилев, безоговорочно утверждая, что «уцелевшие маздакиты бежали на Кавказ... Связанные с маздакитским движением евреи тоже удрали на Кавказ... и очутились они на широкой равнине между Тереком и Сулаком»[65] — то есть именно там, где через столетие с лишним сложился иудаистский Хазарский каганат.

Можно, конечно, предположить, что в числе иудеев, которые в конце концов возглавили Хазарский каганат, были и потомки участников маздакитского движения, оказавшихся на Кавказе; однако гораздо достовернее версия об их приходе к хазарам из Средней Азии, где последователи маздакизма проявили себя и раньше, и гораздо более активно, нежели в Кавказском регионе. При этом необходимо отметить, что, встав во главе Каганата, иудеи отнюдь не стремились насаждать маздакитский «коммунизм», который был нужен лишь тогда, когда задача состояла в сокрушении наличной государственной власти, — как в Иране начала VI века или, позднее, в Хорезме начала VIII века. Так, у хазарского кагана, полностью подвластного иудейскому царю-каганбеку, был обширный гарем, и на него никто не покушался...

* * *

Но вернемся к трудам С. П. Толстова. Очевидно, что его мысль о «хорезмийском» происхождении хазарских иудеев в целом ряде отношений гораздо более основательна, нежели та, которая поддержана в трактате М. И. Артамонова (о ней говорилось выше), предполагавщего, что иудеи, жившие на территории Хазарского каганата, как-то само собой, «попросту», оказались у власти.

Но еще важнее другое... Правомерность и, в конце концов, истинность какой-либо гипотезы уясняется в том случае, если она, гипотеза, находит подтверждение в целом ряде фактов, в особенности в «новых» фактах, которые в момент создания гипотезы были вообще неизвестны. И именно такие факты обнаружились за те почти полвека, которые миновали со времени появления первых работ С. П. Толстова.

Но прежде чем говорить об этих фактах, следует сообщить или же напомнить, что гипотеза С. П. Толстова была категорически отвергнута в трактате М. И. Артамонова, вышедшем в 1962 году. Авторитет виднейшего историка хазар побудил как бы начисто забыть об идеях С. П. Толстова. Правда, М. И. Артамонов, без сомнения, справедливо критиковал те или иные отдельные элементы концепции С. П. Толстова. Но главные его нападки едва ли сколько-нибудь убедительны. Так, например, он утверждает, что словом «хабр» «обозначались не только еврейские, но и христианские и зороастрийские священники»[66]. Между тем термин «хабр» имел долгую и вполне однозначную традицию. В сказаниях об утверждении иудаизма в Химьяритском царстве (во многом похожем на Хорезм), о чем уже подробно говорилось, нередко упоминаются хабры. Так, об одном из химьяритских царей сообщается, что он внял «увещаниям двух иудейских священников-хабров...» и «устроил... суд между жрецами-язычниками и хабрами»; или: «прибыв вместе с хабрами в Йемен, Асад решил сделать иудаизм официальной религией страны. Это вызвало недовольство химьяритов; ...они убили его»[67].

Тем не менее, повторю, авторитет Артамонова как хазароведа заставил не считаться с работами Толстова. Только в самое последнее время А. П. Новосельцев несколько «смягчил» отношение к этим работам, заметив об Артамонове, что тот «в принципе правильно полемизируя с теорией... относительно роли Хорезма в этом событии (принятии иудаизма в Хазарии. — В. К.), занял позицию практического отрицания роли хазаро-хорезмийских связей»[68].

Между тем связи эти давно известны и чрезвычайно внушительны. Как сказано в обобщающем труде, «по свидетельству источников, хорезмийцы... играли важную роль в политической и экономической жизни государства хазар... Хорезмийцы сосредоточивали в своих руках командование войсками хазар. 12-тысячная гвардия Хазарии состояла в основном из хорезмийцев. В столице хазар Итиле проживало более 20 тысяч хорезмийцев. Среди них были люди различных профессий — ремесленники, торговцы, чиновники, военнослужащие, представители культуры и искусства»[69].

Наиболее существенно, что данные письменных источников об огромной роли хорезмийцев в Хазарском каганате в самое последнее время были прочно подтверждены а р х е о л о г и ч е с к и м и исследованиями. Так, тщательное изучение остатков хазарских «городищ» на Северном Кавказе привело известного дагестанского археолога М. Г. Магомедова к следующим выводам.

Крепости создавались хазарами в этих местах главным образом в VI — VIII веках (позднее основная деятельность Каганата была перенесена на более северные территории между Волгой и Днепром). М. Г. Магомедов разграничивает три этапа строительных работ хазар на Северном Кавказе в VI — VIII веках, причем «на втором этапе здесь не наблюдается существенных конструктивных изменений в технике строительства... Третий, заключительный строительный период, в отличие от предыдущих, выделяется полной реконструкцией оборонительных сооружений... с применением совершенно новых строительных приемов... Подобная техника кладки стен является чуждой для местных строительных традиций». Так, например, «башни, отделенные от крепостных стен, находят широкое применение в крепостном строительстве Средней Азии, особенно в фортификации Хорезма... не только в общих приемах, но и в отдельных деталях строительства фортификация древней Хазарии тяготеет к среднеазиатским традициям»[70].

Таким образом, «отвергнутая» хазароведением концепция С. П. Толстова, основанная на факте массовой эмиграции из Хорезма в Хазарский каганат в начале VIII века, неожиданно находит очень существенное подтверждение. Особенно важно отметить, что М. Г. Магомедов отнюдь не ставил перед собой задачу «подкрепить» идеи С. П. Толстова; напротив, он утверждает, что «проводниками этих (хорезмийских, или, шире, среднеазиатских. — В. К.) строительных традиций были, очевидно, сами хазары, тесно связанные со среднеазиатским культурным миром еще со времен Западнотюркского каганата» (с. 143). Здесь имеется в виду, что до прихода на Кавказ, то есть до V — VI веков, хазары находились в Средней Азии, поблизости от Хорезма (об этом говорилось выше), и, мол, принесли с собой оттуда тамошние «строительные традиции».

Однако это объяснение не выдерживает критики. Так, ведь сам М. Г. Магомедов показал, что хорезмийско-среднеазиатские «приемы» появляются только на «т р е т ь е м э т а п е» строительства хазарских оборонительных сооружений; следовательно, мы вынуждены полагать, что хазары лет двести не пользовались этими приемами, а затем вдруг решили их «вспомнить» (что совершенно неправдоподобно). Не менее сомнительна и другая сторона проблемы: находясь в Средней Азии, хазары были еще чисто кочевым племенем, и им незачем было овладевать хорезмийскими строительными приемами (они ничего не строили, кроме разборных юрт).

Словом, объяснить тот факт, что в VIII веке хазары вдруг начинают строить «по-хорезмийски», можно именно и только в русле концепции С. П. Толстова о массовой эмиграции из Хорезма в Хазарию после низвержения арабами Хурзада и его сподвижников. Очень характерно, что А. П. Новосельцев в своем труде о хазарах без каких-либо аргументов заявляет: «Сомнителен вывод Магомедова относительно «тяготения строительного дела» в Хазарии к среднеазиатским образцам»[71]. Это нежелание принять вывод археолога обусловлено прежде всего тем, что сей вывод подтверждает «отвергнутые» идеи С. П. Толстова. И в самом деле: давняя гипотеза неожиданно оказывается способной о б ъ я с н и т ь новые (то есть ранее неведомые) факты. Это своего рода торжество гипотезы, становящейся тем самым основательной концепцией.

И А. П. Новосельцев совершенно напрасно говорит о «сомнительности» вывода М. Г. Магомедова. Дело в том, что почти одновременно с последним, но совершенно независимо от него пришел к точно такому же выводу видный археолог Г. Е. Афанасьев, работавший за тысячу километров от М. Г. Магомедова к северу, вблизи Воронежа, на раскопках хазарской крепости IX века около Дона — так называемом Маяцком городище на реке Тихая Сосна.

Отмечая, что, хотя стены крепости были воздвигнуты без фундамента, это «не является признаком слабых строительных знаний», Г. Е. Афанасьев писал: «По наблюдению архитектора В. А. Нильсена в Средней Азии «стены монументальных зданий обычно были такими толстыми, что не было необходимости устраивать фундаменты...». Толщина стен (Маяцкой крепости. — В. К.) была около 6 м... расстояние от угловых башен до ворот... 35 — 45 м. Это как раз то расстояние, которое отделяло одну от другой куртины в Хорезме»[72].

Словом, можно без всяких колебаний полагать, что хазарские крепости (по крайней мере — некоторые) строили в VIII — X веках х о р е з м и й ц ы. И в этом — ключ к тайне могущества и высокой цивилизованности Хазарского каганата.

То, что нам известно о перевороте, совершившемся в начале VIII века под руководством родственника хорезмшаха Хурзада, ясно говорит: этот переворот поддержали значительные и очень активные силы Хорезма. Их непримиримость и к отстраненному от власти хорезмшаху, и, тем более, к ворвавшимся в страну по предательскому зову последнего арабским войскам побудила тех, кто не погиб в схватке, эмигрировать в Хазарский каганат. Связи Хорезма и Каганата, несомненно, существовали и ранее (вспомним, что хазары — по сведениям ал-Хорезми — первоначально кочевали вблизи Хорезма, у Сыр-Дарьи), а кроме того Каганат в начале VIII века вел уже давнюю и достаточно решительную борьбу с теми же самыми арабами, завоевавшими Закавказье. Поэтому хорезмийцы, во-первых, были, конечно же, приняты в Каганате как союзники — враги арабов, а с другой стороны, принесли с собой опыт очень высокой цивилизации — в военном деле, в строительстве (воздвигнутые ими крепости сами говорят за себя), ремеслах, культуре в целом.

Вместе с тем как бы на плечах хорезмийцев в Каганат пришли и иудеи (в том числе те «хабры», которых, по сообщению ал-Бируни, «рассеял» Кутейба); характерно, что вначале они не выделялись из общей массы эмигрантов и даже будто бы отказались от иудаизма: лишь позднее иудеи открыто выдвинули на первый план свою религию и затем встали во главе Каганата.

Окончательный захват арабами Хорезма совершился в 712 году; по-видимому, в том же или в следующем году эмигранты добрались до тогдашнего центра Каганата, то есть до прикаспийской части Северного Кавказа. А решающий шаг к утверждению иудаизма в Каганате был сделан, согласно мнению ряда историков, или уже вскоре, после 731 года, или же — что достовернее — после 764 года.

В так называемом Кембриджском послании некоего хазарского иудея, написанном через два столетия, в 940 — 950-х годах, история эмигрантов из Хорезма освещена, несмотри на дефекты рукописи, достаточно ясно. Правда, начало послания, повествующее о неких врагах, захвативших страну, где жили прежде, до переселения в Каганат, эмигранты, не сохранилось. Далее же сообщается следующее:

«И бежали от них (врагов. — В. К.) наши предки... потому что не могли выносить ига идолопоклонников (в устах иудеев это вполне могли быть арабы-мусульмане. — В. К.). И приняли их к себе... казарские... И они породнились с жителями той страны и... научились делам их. И они всегда выходили вместе с ними на войну и стали одним с ними народом. Только завета обрезания они держались, и некоторые из них соблюдали субботу... И оставались они в таком положении долгое время»[73].

Далее сообщается, что во время очередной войны с арабами «один еврей выказал в тот день необычайную силу мечом и обратил в бегство врагов, напавших на казар. И поставили его люди

казарские, согласно исконному своему обычаю, над собою военачальником» (с. 114). Позднее он и начал утверждать в Каганате иудаизм.

Еврейские источники свидетельствуют, что до определенного времени пришедшие в Каганат иудеи исповедовали свою религию втайне: «...они молились в пещере и... учили своих детей молиться в пещере вечером и утром» (с. 67). Крупнейший иудейский философ конца XI — XII века Иегуда Галеви писал в своей «Хазарской книге», основываясь, как он сам отметил, на бывшей в его распоряжении «хазарской летописи», что «царь и визирь пошли... на пустынные горы у моря (разумеется, Каспийского. — В. К.)... нашли ночью ту пещеру, в которой некоторые из иудеев праздновали каждую субботу... совершили над собой в этой пещере обрезание», а затем вернулись к хазарам, «настойчиво держась иудейской веры, но скрывая в тайне свое верование». Уже впоследствии «они обнаружили свои сокровенные мысли, осилили остальных хазар и заставили тех принять иудейскую веру» (речь идет, конечно, не о хазарском племени вообще, а о высшей знати). Затем они «победили своих врагов и завоевали разные страны» и «многочисленно стало их войско, дойдя до сотен тысяч» (с. 133).

В одном из еврейско-хазарских посланий принявший иудаизм военачальник, сумевший стать вторым лицом в Каганате, назван по имени — Булан, что означает по-тюркски «олень» (воюя вместе с хазарами, он, естественно, получил понятное им имя). По преданию, к Булану явился ангел, призвавший его утвердить иудейскую веру. Булан попросил ангела: «Явись... главному князю их (хазар. — В. К.), и он поможет мне в этом деле» (с. 76). Речь идет, очевидно, о верховном хазарском правителе — кагане; Булан же, после своей блистательной победы, был возведен в сан царя или, иначе (титулы варьируются), шада, бека (каганбека).

Сообщается также, что византийский император и арабский халиф, узнав об утверждении иудаизма в Каганате, отправили туда послов с тем, чтобы побудить хазар отказаться от этой религии; однако Булан сумел противостоять их уговорам.

И еще одна характерная деталь: отец жены Булана, «человек праведный в том поколении, наставил его к пути жизни» (с. 114). Это, конечно, был один из хабров, которые упоминаются и в сообщениях об утверждении иудаизма в V — VI веках в Химьяритском царстве, и в сведениях о свержении арабами Хурзада в Хорезме.

В. В. Бартольд писал в 1922 году, что арабское «хабр» — это «еврейское хабер... — "товарищ"... оно стало употребляться подобно тому, как теперь... употребляют немецкое "Genosse" и русское "товарищ" в смысле "социалист"[74]. Это «хабер-товарищ» словно протягивает прямую нить из VIII в XX-й век...

Но вернемся к Булану и утверждению иудаизма в Каганате. Широко распространена точка зрения, согласно которой Булан стал «царем» и открыто обратился к иудаизму еще в 730 — 731 годах. Но этот вывод исходит из очень шаткого основания. В еврейско-хазарской переписке сообщается, что Булан захватил город Ардвил и забрал оттуда золото и серебро для строительства иудейского храма в Каганате. Вместе с тем из других источников известно, что в 730 — 731 годах хазары захватили город Ардебиль в Закавказье, в так называемой Кавказской Албании. Из сопоставления этих двух фактов делается вывод, что действия Булана относятся именно к этому времени. Между тем в то время Хазарский каганат еще оставался верным союзником Византии (так, в 732 году сын императора взял в жены дочь кагана), и едва ли это было бы возможно, если бы Каганат уже стал иудаистским.

Гораздо более достоверно, что первое открытое обращение к иудаизму в Каганате произошло после 763 — 764 годов, когда хазары, согласно сведениям ряда арабских и армянских источников, еще раз вторглись в Кавказскую Албанию под руководством хорезмийца Астархана (или, иначе, Растархана-Ражтархана)[75], в ряде источников называемого также «царем». «Тархан» означает «благородный, знатный», а также «правитель»; приставка «ас», «рас», «раш» находит разные толкования. Но во всяком случае «Ас(рас)тархан» — это скорее обозначение титула, нежели имя. И, конечно, очень существенно, что речь идет о хорезмийце. В последнее время хорезмийское происхождение Астархана было подвергнуто сомнению[76], но один из лучших современных арабистов, Т.М. Калинина, убедительно отвела эту произвольную версию[77]. Она же, говоря о бесспорных тесных связях Хазарского каганата с Хорезмом в IX веке и позже, отметила, что связи эти восходят «к гораздо более раннему времени»[78], — очевидно, еще к V — VI векам, когда хазары обитали вблизи Хорезма.

Что же касается «хорезмийца Астархана», есть все основания полагать, что он и Булан — одно и то же лицо; просто в одном случае употребляется тюркское имя, которым его называли — возможно, за воинские достоинства (скажем, быстр в атаке, как олень) хазары, а в другом — его начальнический титул, под которым он стал известен арабам и армянам и был запечатлен в их хрониках. Кстати сказать, можно по-разному понимать происхождение Булана-Астархана: он мог быть и хорезмийским евреем, и собственно хорезмийцем, принявшим в конце концов иудаизм и ставшим первым хазарским царем (беком) — иудеем. Вспомним, что принявший иудаизм химьяритский царь был сыном знатного химьярита и еврейки. Что же касается первого иудейского царя Каганата, о нем сказано в Кембриджском послании, что «его склонила на это (принятие иудаизма. — В. К.) жена его по имени Серах (еврейское имя. — В. К.), и она научила его» — с помощью ее отца-хабра[79]. В сочинении Иегуды Галеви, как уже упоминалось, сообщается даже, что только после своего воцарения этот — в будущем иудейский — царь принял иудаизм, а затем «царь и его визирь... тонко, мало по малу... открыли тайну некоторым из своих приближенных людей» (там же, с.133).

Так приоткрывается загадка постепенного «мирного» перехода Каганата к господству иудаизма. Как уже сказано, тот, кого звали Буланом и Астарханом, возможно, был не евреем, а хорезмийцем, женатым на еврейке Серах и в конце концов принявшим иудаизм. В связи с этим становятся ясными и причины высокой цивилизованности Каганата: многие руководящие военные, государственные, деловые должности занимали в нем эмигранты-хорезмийцы — «воспитанники» одной из наиболее высокоразвитых в то время цивилизаций — и их потомки, которым они передали свой опыт.

Окончательная победа иудаизма в Хазарском каганате совершилась при внуке Булана-Астархана — царе Обадии, у которого, по-видимому, еврейкой была не только бабушка (жена Булана Серах), но и мать (жена сына Булана). Он правил в самом конце VIII — начале IX века.

Царь (по-хазарски каганбек) Обадий (или Обадия) утвердил иудаизм в полном объеме: «Он обновил царство и укрепил веру согласно закону и правилу. Он выстроил дома собрания (то есть синагоги) и дома учения (хедеры) и собрал множество мудрецов израильских»[80]. Произошло это скорее всего в самом начале IX века. Но окончательное утверждение иудаизма в качестве государственной религии означало вместе с тем и сосредоточение всей полноты власти в руках Обадия. Из целого ряда источников известно, что и верховный правитель Каганата — тюркский каган — к этому времени принял иудаистскую религию. Но все же при Обадии ему была оставлена только символическая верховная власть, а реальные бразды правления находились с этих пор у «второго лица» в государстве, который именовался «каганбек» или «шад» («ишад»), а по-еврейски — «мэлэх» («царь»).

Наиболее объективный и подробный анализ взаимоотношений кагана, каганбека и т. д. дан в главе «Государственный строй» уже не раз упомянутого труда А. П. Новосельцева «Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа» (М., 1990, с. 134 — 144). Кагану оказывались самые высокие формальные почести (в том числе и каганбеком), но фактически он был превращен, по точному определению А. П. Новосельцева, «в подобие... священного жертвенного животного» (с. 137), и реальная власть целиком перешла к каганбекам — Обадию и его преемникам.

Но после того, как это ясно обнаружилось, в Каганате началось решительное и достаточно резкое сопротивление новому порядку, приведшее к жестокой гражданской войне. С. А. Плетнева доказывает, что те, кто «не принял иудейской религии, объединились против правительства. Вот что написал... спустя 100 лет Константин Порфирородный: «Когда у них произошло отделение от их власти и возгорелась междуусобная война, первая власть одержала верх, и одни из восставших были перебиты, другие убежали и поселились с турками (венграми. — С. П.) в нынешней печенежской земле, заключили взаимную дружбу и получили название »кабаров" ("повстанцев". — В. К.)". Борьба шла беспощадная, в ней гибли... и виднейшие представители иудейской знати. В числе последних были, очевидно, сам Обадия и два его сына: Езекия и Манассия. Только этим можно объяснить тот факт, что после Манассии за неимением прямых наследников власть взял в руки Ханукка — брат Обадии»[81].

С. А. Плетнева исходит из генеалогии иудейских царей Каганата, представленной в «еврейско-хазарской» переписке. Правда, в «пространной» редакции того послания, на котором она основывается, Манассия назван сыном не Обадия, а Езекии; а это означает, что время правления каждого из них было еще более кратким (после смерти Обадия правит его сын Езекия, затем — его внук Манассия, но оба, очевидно, гибнут молодыми, так как после них царем становится еще живущий брат Обадия, Ханукка[82]; Манассия явно «не успел» родить сына, и править пришлось — вопреки порядку престолонаследия в Каганате — брату, а не сыну царя; в дальнейшем же порядок строго соблюдался).

М. И. Артамонов в ходе своих археологических работ обнаружил следы жесточайшей гражданской войны в Каганате. Речь идет о так называемом Правобережном Цимлянском городище — мощной крепости на Дону, полностью разгромленной правителями Каганата. Найденные в ней монеты, относящиеся ко времени не позже 813 года, позволяют датировать эту войну 810 — 820-ми годами: «В жилищах и вне их на дворе Правобережной крепости, — сообщает М. И. Артамонов, — обнаружены скелеты, главным образом, женщин и детей, перебитых врагами, ворвавшимися в крепость, разграбившими и сжегшими находившиеся внутри нее постройки. В некоторых жилищах наблюдались скопления скелетов, возможно, представляющих целые семьи, вырезанные беспощадными победителями»[83].

Выдающийся историк и мыслитель Л. Н. Гумилев говорит о смысле событий: «Эта война была беспощадной, так как, согласно вавилонскому Талмуду, «неиудей, делающий зло иудею, причиняет его самому Господу и... заслуживает смерти»... Для раннего средневековья тотальная война была непривычным новшеством. Полагалось, сломив сопротивление противника, обложить побежденных налогом и повинностями... Но поголовное истребление всех людей, находившихся по ту сторону фронта, было отголоском глубокой древности. Например, при завоевании Ханаана Иисусом Навином (библейский вождь XIII века до Р. Хр., поселивший евреев в Ханаане, то есть Палестине, для чего было полностью уничтожено коренное население. — В. К.) запрещалось брать в плен женщин и детей и оставлять им тем самым жизнь. Даже предписывалось убивать домашних животных, принадлежащих противнику. Обадия возродил забытую древность»[84].

Особенное значение имеет сообщение византийского императора первой половины X века о том, что сумевшие остаться в живых повстанцы — «кабары» — убежали на запад к венграм, которые, по всей вероятности, обитали тогда в причерноморской степи, в районе нижнего течения Днепра (потом — уже в самом конце IX века — под давлением пришедших с Востока печенегов они перешли на территорию современной Венгрии).

С. П. Толстов в своих, уже цитированных, работах доказывает, что среди этих «беглецов» были и потомки хорезмийцев, которые сто лет назад эмигрировали вместе с евреями в Каганат, однако после его полной «иудаизации» оказались в остром конфликте с новыми властителями и ушли на запад, к также ушедшим из Каганата венграм (ранее венгры, по сообщению Константина Багрянородного, воевали «в качестве союзников хазар во всех их войнах»[85]). С. П. Толстов исходил, в частности, из сообщения византийского хрониста XII века Иоанна Киннама о том, что среди венгров даже и в это позднейшее время пребывала некая общность людей «одного вероисповедания с персами»[86], что и присуще было хорезмийцам (до их обращения в течение VIII века в мусульманство), — и как иранскому народу, и как воспреемникам культуры Ирана.

Но повстанцы-кабары, по-видимому, ушли из Каганата не только в низовья Днепра, к венграм, но и в более северные земли — то есть на Русь. И это имеет свое весьма существенное значение для истории Руси. В последнее время появился ряд работ, где исследуется «присутствие» хорезмийцев в Киеве IX — X веков. Нет ничего удивительного в том, что эти носители высшей по тогдашним временам цивилизации нашли свое место в жизни и культуре Руси. Но к этому мы еще вернемся.

Уход из Каганата венгров и хорезмийцев (или, по крайней мере, какой-то части последних) сам по себе уже свидетельствует об остроте той гражданской войны, которая разразилась здесь в начале IX века. Но сопротивление было все же подавлено новой властью. И Каганат по-прежнему включал в себя очень значительные массы населения — и самих хазар, и алан, и болгар, и ряд других племен.

Но уход хорезмийцев, которые являлись первоклассными по тем временам воинами и, до утверждения окончательного господства иудаизма, верными гражданами, был слишком большой потерей для Каганата. И через какое-то время новая власть, опираясь, конечно, на давние связи с Хорезмом, сумела привлечь оттуда в Каганат целое воинство, ставшее основой ее безопасности. Это была н а е м н а я гвардия, состоявшая, согласно разновременным источникам, из 7 — 12 тысяч отборных кавалеристов, которые жили в Итиле вместе с семьями. Важно знать, что это были уже иные хорезмийцы — м у с у л ь м а н е, ибо к середине VIII века Хорезм, завоеванный в 712 году арабами, принял ислам (так, хорезмшах, правивший во второй половине VIII века, имел уже мусульманское имя Абдаллах[87]; начальник наемной гвардии Каганата в первой трети X века звался Ахмад[88]).

Знаменитый арабский географ и историк Масуди писал в 943 году о наемных воинах Каганата: «...они являются переселенцами из окрестностей Хорезма. В давние времена (по-видимому, за столетие до создания сочинения Масуди. — В. К.)... они переселились к хазарскому царю. Они доблестны и храбры и служат опорой царя в его войнах. Они остались в его владениях на определенных условиях, одним из которых было то, что они будут открыто исповедовать свою веру (ислам. — В. К.)... также, что должность царского визира будет сохраняться за ними... также то, что когда у царя будет война с мусульманами, они... не будут сражаться, но что они будут сражаться вместе с царем против других врагов...». Они «садятся на коня вместе с царем, вооруженные луками, облаченные в панцыри, шлемы и кольчуги. Среди них имеются и копейщики... Среди восточных царей этих стран только хазарский царь имеет войска, получающие жалованье»[89].

Плата наемной гвардии (в то время, как сказано, уникальной на Востоке) обеспечивалась, в частности, высокими пошлинами на провозимые через Итиль товары. Гвардия, что ясно из рассказа Масуди, имела немалые права, но в то же время к ней предъявлялись самые что ни на есть жесткие требования. Об этом рассказал арабский путешественник Ибн-Фадлан, побывавший в Итиле в тот же период — в 923 году. Он писал, что если царь «отправит в поход отряд, то отряд не убегает вспять никоим образом, а если он обратится в бегство, то предается смерти всякий, кто из этого отряда возвратится к царю»[90]. Таким образом, высокое жалованье давалось, в сущности, за самую жизнь воина...

С. А. Плетнева утверждает, что эту наемную гвардию из хорезмийских мусульман правители Каганата «использовали для борьбы с возвышающейся с каждым годом на западе Русью и христианизирующейся Аланией» (цит. соч., с. 67). Здесь необходимо только уточнить, что гвардию едва ли отправляли непосредственно на Русь, в столь далекие от Итиля земли (до Киева — более 1300 км). Гвардия должна была прежде всего охранять правительство, и она вступала в борьбу с русским воинством только тогда, когда оно приближалось к Итилю (ряд достовернейших фактов этого рода зафиксирован в арабских источниках).

Военные операции против Руси осуществляло, очевидно, то алано-болгарское воинство, которое располагалось в подробно охарактеризованном выше огромном военно-хозяйственном лагере в междуречье Дона, Северского Донца и Днепра, — то есть на пограничье Каганата и Руси. Узловыми точками этих военных поселений были описанные выше мощные крепости (их открыто к настоящему времени более десятка); вокруг крепостей, как показали археологические исследования, размещались сотни и тысячи юрт, полуземлянок и наземных домов для воинов и их семей.

Характерно, что внутри каждой из этих крепостей сохранились следы всего нескольких жилищ. Исследуя одну из таких крепостей, С. А. Плетнева отмечает, что, помимо нее, была «еще одна линия обороны — земляная (с ровиком). Причем на этой значительно слабее укрепленной площадке люди селились и строились. Какой в этом был смысл? Почему они не ставили свои жилища в каменной крепости?.. хватило бы места для всех. Очевидно, для того чтобы жить в каменной крепости, нужно было иметь на это особое право. А этого права у людей, живших вокруг, не было»[91]. Как выяснено в другой работе С. А. Плетневой, дело здесь не только в «праве». Характеризуя рисунки и знаки, прочерченные тысячу сто лет назад на камнях одной из хазарских крепостей охранявшими ее воинами, С. А. Плетнева пишет, что «подавляющее большинство знаков нанесено на внешнем панцире стены... именно вдоль стены с внешней стороны и у ворот постоянно несли караул воины, которые, сидя (на высоте второго-третьего ряда) или стоя (шестого-седьмого ряда), чертили и рисовали на стене»[92].

Стража обычно располагается главным образом внутри крепости; здесь же выясняется, что ее не впускают в крепость... С. А. Плетнева, в сущности, объяснила причину этого, заметив, что «согласно догмам иудаизма — узкой, сугубо национальной религии, — иноплеменники не могут быть истинными иудеями... Следовательно, новая религия не объединила, а наоборот разъединила»[93]... И крепости строились для защиты иудейских начальников не только от «внешних», но и вероятных «внутренних» врагов, — то есть собственных воинов...

Казалось бы, при таком положении дел власть в Каганате должна была быть слишком ненадежной и слабой. Но все обстояло сложнее. Во-первых, прочной опорой иудейской власти была наемная хорезмийская гвардия. С другой стороны, правители Каганата чрезвычайно умело

использовали тот или иной из подвластных им народов в борьбе с другими. Это очевидно уже хотя бы из еврейско-хазарской переписки, где сообщается, например, что в конце IX или начале X века против правителей Каганата начали войну гузы, «черные болгары» и печенеги, но тогдашний хазарский царь призвал на защиту могучее войско алан, разгромившее этих врагов. Однако тут же сообщается, что всего через два-три десятилетия, напротив, как раз «царь аланский» начал войну против правителей Каганата, и тогда царь «Аарон нанял против него (царя аланского. — В. К.) царя турок»[94], — как убедительно доказывает А. П. Новосельцев, речь идет о печенегах[95].

Вообще-то эта тактика использования того или иного народа для борьбы с враждебным в данный момент другим народом характерна для государственной политики той эпохи; именно так поступали тогда и византийские императоры. «Своеобразие» Хазарского каганата заключается в данном аспекте в том, что здесь дело шло о борьбе не столько с в н е ш н и м и, сколько с в н у т р е н н и м и врагами, ибо, например, аланы, болгары, гузы и печенеги так или иначе входили в зону власти Каганата. То есть, говоря попросту, правители Каганата, сталкиваясь с неповиновением какого-либо из подвластных им народов, «натравливали» на него другой народ, — и это было основой всей государственной политики.

Так, в борьбе с Русью Каганат использовал поселенных у ее границ алан, болгар, а также венгров (которые в IX веке обитали в Причерноморье между Днепром и Доном), печенегов и, по всей вероятности, даже и восточнославянские племена древлян и уличей. А. П. Новосельцев показывает, что предводитель венгров Алмуш, который «жил, по данным Константина (Багрянородного. — В. К.) во второй половине IX в., ...воевал с русами и осаждал Киев»; при этом венгры исполняли повеление «их сюзерена — Хазарии» (цит. соч., с. 209). Далее, в Новгородской летописи, напоминает историк, «упомянуты войны Аскольда с древлянами и уличами. Если вспомнить, что древляне прежде «обижали» полян, а уличи в эту пору должны были находиться в зависимости от венгров, т. е. и от хазар, то события эти легко объясняются теми же притязаниями Каганата на Полянскую (то есть Киевскую. — В. К.) землю. Еще более любопытны сведения поздних летописей об избиении Аскольдом и Диром печенегов... и гибели сына Аскольда в войне с болгарами. Печенегов в эту пору в Поднепровье не было, и, скорее всего, под ними подразумеваются хазары и венгры. Болгары же — это явно те самые черные булгары, что обитали и в низовьях Днепра, и к востоку от него на Дону и по его притокам. А они в то время зависели от хазар. Эти факты, — подводит итог историк, — дают ключ к выяснению сложного процесса объединения восточных славян, прежде всего вдоль пути «из варяг в греки», в раннее Древнерусское государство, для которого на первом этапе его существования главным был не византийский, а хазарский вопрос» (с. 210).

А. П. Новосельцев четко и плодотворно разграничивает также варяжский и хазарский «вопросы» в истории Руси: «Конечно, — пишет он, — и варяги были пришельцами для славян, которые, по летописи, их то призывали, то изгоняли. Но в отличие от хазар, просто захватывавших славянские земли, варяги появлялись не как завоеватели, а скорее как союзники местной знати в борьбе «племен» друг с другом и теми же хазарами. В этом коренное отличие роли скандинавов-варягов от хазар. В борьбе с последними (а хазары из земель радимичей и вятичей угрожали и северным землям славян и финнов) скандинавские дружины и их предводители утверждались в славянских землях. Можно предположить, что их успехи в этом отношении... привели к тому, что хазары (точнее — иудейские властители Каганата. — В. К.) направили на Полянскую землю венгров... ПВЛ («Повесть временных лет». — В. К.) об этом молчит. Но арабские источники для середины второй половины IX в. пишут о постоянных набегах венгров на славян» (цит. соч., с. 208 — 209)[96].

В этих суждениях современного историка нуждается, пожалуй, в уточнении одна сторона дела — «византийский вопрос». Во-первых, как сообщается в летописи — а у нас нет оснований не доверять этому сообщению, — уже первый южнорусский князь Кий в конце VIII — начале IX века побывал в Царьграде — Константинополе, а в 838 году, по совершенно достоверному германскому известию, туда явились послы правителя Северной Руси — русского «кагана» (явно противопоставившего себя хазарскому кагану, который, подчинив южную Русь, «угрожал» и северной). Тогдашнее острое противостояние Византии и Хазарского каганата было очевидным фактом, и русское тяготение к Константинополю не могло не означать поисков союза с христианской Империей.

Войско Каганата, по всей вероятности, захватило Киев в период между двумя вышеуказанными посольствами Руси (об этом уже шла речь), и связь «хазарского» и «византийского» вопросов наметилась, таким образом, уже на самом раннем этапе истории русской государственности. К середине IX века в Киев пришел с севера (как говорилось выше, посланный, по-видимому, Рюриком по просьбе киевлян) Аскольд, который начал войну с хазарами. Но поскольку явившийся впоследствии в Киев и свергнувший Аскольда Олег снова должен был воевать с хазарами, естественно сделать вывод, что Аскольд в своих войнах потерпел поражение и стал вассалом и данником Каганата.

Окончание следует.

---

[1] Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. — СПб, 1992, с. 23, 25.

[2] D u n l o p D. M. The History of the Jewish Khasar. — Priceto, 1954, p. X; Golden P. Khasar Studies. — Budapest, 1980, vol. I, p. 14.

[3] П л е т н е в а С. А. Хазары. — М., 1986, с. 40.

[4] Новосельцев А. П. Хазария в системе международных отношений VII — IX веков. — «Вопросы истории», 1987, 2, с. 25.

[5] См. обо всем этом в уже не раз цитированных трактатах М. И. Артамонова (с. 241 — 242) и А. П. Новосельцева (с. 189 — 192).

[6] Новосельцев А. П., цит. соч., с. 129 — 130.

[7] Магомедов М. Г. Образование Хазарского каганата, с. 59.

[8] Мухаммед ибн Муса ал-Хорезми. К 1200-летию со дня рождения. — М., 1983, с. 168.

[9] См. об этом: Лубо-Лесниченко Е. И. Великий «шелковый» путь. — «Вопросы истории», 1985, 9, с. 88 — 100; Иерусалимская А. А. «Великий шелковый путь» и Северный Кавказ. — Л., 1972.

[10] Плетнева С. А. На славяно-хазарском пограничье... с. 280, 281.

[11] Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. — М., 1966, с. 197.

[12] Михеев В. К. Подонье в составе Хазарского каганата. — Харьков, 1985, с. 89 — 90.

[13] Сами русские слова «сабля» и «кистень» — ранние (IX — X века) заимствования из тюркских языков.

[14] Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа IV — X вв. — Л., 1979, с. 120.

[15] Обзор политической истории хазаров. Сочинение В. Григорьева. — СПб, 1835, с. 19.

[16] Новосельцев А. П. Хазарское государство, с. 54.

[17] Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. — М., 1989.

[18] Между прочим, Л. Н. Гумилев, размышляя об очень скудных сведениях о борьбе с Хазарским каганатом в «Повести временных лет», пришел к выводу, что при князе Святополке II (когда и составлялась «Повесть») действовала своя «цензура». Ведь Святополк, писал Л. Н. Гумилев, «разрешил пребывание в Киеве еврейской общины, конечно, за большую плату. Нестор, видя это, счел за благо хазарскую проблему в летописи не обострять» ("Русская литература", 1974, 3, с. 173).

[19] См., например, в кн.: Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX — X вв. — М., 1962, с. 163 — 164.

[20] См. об этом: Козлов В. И. Динамика численности народов. — М., 1969.

[21] См., например, работу видного чешского историка: Klima Otakar. Mazdak und die Juden. — «Archiv Orientalni», Praha, 1956, XXIV, s. 420.

[22] Цит. по кн.: Берлин И. Исторические судьбы еврейского народа на территории Русского государства. — Пб, 1919, с. 79.

[23] Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX — X вв. — М., 1962, с. 162.

[24] Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. — М. — Л., 1939, с. 85 — 86.

[25] Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда X — XI веков. — М., 1963, с. 195.

[26] Там же, с. 193.

[27] Звенья. Исторический альманах. Выпуск I. — М., 1991, с. 204, 209.

[28] Там же, с. 209.

[29] «Вопросы истории», 1989, 5, с. 128.

[30] Звенья, с. 215.

[31] «Вопросы истории», 1989, 5, с. 128.

[32] Звенья, с. 214.

[33] Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков. — М. — Л., 1946, с. 263.

[34] Гадло А. В. Византийские свидетельства о Зихской епархии как источник по истории Северо-Восточного Причерноморья. — В кн.: Из истории Византии и византиноведения. — Л., 1991, с. 104.

[35] Пиотровский М. Б. Предание о химйаритском царе Асаде-ал-Камиле. — М., 1977, с. 42.

[36] Беляев Е. А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. — М., 1965, с. 61.

[37] Грюнебаум Г. Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600 — 1258). — М., 1988, с. 14.

[38] См.: Кобищанов Ю. М. Северо-Восточная Африка в раннесредневековом мире (VI — середина VII в.). — М., 1980, с. 16.

[39] Пигулевская Н. В. Ближний Восток. Византия. Славяне. — Л., 1976, с. 120, 122 — 123, 124.

[40] Так обозначали рубеж новой эры наши предки, и вполне уместно вернуться к «Р. Хр.».

[41] Пигулевская Н. В., Якубовский А. Я., Петрушевский И. Г. и др. (см. История Ирана с древнейших времен до конца 18 века. — Л., 1958, с. 87, 89).

[42] Колесников А. И. Завоевание Ирана арабами (Иран при праведных халифах). — Л., 1982, с. 145.

[43] Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. — М., 1948, с. 223.

[44] Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. — М. — Л., 1959, с. 57.

[45] Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда X — XI вв. — М., 1963, с. 196.

[46] Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. — Баку, 1986, с. 125, 279.

[47] См.: Новосельцев А. П. Хазарское государство..., с. 115, 159.

[48] Обращу внимание в связи с этим на выразительнейший факт: преобладает представление, что русский флот был впервые создан Петром I; между тем в X в. именно русский флот (в техническом отношении, разумеется, соответствовавший тому времени) господствовал на Черном и Каспийском морях; позднее же, после обращения Руси к «внутренним» делам, он как бы стал ненужным, — вплоть до Петровых времен.

[49] См. об этом, например, в работе (где указана и основная литература по данной теме): Топоров В. Н. Об иранском элементе в русской духовной культуре. — В кн.: Славянский и балканский фольклор, реконструкция древней славянской культуры: источники и методы, 1989, с. 23 — 60.

[50] Толстов С. П. Новогодний праздник «каландас» у хорезмийских христиан начала XI века (в связи с историей хорезмийско-хазарских отношений). — «Советская этнография», 1946, 2, с. 107. (Разрядка моя. — В. К.)

[51] Булгаков П. Г., Розенфельд Б. А., Ахмедов А. А. Мухаммад ал-Хорезми. Около 783 — около 858. — М., 1983, с. 13 — 14.

[52] Беляев Е. А. Арабы, Ислам и Арабский халифат... — М., 1965, с. 238.

[53] Мец Адам. Мусульманский Ренессанс. — М., 1966, с. 366, 371, 367.

[54] Опираясь, в частности, на работу английского ираниста Л. Грея «Евреи в пахлавийской литературе» (1905).

[55] Иностранцев К. О домусульманской культуре Хивинского оазиса. — «Журнал Министерства народного просвещения», ч. XXXI, 1911, февраль, отд. 2, с. 291 — 292.

[56] К этому необходимо добавить, что после прихода к власти брата Нарсе, шаха Бахрам-Гура, «христиане Ирана стали подвергаться жестоким преследованиям... Вскоре разгорелась война между Ираном и Византией — естественный результат политической линии» (Дьяконов М. М. Очерк истории Древнего Ирана. — М., 1961, с. 273).

[57] История Хорезма с древнейших времен до наших дней. — Ташкент, 1976, с. 52.

[58] Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. — М., 1948, с. 7, 225.

[59] Имеется в виду обнаруженное в начале XX века в рукописном отделе библиотеки Кембриджского университета послание хазарского иудея (см. текст в кн.: Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. — Л., 1932, с. 113 — 116).

[60] Толстов С. П. Новогодний праздник «каландас» у хорезмийских христиан начала XI века (в связи с историей хорезмийско-хазарских отношений). Из историко-этнографических комментариев к ал-Бируни. — «Советская этнография», 1946, 2, с. 95, 97 — 98, 102.

[61] См. главу «Маздакитское движение» в кн.: Пигулевская Н. В. Города Ирана в раннем средневековье. — М. — Л., 1956, с. 278 — 316.

[62] Шафаревич И. Социализм как явление мировой истории. — В его кн.: Есть ли у России будущее? — М., 1991, с. 31.

[63] Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. — М. — Л., 1948, с. 223 — 224. Разрядка С. П. Толстова.

[64] См. основные сведения и литературу в кн.: Дьяконов М. М. Очерк истории Древнего Ирана. — М., 1961, с. 304 — 309, 410 — 411.

[65] Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. — М., 1989, с. 113.

[66] Артамонов М. И. История хазар. — М., 1962, с. 284.

[67] Пиотровский М. Б. Предание о химйаритском царе Асаде ал-Камиле. — М., 1977, с. 54, 78.

[68] Новосельцев А. П. Хазарское государство... М., 1990, с. 55.

[69] История Хорезма... — Ташкент, 1976, с. 117.

[70] Магомедов М. Г. Образование Хазарского каганата. — М., 1983, с. 127, 128, 140, 142.

[71] Там же, с. 140, 142.

[72] Афанасьев Г. Е. Исследования южного угла Маяцкой крепости. — В кн.: Маяцкое городище... — М., 1984, с. 46 — 47, 49, 50.

[73] Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. — Л., 1932, с. 113 — 114.

[74] Бартольд В. В. Сочинения, т. II, ч. I. — М., 1963, с. 219 — 220. Отметим, что здесь же ученый выражает сомнение в том, что в Хорезме была в VIII веке большая еврейская община, ибо позднее там, в отличие, например, от Бухары ("бухарские евреи") не осталось следов иудаизма. Однако отсутствие этих следов на деле как раз подтверждает концепцию о повальной эмиграции евреев из Хорезма в VIII веке; иначе просто непонятно было бы, почему в славившемся своей торговлей Хорезме, находящемся не столь далеко от Бухары, евреев не стало.

[75] См. об этом. Артамонов М. И. История хазар, с. 244; Новосельцев А. П. Хазарское государство..., с. 119.

[76] См.: Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми. К 1200-летию со дня рождения. — М., 1983, с. 247.

[77] Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата. Тексты. Переводы. Комментарий. — М., 1988, с. 12.

[78] Она же. Сведения ал-Хорезми о Восточной Европе и Средней Азии. — В кн.: Древнейшие государства на территории СССР. 1983. — М., 1984, с. 184.

[79] Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. — Л., 1932, с. 114.

[80] Там же, с. 30.

[81] Плетнева С. А. Хазары. — М., 1986, с. 64.

[82] Имя его, конечно, связано с праздником (в память возобновления богослужений в иерусалимском храме в 165 году), который через почти 1200 лет, в 1991 году, иудеи сумели отметить в Московском Кремле, вызвав недоумение и возмущение многих христиан.

[83] Артамонов М. И. История хазар, с. 321.

[84] Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. — М., 1989, с. 141.

[85] Константин Багрянородный. Об управлении империей. — М., 1989, с. 159.

[86] Толстов С. П. Новогодний праздник «каландас» у хорезмийских христиан начала XI века. — «Советская этнография», 1946, вып. 2, с. 96.

[87] См.: Вайнберг Б. И. Монеты Древнего Хорезма. — М., 1977, с. 81; эта исследовательница нумизматики на основе своего материала выявила достоверную хорезмийскую хронологию.

[88] Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда. — М., 1963, с. 194.

[89] Там же, с. 193 — 194.

[90] Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. — М. — Л., 1939, с. 85.

[91] Плетнева С. А. На славяно-хазарском пограничье. — М., 1989, с. 24.

[92] Плетнева С. А. Рисунки на стенах Маяцкого городища. — В кн.: Маяцкое городище. Труды советско-болгарско-венгерской экспедиции. — М., 1984, с. 59.

[93] Плетнева С. А. Хазары. — М., 1986, с. 63.

[94] Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка, с. 116 — 117.

[95] Новосельцев А. П. Хазарское государство..., с. 194 — 196.

[96] Арабские сообщения об этом собраны в кн.: Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Том II. Булгары, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы, славяне. — М., 1967, с. 55 — 56.

ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

Россия: попытка самопознания

СТАТЬЯ IV

ИЗМЕНА

ВСТАРИНУ это слово обжигало, как пылающая головня. Эстафеты мчали его по стране, оно падало посреди царских палат — и занимались стены, рушились балки, горели города. Выступали войска: турки устремлялись на соединение с мятежным гетманом Дорошенко, а из левобережных крепостей выходила московская рать боярина Ромодановского.

В наше время все проще и пошлее. Нынешним летом украинские газеты сообщили, что переселенец из Галиции В. Черновил, объявленный «гетманом» упраздненного два века назад украинского казачества, вместе с другими самозванцами подписал «грамоту», в которой отменяется присяга на верность нашим душителям».

Корреспондент «Литературной Украины» захлебывается от восторга: «В святое воскресеньице года Божьего 92, месяца июня, дня 21, наши казаки нарушили патриархальный покой до недавнего тихого Переяславля выстрелами старинных пушек. Полковые, сотенные, куренные и кошевые казаки всей Украины торжественно отреклись от присяги, доверчиво данной их предками на этой же площади русскому царю» (25.06.1992).

В отличие от рупора письменников другие издания сдержанно сообщили о происшедшем. Еще бы, отказ от вековых обязательств — деяние не слишком достойное, с какой стороны, из какой столицы на него ни посмотреть. Говоря проще — это измена. И, конечно же, энтузиазм, порожденный ею в рядах украинских литераторов, — один из курьезов нашего безумного и безнравственного времени.

И все же переяславское отречение выделяется на фоне других деклараций, выражающих сегодняшнее отношение к истории в республиках бывшего Союза. Откровенная измена все-таки лучше, чем бездумное предательство древних связей, беспамятство, наблюдаемое повсеместно. В первом случае перед нами историческое деяние, выпадающее из рамок морали. Во втором — амнезия, болезнь. Существование вне истории и вне морали, кажется, вообще за границами человеческого общежития.

Этот сон разума порою озаряется красочными грезами о временах баснословного величия. Их яркие отсветы играют на страницах «научно-публицистических» изданий. «Украина — прародина индоевропейцев», — утверждает одно из них ("Националист", №1, 1992). Можно и позатейливее — авторы учебника «История Латвии» (Рига, 1990) предлагают школьникам поразмышлять: «Были их предками фракийцы? Являлся ли Спартак, который стал вождем восстания рабов в Риме, выходцем из племен балтов? А может быть, предками балтов были древние урарты, финикийцы — первые создатели письменности, первые мореплаватели на восточном побережье Средиземного моря? А может быть, родина балтов — Индия?»

Исторические грезы отливаются в металле. В центре Кишинева появилась копия знаменитой римской волчицы — символ преемственной связи с империей ромеев. Кто может сказать, не заявит ли Молдавия претензии не только на истерзанное Приднестровье, но и на Италию, а заодно и на пол-Европы, покорившейся когда-то Древнему Риму?

Там, где не хватает дерзких ассоциаций, в избытке превосходные эпитеты для самохарактеристик. Тысячные толпы в Тбилиси движутся, скандируя: «Квэлазе каргия» или просто «Квэлазе-квэлазе» («Самые лучшие», «Самые-самые»).

Кто осудит этих несчастных (разумеется, отвечать за конкретные преступления придется)? Сон безотчетен по своей природе. На Страшном суде, на грядущем трибунале народов, обозначится он мучительным зияньем, пробелом существования.

Сознательная измена по крайней мере предполагает спрос и отчет. Была присяга? Была! Отреклись? — Да! А не вечной ли верностью клялись? — Вечной...

Напомню ту давнюю клятву в Переяславле — в январе 1994 года исполнится 340 лет с тех пор, как она была принесена. Не ряженый гетман из униатской Галиции, — грозный и мудрый Богдан обратился к громаде: «Господа полковники, асаулы, сотники, все войско Запорожское! Бог освободил нас из рук врагов нашего восточного православия, хотевших искоренить нас так, что и имя русское не упоминалось в нашей земле. Но нам нельзя более жить без государя. Мы собрали сегодня явную всему народу раду, чтоб вы избрали из четырех государей себе государя. Первый — царь турецкий, который много раз

призывал нас под свою власть; второй — хан крымский; третий — король польский; четвертый — православный Великой Руси, царь восточный. Турецкий царь бусурман, и сами знаете, какое утеснение терпят братия наши христиане от неверных. Крымский хан тоже бусурман. Мы по нужде свели было с ним дружбу и через то приняли нестерпимые беды, пленение и нещадное пролитие христианской крови. Об утеснениях от польских панов и вспоминать ненадобно: сами знаете, что они почитали жида и собаку лучше нашего брата христианина. А православный христианский царь восточный одного с нами греческого благочестия; мы с православием Великой Руси единое тело церкви, имущее главою Иисуса Христа. Этот великий царь христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в Малой Руси, не презрел наших шестилетних молений, склонил к нам свое милостивое царское сердце и прислал к нам ближних людей с царской милостью. Возлюбим его с усердием. Кроме царской высокой руки, мы не найдем благоотишнейшаго пристанища...»

Запечатлевший эту сцену историк Николай Костомаров передал реакцию народа, собравшегося на раду: «Раздались восклицания: «Во́лим под царя восточного! Лучше нам умереть в нашей благочестивой вере, нежели доставаться ненавистнику Христову, поганому».

Тогда переяславский полковник начал обходить казаков и спрашивал:

— Все ли тако соизволяете?

— Все! — отвечали казаки.

«Боже, утверди, Боже, укрепи, чтоб мы навеки были едино!»

Как ни горестно крушение этого вечного союза, публичная измена всенародно данной клятве может иметь и положительное значение. Если наконец привлечет внимание общества к насилиям, которые «самостийные» правители ежедневно совершают над историей собственных народов. Потрясет нас осознанием того, что рушат вечное — судьбу многих поколений. Рушат нерушимое, без чего жизнь нации будет неполна и несовершенна.

Событие в Переяславле, быть может, помимо воли его участников напомнило народам бывшего СССР о необходимости объясниться с собственной историей. Не на языке команд, а на единственно понятном ей языке фактов.

Пришла пора сделать то, на что не отважились профессиональные историки, хотя политики еще два-три года назад настоятельно просили их об этом: опубликовать или хотя бы процитировать договоры о вхождении в состав России сопредельных с нею земель. Собственно, тут нет никакой тайны. Тексты публиковались в пятидесятые годы в многотомных исторических сборниках. Да только кто же читает такие сборники? И кто — во всяком случае сейчас — помнит о прочитанном день назад, не говорю уж о четырех десятках лет...

Поголовное историческое невежество несказанно облегчило работу самостийникам-экстремистам в республиках. Оно же побудило русское общество с сочувствием наблюдать за все более настойчивыми попытками разных «народных фронтов» сбросить власть центра. Демонстрации прибалтов в Москве в 90 — 91-м годах сразу же обрастали сотнями сочувствующих!

И когда власть центра рухнула — сколько людей (не только в Таллинне и Киеве, — в Москве и Новосибирске) вздохнули с облегчением: наконец-то! Говорю не о ненавистниках крепкого Российского государства. О миллионах обывателей, искренне убежденных, что власть эта была несправедливо, насильственно навязана окружающим народам.

Вздор! Архивы России переполнены просьбами соседей о присоединении. «Милости просят со многим слезным челобитьем», — как было сказано в решении Земского собора 1653 года о воссоединении Украины с Россией. «И как де уповают будущаго века, так де уповают от великого его царствия милость получити», — перелагали толмачи грамоту царя Мегрелии Леона «ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу».

Эта просьба одного из грузинских властителей к русскому царю принять его народ «под свою царскую высокую руку, чтоб им всегда быти под его царского величества рукою и служить бы им царствию его, яко и иные рабы его государевы», относится к 1638 году. Однако она была не первой! В 1635 году с той же целью послал в Москву послов царь Кахетии Теймураз. С тех пор подобные просьбы звучали из уст различных грузинских властителей много раз — в 1650-м (снова Теймураз), в 1713-м (Арчил II), в 1752-м (Теймураз II и его сын Ираклий II), в 1773-м (Ираклий II), в 1800-м (Георгий XII).

Более полутора веков Грузия с мольбой взывала к России. Откликаясь на эти призывы, русские цари посылали войска для защиты христианских братьев от «безбожных агарян». Однако под давлением обстоятельств экспедиционные силы приходилось выводить в Россию. В 1773 году после ухода русских Ираклий II писал Панину, что расставание похоже было на «разлучение души от тела».

Наконец в 1800 году Грузия была принята в состав Империи. «Монархи российские великодушно простерли ей руки помощи», — писал Александр Чавчавадзе об этом событии.

Еще дольше о присоединении к России просила Молдавия. Два с половиной века! В 1533 году послы господаря Петра Рареша били челом, «чтобы его великий государь жаловал и берег от короля польского и великого князя литовского».

Столетие спустя, в 1656 году, господарь Георгий Стефан вновь просил о принятии Молдавии в русское подданство. Алексей Михайлович изъявил царскую милость, и 15 марта в Успенском соборе Кремля личный представитель господаря митрополит Гедеон клялся на Евангелии: «...Обещаюся государю своему царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу и его благоверной цариц (так в тексте. — А. К.) и великой княгине Марии Ильичне и благоверному государю царевичу и великому князю Алексею Алексеевичу всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, и их государским наследником, по непорочной заповеди Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, якож во Святом Евангелии указася, еже ей, ей на том, служити мне ему,

государю своему... и его благоверной царице... и благоверному государю царевичу... и их государским наследником».

В тексте этой присяги содержалось также обязательство «под государствами (иными. — А. К.) не подыскиваться никакими мерами и никакою хитростию». Говоря современным языком, Молдавия в середине XVII века обязалась не искать покровителей, кроме России.

В 1658 году турки, фактические хозяева Молдавии, низложили Георгия Стефана. Но уже в 1674 году в Москву прибыли послы молдавского и валахского господарей Стефана Петричейку и Григория Гики — все с той же мольбой: взять «под высокую царскую руку».

Даже Украина, на полтора столетия раньше, чем Грузия и Молдавия, вошедшая в состав России, просила об этой милости не один год.

Причины, побуждавшие обращаться к помощи могучего северного соседа, однообразно кровавы. Кахетинский царь Теймураз впервые послал посольство к Алексею Михайловичу после того, как персидская армия Шах-Абасса испепелила страну. Знаменитый хронист Вахушти Багратиони писал в «Истории царства Грузинского»: «Тогда шах Абаз... прибыл в Кахети, истребил, пленил, согнал и разорил, ограбил церкви, уничтожил иконы и кресты». Суровый лаконизм стиля дает почувствовать ужас тех событий. До ста тысяч грузин было истреблено или уведено в плен. Взята в аманаты и погибла в Персии мать Теймураза Кетеван.

О кровавых насилиях, чинимых поляками на Украине до ее воссоединения с Россией, известно всем, кто читал гоголевского «Тараса Бульбу». Впрочем, если читатели склонны более доверять историческим свидетельствам, они могут ознакомиться с целым рядом источников, начиная с «Истории Малороссии» архиепископа Г. Конисского. Обширные выдержки из этой малодоступной книги каждый может прочесть в собрании сочинений Александра Пушкина. Великий поэт написал рецензию на труд Конисского, отметив: «Множество мест в «Истории Малороссии» суть картины, начертанные кистью великого живописца».

Вот одна из таких картин: «...Города заняты польскими гарнизонами, а другие селения их же войсками; им дана власть все то делать народу русскому, что сами захотят и придумают, а они исполняли сей наказ с лихвою, и что только замыслить может своевольное, надменное и пьяное человечество, делали то над несчастным народом русским без угрызения совести; грабительства, насилие женщин и самых детей, побои, мучительства и убийства превзошли меру самых непросвещенных варваров».

Особо пишет историк о подавлении католической Польшей православной церкви на Украине: «Церкви русские силою и гвалтом обращали на унию. Духовенство римское, разъезжавшее с триумфом по малой России, для надсмотра и понуждения к униатству, вожено было от церкви до церкви людьми, запряженными в их длинные повозки по двенадцати человек и более... Русские церкви не согласившихся на унию прихожан отданы жидам в аренду, и получено за всякую в них отправку денежная плата от одного до пяти талеров, а за крещение младенцев и похороны мертвых от одного до четырех талеров».

Россияне сострадали братьям по вере и крови (все процитированные документы говорят об одном русском народе, Украина различалась с Россией по географическому, а не по национальному признаку). Однако Москва не спешила удовлетворить горячие призывы к воссоединению. В 1653 году Алексей Михайлович созвал специальный Земский собор, и вся страна решала: принимать или нет Украину. Ибо знала — помощь придется оплачивать кровью. Действительно, война с Польшей началась сразу после решения о воссоединении.

Трогательно прощалась Москва с воинами, уходившими положить душу свою за други своя. «В Успенском соборе патриарх читал всему собранному войску молитву на рать идущим, поминал воевод по именам... Потом совершалась церемония «отпуска». Трубецкой (предводитель русского войска. — А. К.) первый подошел к царю; Алексей Михайлович взял его обеими руками за голову и прижал к груди, а Трубецкой тридцать раз поклонился царю в землю. За Трубецким подошли другие воеводы и кланялись царю в землю по нескольку раз. Царь отпустил начальных людей и вышел в сени. Там стояли разные дворяне и дети боярские. «На соборах, — сказал царь, — были выборные люди по два человека от всех городов; мы говорили им о неправдах польского короля, вы все это слышали от ваших выборных: так стойте же за злое гонение на православную веру и за всякую обиду на московское государство; а мы сами идем вскоре и будем с радостью принимать раны за православных христиан...» «Если ты, государь, — отвечали ратные люди, — хочешь кровью обагриться, то нам и говорить после того нечего; готовы положить головы наши за православную веру, за государей наших и за все православное христианство» (Н. Костомаров).

«Принимать раны» приходилось не только за украинских единоверцев. Помощь Грузии и Молдавии также вела к военным столкновениям с Персией и Турцией.

Новые земли оплачивались не только русской кровью, но и русским золотом. Несмотря на военную удачу в борьбе с Польшей, Алексей Михайлович счел за лучшее выкупить уже освобожденный Киев за 200 тысяч рублей (по условиям Андрусовского перемирия 1667 года). Позднее, в 1686 году, заключив новый мирный договор с Польшей, русское правительство заплатило за «навеки» уступаемый Киев еще 146 тысяч рублей.

Сполна оплачены нами и прибалтийские земли. И здесь Россия — как характерно это для ее политики! — не захотела опереться на торжество голой военной силы. Победив Швецию в изнурительной Северной войне, Петр предложил побежденным огромную сумму в обмен на территориальные уступки. Статья четвертая Ништадтского мирного договора (1721) содержала обязательство Стокгольма признать русский суверенитет над принадлежавшими ему землями в Прибалтике: «С шведской стороны уступаются царскому величеству и его преемникам в полное, неотрицаемое, вечное владение и собственность завоеванные царского величества оружием провинции: Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть Карелии с дистриктом Выборгского лена, со всеми аппартиненциями и депенденциями, юрисдикциею, правами и доходами. Оные в вечные времена к Российскому государству присовокуплены быть и остаются имеют».

В пятой статье оговаривалась сумма денежной компенсации: «Царское величество обещает королевскому величеству и государству шведскому заплатить два миллиона ефимков» (экономисты считают, что эта сумма в пересчете, условном, разумеется, на прошлогодний курс составляет 50 — 60 миллиардов рублей).

Москва выкупала земли не только у поверженных противников, но и у промотавшихся властителей. Если Лифляндия (бо́льшая часть современной Латвии) была приобретена у Швеции, то Курляндию (другая ее часть, с центром в Лиепае) Россия купила у герцога курляндского Петра III в 1795 году. Наделав долгов, он сам предложил Екатерине отказаться от прав на курляндскую корону. Русское правительство оплатило все его долги общей суммой 1 400 000 талеров и, кроме того, назначило герцогу ежегодную пенсию — 100 000 талеров.

Все эти факты побуждают по-новому взглянуть на взаимоотношения России с соседями, а также на законность требований их нынешних «самостийных» лидеров. Историческое беспамятство раскрывается перед нами как явление далеко не только комическое. Избирательное, эгоистичное, агрессивное.

Процитирую хорошо знакомую русским жителям Риги листовку, озаглавленную «Колонистам бывшего СССР в Латвии» и подписанную «Конгресс Граждан Латвийской Республики». «Иногда слышны рассуждения: «Мы граждане второго сорта, что ли?» — «Нет — ни первого, ни второго. Вы вообще не граждане Латвийской Республики. Ваш правовой статус — нелегально проживающие на ее территории иностранцы...»» Так обращаются к законным хозяевам земли, за которую было щедро заплачено!

Между тем о своем золоте наши соседи помнят. Даже если от него остались только смутные предания. Примерно год назад западный мир был взбудоражен требованиями украинцев найти и вернуть Киеву вклад легендарного Полуботка, будто бы внесенный им в Английский банк в XVIII веке. Пока банкиры листали древние фолианты, украинская печать подсчитывала баснословные проценты годовых, которые должны были бы набежать почти за три столетия. Выходило — этого хватит на то, чтобы безбедно жить, ничего не производя, а заодно и на то, чтобы дотла разорить «коварный Альбион», покусившийся на запорожское золото. Однако фолианты молчали о мифическом вкладе, и надежды на золотые реки и кисельные берега пришлось отложить.

Больше повезло прибалтийским новообразованиям. Их золотой запас, хранившийся до второй мировой войны за границей, обнаружился в Шведском банке. В 1992 году Швеция решила вернуть золото республикам.

Но если наши соседи считают, — и вполне справедливо, — что на их вклады не распространяется срок давности, почему они позволяют себе забывать о русских миллионах, заплаченных за их земли? Вполне понятно стремление любого народа к независимости (как он ею распорядится и что будет кушать — другой вопрос). Однако элементарная добросовестность побуждает сначала оплатить все счета, а потом уже считать себя свободным от обязательств. (Убежден: любое действительно национальное правительство России поднимет вопрос об этих суммах и любое подлинно национальное правительство в республиках с готовностью согласится его обсуждать, если уж решится вести дело к окончательному разъединению с Россией. Согласится именно для того, чтобы придать разъединению необратимый характер. Можно, воспользовавшись случаем, надуть случайного прохожего, но не великого соседа, которого передвинуть куда-либо не удастся — придется вечно жить бок о бок.)

Тем более если политики собираются настаивать на скрупулезном соблюдении пунктов последующих договоров. Как логически увязать настойчивое стремление Эстонии и Латвии добиться пересмотра своих границ с Россией на основании Тартуского договора (1920) с полным забвением Ништадтского? Кстати, с правовой точки зрения древний мир со Швецией безупречен: он заключен между законными монархами. Тогда как в Тарту соглашение заключали самозванцы: большевики и правительства стран Прибалтики, сформированные в условиях германской оккупации.

Конечно, можно с видом оскорбленного достоинства бросить карты на стол (прием, широко применяемый «демократическими» силами) и заявить: какая дикость — покупка земель! СНГовское правосознание позволяет надеяться на успех такого хода. Поэтому им пользуются охотно (пример: статья в латвийском официозе — газете «Диена» (02.07.1992.), где о Ништадтском договоре говорится как о курьезе, а робкие попытки русских военных сослаться на него характеризуются как возмутительный прецедент).

Однако выходить на мировой форум с подобными рассуждениями по крайней мере несерьезно. «Мировое сообщество» не только на словах, но и на деле признает право собственности священным. Заплачено — продано, и никаких апелляций. Попробуйте поставить под сомнение законность американских «покупок»: Флориды (приобретенной у Испании), Нового Орлеана (купленного у Франции), Аляски (арендованной у России). Скорее падет правительство той страны, которая заявит о претензиях на свои бывшие земли, чем США вернет их или хотя бы согласится на обсуждение этого вопроса.

Поддержав сепаратистские силы в СССР, Запад создал прецедент, опасный для его собственного существования. Разумеется, стратеги надеются на то, что он ограничится территорией столь ненавистной им «империи зла». Но даже если процесс удастся локализовать, выгодно ли Западу возникновение на его границах многочисленных новообразований, знающих только слово «дай» и явно не отягощенных благодарностью?

Вспомним — мысль об отречении от обязательств являлась, как только опасность отодвигалась и обнаруживалось, что обязательства до некоторой степени тягостны. В Малороссии, после того как московское войско прогнало поляков и оставило воевод в нескольких важнейших городах, сразу обнаружилась измена. В 1659 году (пять лет спустя после знаменитой Переяславской рады) ук-

раинские послы объявились в Варшаве. А спустя год в Волыни сосредоточилось польское войско. Переяславский полковник Цыцура посоветовал «москалям» выступить навстречу, украинцы шли по другой дороге. Дойдя до польского лагеря, они заключили мир со своими врагами, после чего все силы были брошены на русских.

Ну что же, прогнали московских воевод, оказавшихся в тягость. Пришли поляки и учинили резню (в селении Салтыкова Девица все жители были истреблены). Пришли турки — и повели полон в крымские порты. Пришлось снова звать русских...

В те простые времена у измен, совершавшихся втихомолку, не было громогласных защитников. Последующие столетия породили их в достаточном количестве. Их доводы до сих пор используются пропагандистами раздора. «...Дьявольская одержимость москаля... эта разрушительная сила, какой бы идеей ни прикрывалась — идеей «правдивой веры» московского Третьего Рима, всеславянского братства до большевиков или идеей «освобождения трудящихся» при большевизме, — всегда остается силой насилия, силой триумфующего зла в маске добра», — из писаний украинских «самостийников», с каким-то суеверным ужасом воспроизведенных в газете русских христианских демократов «Путь».

В унисон этим крикам озлобления звучат голоса из-за Днестра. Нынешним летом на страницах молдавской газеты «Цара» («Страна») в окружении статей, выразительно озаглавленных «Дьявольские когти России», «Изуверы из России», «Весь мир знает, что Россия всегда отличалась своим варварством», была перепечатана работа румынского писателя XIX века М. Эминеску «Румыния в борьбе с панславизмом» (23.06. и 30.06.1992).

Любознательный читатель может почерпнуть из нее много интересных сведений о нашей стране. «Возникшая из монгольских рас, захватнических по своей натуре, расположенная на обширных степях, монотонность которых действует на человеческий интеллект, лишая его гибкости и наделяя фанатическими инстинктами во имя достижения туманного величия, Россия соединила в себе высокомерие и отсутствие культуры. Прекрасное подменяется великим... Для русских характерна душевная пустота, заставляющая их искать в захватнических походах то, чего лишено их сердце».

Это было написано в те годы, когда в России творили Тютчев, Гоголь, Жуковский, великие архитекторы — создатели Петербурга, выдающиеся живописцы! Примечательно восклицание русофоба: «На протяжении веков 9 миллионов румын вобрали в себя намного больше духовных сокровищ, чем смогут когда-либо вобрать 90 миллионов русских». Какая это правдивая сила — язык! Как безжалостно обнажает она всякую ложь и похвальбу — Эминеску не дерзнул написать «создали» (я специально просил проверить перевод: да, именно «вобрали», а не «создали»).

И сразу самохвальство оборачивается пародией. Изобличающей — добавлю — самодовольно-эгоистический характер автора. Он даже не понимает разницы между творческим актом (созданием духовных сокровищ) и потребительским «вбиранием» их!

Конечно, изобличающая оговорка не способна остановить самохвала. Кажется, его вообще ничто не могло остановить, настолько он упоен собою: «Каждый раз, когда русские соприкасаются с нами, они чувствуют наше превосходство; естественно, это выводит их из себя и заставляет их ненавидеть нас все больше и больше».

Такие голоса доносились из полудиких степей, находившихся в те времена под турецким владычеством. Ныне их многократно усиливают пропагандистские механизмы. С восторгом повторяют официальные лица. Когда два года назад «народный депутат СССР» (тогда это словосочетание не звучало еще как статья Уголовного Кодекса) писательница Лари заявила, что турецкое владычество было желаннее, чем союз с Россией, она попросту повторила слова Эминеску. Это он утверждал: «...Румынский народ не имеет никакого права желать замены оттоманского государства какими-либо славянскими». И еще яснее: «...Ни разу на протяжении веков турки не покушались на румынский язык и национальность».

О том, как вели себя турки (и их союзники татары), все-таки лучше судить на основании исторических свидетельств. Вот одно из них, из труда молдавского летописца Иона Некулче, относящееся к семидесятым годам XVII века: «...Поели все: и хлеб, и живность и ограбили всех до нитки. Многих заполонили — женщин, девушек, детей. Остались бедные люди с одной лишь душой, до того горько и ужасно истерзанные и потрясенные, что ни описать, ни рассказать невозможно всех тех мук и терзаний, которые претерпели они».

Что касается русских, то даже Эминеску вынужден признать, что «их власть в оккупированных странах добра». Однако ненависть побуждает и доброту поставить в вину нашему народу: «Эта доброта полна деморализующей сладости».

Разумеется, можно до бесконечности спорить, что предпочтительнее — янычары, отрезавшие носы и уши, или, пользуясь определением Эминеску, «слащавый» русский режим. Тут уж кому что нравится. В отличие от прихотливых литераторов народы решали этот вопрос наглядно и просто. Они шли туда, где спокойнее и свободнее. С правобережной Украины, находившейся под властью поляков и турок, — на левобережную, русскую, и дальше — в Воронежскую, Курскую губернии, на Кубань. Из захваченной турками Молдавии в освобожденную Суворовым Очаковскую область (вот почему в нынешнем Приднестровье так много молдаван). Из разоряемой персами и османами Грузии — в Москву и Петербург.

Тут все ясно. Другое требует ответа — почему совсем недавно в Москве с такой пышностью отмечали каждую годовщину «румынского классика» Эминеску?! Неужто не ведали, что он писал о нас? И в то же время замалчивались юбилеи выдающихся русских писателей и мыслителей-славянофилов, а сочинения многих из них (Хомякова, Погодина, Шевырева, Данилевского, Леонтьева) не переиздавались и находились чуть ли не под запретом. О Россия, империя навыворот, наоборот!

И вновь возникает страшное слово: измена. Не на окраинах, — в Москве, в парадных покоях Кремля!

Наиболее явно она обнаружила себя в 1917 году, когда все сословия, все народы империи (в том числе — к стыду нашему — и русский) отреклись от присяги. Тогда большевики, воспользовавшись правом военной силы, начали осуществлять план расчленения, «федерализации» России. Его авторство приписывают их вождям — Ленину, Сталину. Напрасно, человек, выдвинувший его впервые, никакого отношения к партии пролетариата не имел. Это был преуспевающий одесский адвокат, один из вождей отечественного еврейства, депутат Государственной думы с забавной фамилией Пергамент. Именно он в начале 1905 года потребовал введения в России федеративного строя, основанного на национально-областных единицах.

План Пергамента на много лет опередил развитие событий. Лидеры националистических партий (за исключением Польши и Финляндии) не решались еще и думать об автономии. О простом народе нечего и говорить. По свидетельству беспристрастного наблюдателя Карла Аста, представлявшего Эстонию на «конференции национальных меньшинств», созванной в Киеве накануне революции 17-го года, «идея самоопределения Украины отнюдь не пользовалась популярностью среди сельских жителей (они в то время составляли подавляющее большинство населения малороссийских губерний. — А. К.). Еврейские социалисты (бундовцы) меж собой прямо говорили, что они выступают большими патриотами Украины, чем сами украинцы» ("Ревель", №1, 1991). По признанию К. Аста, так же обстояли дела в Эстонии и других регионах империи.

После того как лидеры большевиков воплотили в жизнь план Пергамента, Россия уже не видела патриотов у власти, не знала политики, основанной на ее национальных приоритетах. Прославление Эминеску и целого легиона русофобов, равно как поношение русских националистов, характерны для советского периода нашей истории.

Однако измена завелась в Москве и Петербурге значительно раньше, чем сделалась угрожающе явной. Ее история прослежена в замечательной статье профессора Е. Будиловича «Может ли Россия отдать инородцам свои окраины?». Написанная еще в начале века, она опубликована недавно в журнале «Ревель» — пожалуй, наиболее серьезном издании, появившемся в последнее время в бывших советских республиках.

Профессор приводит множество случаев, когда политика российских императоров и действия их наместников вели к ущемлению прав русского населения окраин, наносили ущерб интересам России, зато служили целям местных националистов, среди которых особенно разрушительную роль играли немецкие и еврейские поселенцы.

Подводя итог горестных наблюдений, исследователь писал: «Не следует, однако, думать, будто все ошибки, противоречия, колебания нашей окраинной политики в по-петровское время ложатся на ответственность одних только государей и государынь, занимавших в эти два века русский трон, или на наших государственных людей. Наоборот, можно утверждать, что и все наше образованное общество... относилось с подобным же подобострастием к инородцам... довольно пренебрежительно относясь к своему собственному народу, его быту и были, племенным особенностям, духовным стремлениям и мировому призванию».

Будилович называет окраинную политику в имперский период «противонародной и противогосударственной» ("Ревель", №1, 1991).

Отречение от своего, искание чужого — как все это повторяет характерные признаки духовной болезни нашего «просвещенного круга», разобранные нами в сентябрьском номере. Несколько столетий Россия формировала образованный класс для нужд государства. И несколько столетий этот класс — слуга империи! — отравлял ядом ее организм.

Примерно те же процессы происходили на окраинах, в республиках, как они стали называться в советское время. Там тоже измена зрела на верхних этажах общества. Измена не только России, — собственному народу!

Сегодня, на новом витке предательства, кажется, будто только Россия и ее кровные дети — русские пострадали в результате развала государства. Конечно, русским сейчас хуже всех. Но пострадал (и, к несчастью, еще пострадает) каждый народ. Разруха неумолимо затронет все республики.

В экономической сфере это уже очевидно для всех. Освободились от русских, и что же — вверх полезли показатели экономики? Ничуть не бывало! Вице-примар Кишинева Б. Посторонкэ плачется на страницах «Вечернего Кишинева»: «Сегодня, как никогда прежде, — и мы должны это откровенно признать, — экономика республики, ее столицы находится в глубочайшем кризисе». Он уточняет: «Только за четыре месяца 92-го года выпуск всей промышленной продукции сократился на 20,6%». Тут же обозначается более детальная картина: завод железобетонных изделий — спад 60 процентов, хладокомбинат — 63, мясокомбинат — 42, хлебокомбинат — 22 процента. Это не оборонка, не предприятия пресловутой группы «А». Тут каждый процент бьет по всему населению Молдавии — меньше построенных квартир, меньше хлеба, меньше мяса. Вполовину меньше, чем прежде! (Для ориентира: по мнению американских экономистов, в частности В. Леонтьева, спад на 20 — 25% — экономическая катастрофа.)

То же положение всюду — на Украине, в Закавказье, в Прибалтике. Да и могло ли быть иначе, если в Латвии, например, «около 80 процентов частных фирм и практически все латвийские предприятия ориентированы на Восток», — как витиевато пишет газета «Известия» (22.07.1992). Проще говоря — на Россию. Не бедолаги «оккупанты», ставшие враз «апатридами» (людьми без родины), — респектабельные латвийские предприниматели криком кричат: «Мы еще долгое время будем накрепко с ним (СНГ. — А. К.) связаны... Нельзя резать по живому» (из интервью генерального директора «Ригас биржа» И. Цинкуса газете «Панорама Латвии» — 11.04.1992). Куда там...

Военная безопасность новоявленных государств — тема, требующая особого исследования. Ясно, однако, что никогда еще эти земли не были защищены так ненадежно, как сегодня. Щит противовоздушной обороны разрушен на гигантских просторах от Питера до Баку. И если латышам или украинцам пока нечего опасаться появления в небе какой-нибудь удалой эскадрильи, то Грузии и

особенно Армении, чьи отношения с сопредельной Турцией крайне обострены, остается надеяться на сдержанность соседей (турецкие военные самолеты уже проводили «инспекционные полеты» над Ереваном).

О стратегических проблемах, которые возникнут у «самостийной» Украины, писал еще Иван Ильин в известной статье «Что сулит миру расчленение России». И вряд ли всех экономических сил республики, серьезно подорванных нынешней разрухой, достанет, чтобы создать укрепленные границы с Россией — на востоке, с Румынией — на юге, с Польшей — на западе (при том, что территориальные проблемы ни с одним из соседних государств не разрешены, да и возможно ли их разрешить: чуть не половина довоенной Польши была включена в состав Украины).

Границы прибалтийских республик необороняемы, как показал опыт сорокового года. Игрушечные армии, разумеется, не в счет. Надежды могут быть только на американцев. Несомненно, Прибалтике в самое ближайшее время придется предлагать свои земли под иностранные базы. И не уверен, что новые военные поселенцы окажутся деликатнее прежних. В отличие от рязанских ребят в армейской форме они не станут дивиться на готические соборы и разинув рты слушать разглагольствования гидов о славном прошлом ганзейских городов. Для них Прибалтика — такие же задворки Европы, как Исландия. И вести себя они будут соответственно (уже ведут, если судить по заметке, опубликованной в литовской газете «Республика», где красочно описан пьяный дебош американских военных моряков в Клайпеде).

Впрочем, пусть у политиков болит голова о безопасности их территорий. Меня, литератора, печалит упадок культуры. У новых государств не нашлось денег для поддержки искусства. «В катастрофическом положении — на грани гибели — крупнейшие Дворцы культуры Кишинева» ("Кишиневские новости", 31.01.1992). Не лучше ситуация в других окраинных столицах.

В беде и сами творцы культуры. Молдавские писатели, так много сделавшие для воцарения в Кишиневе шовинистического режима, и то не выдержали — взбунтовались. Процитирую выдержки из отчета о собрании в местном Союзе писателей: «...Большинство из них дошли до черты бедности... Мало кто занимается сейчас литературой, а если и пытаются, то их произведения залеживаются в ящиках столов, потому что журналы едва перебиваются... Раньше партийная бюрократия прислушивалась к тому, что говорят в Союзе писателей, хотела найти поддержку у них, новая же бюрократия больше озабочена собственными интересами, ее меньше всего беспокоит мнение маленькой группы писателей». И под занавес характеристика положения в сегодняшней Молдавии: «Нынче к власти пришли воры и грабят нас как могут» ("Вечерний Кишинев", 08.05.1992).

Еще страшнее — нравственная разруха, дошедшая до одичания. Великая христианская идея собирала земли в могучую Империю. Ныне древняя религия предков стала игрушкой в руках политиканов. Дошло до того, что на Украине священники «филаретовской» церкви, заручившись поддержкой бывшего секретаря республиканского ЦК по идеологии, а теперь президента Кравчука, возглавляют погромы православных храмов и даже угрожают закрыть святыню православного мира — Киево-Печерскую Лавру.

Рассказывая об одном из таких погромов, священник из Ивано-Франковска отец Михаил Шувара с горечью заметил: «По-ихнему выходит, если я стою за правду Христову, это против Украины. Интересно, какую тогда Украину хотят строить?» ("Русский вестник", №27, 1992).

История пока не дала ответа на этот вопрос. Но вот какую Молдавию «построили» местные националисты, мир увидел после расстрела города Бендеры. Бомбили самолетами, обстреливали ракетами — цель была: жилые дома!

В страшные времена османского ига молдавский народ сберег свою душу. Остался верным учению Христа, в основе которого заповедь сострадания и любви. Бывали времена, когда две трети населения страны оставляли родные места и спасались за рубежом, но вере своей не изменяли.

Сегодня мужественный христианский народ мертв. В Кишиневе не нашлось ни одного человека, который бы вышел на улицу с протестом против убийства женщин и детей. Писатели громко протестовали, когда упали тиражи их сборников, здесь они хранили молчание. А христианско-демократическая партия Молдавии — та шумно поддержала генерала-убийцу Косташа! Янычары были ближе к Христу, чем эти «партайгеноссен».

Гибнет благочестивый грузинский народ. Народ-мученик, веками несший крест Голгофы и ни разу не изменивший ему! Изменил сегодня! И ввергнут в братоубийственную бойню. Повинен в крови — собственной, осетинской, абхазской.

Гибнут народы. Гибнут люди. Пылают библиотеки, школы, музеи. Измена торжествует на безмерных просторах Империи. Измену считают порождением хитрого и коварного ума. Какая ошибка! Она — порождение безумия. Ибо всякая измена долгу, присяге, чести есть прежде всего измена самому себе.

Безумие воцарилось на нашей земле.

И все-таки, как писал недавно выдающийся ученый О. Н. Трубачев в книге «В поисках единства»: «Крушение материального Союза ССР не означает полного и бесповоротного его крушения». Трубачев напомнил о том, что есть «нетленное» начало, объединяющее народы. Языковед, он видит его в языке.

Я, писатель, укажу и на человеческую душу. В ней основа «нетленного» единства. И одно из малых, но неложных подтверждений тому, что «не умрет священный наш союз», — эта статья. Материал для нее мне помогли собирать в Кишиневе, Тбилиси, Киеве, Риге. Не только русские. Не называю имен — сегодня это может им повредить. Но убежден, что завтра стойкость этих людей, их вера, их верность великой идее, собравшей наши народы столетия назад, совершат чудо. А только чудом, только верою праведников живы народы, жива земля и солнце не сходит со своей орбиты!

КРИТИКА

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

ОСТАТЬСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

(НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ С В. П. АСТАФЬЕВЫМ)

Не знаю, как сейчас, посреди зимы (до литературы ли еще?), но в августе, когда я писал этот не то дневник, не то воспоминание, Виктор Петрович Астафьев еще оставался для русского читателя вполне графичен: реакция на него была черно-белой, без полутонов. Несколько его телевизионных заявлений резко разделили общество — и сторонников, как кажется, было все-таки меньше, чем противников.

Боязно и напоминать эти трудные для скорого усвоения мысли — ну хоть ту, что Ленинград-то, может, такой ценой и защищать не стоило: перевешивают ли его нарядные (загаженные сегодняшней ленью) камни то число жертв, которыми они были оплачены. Или что ветеранам лучше бы не по митингам маячить и портреты Сталина таскать (за что их бьют, и поделом), а землю свою в порядке содержать да внуков по-человечески воспитывать. Да и последний писательский съезд он поторопился отпеть вопреки усилиям коллег по сохранению своей творческой организации.

Все это накапливалось, вызывало досаду даже и среди тех, кто прежде был нерасторжимо близок писателю. Виктор Петрович скоро почувствовал сопротивление по письмам, статьям, резким замечаниям вчерашних товарищей и сделался еще резче. Демократические издания (в том строго определенном значении, которое и расшифровывать не надо) тотчас начали к месту и не к месту льстить писателю и подверстывать его имя к идеям, которые вызывали в нем если не брезгливость, то равнодушие. Не он один попадал в такие переделки. Волошин в подобной ситуации, страдая, искал единства, «молясь за тех и за других». Виктор Петрович предпочел оставить «тех и других» разбираться самим, надеясь укрыться в спасительном труде, в прямой своей работе, уверенный, что она возможна и посреди безумия.

Вот при таком «контексте» мы и повидались. Красноярский филиал Свердловской киностудии затеял документальный фильм о писателе и режиссер Владимир Кузнецов пригласил меня «посидеть в кадре», чтобы Астафьеву было с кем разделить беседу, благо я много писал о Викторе Петровиче и это позволяло пропустить какие-то общие места.

Даст Бог, камера сохранит полноту тех дней и вечеров, и зритель окажется в более счастливом положении, чем читатель, потому что будет видеть, когда, при каком солнце, при каких птицах и реках говорилось то, что говорилось. Я же только со смятением думаю, что большинство наших репутаций искажено в журнальных и газетных полемиках именно потому, что авторы оставляют читателя с «голым текстом», убирая, а чаще и не видя, что половина той или иной тяжелой фразы продиктована оттенком заката, нечаянно попавшимся на глаза подвыпившим мужиком или перекрывающим голос громом порожнего грузовика.

Старые-то писатели не зря всякую главу своего сочинения с пейзажа норовили начать. Они очень понимали, как человек зависит от долгого дождя и нечаянного смеха за избой, от тишины ночи и перепелиного удара детским кнутиком в горячих золотых овсах. А уж Виктор-то Петрович особенно — настолько он живо связан со всяким кустом при дороге и каждым перекатом на прытких ледяных речках. В кабинете это не всегда заметно, а в деревне, где шли съемки, да еще при неотступной камере — очень. Заглянешь в глазок, пока оператор перезаряжается, а там солнце в воде играет, утка скользит над петлями реки Поперечки, и Виктор Петрович смеется, как только он умеет смеяться, рассказывая о любимом фронтовом друге Петре Николаенко, который всегда при встрече жалеет Виктора Петровича и воображает для него иную судьбу: «Ну, шо ты там в Вологде, Перми, Красноярске (смотря где в этот час жил Виктор Петрович) нашов? Приихав бы сюды — ось яка земля! Я бы тоби тут женив, учетчиком устроил — ты грамотный. — Ну чего бы мы, говорю, с тобой учитывали? — Нашли бы чего — бутылки...»

Затопит хозяин баню, попоешь в ее жару «Варяга», вылезешь на крыльцо, а тут уж и про баню готово воспоминание, про войну, про то, что хорошо как было лето и можно было хоть в реке башку сполоснуть, а так, коли не ранят, так можешь и вовсе про всякое мытье забыть. Да и какая пехоте баня, когда солдат в боях больше месяца не держался. Выстригали только себе все, что можно, чтобы вошь поменьше держалась — вот и вся гигиена. «Петьку-то, к слову сказать, я с волосами только после войны увидел и с изумлением узнал, что он кудрявый».

Протянет долгий шлейф пыли невидимый

в подсолнухах грузовик, и опять память с уже мучающей услужливостью толкает в минувшее: «Это только один грузовичишко столько напылил. А на Украине, в 44-м идет такой раскаленной дорогой колонна, солнце гривенником чуть пробивается, легкие пылью забиты — не продохнешь, губы обметывает коркой грязи, гимнастерка становится хромовой от пота и пыли, глаза воспаляются, в ушах под завязку, на зубах хрустит. Господи, только молодость давала силы все выдерживать. Самих бы старых мерзавцев, которые любят войны по кабинетам высиживать, разок в такой колонне протащить — глядишь в башке бы и прояснилось, а то ведь затевают войны одни, а честь погибать на них оставляют другим».

И когда вот так раз за разом и покойный вечер, и горячий день будут уравниваться тяжестью воспоминаний, и смех даже при самой потешной истории вдруг начнет каменеть на губах, то что-то начнет проясняться, и хоть ум еще сопротивляется, но сердце лучше понимает, что побуждало Виктора Петровича говорить такие тяжелые для слуха вещи о Ленинграде, о митингах ветеранов. Тут уж сам способ миропонимания вырастал другой, система ценностей качественно другая.

Я уже писал когда-то, что автобиографический герой Астафьева Витька Потылицын вряд ли понял бы своего постаревшего автора, писал бы ему злые письма, глядишь, начал бы и «выражаться» на его счет и уж, конечно, занял бы место в колонне оскорбленных ветеранов, но в авторе, в писателе Астафьеве это уже ничего бы не переменило. Он уходил в новую не для одного Витьки Потылицына сторону.

Замечательный, рано погибший график Ю. И. Селиверстов, составивший единственный в своем роде изобразительный свод «...из русской думы», последним в серии русских мыслителей успел литографировать портрет Виктора Петровича. В этой серии уже стояли Пушкин и Чаадаев, Соловьев и Флоренский, Достоевский и Федоров, Бердяев и Солженицын. И вот рядом с Солженицыным как раз Астафьев. Почему именно он? Вон сколько сегодня более как будто глубоких и академических мыслителей — хоть Лихачева возьми или Аверинцева. Вот тут, в долгих прогулках, вечерних беседах, малоудачливых рыбалках и не очень продуктивных съемках я и начал понимать и правоту художника, поставившего Астафьева в обязывающий ряд русских мыслителей, и самого писателя даже в такой страшной фразе, которую он не обронил, а именно твердо сказал в камеру Алтайского телевидения, что коли бы сейчас вновь началась война, он бы и сам добровольцем не пошел, и внуков не пустил: «Стоит погибать за народ, который перед всякой властью на карачки становится, ворам завидует, жулья поразвел полстраны и уж готов родных коммунистов обратно позвать, только бы пожрать дали и работы не спрашивали». Я тогда вздрогнул и кинулся хоть камеру загораживать, чтобы не дать дослушать, не дать договорить. Потом что-то пытался прояснить и мотивировать. Но боюсь, что и сейчас пока больше догадываюсь о том, что же он по-настоящему имел в виду, чем могу прямо выразить. Не в том даже дело, что народ нехорош — это и у него первое досадное объяснение. Найдется в этом народе и три праведника, ради которых его Бог пощадит и сохранит. Нет, тут именно сама война как-то поперек мысли стоит.

Кажется, для него война уже перестала быть справедливой или несправедливой. Нагляделся он с той поры, как войны делаются и как оправдываются. В последние полстолетия цинизм человечества дошел до низшей отметки, где уже никакие прежние ценностные системы не работают. А уж у нас все изувечено с особенной непоправимостью. И то, как, какой ценой, каким зверством по отношению к своему народу мы одолели немца, и что потом было с Венгрией, Чехословакией, Афганистаном — сколько миллионов жизней молодых людей, не успевших понять самых начал жизни, ее первых смыслов, ее божественной логики, были погублены навсегда. А ведь теперь-то стариковским уже сердцем он знает, что это чьи-то дети, внуки, расцвет жизни, ее сияние и оправдание. И достаточно было бы вспомнить про одну-единственную слезу ребенка... А тут — миллионы! И тут ведь однажды можешь быть поражен и простейшей мыслью, что вот, значит, и меня, всей этой моей жизни и судьбы и внуков моих, и детей не было бы, а от меня остался бы один истлевший жестяной крестик из консервной банки, какой вырезали на Днепре перед форсированием и верующие мужики, и новодельные коммунисты, полками записанные в родную партию накануне этой страшной операции (тот же Николаенко всегда дивился: «Ох ты и хитрый, кривый! Не зря стоко книжек прочитав. Як ты от партии-то увернувсь?»). Это только снаружи эгоизм и детство, а на глубине-то тут как раз прорастает новая для человеческого сердца правда будущего века,что «война» — слово, позорящее человечество и незамолимое перед Богом, что победившей стороны на войне не бывает. Об этом, об этом он думает в новом своем романе со страшным названием «Прокляты и убиты».

— Только бы хватило сил, не изорвала бы жизнь. Я ведь только теперь вроде почувствовал романное-то дыхание. А то все или от наглости ставил, как в первом своем романе «Тают снега», или от хитрости, как в «Печальном детективе», потому что при другом жанре никто бы не знал, как к этому кирпичу подступиться. Сейчас по первой книге еще вряд ли что поймешь. Тяжелее всего будет со второй, где все судьбы завяжутся, где уже станет ясно, почему в имени романа это слово стоит первым — «прокляты». В третьей, когда «убиты» — там уже полегче и у меня уже наброски есть. Тяжелее-то всегда, когда судьба только идет в штопор и ты еще бьешься, не понимая своего проклятия, а уж когда понял, когда все к уклону, так там и при писании сердце меньше тратится. Тогда уж вроде и сама смерть не страшна, как не страшна она была мне после войны в Чусовом. Сколько родного и близкого народа на кладбище перетаскал — не сосчитать. Лом у меня был, тяжелую землю долбить — наполовину на одних могилах износил. И все без чувства — зарыл и зарыл. И проснулся для страдания, будто очнулся, когда увидел на линии, которая рассекает Чусовой, как река (там первая угроза — вот пойду брошусь под поезд), убитую поездом девочку лет пяти. Беленькая, косички, а остальное закрыто на шпалах, чтобы никто не видал, что

этого остального просто нет. Как кулаком по сердцу ударили, и я пришел в себя — стало можно жить, думать, писать.

Первая книга уже вот-вот в «Новом мире» выйдет (если уже не вышла). Теперь уже сам читатель будет разбираться, чью сторону взять. В архиве Виктора Петровича есть замечательное письмо Е. И. Носова с разбором этой первой части. Подробность и требовательность разбора обнаруживают всю нежность и ответственность дружбы. Так вот там уже обронена предупреждающая фраза об отдельных частях «фронтовики тебя не поймут», нечаянно выдающая и частое непонимание самого Евгения Ивановича. А «не поймут», кажется, именно потому же, почему не понимают о Ленинграде и ветеранах. Мы все меряем мир привычной отцовской мерой, а он рвется к более далекой правде. И тут его не рассудительность ведет, не книжное умозрение, а само слово русское, традиция наша, материя жизни.

Он не зря в последнее время часто Гоголя поминает. Поглядев замечания Евгения Ивановича, я нечаянно ловлю себя на мысли: что если бы гоголевский «Тарас Бульба» попался участнику запорожских походов и тот стал бы мерять его исторической правдой. Ведь, пожалуй, Гоголь-то во врали был бы зачислен и обвинен в историческом невежестве. Да вспомните хоть, как престарелый П. А. Вяземский над Толстым за «Войну и мир» трунил, за непонимание «молодым человеком» военной правды. Вот и тут война уходит в «мифологические» пределы, в те обобщительные духовные пространства, которые шире житейской правды, что сулит тяжелые отношения с читателем, но что автор уже не может уступить. Это предчувствие непростой судьбы книги мало прибавляет покоя и уверенности, усугубляя и без того не всегда уживчивый характер Виктора Петровича. В срывах порой мерещится опережающая самозащитная реакция, но тут ничего не опередишь, не сгладишь, как ничего не опередишь в жизни — чему быть суждено, того не объедешь.

* * *

Деревенская жизнь мало располагает к тонкостям политики и философии. В особенности когда деревня, как «наше» Никольское, еще здорова и крепка — поросята носятся с девчоночьим визгом прямо по улице, телята лениво пасутся на лужайках размером в Бенилюкс, гуси пионерски горнят при твоем приближении, подойники гремят вечерами в каждой усадьбе и улица пахнет парным молоком.

Виктор Петрович только глядел да радовался ("только бы не разбавили чужим народом, чужими нравами..."), и я бы и сам только кидал навоз, учился доить хозяйскую корову да пасся на земляничных склонах сопок, но работа глядела в спину, съемочная группа съедала дни и надо было задевать в беседах то, что перед этим миром задевать не хотелось. Да и война, коли уж ее тронул, тем более в таком больном повороте, подталкивала к новым вопросам, не хотела укладываться в душе. Все хотелось выведать, куда же определит Виктор Петрович своих «проклятых и убитых» героев, куда выведет. Непременно ведь куда-то надо привести, противопоставить что-то безумию мира, найти ту свято здоровую жизнь, которая где-то держит мир и вымаливает его у Бога, чтобы не окончательно погубил его Сатана политики и расчета.

Мы собирались в старообрядческие села. Виктор Петрович давно присматривается к этой стороне сибирского хозяйственного и духовного устроения и давно поворачивает читателя к поискам в той стороне. Но здоровья никак не хватало, и мы не доехали ни до Петра Николаенко (телефон в его деревне молчал, и ехать «в темную» мы не решились), ни до староверских сел — концы предполагались дальние и при ровном зное для его сердца уже непереносимые. Однако в беседе веры (старой ли, новой) мы должны были коснуться неизбежно, тем более что к обоим уже подступает старость и пора уже не только литературным героям выход искать, но и самим художественные «манатки» собирать и поднимать глаза навстречу неизбежным вопросам: для чего мается человек? Очень я надеялся, что в Овсянке, куда мы переехали из Никольского, сядем мы за стол под яблоней у его избы да и выговоримся. Ан нет, «не обломилось».

— Ты вон все к церкви поворачиваешь. Я и сам знаю, что больше негде искать, почему про старообрядцев-то и думаю, но и себя ведь сразу не переломишь. Не могу я проповеди слушать. И боюсь, что и народ их уже и у попов не слушает. Отравились. Христос вон у Пазолини ходит учит, учит — чистый комиссар. Это меня раздражает. И апостолов не могу читать — тоже одно наставление. С детдома все башку забивали — учителя, потом политруки на фронте, потом господа коммунисты — ты должен, должен... Меня тут даже на встрече какой-то мордоворот вывел из себя: «Вы должны...». Я, грешный, и дослушивать не стал, ничего, говорю, я тебе не должен, все сполна отдал. Всем мы чего-то должны. И сами ведь тому же учим. В особенности писатели. Я тут одного бондаря встретил. Сколько, говорит, я этих бочек переделал, а вот только-только что-то путное-то стало выходить, вон только когда выучился. И это уж чуть не последний бондарь. Печника порядочного не найдешь, плотники перевелись. А писатель вон только перо взял, и гляди уж и заступник, и совесть народная, уже учит. Да ты, милый, сам-то что умеешь и что видел, чтобы других учить. А эти другие - такие же дураки - думают и правда может. Всякому свое надо делать, а не соваться в чужой огород. А то писателишки-то уж совсем обнаглели — рассказишка путного написать не умеет (где они теперь, хорошие-то рассказы?), а уж иронией все засрал или «глаголами жжет» вместо того, чтобы простому ремеслу учиться. Проповедники... Слушать не могу.

И сколько уж я потом ни старался вырулить в сторону «смысла жизни», Виктор Петрович умел загородиться или шуткой, или какой-то простой заботой кстати. Конечно, он мог бы все до точки договорить, да умная жизнь удерживала его от додумывания того, чего умом не возьмешь. Да и мне, видно, хотел чего-то оставить, чтобы я сам хорошо ли, худо ли сообразил.

Конечно, он, как Толстой, нарочито юродиво Литургию писать не станет, но на самой глубине, кажется, часто глядит на мир именно

с толстовским здоровьем. И Бог ему больше, пожалуй, для «народа» нужен, а не для собственной, даже и в смятении очень земной души. И последние-то вопросы он не потому не задает себе, что боится не услышать ответа, а потому, что не разучился доверять жизни, простому ее порядку, который в словах только расходуется, но не определяется. Это нам, «зачитавшимся», кажется, что непременно надо всякую мысль до формулы довести и непременно узнать, что там (в механизме жизни), иначе мы и писать не станем. А он вон, как прежде в «Последнем поклоне» и «Оде русскому огороду», не ставил этих вопросов, но как-то таинственно отвечал на них, так и теперь не ставит, предпочитая жить как крестьяне живут, как бабушка Катерина Петровна жила — когда Бог говорит в душе до знания о Нем. Порою кажется, что взвесь он каждую мысль, передумай до высказывания, и не было бы этих смущающих и тревожных обмолвок, но ведь тогда он бы и Астафьевым не был, а был бы только таким же «умным», как мы.

Но что же тогда, коли все так природно, покоя-то в нем нет и нет? И что же гнетет его и порой так обидно проговаривается? А вот, кажется, то, что какие-то существенные земные жилы в нем все-таки порвались. Народ, которым он жил так естественно и с которым был подлинно одно, как, может быть, никто из ныне работающих писателей, вдруг как будто «ушел из-под него». Почему Виктор Петрович и заговорил о нем с таким гневом и обидой. Того земного, русским-русского человека, который еще доживал крепкими коренными заботами, минуя всех коммунистов и политруков, он написал всего. Он исчерпал его для себя, как этот человек исчерпал себя в жизни. А новый с его хваткой и ленью, безродностью и идеалом стяжания на одном полюсе, и с чистой порывистостью, робкой, медленно растущей верой и терпеливой любовью, взятой уже более из родных книг, чем от истощенной жизни — на другом, ему не то что неинтересен, а просто чужой. Виктор Петрович, опять же как никто другой в нашей литературе менее всего «профессионал», который умело и равнодушно препарирует любую реальность, какая в этот час складывается на дворе. Он пишет только то, чем сам живет, что есть его день и быт, его любовь и ненависть, его собственное сердце.

Теперь он остается со своим страдающим поколением, с теми «проклятыми и убитыми», которых уже не переделаешь на современный, хотя бы и очень прогрессивный лад. Вопреки всему он надеется остаться с землей и человеком, дотянуть с ними по-человечески. Мир сегодня как будто дружно выталкивает его из своих «боевых порядков» — слишком он со своей органической требовательностью оказывается вне жестко разделившихся, неизбежно суженных правд. А ему новой диктатуре «направлений» сдаваться не хочется, сам дар его ему этого не позволит. И слава Богу никакой «платформы» у него, как встарь, нет и никакой его портрет, как ни старайся все в нем расставить «по местам», не будет устойчив и завершен. Можно снять много его «моментальных фотографий», и все это будет он, но его целое — живо и текуче, ясно и ускользающе как жизнь.

...Вечером на крыльце Виктор Петрович долго рассказывает о неисчерпаемом «Петьке» Николаенко, вспоминает, как они проезжали на Украине мимо родного Петькиного села Бобушки и о том, как Петька просил пойти с ним, потому что один он боялся заходить в эти родные оставленные еще до войны Бобушки.

— Если бы я мог написать, чего он тогда боялся, можно было бы сказать, что я действительно что-то понял в писательстве...

Вот и я, прощаясь с Виктором Петровичем после счастливых, долгих и мгновенных алтайских дней, растерянно и благодарно думаю: если бы я мог во всех подробностях угадки и чувства написать хотя бы одни эти дни, я бы ухватил в сегодняшнем изломе человека и литературы что-то очень необходимое, определяющее важное, сулящее живой и нестыдный выход. Но и сил не хватает, и сам слишком втянут в злую воронку событий — и жизнь утекает неухватимой, чтобы опять разрешать все самой.

Но все-таки эти горячие, в обложных грозах дни, но это спокойное крепкое Никольское были, были, и, ничего не умея объяснить читателю, я все-таки слышу в них какое-то отчетливое обещание, старинное русское «ничего» (или как говорили астафьевские детдомовцы из «Кражи» «ништяк»), с которым в России можно много чего перемочь.

Псков